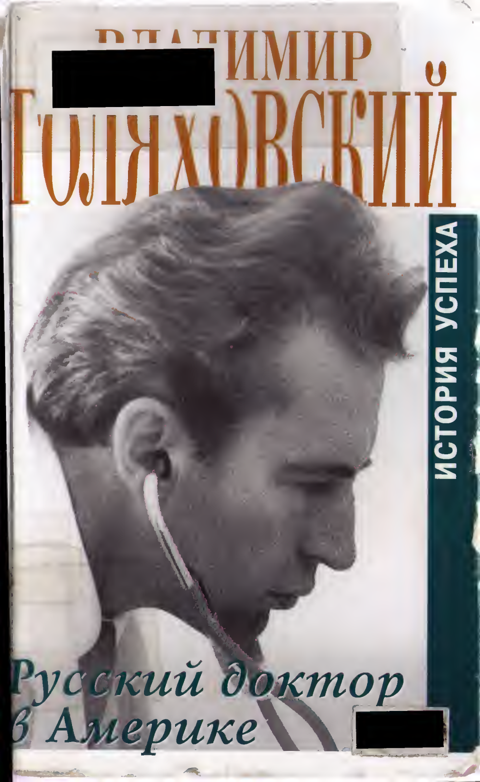

[redacted]ИМИР
ГОЛЯХОВСКИЙ
ИСТОРИЯ УСПЕХА
Русский доктор
в Америке
[redacted]



[redacted]

ВЛАДИМИР
ГОЛЯХОВСКИЙ

Русский доктор в Америке

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2001

УДК 882-312.6
ТБК 105
Г 63

Моей дорогой Ирине,
с которой мы вместе
— на богатство и бедность,
на лучшее и на худшее,
на жизнь и на смерть.

ISBN 5-8159-0144-X

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Гёте, «Фауст»

Предисловие к русскому изданию

Как в одной капле воды может отражаться все небо, так и одна личная история может служить каплей, отражающей исторические события. Поэтому я решаюсь рассказать о том, как в 1970-х годах эмигрировал в Америку из Советской России.

Начало того массового исхода было общественным и историческим чудом, как легендарный библейский исход евреев из Египта. «Железный занавес» коммунизма тогда впервые слегка приподнялся, и на нас повеяла живительная струйка свободы. Но одно дело было почуять ветер свободы издалека, а другое — полностью в нее погрузиться. Американская свобода оказалась нам чужой: с другим языковым, политическим, экономическим и культурным фоном. В Библии сказано, что Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, чтобы новые народившиеся поколения были готовы к свободе. В наш динамический век всё происходит намного быстрей. Зато нам и тяжелей было внедряться в абсолютно новый мир. Иммиграция — это путь преодоления трудностей в экстремальных условиях чуждого окружения. За свою свободу мы платили дорогой ценой мучительного к ней приспособления.

История в наше стремительное время быстро убегает вперёд. Русским людям нового периода, жителям XXI века, уже многое неизвестно из того, что происходило с нами — первой волной тех беженцев от коммунистического отчаяния. Для них я и описал, что было со мной и другими, что видел и пережил, вырвавшись на свободу.

Эта книга была впервые издана на английском языке в Нью-Йорке, в 1986-м, и была продолжением первой

книги моих воспоминаний «Русский доктор», изданной тоже на английском в Нью-Йорке в 1984-м. Обе переиздавались в разных странах, но русских изданий до сих пор не было: тогда шла холодная война и никакие сведения о жизни иммигрантов в Америке не пропускались в Россию. По прошествии пятнадцати лет я предоставляю русскому читателю обновлённый и дополненный вариант — взгляд издали на то, что происходило с нами четверть века назад.

Свобода — лучший дар общества человеку, но завоевать свободу бывает нелегко.

Д-р Владимир Голяховский, New York,
январь 2001

Предисловие к американскому изданию

Жителю Советской России переселиться в Соединённые Штаты — это всё равно, что обитателю морских глубин оказаться на горной вершине. Чтобы ему выжить в новых условиях, надо заново приспособиться ко всему, самому перемениться настолько, что это равноценно новому существованию, второй жизни. Да ещё если бы этот процесс переселения совершался медленно, постепенно. А в наш стремительный век это всего-навсего перелёт через океан на Боинге-747. Когда же успеть перемениться?

Я был одним из 250 тысяч сыновей советского народа, которым удалось совершить исход из «коммунистического рая» в 1970-х годах. О том, что по-настоящему это был «земной ад», и том, как мы оттуда вырвались, я рассказал в своих воспоминаниях «Русский доктор».

Но ведь должен же быть где-нибудь рай на земле! И вот, вместе с другими, мы приехали искать его в Америке. Первые же столкновения с новой действительностью вызывали в нас стресс, трагедии непонимания и комедии ошибок. Внутри нас происходила психологическая драма столкновения двух миров: глубины прошлого ещё продолжали давить, а разряженный воздух новых вершин уже начал пьянить. Особенно остро это ощутимо в Нью-Йорке, в котором даже многие урождённые американцы из тихих уголков чувствуют себя подавленно и неуютно.

На примере истории моей семьи и наблюдений над другими иммигрантами я рассказываю в этой книге, как происходила адаптация и чего она нам стоила. Наверно, нет иммигрантов, менее приспособленных к американской гонке жизни, чем выходцы из России. Но тем трагичней, смешней и интересней эта история.

Все события, факты и обрисовки людей в ней — действительные. Я изменил только некоторые обстоятельства и имена. Пусть никто не пытается узнавать знакомых среди персонажей моих воспоминаний: ведь все мы, люди,

только капли в океане людской истории, а человеческие судьбы — это бушующие волны того океана. Капля от капли ничем не отличается, хотя бури событий разносят их в разные стороны, как и нас с вами.

Ну, а нашли ли мы в Америке то, что искали, — рай? Заранее могу только сказать, что сначала мы должны были пройти через чистилище. Остальное — в книге.

1984

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

...Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои.
А.И.Солженицын

— Эмигрировать из Советского Союза? Ты что: шутишь или ты с ума сошёл?

— Ни то и ни другое. Я действительно думаю уехать навсегда.

— Не понимаю. Просто не понимаю! Тебе только сорок шесть лет, а ты уже давно профессор хирургии, заведуешь кафедрой в Московском медицинском институте. Ты получаешь большую зарплату. У тебя патенты со всего мира на хирургические изобретения. Ты член Союза писателей, живёшь в привилегированном писательском доме, в трёхкомнатной квартире. У тебя автомобиль и гараж. Чего тебе не хватает?

— Воздуха. Мне не хватает воздуха свободы. Чем выше я поднимаюсь по ступеням служебной лестницы, тем больше я должен зависеть от коммунистов. Я у них в зависимости, потому что я беспартийный и много раз отказывался вступать в их партию. Не хочу больше жить здесь. Ни мне, ни моему сыну здесь нет будущего.

— Но ты же так упорно работал, чтобы достичь всего этого своим трудом.

— Да, достиг. А теперь — теряю. Коммунисты травят меня за то, что я захотел уволить одного из них, дурака и бездельника. Уже год они пишут на меня анонимные письма во все высокие партийные инстанции, обвиняют меня в идеологической отсталости, в низкопоклонстве перед Западом, в том, что я оперирую западными инструментами.

— Ну, это ерунда — стандартные обвинения. Перетерпи, отступись. Они отвяжутся.

— Нет, на меня повели настоящую травлю, как на волка. Это у них называется линия партии. Ко мне при-

сылали много проверяющих комиссий, и все признавали мою работу хорошей. Тогда они подослали ещё одну, от парткома, из отборных махровых консерваторов и антисемитов.

— Но у тебя ведь русская мать, ты наполовину русский.

— Для них нет наполовину русских. Если отец еврей, то и сын наполовину еврей. Все знают, какие ничтожества мои противники, каждый по отдельности. Но вместе они имеют силу. И они чуют: кто не с ними, тот против них. А я не с ними. В том-то и дело, что мне противно быть с ними.

— Ну, слушай, если так — поменяй работу. Ты и на новом месте сможешь показать себя.

— Сдаться им? Если я и поменяю работу, там ведь тоже будут надзиратели-коммунисты. Они над нами везде.

— Но заявлять о желании эмигрировать — это же почти самоубийство. КГБ тебя не выпустит, ты слишком заметная личность. Ты станешь отказником, и это пятно останется с тобой на всю жизнь. И тебя уже ни на какую работу не примут, кроме самой низкой. Подумай трезво, без эмоций.

— Я думаю, всё время думаю. Я устал и я оскорблён. И я хочу уехать в Америку.

— В Америку?! На что там можно рассчитывать? Думаешь опять стать профессором?

— Профессором? Нет, конечно. Я знаю, что мне придётся проходить обычный американский путь: начать с самого низа, может быть, с санитарской работы.

— Ты... станешь санитаром?! Ну, ты даёшь!..

— Я хочу свободы, а за свободу надо платить. Но я, конечно, не собираюсь умереть американским санитаром. Думаю, всё-таки сумею опять стать доктором, поднимусь до чего-нибудь и в Америке.

Разговор с близким другом происходил у меня дома, в Москве, в 1976 году. Мы сидели в моём кабинете, на мягких креслах финского гарнитура, по стенам стояли красивые полки с собранной мной богатой библиотекой, мы пили армянский коньяк, который дарили мне благодарные за операции пациенты. И обстановка, и условия

моей жизни были самые привилегированные по стандартам той жизни. Это было за пятнадцать лет до падения коммунизма и развала Советского Союза, и тогда никто не мог предсказать, какие великие изменения наступят вскоре на русской земле. Мы их тогда не ждали.

В той *обстановке* было действительно дико думать, что нужно всё это бросать. Но в той *ситуации* уехать оттуда было единственным выходом из моего положения. Желание эмигрировать было опасное, в этом мой друг был прав. Но это было наше с Ириной продуманное решение, и оно вытекало не только из эмоциональной реакции, было не только бегством от преследования коммунистов. Всё было ещё глубже: мы по-настоящему устали там жить, нам надоели бесконечные ограничения, запрещения, постоянные подстёгивания, непрекращающиеся унижения. Мы хотели быть свободными людьми, людьми мира, который почти не знали.

Мы принадлежали к поколению московских интеллигентов, которые долго страдали, прямо или косвенно, в ожидании социальных улучшений для всего советского общества. Мы были детьми тех, кого сотнями тысяч арестовывали, мучили и убивали коммунистические опричники КГБ; наши отцы и братья, и даже некоторые из нас самих, были победителями в недавней Отечественной войне и заслужили для своих людей лучшую жизнь. Нам хотелось, чтобы кончилась эпоха засилья партии с её абсурдной пропагандой, в которую никто не верил, чтобы прекратилась алогичная холодная война с Западом, забиравшая все силы и ресурсы страны. Коммунисты сдавливали горло страны, а мы хотели свободы и лучшей жизни и — отчаялись ждать.

Мы с Ириной не «преклонялись перед Западом», с которым и не были знакомы. Один только раз ездили мы в Югославию, по протекции министра внутренних дел, моего пациента. Но мы были то, что называлось антисоветчики, и наш 19-летний сын, студент-медик, вырастал под этим влиянием. Деньги я успешно зарабатывал хирургией и публикацией стихов, но только самых аполитичных — для детей (свои антисоветские я прятал в стол). И за это я был «допущен в умеренно-благополучную ничтожно-покорную жизнь», как писал Солженицын. Но вот,

совершенно неожиданно и неоправданно, меня стали выживать с работы. Не в моём характере было сдаваться, я привык — достигать. И я решил, что если *они* меня не ценят, то они *меня* недостойны.

Хотя я не был верующим, но читал Библию и любил библейские мифы — великие темы интеллектуальной истории человека. Я находил в них много практической мудрости. В одном из них праведный старик Ной, живший среди распутников и безобразников, услышал Голос, велевший ему строить ковчег. Ной не знал, чей голос, и не знал, зачем его строить. Но послушался и построил ковчег. И поэтому спасся от потопа, насланного на грешную землю. И вот я стал думать: атака на меня — это ведь тоже как голос-сигнал мне! Надо уметь слушать Голос — надо уезжать и спасаться.

У Ирины был ещё один, свой взгляд на наше желание уехать. С чисто женской практичностью она мне много раз говорила: «В один прекрасный момент советская власть может запретить евреям уезжать — крышка захлопнется, как в мышеловке. И мы окажемся запертыми внутри.

Если ты решил, что нам есть смысл уезжать отсюда, что ты сможешь пробиться в Америке, то надо бежать — и чем скорей, тем лучше. К тому же наш сын постоянно слышит эти разговоры и растёт в атмосфере ненависти к советской власти. Ты подумал, что будет с ним, если нам не удастся уехать? Нет, нам необходимо скорей вырываться отсюда».

И она была права: чем скорей, тем лучше.

Я написал в Бельгию, моей двоюродной тётке Зине. В завуалированных выражениях я просил её организовать от кого-нибудь приглашение переехать в Израиль. В ту пору многие еврейские семьи получали оттуда приглашения от настоящих или выдуманных родственников. С начала 1970-х годов советская власть разрешила выезд, но только евреям и только в Израиль — для воссоединения семей. Не то, чтобы они так заботились о еврейских семьях, это был их вынужденный политический компромисс: по закону конгрессменов Джексона и Ваника, Союзу давалось право закупки американского зерна — и статус most-favored-nation — в обмен на разрешение выезда евреям. Очевидно, американское зерно коммунистам было нужней, чем их евреи. Мы не хотели в Израиль, мы собирались в Америку.

Америка казалась страной мечты. Её и называют Country of Opportunities — страна возможностей. Даже Наполеон после своего поражения собирался уехать в Америку. Я тоже проиграл и тоже хотел в Америку.

Я слышал, что врачам там приходилось трудно: они должны сдавать сложные экзамены, а потом несколько лет заново специализироваться. Не всем это удавалось, главным препятствием был, конечно, языковый барьер. Ирина и наш сын знали английский, а я не знал ни слова. Но я верил в Америку и верил в себя.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Осенью я уволился из института и вышел из Союза писателей. Невероятно горько было отказываться от завоёванного положения, сердце моё ныло и разрывалось. Чтобы не быть безработным и не получить обвинение в тунеядстве, я поступил на работу в маленькую поликлинику, в ветхом покосившемся домике в глубине захламлённого мусором двора на Петровке. После двадцати лет интенсивной и сложной хирургической работы, после управления клиникой, после того, как я был членом нескольких важных учёных советов, я принимал амбулаторных больных в тесном кабинетике и делал работу, которую вполне мог делать начинающий доктор. Это было громадным падением, я томился и страдал каждый день.

Конечно же, на новой работе я скрывал свои планы и старался избегать общения с сослуживцами. Если кто выражал удивление моим добровольным падением, я неохотно и туманно объяснял, что это временно, что собираюсь перейти на новую академическую работу.

В моём положении лучше было сторониться людей, да и настроение было не для общения — я занят был собиранием любой возможной информации о том, что же нас ожидает и предстоит нам в иммиграции.

Однажды дома раздался телефонный звонок, звонил секретарь Союза писателей Феликс Кузнецов, с которым у меня были неплохие отношения:

— Слушай, тут какая-то провокация: прислали по почте твой членский билет Союза, с письмом об отъезде в Израиль. Я не могу поверить, что это правда, и велел задержать твое формальное исключение. Скажи, ты не терял билет, или, может, у тебя его выкрали? Мы тогда закроем это дело: недруги есть у всех — они могли сделать эту провокацию.

— Нет, это не провокация, я сам отослал билет и написал письмо.

В ответ — молчание, а потом щелкнула повешенная им телефонная трубка. И вскоре пошли по Союзу писателей слухи: Голяховский уезжает в Израиль!.. Поскольку мы жили в писательском кооперативном доме, я почувствовал «прелесть» существования изгоем общества: многие перестали со мной здороваться, при встрече опускали головы и отводили глаза. Были среди них и мои бывшие пациенты, которые прежде стремились пожать руку и заглянуть в глаза. Лишь немногие, увидев меня около дома, останавливались и заговаривали.

Как-то столкнулся я лицом к лицу с Булатом Окуджавой. Я любил Булата, незадолго перед той встречей он был у нас с гитарой и пел свои знаменитые песни, в том числе и «Все поразъехались... Володя Васильев и Боря Месерер, вот кто остались еще в СССР». Я написал ему дружескую эпиграмму:

У Булата Окуджавы
Никогда слова не ржавы —
Все сверкают и горят,
Закаленны, как булат.

Уж его-то советская власть закаляла — постоянными гонениями и исключениями (прямо как в старые времена закаляли булатные мечи и кинжалы). Теперь, у нашего подъезда, он задержал мою руку в своей и грустно сказал:

— Я слышал, ты собрался уезжать.

— Да, собираюсь, — на всякий случай я решил не затягивать беседу на улице, нас могли увидеть вместе и потом донести на него: «якшается с предателем Голяховским».

— Не увидимся, значит, — Булат еще крепче сжал мою руку.

Другой смелый поэт и юморист, Яков Костюковский, увидев меня, ободряюще сказал:

— Ну, в тебе я уверен — ты и там не пропадешь. Я довольно много бывал за границей и встречался там с уехавшими отсюда. Почти все как-то устраиваются. По моим наблюдениям, кто здесь не был дерьмом — и там пробивается. Держись.

Смелей всех был мой сосед прозаик Василий Аксёнов. С ним мы свободно беседовали на глазах у всех, стоя или

гуляя возле дома. Умный мужик, он сам догадался, что я собираюсь в Америку, и подолгу рассказывал мне о своих двух поездках туда. Меня это интересовало и подбадривало. Он улыбался задумчиво и говорил в усы: «Врачи там живут богаааато», — растягивая это слово с удовольствием.

(Мы потом встретились с ним в Нью-Йорке, когда в 1980-х годах его самого насильно выставили из Советского Союза за издание «Метрополя». Обнимая меня, Аксёнов улыбался в усы: «Ну, вот, я же тебе говорил...»)

Как-то раз зашёл в мой кабинетик хирург Михаил Цалюк, высокий и красивый еврей.

Он был секретарём партийной организации поликлиники, и я сразу насторожился. А он потом зашёл ещё и ещё раз, мягко и ненавязчиво рассказывал, что он фронтовик, был с начала войны командиром взвода разведки, ранен три раза. И как-то незаметно вставил, что собирает дома еврейскую музыку. И мы постепенно разговорились. Миша был то, что можно назвать коммунист-сионист: днём вёл партийные собрания, а по вечерам изучал еврейскую историю и по радио, через глушение, интересовался делами в Израиле. И, в конце концов, он пригласил нас с Ириной домой — на еврейскую фаршированную рыбу, которую вкусно готовила его жена Броня. Мы разговорились по душам, и я поведал ему о наших планах.

— Я догадывался, — улыбнулся он. — С чего бы профессору переходить в нашу вшивую поликлинику? Ну, я тебе тоже признаюсь: мы с Броней собираемся в Израиль.

Теперь у меня появился на работе друг-единомышленник, и стало легче отсиживать там скучные часы. И вот однажды в моём почтовом ящике белел толстый конверт из Израиля — приглашение от какой-то будто бы моей тётушки. Она писала, что жить без меня и моего отца не может и хочет с нами воссоединиться, а потому просит советское правительство не препятствовать нашему с семьями выезду. Кто она была и как нашла нас, об этом я мог только догадываться.

И я засел сочинять легенду об этой «тётушке»: мы с отцом так её любим, что никак не можем без неё жить и очень просим отпустить нас к ней в Израиль. Родственные связи КГБ не проверял, то ли потому, что это было слишком

сложно, то ли потому, что знали: все евреи — родственники. Скорей всего, им было наплевать, лишь бы только в эмиграцию не стремились люди с допусками к секретным документам или ненавидимые властью диссиденты.

Советские анкеты — это одна из самых изощрённых форм издевательства над личностью: сотни вопросов о предках, о родственниках, о выездах за границу, о наградах и взысканиях и ещё чёрт знает о чём... Теперь мне нужно было заполнять анкеты на каждого члена семьи и собирать бесчисленные документы, выписки и справки. И я понуро таскался в разные конторы, сидел часами в очередях в тёмных и грязных коридорах, которые не изменились со времён Достоевского. Дождавшись очереди, я просил и убеждал неприязненно настроенных канцеляристов, доказывал, уговаривал, тайком подсовывал им мелкие подарки-взятки.

Когда у меня было высокое положение и влиятельные пациенты, передо мной раскрывались все двери, меня встречали с улыбкой. Теперь я никого не мог просить о помощи и претендовать на внимание не мог: по сути, я был уже никто. Ах, как это угнетало! Дома я стал заниматься английским с Ириной, читать сказки для самых маленьких. Весело, конечно, в 47 лет! Она к тому времени ушла с работы из научного института биологии, сидела дома и переживала за меня. Ещё больше мы переживали, что может стать с нашим сыном, если нам откажут. Его сразу выгонят из института, забреют в армию, а там будут бить и мучать, как сына отказника... Надо было иметь много душевных сил, чтобы выдержать это напряжение: падение в настоящем и неизвестность в будущем. Да и думы о переселении в новый мир стариков-родителей тоже беспокоили: как они всё это перенесут и выдержат?

И вот я принёс оформленные бумаги к чиновнице ОВИРа. Она узнала меня по прежнему выезду за границу с высокой протекцией.

— Что это вы, доктор, то в Югославию, а то в Израиль? — с улыбкой.

— Да так, знаете, хочу воссоединиться с моей любимой тётушкой.

— Ага, понимаю, — резко взяла бумаги, улыбка исчезла.

И потянулись дни и ночи нашего с Ириной беспокойного ожидания «разрешения свыше». Мой друг Норберт Магазаник получил отказ, это нас напугало. Мы расстроились за них и стали ещё больше опасаться за себя.

Многим тогда отказывали без объяснения причин, особенно интеллектуалам, хотя именно интеллектуалы и были поперёк горла власти, но не стоило искать логику в Советской России. Образовалась большая группа «отказников» — диссидентов и близких к ним. Кое-кто из них жил в наших писательских кооперативных домах, мы были с ними близко знакомы. У них устраивали обыски, взламывали паркет. Их судили и ссылали. Одного моего соседа, переводчика Костю Богатырёва, убили дома ударом бутылки по голове. Я прибежал на крики, но было уже поздно оказывать помощь.

Если бы всесильные агенты поднялись на три этажа выше и, не ломая пол, открыли ящик моего стола, они нашли бы в нём мои антисоветские стихи. Может, меня и не убили бы, но я легко мог поехать не на Запад, а на Восток — в Сибирь. Вот некоторые из них:

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

К 100-летию Ленина в СССР была возрождена традиция «Великого почина» — коммунистических субботников, бесплатной работы. Ленин в 1921-м первым носил бревно в Кремле.

Весенним днём, давным-давно,
Один мудак поднял бревно,
И с той поры полсотни лет
В его стране покоя нет.

Сумели люди из бревна
Наделать всякого говна,
Распространив на целый мир
Его, как лучший сувенир.

Обязан каждый всё равно
Боготворить всегда бревно,
С восторгом думая о том,
Что тесно связано с бревном,

И быть готовым каждый миг
Поднять истошно-бравый крик.
И как один все заодно
Ещё сто лет таскать бревно.

И хоть таскающим бревно
Должно бы это быть смешно,
Но что смешит их? угадай —
Их больше всех смешит Китай.

Как там, не зная о бревне,
В своём все возятся говне,
И вот уж двадцать лет подряд
Цитаты хором голосят.

И люди чешут языки:
— Ах, дураки!.. ах, чудаки!..
У них соломинка видна,
У нас не видно и бревна.

КУЛАК РОССИИ

21 августа 1968 года, день вторжения советских войск в Чехословакию.

Всегда в России было так:
Исход раздора или спора
Его Величество Кулак
Решал, как довод и опора.

Бывал с ним прав любой дурак —
Кто с кулаками, тот и гений;
Его Величество Кулак
В России выше убеждений.

Он и поныне не обмяк,
И не ослаблен он прогрессом.
Его Величество Кулак
Прогрессу стал противовесом;

Во всём его заклятый враг,
Тупой, холодный, злой и мрачный,
Его Величество Кулак
Зовёт прогресс на бой кулачный.

Опять, насилия маньяк,
Поднесённый под нос Европы,
Его Величество Кулак
Народы гонет рыть окопы.

Болгарин, немец, венгр, поляк,
Вас кулаком погнали к чеху,
Его Величество Кулак
Увидел в нём себе помеху.

Но и в беде есть добрый знак,
И с ним нельзя не согласиться:
Его Величество Кулак
Грозится, если он боится.

СЛАВЯНСКАЯ СТИХИЯ

К 150-летию восстания декабристов. Цитаты из Пушкина и из допросов декабристов.

В декабрьский день
У стен Сената
Угас надежд России свет,
И тлеет отблеск этой даты
Сто пятьдесят прошедших лет.

Свободы ветер из Европы
Овеял тёмных россиян,
И вот за своего холопа
Вступилась горсточка дворян.

Был смел их план и пыл неистов,
И в каждом добром сердце пусть
Разбудит имя декабристов
Восторг, сочувствие и грусть;
Что «истуканами стояли»,
Храня святую тайну секты,
Они парили высоко,
Рождая смелые прожекты
«Между лафитом и клико».

Пусть им дворяне были чужды,
Их честь, и спесь, и благородство
Превыше прочего всего;
А что же стержень руководства?
«Жеманство, больше ничего».
Не за дворян, не за Россию...
На смелость действия нет силы;
Когда момент судьбы настал,
Кто вёл солдат на край могилы,
Но рядом с ними сам не встал?
Покорность власти, страху, мукам...

Сбежал «в унынии и страхе»
Диктатор бунта Трубецкой,
«Вообразив себя на плахе,
И казнь свою в толпе людской»;

Ушёл растерянный Рылеев,
«В бессильи рухнувших затей»;
Не наказав огнём злодеев,
Покинул площадь и друзей.

Где Якубович? — сила злая,
Герой, бунтарь и дуэлянт.
Он «с разрешенья Николая
На штык навесил белый бант».

А те, кого мороз по спинам
В строю был рад заледенить,
Могли бы выстрелом единым
Судьбу России изменить;

Застыв в каре у стен Сената,
Уже на смерть обречены,
Что ж не стреляли те солдаты
Презрев и царство, и чины?!.

Подставя грудь под царский меч,
И «гордо милость отвергали»,
Пока не сбила их картечь?!

Пусть ненавистна барства плеть,
Но что им в этом было нужды,
— Когда над ними встала смерть?!

В тот день несли они в себе
Свою славянскую стихию —
Покорность рабскую судьбе.

Во всём покорность, хоть убей...

И перешла в наследство внукам
Стихия дедовских кровей.

Я был одинок и тосковал по общению с друзьями. А они стали меня избегать, как прокажённого: каждый подавший заявление на эмиграцию немедленно становился изгоем общества — желание уехать было почти равносильно измене Родине. Все хорошо знали пример осуждённого «за измену» Анатолия Щаранского, вся «вина» которого была в желании уехать. Друзья боялись со мной встречаться. При постоянной слежке, в атмосфере доносов дежурящих в подъездах лифтёрш на приходящих ко мне могла пасть тень. И тот мой друг, с которым я разговаривал год назад, тоже перестал мне звонить — телефон мог прослушиваться. Не желая навредить ни ему, ни другим, и я не звонил. Однажды поздно вечером всё-таки раздался звонок того друга:

— Слушай, я говорю из автомата, — приглушённо: — Хочу забежать.

— Конечно, заходи, — я обрадовался и приготовил остаток коньяка.

Но пришёл он не скоро, объяснил:

— Не хотел ставить машину возле твоего дома, запарковался в нескольких кварталах отсюда, поэтому и задержался.

— Я понимаю. Лучше быть осторожным.

— Ну как — получил разрешение?

— Всё ещё жду, скоро год уже.

Разговор не клеился, друг был какой-то неспокойный, точно боялся, что сейчас придут и арестуют меня, а он попадётся вместе со мной. Не так мы разговаривали все тридцать лет нашей дружбы, наступила между нами какая-то полоса отчуждения. Я понимал его опасения, но в душе страдал, чувствуя себя униженным и оскорблённым не только властью, но и отчуждением друзей. Это было типично советское, русское явление. Сто пятьдесят лет назад Ф.Тютчев писал:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Я в ту, Советскую, Россию больше не верил. И когда друг ушёл, я сел и написал стихотворение:

ОТЧУЖДЕНИЕ

Предавшим тридцатилетнюю дружбу перед моим отъездом из России.

Наши дружеские обычаи,
Где же вы в мой тяжёлый час?
Отчуждение и безразличие
Окружили меня вместо вас...

И друзья мои, бывшие братья,
Запропали куда-то вдруг.
И оставили без пожатия
Для прощанья протянутых рук.

Я их ждал, собирался проститься,
На прощанье хотел обнять,
Эти старые милые лица
Я увидеть мечтал опять.

Но молчал телефон, и двери
Дожидались напрасно их.
Привыкал я считать потери —
Отчужденье друзей своих.

Эту горькую неудачу
Не хочу пожелать и врагу;
Не зову, не жалею, не плачу,
Но понять никогда не смогу.

Безразличие и отчуждение
Поселяются в тех сердцах,
Где воспитаны от рождения
Послушанье и рабский страх.

И аршином его не измерить,
И умом этот страх не понять,
Можно только в него поверить,
Как в особую русскую стать.

В те грустные месяцы я писал много стихов. У меня были две профессии — хирургия и поэзия (как жена и любовница, по выражению моего двойного коллеги Чехова). Я был оторван от хирургии, и поэзия — это всё, что осталось во мне от прежней жизни. Ночами сидел дома

в своём кабинете, писал и всё думал и думал: разрешат — не разрешат? Иногда приходила завёрнутая в одеяло Ирина и грустно сидела на диване, думая о том же самом. Нам не надо было разговаривать — мы понимали друг друга молча.

Как-то раз я ей сказал: «Мне кажется, нас выпустят...» Она мне верила. Но на случай отказа у меня был план: мы фиктивно разведёмся с Ириной, она с сыном подаст новое заявление и уедет в Америку. Когда-нибудь потом я смогу присоединиться к ним. Как и когда? — этого я не знал. И не знал, как они вдвоём справятся там без меня? Но это мы не обсуждали: я уже выучил первую американскую поговорку: don't trouble troubles until troubles trouble you — не беспокойся о своих беспокойствах, пока беспокойства не побеспокоят тебя.

Но вот 30 декабря 1977 года с замиранием сердца я в очередной раз позвонил в ОВИР — узнать о движении наших дел.

— Вам разрешили выезд, — сказала капитанша КГБ.

Пытка ожиданием кончилась! С визами на руках я купил билеты в Вену на 8 февраля.

ОТЪЕЗД

По тогдашним правилам нам было предписано за день перед отлётом привезти рано утром на таможню свой багаж — «на досмотр» (как называли таможенники), или «на шмон» (как языком заключённых называли все другие). Для иммигрантов имелся короткий список разрешённых и длинный список запрещённых к вывозу вещей. Это и была единственная за весь период выезда официальная инструкция от властей.

Мы брали с собой только самое необходимое: для всей будущей жизни у нас на пятерых было восемь средней величины чемоданов — бельё, одеяла, дешёвая посуда и немного одежды. В двух чемоданах были две мои пишущие машинки (с русским и латинским шрифтами) и небольшой магнитофон сына. Всё это выгребали и раскладывали на длинных столах три таможенника — двое мужчин и женщина.

Нам полагалось стоять в стороне, чтобы не могли тайком ни вытащить, ни подложить что-нибудь запрещённое. Такие случаи бывали: люди пытались вывезти семейные драгоценности, что строго запрещалось. (Правда, в благословенной России всё можно сделать за взятку — только надо было уметь дать её поосторожней.)

Таможенники во всём мире народ настороженный, но советские особенно хмуры и к нам относились, как к врагам или контрабандистам: всё вызывало у них подозрение. На машинки они уставились даже с некоторым ехидством — ага, мол, попался!

— Это для чего?

Я мог бы ответить, что собираюсь продолжать писать стихи, книги и научные статьи. Но чем меньше объяснений, тем проще. Начать объяснять, это их только насторожит. Я просто сказал:

— Машинки разрешены к вывозу.

— Разрешена одна на выезжающего, — назидательно и с раздражением.

— Одна моя, другая моей жены.

С видимым неудовольствием мужчины перевернули машинки, заглядывали внутрь, освещали фонариком дно и механизм, только что не нюхали: не спрятаны ли там бриллианты или ещё что-нибудь. Потом долго трясли машинки, на всякий случай. Но они были добротного немецкого производства фирмы «Erica», и внутри ничего не застучало. Взялись за магнитофон.

— Магнитофоны положено разбирать, — опять с недоброжелательством на технику.

Один унёс магнитофон в заднюю комнату. Я видел, как исказилось от жалости лицо сына: это был его японский маг, подарок моей пациентки прима-балерины Большого театра Майи Плисецкой, и он боялся, что они его испортят.

Тем временем женщина вытягивала из чемодана одну за одной все мягкие вещи и с мрачным видом ощупывала их: нет ли чего спрятанного. Ирина следила издали, прикусив свой обычно острый язык. Слабый мой отец сидел на стуле и волновался, разрешат ли ему вывезти его семнадцать орденов и медалей. Он получил их на войне, где был главным хирургом танковой армии. Второй таможенник дотошно, с увеличительным стеклом, сверял номера на удостоверениях и медалях, временами бурча себе под нос. Очевидно, был недоволен, что наград много. Под конец он пошёл куда-то с медалями и вскоре вернулся без них:

— Ордена и медали вывозить за границу Советского Союза не дозволено.

Отец даже стал задыхаться, и я испугался за его сердце. Я пустился доказывать, что только Президиум Верховного Совета имеет право лишать наград.

— Да, конечно... бывают ситуации... некоторым мы иногда... разрешаем...

Ясно было — он ждал взятку. Я бы и дал, если бы это не были ордена, которые отец получил, рискуя своей жизнью, на фронте. Ни за что! Я опять доказывал. Он мрачно:

— Звоните в управление.

Я дозвонился! Меня так это задело, что я дозвонился до большого начальника — генерала КГБ Игоря Карпеца.

Он был моим пациентом, я когда-то спас его и лечил всю семью, мы даже встречались домами. В последний раз я воспользовался своими бывшими связями. Он меня не расспрашивал, а просто дал разрешение. Услышав высокое указание, таможенники прямо остервенели — всё остальное швыряли и дёргали. Удивительно: как ни мало мы вывозили с собой, но они нашли, что чайные серебряные ложки весят больше, чем полагалось на нас всех, и брать не разрешили. Отыгрались на ложках, чтобы показать свою власть. Ну и чёрт с вами! Недаром эмигранты прозвали эту процедуру антиностальгином.

Домой, в свою московскую квартиру, мы вернулись в последний раз. Мы переживали радостный и грустный момент жизни: наутро мы покинем наш дом и уедем из нашей страны. Где и каков будет новый дом? Никакого представления об этом мы тогда не имели.

Я никогда не был патриотом-идиотом, любящим свою страну только за то, что там родился. Любовь к стране должна основываться на уважении к ней, к её истории, к её общественному устройству. Если я что русское и любил, так это русскую литературу и искусство. А за тот последний год во мне накопилось много горечи и обиды на мою страну. В последнюю ночь в Москве я сел в последний раз за свой большой и красивый письменный стол и написал стихотворение:

ПРОЩАЛЬНОЕ

Я не кинусь тебе на шею,
Не возьму с собой прах твой, Русь —
Покидаю и не жалею,
Никогда к тебе не вернусь.

Ни берёзки твои, ни раздолье
Не заманят меня назад;
Без тоски и сердечной боли
Я расстаться с тобою рад.

Не придёт ко мне ностальгия,
Не заставит меня грустить —
Всё мне чуждо в тебе, Россия,
Всё мне хочется позабыть.

Рано утром мы снова в том же зале аэропорта, уже без вещей. И вообще почти без ничего: только билеты и визы. Не было паспортов, их отбирали вместе с советским гражданством (и за это ещё брали по 500 рублей с каждого, тогда это было много). Денег у нас тоже почти не было: при выезде разрешалось обменивать всего по 100 рублей на человека. Мы не только не имели права вывозить наши накопления, но даже лишались права получать пенсии. Я и жена проработали по 25 лет, а мой отец-ветеран — 50 лет. И за весь этот труд — ничего. И никаких документов у нас не было: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, диплом об образовании — ничего вывозить не разрешалось. К таким, как мы, вполне можно было применить поговорку: гол, как сокол. Если уж нас не раздевали физически, то отбирали всё, что составляет достояние современного человека. Страну, которая выпускает своих людей почти голыми, такую страну покидать было не жалко.

Объявили посадку на наш самолёт, и я напоследок пошёл в уборную. Там перед дверью стояла старуха-уборщица в грязном синем халате, повязанная серым платком. В руках она держала щётку для подметания с примотанной на конце тряпкой — её орудие производства. Чем-то разъярённая, она потрясала тряпкой и громко кричала:

— На сиденья сапогами становятся!.. Все сиденья обделали!.. Ну что за люди за такие — срать и то не умеют!..

Это были последние слова, которые я услышал на родине.

Всё на международном аэровокзале было устроено так, чтобы расставленные повсюду агенты КГБ в штатском могли следить за людьми и улетающие были изолированы от провожающих. В изоляции мы подходили к будкам, в которых издали видны были пограничники с темно-зелёными погонами. В узком проходе перед каждой будкой — складной механический барьер, преграждающий путь. С неприятным сухим щелчком он открывался после проверки документов. Для нас это ворота в новую жизнь. Шаг за этот барьер был тем волнительным моментом, которого мы так долго ждали. Не доверяя властям, я всё ожидал каких-нибудь препятствий и осложнений. По визам в Израиль пограничники знали, что мы эмигранты, и смотрели на нас враждебно. Поэтому перед будкой я стратегически расположил всех своих по порядку: первым проходил Владимир-младший, наш сын. Расчёт был такой: если вдруг пограничники стали бы чинить ему препятствия, то мы с Ириной, находясь позади него ещё на советской стороне, могли бы вступиться. А окажись мы за барьером, нас уже могли не впустить обратно. Поэтому я и поставил сына вперёд. После него проходила Ирина. Опять-таки, если в последний момент меня задержат, то хотя бы они оба улетят вместе, а мать ему там будет даже нужней. За ними пройду я. А стариков-родителей, скорее всего, задерживать не станут, так что они будут нас замыкать.

Я следил за тем, как пройдёт сын. Пристально глядя на него, офицер, его же возраста, процедил сквозь зубы:

— Молодой ещё, смотри — потом пожалеешь.

Шарнир барьера щелкнул — открылся. На этот раз щелчок показался мне музыкой: сына выпустили! Дальше всё шло гладко, и вот мы — за границей Советского Союза! И под холодными, как штыки, взглядами пограничников стали обниматься.

Наш Ту-34 летел в Вену почти пустой, и мы были единственные пассажиры в первом классе. Я купил эти дорогие билеты, чтобы израсходовать оставшиеся, уже ненужные рубли. Перед отъездом раздал родственникам все деньги, которые ни на что уже не могли нам пригодиться, а на последние решил шикануть. Это был как бы мой вызов-усмешка прошлому: вот, вы нас здесь унижали и третировали целый год, за это улетать мы будем, как важные персоны. Ещё и не поднялись в воздух, как стюардесса подала нам бокалы с шампанским. Мы выпили за нашу свободу!

Самолёт делал круг над аэродромом, и я впился глазами в то, что видел внизу. Знакомые узкие шоссе, кривые дороги от них, чахлые серые перелески, поля под снегом, кое-где убогие деревеньки. Сверху они выглядели даже ещё более убогими.

Я смотрел на Россию в последний раз и испытывал жалость к её убогости. Но вот мы поднялись в облака. Я оторвался от окна: две стюардессы сервировали для нас шикарный завтрак: вкусный хлеб, вологодское масло, аро-

матно пахнущие сосиски, свежие пирожные и, конечно, чёрная и красная икра. Этого не купишь в обычном магазине, и, конечно, мало кому такое доступно. А мы будем пировать! После завтрака я решил размяться и пройтись вдоль общего салона позади нас. Там, в самом конце, сидели два нахохлившихся мрачных мужчины. Пока я ходил взад-вперёд по длинному проходу, они исподлобья следили за мной. Взгляд был довольно профессиональный: это были агенты КГБ — непременный атрибут каждого советского самолёта. Даже уже выпущенные из Союза, мы всё ещё находились под их бдительным оком.

И вот стали снижаться — значит, вблизи Вена. Раздался характерный стук выпущенных шасси, и вот уже коснулись земли. И не просто земли, а земли свободной. Мы с ликованием переглянулись. Самолёт подрулил к вокзалу, и нам подали лестницу. Мы спустились на заснеженную землю Вены. Я жадно вдыхал морозный воздух свободы. Оглянулся — за нами никто не вышел. Значит, агенты остались позади и мы уже недосягаемы. Тогда я плюнул в сторону самолёта: меня просил об этом мой друг Норберт Магазаник. Сам он это сделать не мог: ему отказали в разрешении на выезд. Нас сопровождала элегантная австрийка из таможенной службы. Когда я выразительно плюнул, она покосилась на меня и улыбнулась. Она встречала многих иммигрантов из Союза и поэтому поняла, наверное.

ПЕРЕСЫЛОЧНЫЙ ПУНКТ ВЕНА

Венский аэропорт был для нас воротами в Европу. По сравнению с московским всё здесь было намного цивилизованней и человечней. Войдя внутрь, мы проходили вдоль стеклянной стены, за которой стояли встречавшие, — не было изоляции людей друг от друга, как в Москве. И в той толпе мы увидели радостные лица наших близких — встретить нас приехали две пожилые двоюродные сестры моего отца, Зина и Берта, и наши друзья Коля и Лена Савицкие. Это они нашли мне «израильскую тётушку» и помогли нам вырваться. Мы прильнули к разделявшей нас стеклянной перегородке, радостно улыбаясь друг другу.

Расстанавливаться нам по порядку здесь не было необходимости — австрийцы приветливо проверяли наши визы. В их взглядах не было недоверчивости и враждебности, как у хмурых советских пограничников. Они хорошо знали, кто такие люди из России — в те годы массовая волна эмигрантов-евреев протекала через Вену. Президентом Австрии был еврей Бруно Крайский, который разрешил использовать её как пересылочный пункт на пути эмиграции (дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем в те годы не было).

Только мы прошли контроль, к нам устремилась какая-то молодая женщина.

— Шалом! — приветствовала она нас певучим голосом. — Вы доктор Голяховский? — она сверилась с записью в блокноте: информация о выезжающих была налажена чётко.

— Шалом, — ответил я на непривычном еврейском, — это я.

— Куда вы едете, в Израиль или в Америку?

— Мы едем в Америку.

— Вы хорошо подумали? В Израиле вы нужней. И возможностей там для вас больше.

(Предыдущие иммигранты писали нам об этой миниагитации в аэропорте.)

— Спасибо за предложение, но мы хотим ехать в Америку.

Она продолжала настаивать:

— В Америке вам будет намного трудней. И вашему сыну тоже. Подумайте хорошо.

— Мы всё уже твёрдо решили.

— Если вы передумаете, мы завтра же переправим вас всех в Израиль. И вы сразу начнёте работать.

— Извините, но наше решение твёрдое.

По правде говоря, я не ожидал такого натиска. Это было время, когда в Израиль ехало не так много народа, как потом, и он был готов биться за каждого иммигранта. Неудивительно, если кое-кто из беженцев менял решения под этим давлением. Но я не поддался.

Сзади к нами уже подходили наши встречающие. Израильтянка отступилась.

Но вот, наконец, мы обнимаем наших близких. Зина кричит:

— Свободны, свободны!

Отец целуется с Бертой, оба плачут. Они однолетки и в молодости были влюблены друг в друга. Не виделись шестьдесят лет. Объятия, поцелуи, восклицания — всё будто во сне. Ведь мы действительно впервые в жизни свободны!

Опять подошёл незнакомый мужчина:

— Вас ждёт машина, везти в гостиницу для беженцев. Чемоданы до переезда дальше брать нельзя. Переложите в сумку лишь то, что понадобится в гостинице.

Вот тебе на! В суете мы с Ириной начали отбирать: запасное бельё, пижамы, чашки, ложки, что ещё? — мыло, носки.. да, носовые платки! А пледы, если будет холодно? Клади пледы! Ещё что-то необходимое. Наконец, втиснулись в микроавтобус «Форд». С таким малым количеством вещей мы по-настоящему почувствовали себя беженцами.

Маленькая неблагоустроенная трёхэтажная гостиница за Дунайским каналом вся пропиталась запахом варёных кур: в каждой комнате размещалась целая семья, независимо от числа людей, и каждая семья варила дешёвых кур на привезенных с собой электроплитках.

Всё устройство беженцев было нелегальное и оплачивалось американским правительством и из частных еврейских пожертвований. Эта гостиница, больше похожая на заезжий двор, принадлежала богатой венке по имени мадам Бетина. У неё была сеть роскошных отелей и шикарных магазинов. Как дополнительное «дело» она содержала несколько старых домов, приспособленных под временное прибежище неприхотливых русских евреев. Размещала в них втрое больше людей, чем было мест. И так же нелегально получала за это втрое больше денег от еврейских организаций. Условия были примитивные: комнаты маленькие, по коридорам бегали дети и ковыляли старики, туалет и умывальники общие для всех, там стояла длинная очередь. Душа не было вообще. Но беженцы жили здесь не дольше десяти дней и потом переправлялись дальше — в Рим. Всем выдавали на руки австрийские шиллинги на ежедневное существование из расчёта $3 в день. На эти деньги в ресторан не разбежишься. Поэтому все покупали продукты в ближайшем крохотном магазине, а куры были дешевле всего.

Нас пятерых тоже разместили в одной комнате: две кровати, стол и большое зеркало, а посередине ещё стояли три узкие железные койки с тощими матрасами, сереньким бельём и тонкими одеялами. Хорошо, что мы успели захватить пледы! Меня эти условия не могли очень тяготить, я долго жил в советских коммуналках и легко переносил общие туалеты и умывальники. Но бедная моя Ирина никогда не жила в таких условиях. Она сразу заметно помрачнела, я обнял её и спросил на ухо:

— Что с тобой?

— Вот она — жизнь иммигрантская. Такой я её себе и представляла, — и на глазах у неё появились слёзы.

— Всё будет хорошо. — шептал я ей, чтобы нас не слышали. — Это начало трудное, потом всё будет намного лучше. Старайся не обращать внимания на мелочи быта.

Вздохнув, она пересчитала полученные шиллинги и отправилась в магазин напротив. Вернулась она оттуда быстро, повеселевшая и возбуждённая, неся два пакета с продуктами.

— Вы не поверите, — воскликнула она прямо с порога, — в этом маленьком магазинчике чего только нет! Там абсолютно все продукты, каких мы никогда даже вообще

не видели в Москве: йогурт, сыры, колбасы разные, бананы — бананы зимой, представляете! Пойдём вместе, сами посмотрите. Ей-богу, просто чудо, а не магазин.

Это было так неожиданно, что мы всей семьёй, со стариками, отправились туда, как на экскурсию, благо что вместо привычных для нас длинных очередей покупателей было совсем мало. Ирина всё показывала с энтузиазмом экскурсовода:

— Смотрите — здесь!.. видите это?.. поглядите сюда!.. а вот бананы!..

Моя мама застыла в изумлении. Изобилие и красота произвели на неё такое впечатление, что она вдруг стала плакать... Теперь мне пришлось успокаивать ее:

— Ну, что ты, мама, что с тобой? Успокойся.

Она вытирала слезы и говорила:

— Ничего, ничего, это пройдет... Я плачу о моем бедном русском народе, который никогда, никогда не видел ничего подобного... Я прожила там всю мою жизнь и даже не имела представления, что такое возможно... Несчастные советские люди, несчастная страна, как мне их жалко всех!..

Откровенно, я тоже испытывал ощущение некоторого возбуждения от этого изобилия. А ведь магазин был маленький — это ещё только начало наших будущих удивлений. Перед нами открывался новый мир: сколько будет ещё таких возбуждающих столкновений с ним! И сколько раз мы будем сравнивать нашу прошлую жизнь с новым настоящим!

В первый же день я увидел, что по всем углам гостиницы валялись старые журналы и газеты из США, Западной Германии, Франции и Израиля. Даже далёкие от политики пожилые женщины с удовольствием листали всё это. Среди нас преобладали мелкие служащие — бухгалтеры, конторщики, продавцы, кладовщики; или ремесленники — часовщики, портные, сапожники. Они не были диссидентами, но оставили позади тяжёлый груз общего морального подавления властью и личные обиды от антисемитских притеснений. По свежим следам особенно много рассказывали, как таможенники их «шмонали» и отбирали вещи, каждый жаловался, что что-то не разрешили вывезти, а что-то отобрали. «Антиностальгин» помогал не тосковать по родине. Выходя в коридор из своих комнат, незнакомые друг с другом впервые в жизни не боялись открыто говорить о том, что думали.

Впрочем, некоторая настороженность и подозрительность оставались. В очереди в туалет горячо обсуждали, что надо бояться стукачей-доносчиков, что среди нас должны быть засланные агенты КГБ, которые могут передавать обратно в Союз сведения о тех, кто много разговаривает, а там за это станут вредить их родным и близким. Говорили, что подосланные агенты могут даже завербовать беженцев. Меня отвёл в сторону доктор-психиатр, знакомый по Москве.

— Слушай меня, вот с этим и с той (он указал на отдельно стоявших мужчину и женщину) — с этими молчунами в разговоры не вступай — наверняка засланы. Поверь мне: я их насквозь вижу. Почему они молчат, а? Выслеживают, падлы.

Я украдкой глянул в их сторону — стоят, ожидая свободной кабинки туалета. Может быть, им в тот момент не до бесед было. Зная странности и подозрительность многих психиатров, я скептически отнёсся к предупреждению. И уже потом узнал, что оба они оставили в Союзе свои семьи и теперь тосковали. Им болтать не хотелось...

Вечером в гостинице началась бойкая торговля. В полутьме коридора один из другим стали появляться перекупщики товара. Говорили они на ломаном русском. Люди выносили им из комнат кто что привёз — дешёвые русские сувениры: часы и фотоаппараты неважного качества, полотняное постельное бельё, посуду, хрусталь, банки с чёрной икрой, советское «шампанское» и водку. По одному предмету на человека это разрешалось вывозить с собой. Беженцы ещё в Союзе были хорошо информированы, что и где можно продать на этапах иммиграции, накатался тракт торговли этими товарами. Перекупщики мельком оглядывали знакомый стандартный набор и предлагали низкие цены. Но наших провести было трудно: они знали, какой эквивалент к русской стоимости можно было получить за всё это, и умели упорно торговаться.

Стоя с полотенцем через плечо в очереди в туалет, я слышал приглушённые жаркие переговоры в ближайшем конце коридора:

— Али вам денег не нуждаться, а? — спрашивал перекупщик.

— Ого, ещё как нужны! Но за мой товар мне нужны настоящие деньги.

— Я давать карош деньги.

— Вы смеётесь? Сто шиллингов? За такой первоклассный товар!

— Я товар знать, ему столько не стоить. Сколько вам хотеть?

— Триста шиллингов. Или я продам другому.

— Одна сто и пятьдесят.

— Э, да я с вами только зря время трачу. Двести пятьдесят и покончим с этим.

— Вы не хотеть деньги?

— Ой, он меня с ума сведёт! Я сказал — двести пятьдесят. Ну, двести двадцать пять.

— Пожалуйста, может продавайть другому. Одна сто и семьдесят пять.

— Слушайте, хотите по-деловому? — Двести шиллингов.

— Вы меня хотеть разоряйть.

— Нет, это вы меня хотите ограбить.

— Одна сто и весемьдесят пьять.

Очевидно, на этом и поладили, потому что диалог прекратился, и возбуждённый жилец из соседней комнаты прошёл мимо меня. На ходу он бросил, ища сочувствия:

— Жулик! Все тут жулики. В России все были дураки, а здесь все — жулики.

Я сделал неопределённый жест, вроде того, что сочувствую ему, и пошёл вниз к коменданту, чтобы позвонить в Москву Ирининой матери и сказать о нашем благополучном переселении в новый мир. Но международные звонки из этого заезжего дома не принимались. Комендант, один из беженцев, живший здесь уже несколько недель, дольше всех других, строго и надменно сказал:

— Идите на почту и оттуда звоните. Но вернуться до десяти часов. Потом запру и впускать не буду. Это приказ самой Бетины.

Мы с Ириной заторопились. Идти надо было по широкой малолюдной улице в сторону канала. Старинные красивые дома в темноте полуосвещения фонарями и яркие богатые витрины — всё отличалось от нашего прошлого окружения. Я шёл, смотрел по сторонам и от быстрой ходьбы стал немного задыхаться. И вдруг что-то странное произошло со мной: не во сне, а как будто наяву мне привиделась мистическая картина — я нахожусь внутри какой-то длинной и узкой трубы, в её дальнем конце я вижу слабый туманный свет и, видя это, я вдруг ясно ощущаю, прямо-таки чувствую, как *что-то* отделяется от меня, покидает моё тело и начинает медленно уплывать к свету, к дальнему концу трубы. Я вижу *это* скрывающееся... Что *это* было, что ушло из меня? Никогда прежде я не испытывал никаких мистических чувств и ощущений. Я остановился. Странное облегчение охватило меня, стало легче дышать. Ирина смотрела на меня с удивлением и тревогой. Я сказал ей:

— Знаешь, моя прошлая жизнь только что покинула меня.

Рано утром 9 февраля 1978 года в новом качестве свежих политических беженцев мы поднимались по пыльной широкой лестнице старого и запущенного венского дома.

В квартире на третьем этаже размещались еврейские организации, ведающие переправкой беженцев в Израиль, Америку и по всему миру. Дверь открыл высокий неопрятный старик с небритыми впалыми щеками. Мы были первыми посетителями, и он холодно-неприветливо уставился на нас. От его вида я даже растерялся, и пока размышлял, как и что сказать, он молча сунул мне в руки пять толстых анкет: на нас всех. Пока я их заполнял, тот мрачный страж ещё много раз открывал двери и так же молча совал анкеты другим прибывающим. Серый холл с обшарпанными стенами весь забился русскоязычной толпой, стало тесно, душно и шумно. Все проходили одну и ту же процедуру: сначала вызывали семьями в маленькую комнату на беседу с представительницей израильской организации Сохнут. Она говорила по-русски и всем предлагала ехать в Израиль. Подошла наша очередь.

Женщина посмотрела на нас, заглянула в наши бумаги.

— Вы доктор из Москвы?

— Да, из Москвы.

— Вы доктора Саховича знали?

— Конечно, знал. Одно время мы работали вместе.

— Это мой брат. Я ведь тоже бывшая москвичка.

Ей захотелось поговорить, расспросить про брата и Москву. В конце короткой беседы она понимающе взглянула на нас:

— Ну, а в Израиль — ни за что?

— Знаете, мы любим и поддерживаем Израиль во всём, но жить хотим в Америке.

Представительница вздохнула, записала что-то в наших анкетах и передала их в соседнюю комнату. Там была другая еврейская организация, международная — Джоинт. Значит, первый этап позади.

Мы ждали уже полдня, были голодны и устали, я с трудом нашёл свободные стулья для моих стариков. Вокруг гудела толпа и я с любопытством присматривался: всех нас теперь связывала общность положения. Большинство было семьями по 4—5 человек, молодых и пожилых поровну. Преобладали семитские лица, но и смешанного типа много. Половина была с маленькими детьми, но и совсем старых тоже немало — выезжали по три, а то и по четыре поколения: для евреев семейная сцепка — главное. И все говорили и говорили, без умолку. По всему холлу разносилось характерное южнорусское произношение, с явным одесским акцентом. Были евреи из среднеазиатских республик, они говорили на своих наречиях. Все были возбуждены необычной обстановкой и встревожены. Евреям не привыкать тревожиться, но здесь было совсем особое дело — давался старт в новую жизнь в чужих краях.

Наконец нас с Ириной и сыном вызвали в комнату Джоинта. Оказалось, что наши анкеты вызвали сомнения: поскольку моя мама была русская, то по еврейским законам я не считался евреем, насмотря на отца-еврея. Но если так, то надо было доказать, что в нашей семье есть хоть один полный еврей — Ирина. Без этого наши анкеты не могли быть переданы в третью инстанцию — американскую еврейскую организацию ХИАС.

У Ирины оба родителя были евреи, но имя её покойного отца, русского писателя, — Евгений Бермонт — не звучало для них еврейским. Иринины словесные доказательства сотрудников не убеждали. Она так разнервничалась и разгорячилась, что нас решили передать самому президенту Джоинта. Ждали ещё долго, волновались: если еврейские организации нас не примут, то мог взять русский фонд Татьяны Львовны Толстой, дочери писателя. Но этот фонд не имел таких средств и влияния.

Кабинет президента Джоинта был обставлен в солидном прошловековом стиле. Толстый пожилой президент сидел в кожаном кресле за большим письменным столом. Он говорил с нами на английском, и я почти ничего не понимал. Ирина отвечала, подбирая слова с видимым трудом. Она в детстве учила язык и неплохо читала, но разговорной практики у неё не было.

— Как вы можете доказать, что вы еврейка?

— Это видно по мне.

— Внешность обманчива, да вы и не выглядите типичной еврейкой.

Насчёт обманчивости внешности он был не совсем прав — один взгляд на него самого сразу определял его еврейское происхождение. Но что было делать нам?

— Мне странно, — Ирина стала говорить с возмущением, — в России я всю жизнь должна была скрывать, по возможности, моё еврейское происхождение, а теперь мне приходится его доказывать.

— Расскажите о себе: исповедовали ли вы еврейскую религию, зажигали ли свечи по пятницам, ходили ли в синагогу по субботам?

— Нет, ничего этого я не делала.

— Почему?

— Потому что я не религиозна, — и добавила, — в традиционном смысле.

Наступило молчание. Судьба повисла на волоске. Вдруг Ирина выпалила обрадованно:

— Но я написала Библию!

Президент буквально подскочил в кресле:

— Что вы говорите! Наконец-то я вижу перед собой человека, который написал Библию! — воскликнул он.

Тут Ирина поняла свою ошибку-оговорку: вместо «прочитала — I've read» она сказала «написала — I've written». Конечно, это было от сильного волнения и слабого английского. Я сначала не понял, в чём дело, но сын наш сидел смущенный — он знал английский. Президент хохотал, Ирина краснела и оправдывалась. Тут и я разобрался и стал тоже говорить, что и я читал Библию, люблю её и многие её истории знаю досконально почти наизусть. При этом я настаивал на слове «читал».

Невольная Иринина оговорка так развеселила президента, что без дальнейших расспросов он признал за ней её еврейство. Наши документы передали в американский ХИАС, это значило, что мы отстояли первый этап доступа в Америку. Так Библия помогла нам во второй раз.

Мы вышли на заснеженные улицы Вены в тёмный холодный вечер. Дул ветер, мела позёмка, но настроение у нас было радостное. При свете в окнах и при огнях фонарей город казался нам ещё прекрасней. Перед нами высился силуэт старинного кафедрального собора Святого Стефана, древнего готического красавца. Его подсвеченные башни высоко врезались в темнеющее небо. Моя религиозная мама захотела войти и помолиться, чтобы поблагодарить Бога за наше освобождение. Что ж, Бог — один на всех и он нам помог. Будем считать так. Мы вошли в собор с чувством благодарности.

На второй вечер нас пригласили на обед в гостиницу «Каприкорн» наши бельгийские друзья Савицкие и мои тётушки.

«Каприкорн» был настоящей венской гостиницей — не в пример нашей халупе. Мы там наелись и отогрелись с нашими близкими — за весь тяжёлый день среди непривычных условий и чужих людей. К тому же, с Колей Савицким у меня были важные дела: я переправил с ним оригиналы наших документов и кое-какие драгоценности, за которые надеялся получить хоть какие-то деньги в Америке.

Когда советские власти издавали строжайшие запреты на вывоз личных ценностей, а таможенники рьяно шмонали багаж эмигрантов, они хотели этим заставить евреев отказаться от нажитого. Они были просто-напросто наивны: и исторически, и по их характерам не было и нет такой силы, чтобы заставила эту самую талантливую в коммерческом мире нацию отказаться от своих богатств. Ещё в Библии сказано, что, покидая Египет, они сумели вынести с собой много золота и серебра. И теперь тоже разными путями люди умудрялись вывозить и переправлять на Запад свои большие и малые накопления и ценности.

Я не был очень богатым человеком, но я бы сам себя не уважал, если бы позволил советской власти лишить нас всего, что мой отец, видный московский хирург, и я сам заработали тяжёлым трудом за всю жизнь. И я долго обдумывал, как реализовать наши деньги, чтобы суметь получить за них хоть что-то за границей. Наилучший путь был — купить на все деньги драгоценности и суметь переслать их туда. Но как? Необходимы два условия: чтобы человек, с которым я это переправлю, не рисковал сам, если таможенники обнаружат у него незаконно перевозимое, и чтобы я сам тоже не рисковал, что этот человек не вернет мне наше добро. Для этого нужно было иметь в одном человеке сочетание большого друга и важной персоны. Раньше у меня были связи, но в моей ситуации перед отъездом это было просто невероятно. Однако — кто ищет, тот найдёт. Помогло мне самое распространённое качество советских боссов — их всемирно известное взяточничество.

За несколько месяцев перед нашим выездом Коля Савицкий был в Москве как секретарь бельгийской делегации от крупной металлургической фирмы «Кокриль—Угре». Для успеха своих деловых переговоров они привезли дорогие подарки и приглашения приехать в Бельгию. За эти дары-взятки бельгийскую делегацию нежно опекали и пестовали важные начальники, которые числились по науке, но все были в чинах не ниже полковника КГБ. Коля, смеясь, рассказывал всё это у нас дома:

— Ваши советские ничего не хотят делать без подарков. Мы уже давно просили их подписать деловое соглашение на поставку нашей стальной продукции. Они тянули два года. Теперь, когда мы привезли им подарки, они вдруг сразу согласились. Они готовы нас на руках носить, а мы им всё время что-нибудь подбрасываем.

Умеренно посмеявшись, я спросил:

— Коля, если вас принимают как важных персон, то будут ли советские таможенники при отлёте из Москвы обыскивать ваши вещи?

— Конечно, нет. Обычно они подвозят нас на машине через специальные ворота — к самому самолёту, с почётом. И сопровождают прямо до кресел в самолёте. Мы не проходим таможенного контроля. Я уверен, что и на этот раз будет так же.

— Могу я попросить тебя взять наши документы и кое-какие драгоценности?

— Конечно, никаких разговоров! Документы я вложу в наши деловые бумаги, а драгоценности просто перевезу в кармане: металлический детектор на золото и бриллианты не звенит, а обыскивать меня не станут. Не волнуйся.

Мы в шутку условились называть это операцией «Ы», чтобы никто не знал. Я стал тайно скупать золотые царские монеты и старинные бриллиантовые украшения, даже ездил за этим в далёкий приуральский городок, где у знакомой семьи со старинных лет хранились в сундуках купеческие драгоценности. Это было и непросто, и небезопасно — частная торговля золотом и драгоценностями наказывалась тюрьмой. Но я сумел закупить всего на 20 тысяч рублей, что тогда было довольно большой суммой. Коля благополучно всё перевёз и дал мне знать: «завершена операция «Ы».

Теперь, в Вене, мне нужны были наши документы, чтобы передать их в американскую организацию ХИАС. Это давало мне преимущество более быстрого оформления разрешения на въезд в США. Но драгоценности брать в нашу гостиницу я побоялся — в том заезжем доме могли легко и обокрасть. Взял лишь 500 долларов, которые он когда-то предложил мне в обмен на рубли в Москве. Они были нужны нам позарез — на полагающиеся $ 3 в день существование было полуголодное.

И вот с папкой, наполненной важными бумагами, мы подходили к нашей гостинице. У входа стоял большой чёрный «Мерседес». Оказалось, что приехала сама хозяйка — мадам Бетина. Энергичная женщина за пятьдесят

лет, она быстрым деловым шагом обходила коридоры и лестницы, принюхиваясь к тяжёлому запаху тесного жилья без душа, да ещё подкреплённому ароматом варёных кур. За ней на отдалении следовал муж-старик, флегматичный польский еврей, за ним бежала маленькая белая собачка с бантиком на шее и семенил наш комендант. Куда девалась его надменность?! — всей фигурой и любезным выражением лица он выражал готовность выполнить первые же указания Бетины. Хозяйка распоряжалась на ходу. Она неплохо говорила по-русски.

— Завтра полиция придёт проверять все комнаты, — сообщила она сгрудившимся на лестнице беженцам. — Надо, чтобы в каждой комнате стояло по две кровати, не больше, и чтобы днём в гостинице было как можно меньше народа. Поэтому с утра все должны уйти, оставаться могут только старики и больные. Рано утром начнём выносить лишние кровати и проветривать эту вонь (она выразительно повела носом). Вечером всем можно будет вернуться, и мы снова расставим кровати. Кто хочет помогать мне в этой работе? Я плачу 10 долларов за рабочий день.

Слушали её с молчаливым почтением — как-никак, хозяйка, первая настоящая миллионерша на нашем пути. Но недовольно потупились, когда им было предложено провести где-то вне дома целый холодный февральский день. На призыв работать никто не откликнулся. Хотя слово «доллар» было магически привлекательным, однако, по самому приблизительному подсчёту, $10 за целый день физического труда было мало. Сосед шепнул мне на ухо:

— И эта тоже жулик. Все жулики.

Наш сын вызвался заработать. Рослый и здоровый парень, ему только недавно исполнилось двадцать лет. Бетина посмотрела на него с восхищением.

— Сколько у вас таких сыновей? — спросила она Ирину.

— Только один.

— Таких надо было народить дюжину! — сказала хозяйка.

На другой день я отвёз моих стариков в «Каприкорн» к отцовским кузинам. Им было о чём поговорить после — всего-то — 60-летнего перерыва. Сын остался работать в гостинице, Ирина решила ему помогать — работы мно-

го, а это был первый рабочий опыт в его жизни. Я поехал в ХИАС со всеми документами в кармане.

Сотрудники ХИАСа поразились обилию наших дипломов: три о высшем образовании, три на степень кандидата наук, на степень доктора наук, на звание доцента и профессора хирургии, четырнадцать патентов из разных стран на изобретения, список более ста моих статей и книг. Все сгрудились вокруг меня и с любопытством и уважением рассматривали дипломы с золотыми советскими гербами. Они никогда не видели таких бумаг, оригиналы вообще к ним редко попадали, и среди беженцев было очень мало людей с такими «многоэтажными» учёными достижениями. Мне пришлось объяснять значение каждого диплома (с помощью переводчика, конечно). Тут же сделали фотокопии, чтобы перевести их на английский и переправить в американское посольство в Риме, а оттуда — в Государственный департамент Соединённых Штатов Америки. Услышав слова «Государственный департамент», я даже засмущался и спросил:

— Неужели важные люди в Америке будут читать наши дипломы?

— Конечно, будут читать. Вы ведь тоже — важные люди.

За последний год перед отъездом я настолько отвык быть важным человеком, что эта оценка и такое отношение меня даже растрогало.

На все это ушёл чуть ли не весь день, и когда я возвратился в гостиницу, там шёл шурум-бурум. Ирина, усталая, раскрасневшаяся, с засученными рукавами, рассказала мне, что полиция только что ушла, что хозяйка сумела «втереть им очки», водя по пустым комнатам. Теперь наш сын заносил обратно железные койки и матрасы. Выглядел он усталым, и Ирина ему помогала. Наши беженцы гуляли по улице вблизи дома, притопывая и прихлопывая от холода и голода, и уныло поглядывали на окна. Наконец комендант открыл двери и крикнул:

— Мадам Бетина разрешает всем вернуться.

Беженцы кинулись по комнатам, как бегут занимать верхние полки вагонов на советских вокзалах (очевидно, привычка). И все стали варить кур. Свежий, проветренный воздух быстро сменился насыщенными куриными испарениями.

Сама миллионерша не гнушалась никакой работой и с утра протолкалась с нашим сыном и Ириной, помогая указаниями, проветривая комнаты, а то и поднося кровати. За день она сошлась с Ириной и всё время с ней говорила, в основном критикуя своих постояльцев:

— Все ваши жалуются, что им плохо жилось в Союзе. А посмотреть на женщин — так все приезжают такие толстозадые!.. Если им было так плохо, то как это им удалось наесть такие задницы? Все упитанные, а только выйдут из автобуса у порога гостиницы, сразу спрашивают: «Где тут поесть можно?» Им на диету нужно, а не обжираться, вот! А какие гладкие, какие намазанные с ног до головы. Так-так. И все хорошо одеты; безвкусно, но добротно. Интересно, а? А какие вещи многие привозят с собой! И картины, и иконы старинные, и драгоценности. У меня таких вещей нет. И все хотят за них очень дорого. Я не могу себе позволить покупать так дорого. Пусть другим продают. Так-так. И все жалуются, что им в Союзе жилось плохо, что их там обижали. А откуда же тогда у них всё это, а?

Бетина сама была еврейка и выходец из какой-то восточноевропейской страны с неустойчивыми границами. Она, конечно, понимала разницу между той жизнью, которую сама когда-то оставила, и той, к которой стремились потоки её постояльцев. Но в её словах была наблюдательность: далеко не все беженцы выглядели таким несчастными, какими старались себя представить в своих рассказах.

А были и такие, которые хвастали, какое важное положение они занимали. Выдавая себя за начальников и специалистов, повышая уровень достигнутого в прошлом, они так и писали в своих анкетах в ХИАСе — надеялись таким образом получить в будущем более выгодную работу. Бывшая маникюрша выдавала себя за заведующую парикмахерской, ей казалось, что это придаст ей больше общественного веса. Завхоз какой-то мелкой организации выдавал себя за заместителя директора крупного завода. Одна медицинская сестра из Харькова выдавала себя за врача. Меня она называла «коллега». Уже потом и не сразу выяснялось, кто был кто.

Я не распространялся на темы моего прошлого: московский хирург, но о бывших должностях и книгах не

рассказывал. Да и какое значение имели прошлые заслуги нашей массы беженцев — всем нам предстояло начинать наши жизни сначала.

Из-за тесноты и бедности нам приходилось жить в круглосуточном общении друг с другом, делить быт совершенно несхожих людей. Беженцы бывали подозрительны, между ними легко возникали словесные перепалки и ссоры. Но мне было интересно наблюдать за ними. Чем больше я видел этих людей, потоком хлынувших на Запад, тем больше понимал, что это было отражением исторического процесса, одной из сторон распада Советского Союза. До чего разнообразна была эта масса! Живя в Москве, я почти никогда не соприкасался с таким многообразием типов, которых увидел здесь.

Основное ядро было из юго-западных областей Украины, России и Молдавии. Там они сумели сохранить себя со времён первых поселений в черте оседлости двести лет назад, пережить ужасы погромов почти сто лет назад и всё же размножиться и достичь какого-то укрепления позиций. Это была цепкая и практичная группа евреев европейского происхождения — ашкеназим. Большинство — конторщики, продавцы, зав. складами, товароведы, часовщики, массажистки. Они выезжали большими семьями, по три-четыре поколения, и чем больше их было, тем больше у них было разных проблем. Все жаловались.

— Ой-ой-ой, цорес! Зачем я только поехал, а? У меня же всё было: была квартира, небольшая, но такая хорошая, такая уютная. Была зарплата. Тоже маленькая, но нам с женой хватало. И зачем, спрашивается, я поехал? — из-за детей, конечно, чтобы они были здоровы. Им не нравилась советская власть. А мне она нравилась? — нет, конечно. Но я терпел. И вот мы потащились за детьми. А что было делать — потерять детей? Нет, уж лучше бросить нажитое, лучше остаться без пальцев, чем потерять детей. Здесь мне все гововорят, что я свободен. А что мне делать с этой свободой, а? Я знаю, как я смогу зарабатывать кусок хлеба? Ой, зачем я только поехал?..

В них были сильны их национальные корни, хотя они уже успели потерять свою религиозность. Многие говори-

ли на идиш лучше, чем по-русски. Они трудно поддавались дисциплине, необходимой на этапах эмиграции. Сотрудникам ХИАСа приходилось с ними нелегко, но они умело улаживали все их цоресы.

Вторая по многочисленности группа была из среднеазиатских республик — сефардские евреи из Бухары, Ташкента, Самарканда, Душанбе. Они сотнями лет мигрировали туда из Персии, Ирака и стран Средиземного моря, и внешне, и по поведению отличались от других: смуглые, широкоскулые и коренастые брюнеты — сказывалось их смешение с восточными племенами. Мужчины носили не ермолки-кипы, а яркие и большие азиатские тюбетейки, женщины были одеты в ткани пёстрой раскраски. Семьи их были настоящие кланы, и держались они обособленно. По-русски многие говорили с трудом, а пожилые вообще говорили только на тюркских наречиях. Были они как-то по-своему религиозны, но абсолютно недисциплинированны. Почти все — мелкие торговцы и ремесленники, редко кто имел образование и специальность. Они и в условиях советской власти умудрялись жить по своим законам. Теперь здесь они почти ни в чём не ориентировались и ничему не подчинялись. Сотрудникам ХИАСа нужно было иметь много нервов, чтобы справиться с ними.

Третья группа была — ассимилированные евреи из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска. Более высокие (на хороших хлебах выросли), лучше одетые, много светловолосых, масса полукровок, и чуть ли не половина — с русскими мужьями или жёнами. В них не так была заметна семейная сцепка: у многих в Союзе оставались дети, родители или даже супруги. Это была типичная прослойка среднего класса, со специальным образованием: экономисты, инженеры, административные работники, музыканты, учителя и преподаватели, служащие министерств, мастера производств, врачи и научные работники. Идиш они не знали, но кое-кто из них немного знал английский. Религиозности в них не было совсем. Нередко среди них были и бывшие коммунисты, в которых власть сумела подавить их индивидуальность больше, чем в других. Эти были политиканы и

с первого дня начинали критиковать капиталистическое окружение:

— Везде забастовки — разве это порядок? Попробовали бы они забастовать в Союзе!..

— Магазины полны товаров, а покупателей не видать — это издержки капитализма; нет у них строгого государственного планирования производства-потребления.

В ХИАСе они тоже пытались «наводить порядок», но там знали этот тип беженцев.

Еврейские семьи с Кавказа — из Тбилиси, Кутаиси, Баку и Батуми — чаще ехали в Израиль, с нами их было мало. Они были больше похожи на коренных жителей тех мест — кавказцев: женщины эффектно и богато одеты, с множеством украшений; мужчины отличались заносчивостью и деловитостью. За взятки таможенникам они умели вывозить большие богатства. Здесь их встречали бесчисленные родственники и агенты, и через них они быстро заводили деловые связи по продаже привезенного. Они не часто показывались в ХИАСе, их отвлекали собственные дела.

Чтобы всех этих разных людей организовать в однородную массу, для нас каждый день устраивали инструктажи, терпеливо объясняли и повторяли одно и то же, знакомили с предстоящей встречей с Западом. Сидя на инструктажах я думал, что это напоминало библейскую историю о том, как Моисей переделывал и воспитывал пёструю толпу своего народа, водя его по пустыне на пути к земле Ханаанской. Только вместо Моисея у нас был ХИАС, а вместо пустыни нам предстояла Америка.

Хотя все мы, беженцы, жили в своей маленькой гостинице изолированно от внешнего мира, но вокруг нас бурлила жизнь европейской столицы. Каждое соприкосновение с венской повседневностью вызывало удивление красотой и удобством западной жизни и, в то же время, будило грусть переживаний за себя, за то, какими обделёнными мы были в нашей прошлой жизни и как ещё далеко нам до европейского уровня теперь. Каждый день мы проходили мимо десятков недоступных нам уютных венских кафе, из которых завлекающе пахло кофе и

шоколадом. Мимо нас проносились шикарные автомобили и туристские автобусы. Всё сверкало огнями и красками. А у многих из нас не всегда были деньги на трамвай...

Одни раз я всё-таки взял венское такси. Мне надо было везти своего отца в ХИАС — подписать необходимые бумаги. Прожив несколько дней впятером в одной комнате, я попросил, чтобы на будущее нас разделили на две семьи. Так было лучше и для Ирины, и для моих родителей. Теперь они стали считаться отдельной семьёй, и отец, как глава семьи, должен был расписаться в разных бумагах. Здоровье у него было слабое, и, чтобы не утомлять поездкой, я решил везти его на такси. На мою поднятую руку около нас остановился зелёный «Мерседес». Всё в машине было элегантно и чисто. Но элегантнее всего был сам водитель — женщина-блондинка, лет 30, очень изящная, с великолепной причёской, с длинными наманикюренными ногтями, в модном жакете — ну прямо маркиза! Вдобавок я увидел, что она возила с собой в сумке пушистую белую собачку-болонку с бантиком на шее. Эта «маркиза» была так же непохожа на неотёсанных мужиков — водителей такси в Москве, как сама венская жизнь была непохожа на ту, что мы оставили позади себя. Я даже стеснялся добавить ей чаевые к оплате по счётчику. Но она приняла их легко, с очаровательной улыбкой: Danke schon.

Уехали к себе в Бельгию наши друзья Савицкие вместе с моими тётушками.

Холодным зимним утром мы проводили их. У Коли была солидная машина «Опель», и я с интересом рассматривал её. Глядя на машину, я думал: когда я смогу позволить себе купить машину такого же хорошего класса, да и вообще, смогу ли когда-нибудь?

— Сколько дней надо ехать отсюда до Бельгии? — спросил я.

— Сегодня вечером будем дома.

— Как — сегодня?! Так быстро?

— Конечно. Мы едем через Германию и Люксембург, дороги везде отличные — прямые автобаны, скорость неограниченная. Я обычно еду со скоростью 150—160 км в час. А большие «Мерседесы» обгоняют меня, как сто-

ячего. Но я не тороплюсь. Остановимся где-нибудь по дороге пообедать в хорошем ресторане. Потом завезу твоих тётушек в Антверпен, и через час будем у себя в Льеже.

Для меня всё это звучало сказкой: автобаны, бешеная скорость движения, Антверпен, Льеж... Да, это — Европа, это — мир, это то, что нам предстояло завоевать для себя (если сможем, конечно).

Коля как будто прочитал мои мысли. Он сказал:

— Думаю, у тебя уйдёт лет пять на то, чтобы восстановиться в твоей профессии. Ну, а потом приедете к нам в Льеж, уже — американцами.

— Твоими устами да мёд бы пить, — ответил я ему русской поговоркой.

Перед отъездом он передал мне мои драгоценности, я спрятал их в карман и теперь старался держать руку постоянно в кармане, чтобы ощущать их там: первое подспорье в нашей будущей жизни.

Их машина завернула за угол и скрылась из вида.

Мы пошли обратно в нашу надоевшую гостиницу-халупу. Десять дней здесь прошли, как в чаду, подходило время и нам покидать Вену.

Вена была пересылочным пунктом. Для завершения оформления въездных виз в другие страны требовались месяцы. Пережидать их надо было на втором этапе иммиграции — в Риме. Итальянское правительство дало на это неофициальное разрешение. Никаких въездных виз в Италию у нас не было, но ехали туда тысячами.

Тот год был рекордным по числу выезжавших. Сотрудники ХИАСа были перегружены работой. Основной реальностью начала нашей иммиграции были бесчисленные разговоры и хлопоты в ХИАСе. Каждый из нас имел какие-то свои просьбы, жалобы и претензии. И всё это выполнялось.

Через неделю пребывания нас, группу одновременно прибывших, вызвали в ХИАС и объявили:

— Через два дня вечером вы выезжаете поездом в Рим. За вами придут автобусы и отвезут на вокзал. Там вы получите ваши чемоданы. Будьте заранее готовы, чтобы не было никаких задержек.

Уже стемнело, когда за нашей группой приехал автобус — везти на вокзал. Нас предупредили, что мы все должны держаться вместе и чемоданы отдадут нам перед самой посадкой в вагоны. У вокзала нас не высадили, а остановили у дальнего конца. Собралась группа около ста беженцев, и нас сразу окружили десять австрийских автоматчиков в тёмно-серых шинелях. В ту пору происходили нападения арабских террористов на скопления евреев, поэтому и была организована наша охрана. С автоматчиками впереди, по бокам и сзади нас вытянутой толпой повели довольно далеко, в конец путей. Было темно и пустынно. Мы шли подавленные. Картина нашего молчаливого движения под охраной была похожа на мрачные сцены времён Отечественной войны: так нацисты водили евреев для отправки в концентрационные лагеря. Не хватало только злых собак-овчарок по бокам нашей колонны. Я поддерживал под руку отца, а он шептал мне:

— Знаешь, о чём я думаю: когда наша танковая армия брала Вену у немцев, в 1945-м, уже почти в конце войны, я ни за что бы не подумал, что через много лет австрийцы будут вести меня здесь под конвоем...

Я с пониманием сжимал его локоть. Действительно, трудно было тогда полковнику Советской Армии — победительницы! — представить себе, что в мире произойдут такие перемены, при которых придётся ему стать беженцем и просить временного убежища в побеждённой Австрии. Мир переворачивался вверх ногами, и моему почти восьмидесятилетнему отцу трудно было в это поверить и переварить в своём сознании.

Нас подконвоировали к двум отцепленным вагонам. Слава Богу, хоть вагоны не товарные! Тут же подвезли на электрокарах наши чемоданы. Автоматчики разошлись вокруг по сторонам и стояли, выглядывая, чтобы никто к нам не приближался. Нам объявили:

— Быстро разбирайте чемоданы, узнавайте свои и ставьте их в ряд перед вагонами. И пожалуйста, не поднимайте шум. Вам даётся пятнадцать минут.

Началась суета, все заторопились. Мы с сыном кинулись выискивать наши чемоданы. В темноте это было на так просто, но глаза адаптировались, и мы быстро по-

ставили наши восемь чемоданов в ряд перед вагоном. Руководитель:

— Вы готовы? Заносите чемоданы и занимайте одно купе. Одно для каждой семьи.

На это у нас ушло несколько минут, и мы с Ириной ввели родителей в купе. Но оказалось, что многие другие везли с собой по пятнадцать—двадцать, а одна семья даже сорок чемоданов, тюков и коробок. Тут я окончательно понял, почему беженцам не разрешали брать багаж в гостиницу — они бы полностью забили её вещами.

Хозяева множества вещей суетливо метались туда-сюда, руководитель торопил и торопил. Мы с сыном вышли помогать им, через открытые окна коридора передавали их чемоданы прямо снизу в вагон. Вещи были тяжеловесные, и мы здорово пропотели, пока закончили. А когда вошли в вагон и заглянули в своё купе, то оказалось, что те, кому мы помогали, забили его до отказа своими вещами. Ирина пыталась с ними спорить, препиралась, сердилась, но они не слушали. Нам с сыном места не осталось. Мы заглянули в другие купе, но и там так же всё было забито до потолка — люди переезжали фундаментально.

Наши вагоны прицепили к паровозу, солдаты охраны встали на ступеньки, и мы тронулись. Потом нас прицепили к составу «Вена—Рим». Когда, наконец, мы стали отдаляться от вокзала, солдаты вошли в вагон, оставив лишь по одному охраннику на площадках. У них было своё крайнее купе. Увидев нас с сыном в растерянности стоящими в коридоре, они вежливо и сдержанно пригласили нас к себе.

От молчаливых солдат пахло сукном шинелей и военными ремнями, и это было намного лучше запаха, стоявшего во всём вагоне от наших беженцев. После суеты погрузки мы быстро задремали в холодном купе, укрывшись шубами. Сын положил голову на моё плечо и мирно задышал мне в ухо. Вагон стучал и покачивался на ходу, и я время от времени открывал глаза. И каждый раз я видел за окном картину прекрасной зимней сказки: громадные сугробы на высоких скалах, высокие снежные шапки на крышах маленьких горных хижин — и это всё освещено голубым лунным светом. Мы проезжали через Альпы.

Но совершенно поразительным было наше пробуждение утром. Я проснулся в опустевшем купе и вышел на площадку. Было тепло, поезд стоял на путях. Вместо австрийского автоматчика на площадке стоял итальянский карабинёр. Он сам себе пел что-то мелодичное. А вместо заснеженных гор вдали были видны какие-то прекрасные купола. Что они мне напоминали? Я всмотрелся и узнал, по фотографиям и картинам, высокую башню кампанилу и верх собора Святого Марка Венеции. У меня захватило дух от восторга: Боже мой, проснуться в Венеции!

Я попытался заговорить с карабинёром:

— Венеция, Венеция? — спрашивал я, указывая на купола,

— Си, си, синьёр, Венециа, — радостно кивал он головой.

Как мне было объяснить ему, что я полон счастья? Я протянул к нему обе руки, и мы обнялись. Я знал, какие экспансивные все итальянцы, поэтому и кинулся к нему с объятиями. Мой карабинёр начал что-то быстро-быстро говорить, заливался смехом и, конечно, отчаянно жестикулировал. Какая разница с мрачными австрийскими автоматчиками — кинуться в объятия к ним я бы не решился. Он говорил, я не понимал ни слова, но тоже смеялся — от радости. Потом он достал из сумки бутылку вина, сделал глоток из горла и показал мне, чтобы я тоже отпил.

— Кьянти, синьёр, кьянти, — называл он вино, заливаясь смехом.

— За Италию! — сказал я ему, отпивая глоток.

— Си, си, синьёр, Италия, Италия! — певуче смеялся мой новый итальянский друг.

Этот глоток я запомнил навсегда, он дал мне ощущение бодрости, будто молодость снова возвращалась ко мне.

Я кинулся в вагон, растолкал сына и разбудил Ирину в соседнем купе:

— Мы в Венеции!

Они не сразу поняли, потом тоже побежали на площадку и стали любоваться. Карабинёр хохотал, пел, жестикулировал и поил нас вином из горла бутылки. Он совсем не был озабочен нашей охраной, он жаждал общения.

Постепенно стали просыпаться и, потягиваясь, выходить из своих купе другие беженцы. Они лениво выглядывали на площадку, убеждались в тёплой погоде, с удивлением окидывали взором весёлого карабинёра.

— Почему стоим? Туалет не работает? Вы первый? — дёргая ручку двери.

— Мы в Венеции, — отвечал я.

— Да? Когда тронемся, я в туалет за вами. Этот кто такой, чего веселится?

— Мы в Италии, это итальянский карабинёр. А там вдали — Венеция.

— А-а!.. Безобразие — туалет запирать. Когда же тронемся?

Вскоре и тронулись. Я не мог оторваться от окна: Италия была перед глазами целый день. А отрываться было и незачем: кроме заготовленных бутербродов есть было всё равно нечего. Ландшафт изменился как по сказочному мановению — весенние долины и холмы, всё в зелени и цветах, даже сам воздух переменился, свежий и ароматный бриз касался лица, будто гладил по щекам.

Итальянские карабинёры, охранявшие нас, так же отличались от австрийских автоматчиков, как тёплые долины их страны отличались от заснеженных холодных Альпийских гор Австрии. Итальянцы совсем нас не охраняли, смеялись, пытались болтать со всеми, а завидев хорошенькую женщину, тут же начинали что-то ей предлагать, указывая на обручальное кольцо — то ли сватались, то ли спрашивали о её муже. Их ничуть не смущало взаимное непонимание языков, они всё умели объяснить жестами. И всех останавливали и спрашивали, нет ли на продажу фотоаппаратов, водки или вообще чего-нибудь. Некоторые из беженцев тут же наладили с ними товарные отношения. Если бы у меня оставалась водка, я бы с радостью им подарил.

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

За сто километров от Рима поезд остановили, и наши два вагона отцепили. Карабинёры весело помахали и оставили нас в окружении быстрых молодых людей в штатском. Они говорили между собой на иврите — это была секретная служба Израиля. Теперь нас охраняли они. Чтобы предотвратить возможное нападение на нас на вокзале в Риме, нас пересадили в автобусы. Опять была суета с выгрузкой и тасканием багажа. Чемоданы и тюки складывали в грузовики, следовавшие за автобусами. Когда тронулись, уже вечерело. В вечный город мы въехали в темноте. В экстазе нетерпения мы с сыном и Ириной прильнули к окнам: какой он, Рим? Даже при довольно быстром движении по ярко освещённым улицам нас поразили громадные площади, очертания великолепных дворцов и церквей, красивые фонари, невиданные ранее деревья и пёстрые толпы на улицах. Рим захватывал, Рим обвораживал, Рим зачаровывал!

Нас подвезли к пансионату «Чипро» в центральной части города. Это был старинный шестиэтажный дом с фундаментальными гранитными стенами и прекрасными мраморными рамами для окон. Остановились у шикарного подъезда с высокими дверями тёмного дерева, бронзовыми ручками и великолепными стёклами, в глубине за дверью видны были отполированный мраморный пол и широкая лестница. Какое отличие от нашей невзрачной халупы в Вене! А ведь и это тоже не был шикарный отель, а только снимаемое помещение для временного поселения беженцев.

Группа наша выглядела помято: старики обессилели и вздыхали, взрослые были хмуры и озабочены, дети спали на руках у родителей или хныкали от усталости и голода. Нас встретили несколько работников ХИАСа, они раздали каждой семье ключи от их комнат и сказали, что

багаж надо брать с собой и что в столовой на втором этаже нам дадут итальянский ужин. Слово «ужин» всех ободрило. И вот под охраной израильтян началась третья за сутки суета выгрузки и таскания вещей. Это осложнялось тем, что вещи надо было поднимать на лифте, а он был старинной конструкции, двигался медленно и только при закрытых створках внутренней двери. Без этого он вообще не двигался. И хотя всех об этом предупредили, но люди забывали закрывать их. Каждый раз после подъёма лифт стоял где-нибудь на верхнем этаже. Беженцы снизу горланили во всю мочь: «Лифт!.. Закройте дверки!.. Эй, вы там, дверки!»

Но те уже вносили свои вещи в комнаты и не слышали. Приходилось кому-нибудь тащиться наверх за лифтом, а этажи были высокие. Время тянулось, мы устали ждать. Наши чемоданы были не тяжёлые, и мы с сыном сами занесли их наверх. На каждом этаже было по две многокомнатные квартиры, нам троим досталась комната на пятом, а родителям — на шестом этаже. Комнаты были достаточно большие, с высокими потолками и широкими окнами, полы мраморные. Мы поразились — зачем? Комнаты обставлены приличной мебелью, на постелях свежевыстиранное бельё. Но главное, в каждой квартире был свой туалет и просторная ванная комната. А в ней ещё стоял изящный стульчак биде с медными ручками для тёплой и холодной воды. Нарадовавшись на новое пристанище, мы ждали обещанного ужина.

Тут случилась новая заминка с лифтом: его задержала небольшая группа пожилых итальянок, переезжающих с этажа на этаж. Старомодно одетые в тёмное, все они суетились вокруг какой-то маленькой старушки в чепчике, почтительно держали её под руки и распевно приговаривали:

— Синьёра, синьёра...

Наши беженцы раздражённо зашикали и на них:

— Вы ещё тут!.. Подождали бы, не видите, что ли — люди работают.

Подоспевший сотрудник ХИАСа объяснил нашим, что это сама хозяйка дома, вдова, она возвращается в свою квартиру на третьем этаже в сопровождении её приживалок и родственниц. Наши застыли в изумлении: образ этой

римской хозяйки отличался от венской мадам Бетины — типично итальянская патриархальность и многосемейность вместо напористой деловитости и индивидуализма австрийской еврейки. Пришлось беженцам смущённо ждать, пока старушки не покинули лифт.

Наконец все разместились. Из открытых комнат слышался удовлетворённый гул переговоров: люди радовались приличному устройству, многие заходили друг к другу — посмотреть-посравнивать комнаты других. В туалеты и ванные с мраморными квадратами полов заходили с особым интересом. Вдруг из одной квартиры раздался истошный женский крик:

— Ой, что же это такое?! Оно же плавает, плавает!.. Ой, что делать? Где тут смыв?..

Крик исходил из ванной комнаты. В дверях в смущении показалась пожилая женщина — она использовала биде не по назначению. На крик сбежались её семья и много соседей. Возникла оживлённая дискуссия на тему «туалет и биде». Многие до сих пор не видели биде, не знали его назначения и удивлялись. Все давали советы. Тут не хватит и юмора Шолом-Алейхема, чтобы описать эту сцену и разговоры.

Вскоре снизу послышался другой громкий женский голос: с площадки на втором этаже, от столовой, официантка-итальянка певуче кричала на ломаном русском:

— Аа-куу-шаать, аа-куу-шаать! — она призывала нас на ужин. — Аа-куу-шаать!

Оказалось, она выучила произношение этого странного приглашения от предыдущих беженцев, прибыв, они сразу спрашивали: «а кушать?»

Кто помоложе, кубарем слетели вниз по широкой лестнице. Столы были покрыты крахмальными скатертями, на них стояли красивые громадные тарелки, с красивым набором столовых инструментов, рядом лежали крахмальные салфетки. Все застыли в изумлении: вот это жизнь!

Итальянский ужин состоял из двух видов пасты: равиолли и спагетти, потом был довольно жидкий чай. Наши не наелись.

— А хлеб почему не подали? Я без хлеба не умею наедаться.

— Что это, они думают нас своими макаронами кормить?

— Мне бы мяса, да побольше.

Жаловались представителю ХИАСа. Он был тоже беженец из прежних, который знал английский, а в Риме ещё выучил итальянский. Он держал перед нами небольшую речь:

— С завтрашнего дня вы все будете получать ранний завтрак — свежие булки с кофе (разнёсся одобрительный гул), а вечером будете получать ужин — итальянскую пасту, то есть макароны (гул неодобрения). Жить в пансионате вы можете не дольше двух недель. За это время вы обязаны подыскать себе квартиры, где будете жить до самого отъезда в вашу новую страну. ХИАС даст вам на это деньги. Сейчас я всем раздам две бумаги: одна — это адрес ХИАСа и план, как туда добраться. Это недалеко отсюда. Завтра утром в назначенное время всем явиться туда. Вторая бумага — это план города. Вы можете ходить и ездить по Риму сколько вам захочется. Но твёрдо помните: в Италии вы находитесь нелегально. Поэтому не рекомендуется вступать в деловые контакты с незнакомыми людьми, ничего не продавайте на улицах, чтобы не привлекать к себе внимание полиции. Иначе вас могут выслать отсюда, и ХИАСу будет нелегко выручить вас (все притихли). Поняли? А теперь я раздам вам деньги на три дня на дневное питание и на транспортные расходы. (На те же $3 получались миллионы в итальянских лирах — это вызвало шумный восторг.)

К нашему приезду в Риме скопилось четыре тысячи советских беженцев, ожидавших разрешения на въезд в выбранные ими страны. Чуть ли не вся эта масса толпилась каждый день на трёх этажах ХИАСа в шестиэтажном доме на Via le Regina Margherita. Здесь решалась судьба людей на многие годы вперёд. Сами беженцы были настолько мало информированы и не готовы к новой жизни, что почти никогда не имели своего решения. И мы тоже.

Несколько семьей из нашей группы прикрепили к старшей ведущей ХИАСа миссис Баттони, американке средних лет, которая была замужем за итальянцем. К ней всегда стремилась толпа — улаживать разные проблемы. В отдельных комнатах сидели несколько её молодых помощниц — все беседы с беженцами были сугубо конфиденциальны. Одна из ассистенток, миниатюрная и миловидная американка, начала разговаривать с нами на английском, без переводчика. Сотрудники всячески старались стимулировать беженцев, что называется, раскрыть рот и заговорить. Ирининого английского было достаточно, чтобы понять и объясниться, сын помогал, но и я тоже вставлял кое-какие слова.

— Куда вы наметили ехать в Америке, вы знаете?

Мы объяснили, что хотели бы обосноваться в штате Коннектикут.

— Почему именно Коннектикут?

Я рассказал, что наше первое желание было поселиться в Нью-Йорке, но мы слышали, что Нью-Йорк перегружен иммигрантами, и поэтому я ещё в Москве читал статьи об американских штатах в Советской Энциклопедии. Мне понравилось описание штата Коннектикут: там есть знаменитый Йельский университет. После сдачи экзаменов я надеюсь найти работу хирурга в одной из его клиник (сотрудница чуть заметно улыбнулась); наш сын сможет продолжать учёбу там (она улыбнулась ещё раз). Как ни сбивчиво мы объясняли, она выслушала терпеливо и с сочувствием, не перебивая. Очевидно, моя самонадеянность вызвала её улыбку. Выслушав, она стала медленно и внятно говорить:

— Поверьте, доктор, вам, вашей жене и вашему сыну будет значительно легче и проще устроиться в городе Нью-Йорке. Это правда, что там много русских беженцев. Но этот большой город может дать вам всем больше перспектив. Там самая большая в Америке еврейская община, и её организация НЙАНА (New York Agency for New Americans) во всём вам будет помогать. Я бы очень советовала вам ехать в Нью-Йорк.

Мы даже обрадовались: в Нью-Йорке жила уже пятьдесят лет моя престарелая тётка Люба, почти девяностолетняя, но бодрая старшая сестра моего отца.

Что ж, Нью-Йорк — так Нью-Йорк. Мы поблагодарили, и я тут же подписал Нью-Йорк. Так мы выбрали свою судьбу и до сих пор благодарны той милой женщине.

В ХИАСе для всех были бесплатные курсы английского языка, на них нас учили словам, произношению, практическим разговорным фразам, инструктировали, как в будущем заполнять заявления на работу, как вести себя на деловых визитах (аппоинтментах). Заниматься ходили немногие, в основном — молодёжь. Поэтому занятия там проходили весело.

К тому же была прекрасная весна, так приятно было поболтаться на улицах Рима! Министерство культуры Италии даже выдало нам бесплатные пропуска в музеи. С нами только что не нянчились. Но всё равно у всех были вопросы, просьбы, проблемы. Поэтому в коридорах ХИАСа постоянно скапливались очереди. Люди нервничали, не соблюдали порядок, скандалили друг с другом, сердились на сотрудников и даже кричали на них — через переводчиков. В общей массе производили они сумбурное и малоприятное впечатление.

Разрешения ехать в Америку надо было ждать около трёх месяцев, в другие страны — намного дольше. Довольно беззаботное существование и хорошие условия жизни в необыкновенной стране Италии навели некоторых беженцев на хитрость: чтобы продлить пребывание в Риме, они просились в любые другие страны, хотя намеревались ехать в Америку. Когда же получали разрешение ехать туда, они заявляли, что передумали. И процесс начинался сначала. Это называлось «Римские каникулы», по популярному в Союзе кинофильму 1960-х годов с Одри Хэпберн.

Все мы хорошо помнили, как с нами разговаривали в советских учреждениях — грубо, безразлично, не помогая, а затягивая и губя любое дело. Здесь всё было наоборот. Никогда раньше не видели мы примеров такого уважительного, внимательного и выдержанного отношения к людям. Многие из беженцев этим пользовались, чтобы извлечь для себя выгоду. Я очень удивлялся и однажды, специально подучив слова для своего вопроса, спросил нашу молодую ведущую:

— Извините, могу я задать вам вопрос: почему вы все такие терпеливые с нами?

Она выслушала мой коряво составленный вопрос, опять чуть заметно улыбнулась:

— Мы знаем, в каких несправедливых условиях люди жили в Советском Союзе, особенно евреи. Поэтому мы стараемся помочь им как можно легче войти в новую жизнь в демократических условиях.

Я понял: перед нами просто была другая культура человеческих взаимоотношений — уважительная культура свободного мира. И я стал приглядываться и учиться у них культуре взаимоотношений — для будущего.

Поиск квартиры был хлопотным и изнуряющим делом. Дешёвые были в пригороде Рима — Остии. Там разрослась многотысячная колония наших беженцев, вроде гетто, образовался базар по продаже привезённых сувениров и вещей, процветали мелкие русские лавочки, открылись даже русские рестораны. Южане с Украины, бухарцы из Средней Азии и кавказские евреи охотно там обосновывались. Для них там была большая возможность впервые открыто заниматься частной торговлей. Однако нам уже больше не хотелось жить в контакте с этой публикой. Мы решили попытаться обосноваться в самом городе, который надеялись лучше узнать. Походили-поездили мы с Ириной по разным адресам, но за полагающиеся нам на квартиру гроши ничего найти не могли. Это нас угнетало, особенно Ирину. В пансионате нас торопили с выездом, мы уже должны были платить за свои комнаты сами, а деньги кончались.

Нас перестали кормить завтраками и ужинами. Теперь, когда раздавался крик официантки: «Аа-куу-шаать!» — это было не для нас. Быт всё утяжелялся: моя мама готовила еду для всех на маленькой электрической плитке, оставленной нам предыдущим беженцем, и всё в одной кастрюле. Накормить пять взрослых ртов такой готовкой, без кухнии и посуды, было чудом. При этом отец был почти постоянно болен, устав от переезда и плохих условий, и мама ухаживала за ним. Нам приходилось и искать квартиру, и покупать продукты, и помогать маме, и возить отца к врачам. Надо было обладать большим терпением, силой воли и даже оптимизмом, чтобы спокойно воспринимать тяжести начала иммиграции. У Ирины терпения было мало, а оптимизма не было вообще. Она говорила:

— Я решилась уехать из Союза, чтобы улучшить нашу жизнь, а не для того, чтобы сделать её хуже. Если всё будет так, как теперь, то я не понимаю, зачем мы уехали.

Я, как мог, успокаивал её, но и сам не представлял ясно наше будущее.

— Поверь мне, всё образуется.

Это слово любил Лев Толстой и часто говорил «образуется». Но как и когда произойдёт это наше «образуется»? У Ирины было довольно ума, чтобы парировать все мои рассуждения со скептицизмом. Я начинал раздражаться, она — ещё больше.

Наш сын, живя с нами в одной комнате, слушал наши споры и всё мрачнел. Он вырос в традициях плотной родительской опёки, которая была единственно возможной гарантией успеха в неустроенном советском обществе. Интеллигентная молодёжь там не приучалась пробиваться в жизни самостоятельно. Теперь его тоже угнетали наши трудности и пугала неясность в будущем. Хотя сам он об этом не заговаривал, но я угадывал его мысли по постоянно насупленному лицу. Чтобы успокоить его, я сказал ему однажды:

— Послушай, чтобы ни случилось с нами, одно я тебе обещаю твёрдо: твое будущее я обеспечу в любом случае, тебе в Америке не будет хуже, чем в России.

Он выслушал с недоверием, как и Ирина. Оба они переставали верить в меня.

И из соседних комнат нашего пансионата всё чаще слышались звуки семейных скандалов — все так называемые счастливые семьи похожи друг на друга... Через месяц после выезда из Союза наша группа беженцев представляла собой сложный кипящий клубок. Но постепенно многие разъезжались по квартирам.

И тут нам неожиданно повезло: мы узнали про большую и недорогую квартиру на улице Триполитания, всем нам по комнате. Из неё должна была скоро выехать семья предыдущих беженцев. Хозяин, римский доктор, сам в ней не жил, а сдавал докторам из России — из профессиональной солидарности. В квартире выше этажом жила его мать, и мы договорились с ней. На душе стало немного веселей.

От прежних жильцов нам досталось наследство — два юноши, Саша и Юра, оба в возрасте моего сына — они занимали одну комнату из четырёх. Саша, внук большого генерала, порвал с состоятельной семьёй в Москве, примкнул к диссидентским кругам и выбрал для себя судьбу — уехать на свободу; Юра был круглый сирота. Оба были бедные и голодные интеллигенты, мы их как бы приняли в свою семью, всегда звали за стол и подкармливали. Уживаться с ними было куда проще, чем с беженцами в пансионате.

И Иринино настроение улучшилось, как только мы перестали общаться с их массой. Она читал на английском, была занята хозяйством, вместе мы осваивали новые для нас продукты в магазинах вокруг. Чтобы сэкономить на продуктах, по пути на английские курсы я ездил через полгорода на «круглый рынок», самый дешёвый. При скромных средствах жизнь заставляла учиться выбирать. А заодно приходилось осваивать кое-какие итальянские слова и выражения, это было интересно и легко.

Моя мама была счастлива расстаться с маленькой электроплиткой и единственной на всё-про-всё кастрюлей, в её распоряжении была теперь целая кухня с массой посуды. Всю жизнь хорошая хозяйка, она этим наслаждалась.

Я ходил в русскую библиотеку имени Гоголя, который долго жил в Риме, и брал там интересные книги для себя и для отца. Теперь и отцу полюбились библейские истории, и он читал их маме вслух. Она слушала вполуха:

— И вот народ еврейский перешёл по дну расступившегося Красного моря, и вода за ним замкнулась...

— Юля, а куда они ехали?

— Как — куда? Я же тебе читал: они убегали от египтян.

— Зачем?

— Как — зачем? Я же читал...

— Ах, я не помню. Я лучше пойду на кухню.

Ирине предложили по полдня работать переводчицей в ХИАСе, платили ей мало, но она прямо расцвела: это было и занятие, и всё-таки подспорье. Работала она с миссис Баттони и по вечерам рассказывала мне разные

грустные, а порой и комические истории беженских судеб, которые ей приходилось слушать и переводить. А мне тем временем сообщили, что все наши дипломы, патенты и список публикаций уже переведены на английский и отосланы в американское посольство в Риме. Жизнь становилась более размеренной, и нервы от этого немного успокаивались.

Уже прошло больше года, как я оставил хирургию, и почти вообще не работал. За четверть века напряжённой работы во мне выработалась привычка быть постоянно занятым, быть постоянно нужным моим пациентам и сотрудникам. Теперь я всё больше скучал по работе, просто руки чесались. Чувствовать себя никому не нужным тоже было тоскливо. В Риме был у меня знакомый хирург-профессор, он раньше год работал со мной в одном институте в Москве и там научился говорить по-русски. Мы были в приятельских отношениях, я даже принимал его дома. Я любил проявлять внимание к иностранным гостям, водил их в обходы по клинике, показывал им «интересных больных» (врачебное определение необычных случаев заболеваний и лечения), а многих приводил и домой. Ирина устраивала нам роскошные русские обеды: борщ, бефстроганов с картошкой, ещё что-нибудь традиционное. И, конечно, водка (и, конечно, в значительных количествах). Такое хлебосольство было для них экзотикой. Итальянца мы тоже гостеприимно кормили и сердечно развлекали. Теперь я радостным голосом позвонил ему — в полной надежде встретиться и, может быть, побывать в его клинике: так хотелось посмотреть европейскую клинику, снова пройтись по больничным палатам, зайти в операционную и почувствовать себя доктором.

— Франческо, это Владимир Голяховский.

— А-а, Владимир.. как поживаешь?

— Я в Риме и хотел бы повидать тебя.

— А-а, ты в Риме.. Ну, как дела?

— Ничего, я с семьёй эмигрировал, собираюсь в Америку. Здесь мы ждём визы.

— Ты эмигрировал?.. Ах, да, я слышал, что в Остии живёт много русских.

— Я живу в самом Риме. Есть у тебя время повидаться?

— Ах, да — повидаться... знаешь, так много работы, очень много!

— Тогда извини, я не хочу отрывать тебя от дел.

Ну как мне было к этому отнестись? — хамство, конечно. А может быть, это потому, что я уже не официальный гость — профессор, а просто беженец, один из тех, что скопились в Остии и для него — просто никто. Я переживал, скрывая это глубоко в себе. Во мне вырабатывался комплекс неполноценности — следствие приниженного положения.

Я решил пойти на медицинские кусы для врачей-беженцев. Их вёл пожилой американский доктор. Преподавал он, в основном, анатомию и давал начальные знания принятой в Америке медицинской терминологии. Занятия шли на английском, а мы никто его не знали, и понимать нашего лектора нам было трудно. Но он показывал нам прекрасно изданные толстые американские учебники, их было интересно листать. Русских учебников по медицине, скучно написанных, переполненных идеологией и плохо изданных, я не вывез: в будущем я хотел заниматься только по американским.

На лекциях тот доктор рассказал нам про так называемые каплановские курсы в Америке, по подготовке к сдаче врачебного экзамена ECFMG. Кое-что об этом я уже слышал раньше, ещё в Москве и в Вене. Но понять структуру занятий было трудно. Помучившись от непонимания, я перестал туда ходить.

И Ирина проработала в ХИАСе всего две недели: её маленькую должность сократили. Она опять загрустила и помрачнела. Мысли о будущем не покидали её. Она всё чаще заводила разговор, что надо делать что-то, начинать готовиться к моему будущему докторскому экзамену. Она была права, но мне так хотелось, что называется, отдаться моменту, погрузиться в чудо искусств и истории вокруг. Наши короткие поездки «взахлёб» по разным итальянским достопримечательностям были как бы компенсацией за то, что, прожив более половины жизни, мы до сих пор видели так мало.

Я считал, что начну борьбу за новую жизнь, когда мы уже будем в Америке. Поэтому меня раздражали Ирини-

ны приставания ко мне. А её нервировало моё легкомыслие. Мы часто бывали недовольны друг другом. Я по-мужски отмалчивался и отговаривался, а она по-женски всё настаивала и настаивала на своём. Я не помнил, чтобы раньше между нами возникало такое упорное взаимное недовольство.

Скоро пришла новость: назначена была беседа с консулом Соединённых Штатов. После этого беженцы обычно через месяц получали разрешение на въезд в Америку.

Утром мы все впятером, в настроении подобающего волнения, приехали на автобусе на Вия Венетто и подошли к дому 119, красивому старинному особняку с флагом США.

В кабинет консула нас вызывали по одному. Меня вызвали первым. Мне очень хотелось отвечать консулу на английском, но я боялся не понять вопросов. Так оно и получилось. В кабинете были двое: консул и его помощник, говоривший на ломаном русском. Оба лет тридцати, высокие, с открытой улыбкой, полной красивых зубов. Они соответствовали моему представлению о типичных американцах. Я почувствовал себя с ними очень просто.

Сначала я дал клятву отвечать только правду, одну правду и ничего кроме правды. Для этого мы все трое встали и подняли правые руки. Процедура была нова для меня, ничего подобного мы в России не делали. Потом пошли вопросы:

— Были ли вы членом Коммунистической партии?

— Нет, не был.

— Были ли вы арестованы и осуждены за что-либо?

— Нет, не был.

— Подвергались ли вы психиатрическому лечению?

— Нет, не подвергался.

Всё это были стандартные вопросы, к которым нас подготавливали в ХИАСе. Я ожидал, что меня могут спросить о моём опыте работы в военной медицине. Однако вместо этого помощник спросил, улыбнувшись:

— Вы ведь не только доктор, вы ещё и писатель, кажется?

— Да, я написал несколько книг стихов для детей.

— Нет, я имею в виду другое — ваши научные статьи и патенты.

— Ах, да, я написал много статей и книг по ортопедической хирургии и получал патенты на новые виды операций.

— Нам это известно, все копии ваших работ лежат в вашем деле.

Тут я обратил внимание, что на столе действительно лежала пачка моих переведенных документов и печатных работ. Консул сказал помощнику что-то по-английски, и тот перевёл мне:

— Наша страна должна гордиться, что такой человек, как вы, выбрал её своим местом жительства.

Я был взволнован, я просто не ожидал услышать такое. Волна эмоций подступила к горлу, но я неловко поблагодарил по-английски: Thank you very much. Первый же официальный представитель Америки, с которым я разговаривал по самому важному для меня делу, дал мне такую высокую оценку! За всю мою жизнь и работу в России я никогда не слышал таких слов, не получал никаких наград, а в конце концов даже получил пинок в зад.

Я вышел из кабинета консула, не только зная, что мне дадут разрешение на въезд в Америку, но уверенный, что там — моё настоящее место.

Неожиданно нам дали разрешение на въезд в Америку почти на месяц раньше, чем мы предполагали. Я позвонил своей тётке Любе в Нью-Йорк и сообщид дату прилёта — 18 апреля. Она уже давно готовилась к встрече. Она сказала:

— Передай родителям, что я решила жить с ними.

Мы с Ириной были ей бесконечно благодарны за это: перспектива жить со старыми родителями пугала нас, а мама одна могла не справиться со всеми отцовскими болезнями.

В последний раз мы упаковали наши чемоданы, которые нам уже порядочно надоели при переездах с места на место. Нас предупредили, чтобы мы опять отложили себе самое необходимое, потому что получим свои вещи не сразу после прилёта. И так же, как и при выезде из Моск-

вы, вещи надо было сдавать за сутки до отлёта. Но Боже мой — какая была разница с Россией! Там таможенники шмонали нас целый день, а здесь к нашему дому подъехал грузовик, рабочие погрузили чемоданы в кузов, улыбнулись нам и уехали: в десять минут всё было закончено. Да, поистине, мы начинали приобщаться в нормам жизни свободного общества.

В аэропорте Леонардо да Винчи нас, беженцев из России, собралось человек двести. Беженцы удивлялись, как это нас разместят в одном самолёте? Охраны вокруг не было, но израильтяне в штатском и сотрудники ХИАСа внимательно следили, чтобы к нам не приблизился кто-нибудь подозрительный. Тесная толпа еврейских иммигрантов могла быть заманчивой целью для арабских террористов (несколько лет спустя там так и произошло: взрыв со многими жертвами).

Громадный холл Аэровокзала был залит приветливым итальянским солнцем, все мы были переполнены радостным ожиданием предстоящей встречи с Америкой, долгожданной нашей новой страной. Я хорошо помнил свои ощущения тревоги и подавленности при вылете из Шереметьева в Москве, там я ждал унижений и препятствий до самой последней минуты и заранее продумывал порядок прохождения паспортного контроля. Теперь я не заботился ни о чём, ощущая себя и свою семью членами свободного общества. Я смотрел на всех пассажиров в очереди, включая наших беженцев, — не озабоченные, а расслабленные и улыбающиеся лица.

Никаких затруднений и задержек с паспортным контролем не было, хотя у нас не было итальянских виз. Сотрудник ХИАСа стоял со списком наших фамилий в руках, мы показывали выездные визы из Союза, написанные на русском (которые никто, кроме нас самих, прочесть не мог) — и контроль нас пропускал. До чего же просто!

И вот мы впервые в жизни вошли в громадный Боинг-747. По радио звучала зажигательная мелодия старинного русско-цыганского романса «Дорогой длинною», популярного во всём мире.

Мы шли и шли вдоль гигантского салона, и казалось, что конца ему не будет. Наши места были в самом конце, и оттуда мы видели весь салон впереди. Размеры Боинга поражали. Беженцы составляли половину пассажиров. Озираясь вокруг, они обсуждали громадность самолёта и стоимость билетов. Точную сумму мы не знали, ведь платил ХИАС, но нашим представлялось, что перелёт через океан на таком необыкновенном самолёте должен стоить целое состояние. Мы с Ириной сидели рядом и держали друг друга за руки, настроение — лучше быть не может!..

Уже было темно, когда внизу появилась земля Соединённых Штатов. Видно было только много-много огней внизу. Они были то реже, то гуще, а потом превратились в сплошное море света под крыльями самолёта. Нам объявили, что мы подлетаем к Нью-Йорку. Сердце моё забилось в унисон с частотой работы реактивных двигателей. Огни всё приближались — самолёт спускался. И вот Боинг коснулся колёсами Америки: мы в аэропорте имени Джона Кеннеди.

Все зааплодировали, мы с Ириной сжали наши руки и взглянули друг на друга, в наших глазах стояли слёзы радости.

Хотя история сохраняет только факты, а не чувства участников событий, всё же можно представить себе, что переживали люди при определённых обстоятельствах сотни лет назад — чувства людские так же не меняются, как не меняется сама природа человека. Я думаю, что в момент приземления мы испытали такие же чувства, какие испытывал Христофор Колумб и его моряки, когда нос их лодки впервые врезался в берег Нового Мира. Это чувства людей, достигших заветной цели.

Нас вели длинными коридорами отдельно от американцев и от туристов, нам предстояло пройти последнюю формальность на нашем долгом пути и получить номер разрешения на легальное проживание. Этот временный документ полагался нам по квоте беженцев из России, и давал нам право на получение Green Card — документа для постоянно проживаюших в Америке. Процедура оказалась недолгой, всё было заготовлено заранее по списку беженцев. Хотя не имело значения, в каком порядке наша семья переступит порог Соединённых Штатов, но я пустил Владимира-младшего вперёд: он самый молодой, ему

дольше здесь жить, пусть его нога ступит в новую жизнь первой.

Мы прилетели за два дня до еврейской Пасхи, и прямо у таможни каждому из нас вручили пакеты с подарками — еврейские сладости, брошюра на русском и хрустящие новые доллары — $15. Их раздавала общественная работница нью-йоркской ассоциации для новых американцев (НЙАНА), сама недавняя иммигрантка. Уставшие от перелёта беженцы удовлетворённо урчали, жуя сладости и распихивая доллары по карманам. Нас разделили на группы по 30—40 человек и велели следовать за ведущими.

И вот мы впервые вышли на нью-йоркский воздух. Дул такой пронзительный ветер, что буквально сносил нас с ног. Наклонившись вперёд против ветра, мы гуськом шли к автобусной остановке. Я поддерживал отца, Владимир вёл мою маму, а Ирина, захлёбываясь от ветра, семенила сзади, придерживая полы плаща. После мягкого климата Италии мы сразу порядочно промёрзли. Таких сильных ветров ни в Италии, ни в России не бывало. Первое же знакомство с природой показало нам, что в Америке она мощней.

Второе наше сильное впечатление — размеры автомобилей. Пока мы ждали своего автобуса, перед нами сплошным потоком мягко проплывали гигантские длинные лимузины и другие большие автомобили. Они удивили нас, мы привыкли к значительно меньшим размерам европейских, а особенно миниатюрных итальянских автомобилей. Да, было ясно, что мы попали в другой мир.

Великолепная скоростная автострада тоже поразила нас. Ведущая сказала, что нас везут в Манхэттен. Сидя на переднем сиденье, я пристально всматривался вдаль.

Там виднелся какой-то ярко освещённый дом. Казалось, что он стоит на вершине большой горы.

— Что это освещено там, высоко на горе?

— На какой горе? — удивилась ведущая. — О, так это не гора, это просто освещённая верхушка Импайер Стайтс Билдинг, одного из самых высоких небоскрёбов.

Очень просто!.. Я в жизни не видел небоскрёбов и не представлял, что они такие высокие. Я решил вопросов больше не задавать, чтобы опять не попасть впросак.

Что я знал о Манхэттене? Знал, что это один из районов города, практически ничего. Ведущая сказала, что мы въезжаем на Бродвей. Я знал, что это должна быть одна из самых шикарных улиц города, и прильнул к окошку, чтобы рассмотреть. Поражали громадные здания и масса света. Автобус остановился, и нам сказали, что это 91-я улица и мы возле нашей гостиницы «Грейстоун». Называть улицы по номерам было для нас непривычным, во всей нашей прошлой жизни они имели именные названия.

Первый же человек, кого я увидел в вестибюле, была моя тётка Люба. Маленькая и сухонькая (ей было 88 лет), она ждала нас здесь уже четыре часа. Мы и обрадовались, и поразились. Оказалось, что это она просила разместить нас здесь, потому что сама жила неподалёку — на 96-й улице. Она вместе с моими родителя поехала к себе и пригласила нас прийти к ней на поздний обед, как только мы разместимся в номере. Хотя из-за перелёта мы не спали уже 24 часа, но отпраздновать такую большую радость было необходимо.

На лифте нас поднимал первый чёрный, которого мы здесь увидели, молодой и высокий парень. Несколько беженцев втиснулись в лифт. Не обращая на нас внимания, он жевал резинку, мычал какую-то мелодию, дрыгал коленками в такт песне и небрежно нажимал на кнопки. Довезя нас до этажа, так же жуя и мыча, он выставил челюсть, произнёс что-то вроде «а-э-у» и швырнул вслед нам какой-то пластиковый пакет. Ни того, что он сказал, ни того, что это за пакет, мы не поняли. Комната была маленькая, серая, неуютная, всего две кровати на нас троих, повернуться негде, окно выходило прямо на близкую стену напротив. Мы даже растерялись: от Америки мы ожидали лучшего. Ладно, всё равно уже поздно и нам надо спешить к Любе — завтра разберёмся.

Пластиковый пакет остался лежать снаружи у нашей двери.

Пять кварталов по Бродвею, от 91-й до 96-й улицы, мы шли с опаской: уже 11 часов ночи, народа на улице почти не было, изредка попадались какие-то странные фигуры неряшливо одетых чёрных. Мы старались держаться

подальше от них. Уж как ни мало мы знали о Нью-Йорке, но что это опасный город, нам было известно.

У Любы в квартире была красиво, уютно и тепло. Бездетная вдова, она теперь жила вдвоём с подругой, тоже вдовой. Но та временно была в госпитале, и Люба пока отдала моим родителям её спальню. Две эти совсем небогатые старушки жили обеспеченно, как только мечтали бы жить советские вдовы. Мы сидели за столом и обсуждали наши планы. Я рассказал, что мы получили разрешение на въезд в Америку раньше, чем ожидали. Люба сказала спокойно и тихо, как всё, что делала:

— Это потому, что сенатор Перси просил за вас американского посла в Италии.

— Сенатор? Как сенатор мог знать о нас?

— Я просила моего хорошего знакомого, который работает с сенатором.

— Ах, вот оно что!..

Люба добавила:

— Тебе надо привыкать, что у нас в Америке многое делается по частной рекомендации. Ведь это страна частной инициативы. Американцы очень открытые люди, все разговаривают обо всём откровенно. Если у тебя будут возможности, заводи знакомства с влиятельными людьми. Это поможет твоему успеху.

Люба эмигрировала из России совсем молодой, в 1914 году, ещё до начала Первой мировой войны. У неё был удивительно острый и чёткий ум и здравые суждения. Она прожила в Америке более пятидесяти лет и, конечно, знала, что говорила.

В моей прошлой жизни мне тоже приходилось многое делать по протекции. Разница была в том, что там это делалось в обход государственной системы, не признающей частной инициативы. Спасибо Любе за совет. Только вот с моим плохим английским мне не так-то просто заводить знакомства и разговаривать с людьми. Я умел говорить на уровне приблизительно 3—4-летнего ребёнка: вместо разговора из меня исходило лепетание. Но то, что мило для младенца, стыдно для мужчины в сорок восемь.

Жизнь надо было начинать с языка: как в Библии — «вначале было слово»...

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК

Проснуться в Америке — это было совершенно необыкновенное ощущение! Но романтика ощущений сразу пропала, как только мы обвели глазами нашу маленькую, тёмную и запущенную комнату. Ирина опять приуныла, и я расстроился. Надо было попытаться сделать что-то, улучшить этот наш временный быт. Но было слишком рано просить об этом администрацию. Пока что я вышел на 91-ю улицу и рядом с нашей гостиницей увидел большую синагогу «Молодой Израиль». Видеть синагогу рядом с жилыми домами, как деталь повседневного быта, было необычно. Всю прошлую жизнь религия была для нас табу, немногие сохранившиеся от коммунистического вандализма церкви стояли на кладбищах, далеко от домов, а синагоги вообще были наперечёт; я видел их считанные разы, и каждый раз испытывал при этом смятение чувств — интересно было зайти, но я боялся. А тут всё было так просто: заходи и молись. Хоть я не умел и не собирался молиться, но решил прийти сюда в Сейдер, один из дней Пасхи, чтобы посмотреть, как это делают другие.

Тут неожиданно потемнело и полил дождь такой силы, каких я не помнил в России. Американская природа как бы старалась показать свою мощь. Я впрыгнул в вестибюль гостиницы и наткнулся на сына. Владимир-младший всё-таки решил героически прогуляться по Бродвею, его жгло молодое нетерпение скорее увидеть, что такое эта Америка. Мы с Ириной спустились вниз, в довольно серый вестибюль, для раздобывания другой комнаты. Там было несколько незнакомых нам пожилых мужчин, явно постояльцев. Они стояли и сидели группами по два-три человека и что-то обсуждали, слышалась смесь английского, идиш, польского и русского языков. При виде нас они замолчали и с интересом стали нас рассматривать. Мы оглядывались в поисках администратора

и озирались на них. Немая эта сцена продолжалась несколько минут. Один из них подошёл к нам.

— Вы, наверное, только вчера приехали? — спросил он с акцентом.

— Да, поздно ночью.

— Уэлком ту Амэрыка, добро пожаловать в Америку. Может быть, вам надо что-нибудь помогать? — али одно, али другое, вы спрашивайте.

Он говорил тихо и мягко, явно стараясь не быть навязчивым. Другие подошли ближе и прислушивались, на их лицах был повышенный интерес, и постепенно все наперебой начали спрашивать:

— Откуда вы?

— Большая семья?

— Что вы делали в России?

— Говорите по-английски?

Мы с Ириной едва успевали отвечать. Но наш первый знакомый сумел остановить поток любопытства:

— Что вы всё спрашиваете? Помалу, помалу... Дайте людям брейк (прервитесь). Может быть, им нужно помогать, а совсем не нужно ваши вопросы.

Они недовольно подались назад, а наш новый знакомый взялся поговорить вместе с нами с администрацией. В процессе разговора я спросил:

— Что это за пластиковый пакет, который валяется возле нашей двери в коридоре?

— А, это... разве вы не поняли? — это подарок от гостиницы, к Пасхе. Там кошерное вино и сладости.

— Ах, вот оно что. Нам его просто кинули вслед.

— А, знаете, тут так делают. Мало-помалу вы привыкнете. Это Америка.

Форма, в которой тот подарок нам «вручили», была нова для нас. Все европейцы, в том числе и русские, придают значение форме общения. Это был урок для нас, показавший, что в Америке форме не придаётся никакого значения: простой швырок пакета вслед по коридору может оказаться знаком любезности и актом вручения подарка.

Номер нам сменили, дав двухкомнатный, намного чище и светлей. Наш новый знакомый немало этому способствовал, сам осмотрел новый номер и сказал:

— Всё в порядке, пьяных нет (старая русская присказка, запомнившаяся ему издавна)!

Настроение улучшилось, но за окнами лил страшный дождь, а нам полагалось в первый же день ехать в НЙАНА на собеседование. Я решил позвонить туда, но телефоны в комнатах беженцев работали только для внутренних звонков. Как пользоваться платным? Наш покровитель бросил в автомат свой дайм (десятицентовую монету) и соединил меня. Несмотря на дождь, нас там ждали.

Начали спускаться вниз беженцы. Они осторожно оглядывались и сразу попадали под обстрел вопросов тех же постояльцев:

— Откуда приехали?.. Большая семья?.. Говорите по-английски?..

Наш благодетель критически посматривал в их сторону:

— Зачем столько вопросов? Как не понимать, люди устали с дороги. Надо помалу.

Услыхав мои переговоры по телефону, беженцы заинтересовались:

— А куда вы звоните?

— А что — вас там ждут?

— Ой, а как же туда доехать?

Действительно, как доехать до Юнион Сквер (площадь Союза, по-русски)? Наш опекающий дал нам автобусные токены по 50 центов и ни за что не хотел брать деньги. Он пошёл проводить нас с Ириной на остановку автобуса №7 на авеню Колумба, подробно и толково объясняя, как доехать и потом дойти. Сам он, бедняга, промок вместе с нами в долгом ожидании автобуса.

Этого человека звали Борис, но постояльцы называли его Берл, по-еврейски. Был он из местечка в Западной Украине, четыре года провёл на фронте лейтенантом Советской Армии. Его семью и весь городок уничтожили гитлеровцы, это возбудило в нём национальные чувства и ненависть к антисемитизму. Он не захотел оставаться там. С тех пор уже тридцать лет он жил в Нью-Йорке, был холостяк, продавал газеты в киоске, потом сердце стало болеть, он вышел на пособие по болезни.

Подобные истории жизни были и у других постояльцев. Все они приехали из России или из Польши, все в возрасте около шестидесяти, и все холостяками доживали в Грейстоуне, старом семейном отеле, имея там скидку. Приток советских беженцев взбудоражил их: много лет они жили в полном отрыве от своей бывшей страны, и вот начался исход евреев из мест их юности. Они вспоминали прежнюю жизнь и как им самим было трудно, когда они безо всякой помощи оказались в Америке. И теперь они все наперебой старались нам помогать объяснениями и советами, а заодно удовлетворяли своё любопытство, слушая рассказы всё прибывающих и прибывающих беженцев. Люди из когда-то оставленного ими другого мира были для них книгой жизни. Большое им спасибо за участие и помощь!

Берл был особенно внимательным к нам и не слишком навязчивым. Я советовался с ним по всем практическим вопросам на первом этапе нашей иммиграции, и он, простой и хороший человек, всегда давал мне деловые советы и помогал, чем только мог. С тех пор прошло уже более двадцати лет и многое изменилось, но мы с ним до сих пор встречаемся и дружим. Я зову его в шутку «товарищ лейтенант», а он мне всегда отвечает «всё в порядке, пьяных нет».

Мы приехали в НЙАНА немного раньше времени, дождь прекратился, и мы решили пройтись вдоль ближайшей 17-й улицы. Рассматривая дома новой для нас архитектуры — браунстоуны, дошли до 2-й авеню. Там на углу шла высокая стройка. Я залюбовался, как ловко работали строители, и мы повернули обратно. Я тогда понятия не имел, что через несколько лет стану ходить и ездить здесь на работу, а те строители строили будущий мой госпиталь.

В зале НЙАНА был приготовлен праздничный приём с вином, кофе и печеньем. Собралось человек пятьдесят новых беженцев, робко пробовали угощение. Вице-президент, коренастый юркий человек с проницательным взглядом, держал перед нами речь на русском. Говорил он много важного, но мне особенно запомнилось патетическое окончание его речи:

— Америка это такая страна, где человек всё время идёт вверх (он провёл рукой путь, как по крутой горе). Вы все начинаете с самого начала, и на ваших путях у вас будет много трудностей. Но поверьте мне, через несколько лет вы все будете о'кей, счастливые и богатые. Это Америка!

Не то, что он говорил что-либо особенное, но сказанное им полностью соответствовало моим представлениям об Америке, это вселяло в меня оптимизм. До сих пор мои ожидания были основаны только на оптимизме души, но он-то был американец и по опыту знал, что говорил. Именно в тот момент я начал чувствовать уверенность в нашем будущем. Для успеха любого дела важна платформа уверенности. У всех нас свои пути и возможности, но многое, почти всё в жизни, зависит от твоего отношения к окружению и условиям. В себя я верил всегда, а теперь верил и в Америку. Америка — это такая страна!..

После угощения и приветствия работники НЙАНА обходили нас и знакомились. Они говорили по-английски, наши не понимали, только усиленно улыбались, а сказать ничего не могли. Иринин английский произвёл впечатление, и возле нас собралась группа сотрудников. Они закидали нас вопросами. Узнав, что я доктор, сказали:

— Как прекрасно! У нас для беженцев-докторов есть специальный консультант, сам доктор. Обязательно с ним поговорите.

Поговорите! Но — как? Я тоже улыбался, а вот сказать ничего не получалось.

В тот первый день в Нью-Йорке мой сын пришёл домой абсолютно мокрый и абсолютно счастливый: он прошагал под проливным дождём весь Бродвей от 91-й улицы до самого начала и обратно, видел издали статую Свободы, видел Мировой центр торговли, статую Колумба — видел всё-всё, но особенно неотразимое впечатление на него произвели витрины магазинов электроники — обилие приёмников, проигрывателей, магнитофонов, кассет с самыми популярными записями того времени. Он был по-мальчишески счастлив и дрожал, как щенок, от холода и возбуждения. Нам с Ириной с трудом удалось усадить его в тёплую ванну.

Всё вокруг продолжало нас поражать, даже напор воды, с которым она вытекала из кранов, был непривычно сильным. Когда я первый раз спустил воду в унитазе, то чуть было не отпрыгнул — с такой невиданной для меня силой и шумом хлынула вода для смыва.

Беженцы собирались внизу и тоже выражали своё удивление.

— Воду американцы не экономят совсем. В Италии еле-еле текла, а здесь — потоком.

— Они тут и энергию совсем не экономят — огни повсюду горят сутками напролёт.

— А автомобили такие большие! — небось двигатели сколько бензина жрут.

— И самолёты летают каждую минуту. Сколько самолётов-то!

— Америка богатая.

На следующий день мы с Ириной смогли прогуляться по городу. Установилась тёплая солнечная погода, смена произошла так резко, что это тоже было необычно для нас. Итак, наш первый выход на Бродвей. Нам нетерпелось впервые увидеть американцев, не одиночек, а именно массу американцев, уличную толпу. Какие они? Подсознательно мы представляли себе, что по улицам ходят люди голливудского типа: мужчины высокие, ладно одетые, с приятными и мужественными чертами лица, как у Джона Уэйна; а женщины должны быть стройные блондинки, в облегающих фигуры нарядах, что-то вроде Ширли Макклейн.

Мы и сами решили приодеться получше, чтобы не выделяться из такой толпы: я долго прилаживал подходящий к костюму галстук и начистил до блеска туфли, а Ирина надела синий французский костюм, который ей очень шёл, и туфли на высоких каблуках. Мы вышли за угол и нырнули в бродвейскую толпу.

Первое, что мы увидели, — мусор повсюду: бумажки, газеты, пластиковые пакеты, тряпки, поломанные зонтики, а у обочин тротуаров были какие-то растерзанные автомобили без колёс, стёкол и дверей. Всё это валялось на улице, не затрагивая ничьего внимания, — толпа равнодушно двигалась в разных направлениях. Откровенно говоря, такого изобилия мусора на улицах мы никогда раньше на видели. Ну, ладно, чёрт с ним, с мусором, давай смотреть на людей. Хотя было утреннее рабочее время, толпа шла густая. Но где же наши «типичные» американцы? Сколько я ни вглядывался, ни Уэйнов, ни Макклейнш увидеть мне не удавалось. Вместо них преобладали люди совсем другого внешнего типа: смуглые, низкорослые, много было даже коротышек, все брюнеты с прямыми волосами, довольно полные, а среди чёрных попадались такие толстые, каких мы в жизни не видели. И вся толпа была неряшливо одета, многие даже в каком-то тряпье. Я растерянно посмотрел на Ирину, она — на меня: что это?! И вдруг мы не выдержали и оба невольно расхохотались несоответствию ожиданий и действительности. Наверное, со стороны это была странная картина: стоит на улице прилично одетая пара иностранцев, вроде туристов, явно к этому Бродвею не имеющих отношения, и оба хохочут посреди неряшливо одетой толпы низкорослых людишек.

Всё-таки было непонятно: кто эти люди? Мы шли, держась за руки, приглядывались и прислушивались к обрывкам их разговоров. Они говорили явно не на английском. Что это за язык? Мы могли бы по звучанию различить французский, немецкий и итальянский языки, но они говорили на каком-то другом, притом исключительно быстро, тараторя и с твёрдым произношением звука «р-р-р». Я бы сказал, что их странное произношение было довольно неблагозвучным.

— Может быть, это испанский? — нерешительно сказала Ирина.

— Ну, что ты! Испанский такой мелодичный, плавный, красивый. А они говорят так, что даже ухо режет.

Нет, по звучанию мы не могли определить, на каком языке говорят на Бродвее.

Рядом был супермаркет «Кифуут», и мы зашли туда, в первый американский магазин.

Супермаркет поразил нас размерами, изобилием продуктов, и грязью тоже. Там этих странных людей было даже больше, чем на улице. Они толкались, везя перед

собой тележки, и набивали их продуктами. Мы решили проследить, кто и что покупает. Для этого мы выбрали одну тучную чёрную, лет сорока. Она катила тележку и безразлично нагружала её продуктами, не глядя на их цену — жирными кусками мяса, куриными частями, оливковым маслом, бутылками «Кока-колы», фруктовым соком, фруктами, пачками макаронных изделий, овощами, хлебом... Когда она подкатила к кассе, мы встали за ней. Кассирша быстро и ловко отбивала на кассе стоимость продуктов, гора их росла на упаковочном столе. Переговаривались они на том же непонятном языке. Наконец, всё было пересчитано, я подглядел цифру на кассе — $85. Такую сумму каждый из нас получал на питание на целый месяц. К нашему удивлению, покупательница дала вместо долларов какие-то купоны. Расплатившись, она еле протиснулась в узком проходе между кассами и важно ждала, пока худой и бледный парнишка упаковал всё в пластиковые пакеты и уложил в её тележку. На улице она с невозмутимым видом подошла к припаркованному большому чёрному «Кадиллаку», парнишка выкатил за ней продукты, она отперла багажник, куда он уложил покупки. Не глядя на него, она взгромоздилась за руль и — плавно укатила. Я залюбовался машиной, ну и машина у неё! Мы шли растерянные: почему та богатая чёрная толстуха выглядела так неряшливо и что это за купоны у неё?

Когда мы вернулись в гостиницу, Берл и другие постояльцы были, как всегда, внизу.

Они принялись говорить комплименты по поводу нашего нарядного вида, особенно хвалили Иринин костюм. Берл спросил:

— Ну, как погуляли, понравился вам наш Бродвей?

— Странные впечатления, мы многого не поняли.

— Ничего, помалу, помалу, всё поймёте.

— На каком языке говорят все эти низкорослые люди на улице и вообще — кто они?

— Эти люди? А, эти люди... они говорят на испанском.

— Но ведь испанский звучит совсем не так.

— А, я понимаю... ну, они говорят на своём пуэрториканском испанском. Большинство из них иммигранты из Пуэрто-Рико, из Доминики, некоторые из Гаити, некоторые из Джамайки. В общем, с островов Карибского моря. Мы их зовём хиспаникс.

— А, вот оно что... Почему их здесь так много — даже не видно настоящих, урождённых американцев?

— Они здесь любят поселяться, потому что недалеко отсюда, ин аптаун (наверху города) начинается «испанский Гарлем», так мы его зовём.

— Испанский Гарлем? А что это за купоны, которыми расплачиваются в супермаркете?

— Купоны? А, так это, наверное, фуд-стэмпы, которые выдают бедным.

— Бедным?

— Ну да, их дают бедным, в дополнение к пособию по бедности, чтобы они могли покупать больше продуктов и не голодать. Потому что они не получают жалованья.

— Кто это бедные — эти толстые бабы? Почему они не работают?

— А я знаю... они считаются бедными, потому что у них много детей: по десять ребятишек, а то и больше. Они получают пособие и фуд-стэмпы. И дешёвые городские квартиры тоже.

— Но мы видели, что она ездит на таком «Кадиллаке», который нам никогда и не снился.

— А что это — «Кадиллак»! Старая машина, она, может, и сто долларов не стоит — старьё.

— Такая машина?!

— Ну да — это Америка. Я вам говорю: помалу, помалу вы ко всему привыкнете.

Всю жизнь мы представляли себе бедность совсем подругому. Бедный человек — худой, голодный, он ищет работу, чтобы пожевать хоть чёрствую корку. И выглядит он несчастным, потому что ниоткуда не получает помощи. Это русский портрет бедняка. А та жирная баба, которая, не работая, всё получает бесплатно, размножается в своё удовольствие и на «Кадиллаке» увозит гору продуктов — это американский портрет бедняка.

Да, очевидно — это Америка... и эта Америка нам казалась очень странной.

В другой раз мы оделись поскромней и пошли в сторону от Бродвея. На авеню Колумба, на Амстердам-авеню и

на уровне 80-х улиц мы с удивлением увидели массу пустырей с развалинами разрушенных и сожжённых домов когда-то красивой архитектуры. Теперь их окна зияли чёрной пустотой, или были заколочены ржавым железом, или заложены кирпичами. Картина ужасного запустения в Нью-Йорке...

На пустырях и улицах шатались люди, большей частью чёрные или те же хиспаникс, которых по виду можно было легко посчитать за преступников, бродяг и проституток. Они группами гнездились возле каких-то мелких магазинчиков с примитивно нарисованными вывесками захудалого провинциального стиля. Из магазинчиков гремела музыка — задорные песни на испанском, а сгрудившиеся эти люди пританцовывали и подпевали, не обращая внимания друг на друга. Многие держали в руках банки и бутылки с пивом и были уже пьяны. Ирина так испугалась, что шла, крепко прижавшись ко мне, и боязливо оглядывалась. Я тоже испытывал напряжение нервов. Но потом мы вышли из зоны тех улочек и оказались на Западной авеню Центрального парка — в другом мире. Было чисто, в ряд стояли великолепные большие дома старой архитектуры, в дверях были видны швейцары в форме с золотыми галунами. Здесь и люди другие ходили: высокие, хорошо одетые, светловолосые. Мы опять переглянулись с удивлением: вот она, разница классов общества! И как они уживаются так рядом — будто между ними невидимая стена?

Наша прогулка привела нас в Центральный парк. Красота его была нам как награда за разочарование и страх, который мы только что пережили. Возле водного резервуара всё было в бело-розовом цвете вишнёвых деревьев. На траве пестрели острова нарциссов. Кусты орхидей выглядели величественными и нежными маркизами со старинных полотен. Розовые магнолии распускали ароматные цветы. И всюду прыгали весёлые белки и громоздились нависающие скалы тёмного гранита. Мы влюбились в Центральный парк с первого взгляда. Посреди громадного города, окружённый стоэтажными башнями небоскрёбов, нигде более не виданный великолепный природный оазис.

Я должен забежать вперёд и сказать, что вот уже двадцать с лишним лет мы живём в том районе верхней западной стороны Манхэттена, которую только что описал. Тогда он произвёл на нас горькое впечатление. Но с тех пор всё изменилось: улицы стали чище, на пустырях выросли новые большие дома, многие старые изящно отремонтированы. Вместо паршивых лавочек появились богатые магазины с красочными вывесками и витринами и привлекательные кафе. И состав людей на улицах изменился — больше настоящих американцев и меньше хиспаникс. И мы любим этот наш район города больше всех других. Но особенно мы любим наш неповторимый во все сезоны Центральный парк.

В субботу был Пасовер, еврейская Пасха, праздник Исхода евреев из Египта. Как будто судьба приурочила наш приезд к этому празднику. Утром я пошёл в синагогу, впервые в жизни. Молящихся было ещё мало, они сидели и стояли, накрытые полосатыми талесами, напоминая сзади перуанцев под их накидками-пончо. Разница была, что все они качались. Я нерешительно остановился при входе: что я должен делать? Ермолку, которая мне досталась вместе с подарком НЙАНА, я надел ещё при входе — знал, что все должны быть с покрытыми головами. Но кроме этого, я не знал решительно ничего.

Ко мне шариком подкатил один из молящихся, невысокий полный господин лет семидесяти, на коротких ножках. Он заговорил по-русски с чуть заметным акцентом:

— Наверное, недавно из России? Добро пожаловать в нашу синагогу!

— Спасибо. Что мне нужно делать?

— А, так вы же ничего не знаете — как все советские евреи. Я вам всё скажу. Накидывайте на себя талес (они горой лежали при входе), берите молитвенник и садитесь рядом со мной. Я вам буду подсказывать.

Накинув талес, я почувствовал себя непривычно. Читать на иврите я не умел, но знал, что книгу надо открывать справа налево. Что теперь? Все качались и что-то бормотали, сосредоточенно глядя вниз. Я попробовал покачаться корпусом вперёд-назад, вперёд-назад — сразу ука-

чало, я даже почувствовал лёгкое головокружение. Нет, уж лучше не буду качаться. Но сидеть и рассматривать других тоже было неудобно. Я решил сидеть и вспоминать весь наш путь от Москвы до Нью-Йорка и проводить параллели с тем путём, какой, по библейским преданиям, прошли предки моего отца от Египта до Страны Обетованной. Посидев-повспоминав, я вышел из зала и вслед за мной опять выкатился шариком мой знакомый. Он завёл разговор, что сам он тоже когда-то иммигрировал, лет пятьдесят назад, и сначала попал в Палестину; много трудностей было на их пути; потом он стал свидетелем образования Израиля; и опять были трудности. Вот тогда-то, двадцать лет назад, он снова иммигрировал с семьёй — на этот раз в Америку.

— Теперь я о'кей, у меня свой небольшой бизнес, дети устроены, внуки здоровы. Жена, конечно, стареет, но мы оба ещё... (он хитро подмигнул). Вы меня послушайте, если вам что-нибудь нужно, я всё устрою. У меня очень хорошие знакомства, — в подтверждение поднял палец, указывая куда-то высоко, и добавил, понизив голос, — особенно в торговом мире. Я могу всё купить и всё продать.

— Спасибо, но мне нужны связи в медицинском мире, я доктор.

— О, так это я тоже могу! Я всё могу, у меня такие связи (и опять палец вверх)...

Его звали мистер Лупшиц, и он действительно помогал многим беженцам из нашей гостиницы. Низкая его фигурка в серой шляпе часто каталась шариком в их толпе, когда они стояли снаружи у входа или собирались в вестибюле. Он со всеми заговаривал, шутил, рассказывал разные истории из своей жизни. Большей частью он помогал беженцам реализовать привезенные на продажу товары. Постояльцы гостиницы ревновали к нему за это и скептически посматривали в его сторону.

Между ними как будто шло соревнование: кто скорее и больше других сможет опекать новоприбывших. Они ревниво относились к тому, кто успевал это сделать быстрее и успешнее других. Тогда они надувались, недовольно оспаривали его советы, даже обиженно переставали разговаривать друг с другом. В помощи нам был для них

новый большой смысл их скучного и бесцветного существования.

А наши беженцы хотя и спрашивали их советов, но хотели и сами показать себя: мы тоже не такие простые. Многим не нравилось их новое окружение. Рассудительный Берл постоянно их уговаривал:

— Помалу, помалу, и вам тоже здесь понравится. Это Америка.

— Что мне здесь может понравиться? — громко кипятился часовщик из Харькова, большой и тучный мужчина лет за шестьдесят. — Грязное их метро мне понравится? И я ещё должен платить за эту грязь полдоллара! Да я бы им показал, какое метро у нас в Харькове, и всего за пять копеек — игрушка, а не метро, вот!

Он особенно упирал на слово «их». Беженцы вообще подчёркивали свою непринадлежность к американскому обществу, говоря про американцев — они, им, их. Берл отвечал ему спокойно и тихо, как всегда:

— Помалу, помалу... Вы потом не будете себе брать этот грязный сабвей, если он Вам так не нравится. Вы будете ездить на своей машине.

— На машине, а! Я буду ездить на машине! Вы что — смеётесь?

— Почему смеяться? Скажите, была у вас машина в Харькове?

— Машина? Да я за всю свою жизнь и на полмашины не заработал.

— Вот видите, а здесь у такого человека, как вы, есть две-три машины. И ему не надо ездить на сабвее.

— Ну, это вы мне сказки рассказываете: «две-три машины»! Да откуда у простого часовщика могут взяться две-три машины?

— А что такого? Подумаешь, две-три машины. У половины американских семей есть по две-три машины. Начнете работать, купите сначала одну, старую какую-нибудь, японскую. Потом купите другую — новую, американскую. А третья уже будет немецкая. Мало-помалу всё будет. Это Америка. Зачем вам нервничать?

Опять нам приходилось жить в гостинице бок о бок с другими беженцами. Хотя они уже потёрлись боками о западную жизнь в Вене и Риме, но всё равно оставались

не очень приятными в тесном общении. А тот часовщик так просто раздражал своими шумными недовольствами по каждому поводу. Хотя... я тоже считал, что общественный транспорт был в Союзе намного дешевле и работал лучше. Но это был *единственный* способ передвижения по всей советской стране, им пользовались все слои населения, за исключением высоких начальников.

Сотрудники НЙАНА бувально задыхались от наплыва беженцев из Союза. В Нью-Йорке нас уже жило более ста пятидесяти тысяч, и люди всё прибывали и прибывали. 1978 год обещал стать рекордным. Правила были строгие: живи в гостинице две недели, ходи на оформление разных бумаг и на инструктажи в НЙАНА почти каждый день, за это время подыскивай себе дешёвую квартиру, на которую давали минимум денег, и старайся найти хоть какую-то работу, а если работы нет, получай мизерную помощь и изучай на курсах английский за счёт НЙАНА. А потом всё равно находи работу.

Правила были строгие, но почти никто из беженцев их не соблюдал, все чего-то требовали ещё и ещё. Большинство жили в маленьких и плохоньких гостиницах в Бруклине. Найти какую-либо квартирку было относительно нетрудно. Но для беженцев новым было правило, чтобы каждый ребёнок имел свою комнату, в крайнем случае, одну на двух детей того же пола.

— Да мы в Одессе (Черновцах, Николаеве, Кишинёве, Москве, Ташкенте и т.д.) жили в одной комнате по три поколения вместе — дедушки-бабушки, родители и дети — все вместе, — доказывали они.

— В Америке так не разрешается, — был ответ, — ищите квартиру на три-четыре спальни.

— Господи! Да мы никогда и не жили в таких квартирах.

И искали, и находили. А вот получить работу без знания языка было невозможно, хотя большинство беженцев были работники не профессиональных квалификаций. Сотрудники НЙАНА были натренированы именно на устройство только таких. Здесь им было даже трудней, чем их коллегам на этапах иммиграции: они должны были

помогать окончательному устройству беженцев, которые сами ничего вокруг не понимали. А главное, в НЙАНА не хватало переводчиков.

У меня переводчиком пока была Ирина. В один из первых дней меня направили к консультанту для беженцев-докторов, тоже доктору на пенсии. Это был человек за семьдесят лет, крупный мужчина суровой наружности. Посверлив меня глазами, он стал слушать, что рассказывала про меня Ирина. А она не жалела красок, чтобы дать ему понять, какой я хороший специалист. Я делал вид, что мне ясно всё, для этого усиленно улыбался и время от времени вставлял какие-то слова. Чем больше Ирина говорила, тем более скептически он посматривал на меня. Ко мне он обращался в третьем лице:

— Он что — хочет снова стать доктором в этой стране?

— Конечно.

— А он понимает, какой тяжёлый путь ему для этого надо пройти?

— Думаю, что мы понимаем.

— Ничего вы оба не понимаете, — резко и с неприязнью. — Вот, смотрите! — он достал с полки килограммов семь-восемь толстых медицинских учебников. — Вот! Это всё ему придётся выучить наизусть, чтобы сдать экзамен. А он даже не умеет читать на английском.

— Но ведь другие сдают экзамены и поступают в резидентуру...

— Глупости! Сдают они на самую низкую оценку, поступают в самую плохую резидентуту, а потом не могут устроиться ни в какой госпиталь, и открывают примитивные офисы для русских же пациентов. Это не американская медицина. Пусть он и не мечтает стать доктором, а тем более ортопедическим хирургом.

Я понимал, что он говорил, но сам ответить не мог. Во-первых, эта проклятая немота из-за незнания языка, а во-вторых, даже и с языком я действительно не представлял себе всех трудностей. Вышли мы от него, как помятые. Ирина так просто была убита — крушение надежд. Но мои надежды он не убил, я в себя верил.

Наш с Ириной первый опыт поездки на сабвее — метро — был удручающий. В один из первых дней мы поехали

на поезде №2 в другой район Манхэттена, Бронкс, чтобы присмотреть там квартиру. Ближайшая к нам станция сабвея, на 96-й улице, была полутёмная и грязная. Поезда ждать пришлось долго, минут двадцать. Вагоны его были снаружи сплошь разрисованы цветными граффити — въедливой краской-распылителем, выглядело это ужасно. Я даже не мог поверить, что это было сделано молодёжью просто из хулиганства: неужели допускается такое? Но внутри вагоны были ещё хуже — грязные, ободранные, половина ламп не горела.

Ещё худшее впечатление производили большинство пассажиров. Время было дневное, ехали почему-то в основном молодые чёрные, которым, по нашим представлениям, полагалось бы быть на работе. Они шумели, курили, даже задевали других пасажиров, особенно молодых женщин. Все молчали, никто не хотел связываться с ними.

По Ирине было видно, как она испугалась. Я тихо успокаивал её, но сам не был уверен, доедем ли мы благополучно до нашей цели в компании тех молодцев, лет по 18—20, которые о чём-то громко спорили:

— Эй, мэн!..

— Ай фак ю, мэн!..

— Ноу, ай фак ю, мэн!..

Вдруг эти двое сцепились и покатились по полу вагона. Мелькнули ножи, другие парни включились в драку. Пассажиры вскочили со своих мест и кинулись к проходу в соседний вагон. Мою Ирину как ветром снесло: она уже была в том проходе и тянула меня за рукав. Поезд остановился между станциями. Кондуктор в форме бежал через вагоны к дерущимся, машинист стал давать прерывистые сигналы тревоги. Ирина буквально дрожала, поглядывая в ту сторону. До Бронкса мы так и не доехали: на ближайшей станции пересели в обратном направлении и — забыли и думать о квартире в том районе.

В другой раз мы с опаской поехали на сабвее искать квартиру на север Манхэттена, в Высоты Вашингтона. Доехали до 168-й улицы благополучно, хотя и были напряжены. В местном комитете для беженцев нам дали адреса свободных или особобождаемых квартир. Это был район, где лет пятьдесят назад селились немецкие евреи, сбежавшие от Гитлера. Они там строили дома, открывали школы и магазины — всё на порядочный старонемецкий лад. Говорили, что раньше это был один из наиболее благоустроенных и спокойных районов. Дома и теперь выглядели приличнее, чем вокруг Бродвея, разрушений и пустырей не было. Разговаривая с жильцами и управителями домов, Ирина задавала один и тот же вопрос:

— Опасно жить в этом районе?

— В Нью-Йорке нигде не безопасно.

— Но можно ли ходить по улицам вечером, в темноте?

— Что вы! По вечерам мы стараемся не выходить из дома. Вот раньше!..

Ирина сказала мне:

— Нет, я не хочу здесь селиться. Я не могу жить под вечным страхом, что что-нибудь произойдёт с нашим сыном, с тобой или со мной самой.

Однако жить в гостинице за счёт НЙАНА нам оставалось только неделю. Опять надо было, второй раз за три месяца, что-то находить в абсолютно незнакомом городе, чтобы где-то поселиться. Большинство беженцев селились в Бруклине, другом районе города. Там в месте, называемом Брайтон-Бич, образовалась целая русскоязычная колония. Большинство из них были одесситы и поэтому в шутку переименовали то место в Одесса-бич. Цены на квартиры там были сходные, только вот перспектива жить вблизи беженцев нас пугала.

Берл сказал просто:

— А знаете, я бы вам не посоветовал жить там, это не для вас. Зачем вам ехать туда? Они там все живут, как жили в России: говорят по-русски, кушают русскую кухню, читают русские газеты, смотрят русское кино. Зачем? Это же Америка. Вы для этого сюда приехали?

Он был прав: мы приехали, чтобы стать американцами. Меньше всего нам надо было задерживать свою адаптацию в новой стране цеплянием за русские традиции и привычки. Русский язык мы и так знали — нам нужен был английский; русскую пищу мы и так ели — нам нужна была американская, русские газеты мы и так читали — нам нужны были американские. На Брайтон-Бич мы даже не поехали.

Однако ещё за одним советом мы поехали в другой район — Квинс, где уже три года жили наши знакомые москвичи. Он был доктор, патологоанатом, заканчивал резидентуру и мог дать нам практические советы. Предстоял длинный путь в сабвее, и это опять вызывало напряжённость. Вдобавок мы не знали станций. В вагоне висела карта сабвея, но она была так густо покрыта узорами граффити, что разобрать на ней ничего было невозможно. Я нервничал, сын мрачнел, а Ирина, я видел, была близка к истерике. На 59-й станции вышли, чтобы сделать пересадку и запутались — куда же нам идти? Читали указатели, но всё равно не понимали. Пробовали спросить проходящих мимо, но они так стремительно двигались в толпе, что на наши робкие «извините, пожалуйста» просто не обращали внимания. Уже не выдерживая, Ирина стала говорить, что она сейчас выйдет наверх и пойдёт пешком домой:

— Я больше не могу здесь! — почти кричала она.

— Но ведь мы же обещали им приехать, они нас ждут.

— Мне всё равно, мне дурно здесь, в этом сабвее.

— Ну, успокойся, пожалуйста.

К нам подошёл какой-то человек и вежливо заговорил по-русски с американским акцентом:

— Извините, может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?

Я обрадованно взглянул на него, это был мужчина как раз такого типа, каким в воображении я представлял себе американца: высокий, светловолосый, с приятным мужественным лицом, хорошо одетый и с хорошими манерами.

— Мы впервые едем на сабвее в Квинс и запутались. Как нам доехать до Форест Хиллс?

Он толково объяснил нам, где сделать пересадку и сколько станций проехать. Ирина заметно успокоилась и заговорила с ним на английском. Он сделал комплимент её произношению.

— Как получилось, что вы знаете русский? Это вам нужно для вашей работы?

— О, нет, это для меня самого. Я юрист, и никакого отношения к делам с Россией не имею. Но часть моих предков происходили из России. Поэтому я сам решил изучить язык и ездил в Россию туристом два раза. Мне там очень понравилось.

— Туристам везде хорошо, — сказал я.

— О, да, вы совершенно правы, — ответил он с открытой американской улыбкой. До чего же хороши эти американские белозубые улыбки!

Перед тем как расстаться он дал нам свою визитную карточку:

— Позвоните мне на днях, в удобное для вас время.

На карточке мы прочитали: «Эллан Граф», телефон и фирму. Бог нам его послал?

Мне надо было расспросить нашего радушного хозяина-доктора об очень многом, фактически — о том, как же мне начинать здесь свою профессиональную жизнь. Он был в моём возрасте, приехал сюда 5 лет назад, знал английский, сдал экзамены, заканчивал резидентуру. Мне всё это казалось недосягаемыми вершинами. И вот я сидел, внимательно слушал и даже записывал. Он рассказывал про экзамен и про необходимые американские учебники и как после экзамена искать резидентуру или ещё до экзамена пытаться найти временную работу, связанную с медициной.

Он не пугал меня, как тот консультант в НЙАНА, а говорил просто:

— На первых шагах тебе, да и всем вам придётся очень нелегко. Никому тут легко с самого начала не бывает. Я видел русских беженцев, которых было даже просто жалко, по-настоящему жалко — так им было трудно сначала. Но потом каждый всё равно находил своё место и свои деньги. И вы тоже найдёте. И всё будет о'кей. А если ты сумеешь стать ортопедическим хирургом, то будешь даже богатым — они зарабатывают больше всех других специалистов.

Перспектива разбогатеть была так далека от меня, что я только ухмыльнулся. Из многих его практических советов я твёрдо запомнил один:

— В Америке от работы не отказываются.

Это было то, что я решил для себя ещё заранее: если будет нужно, я стану делать любую работу, включая са-

нитарскую. А потом буду постепенно подниматься до своего нового потолка — какого?

Я уже понимал, что мой 25-летний опыт работы в России и все мои академические титулы здесь стоят не очень дорого. У меня не было никакого чувства ложной гордости за прошлые успехи — всё это улетучилось в тот момент, когда в Вене я ощутил, что моя прошлая жизнь покинула меня. Мне нужно то, что надо здесь.

Как бы в подтверждение этому он добавил:

— Ты в России был вроде генерала или полковника. Теперь ты превратишься в сержанта. Но ты сможешь стать опять капитаном или майором. Только на этот раз у тебя уйдёт значительно меньше времени на прохождение служебных ступеней.

Ирина слушала напряжённо и засыпала хозяина вопросами:

— Я тоже была научным сотрудником в московских институтах и лабораториях. Смогу я тут найти для себя адекватную научную работу?

— Здесь вся наука делается на средства от грантов, выделяемых на определённую тему. Гранты даются временно и только действительно крупным исследователям с оригинальными идеями. Поэтому работа научных сотрудников здесь довольно неверная: сегодня есть грант — они работают, завтра грант кончился — они без работы.

Ирину это напугало, она помрачнела:

— Я так и думала. Мне здесь не найти себе работу по специальности.

— Ну, подожди преждевременно растраиваться, — успокаивал я, — давай сначала осмотримся вокруг. Мне всё-таки кажется, что в Америке, стране такой интенсивной научной деятельности, всегда можно будет найти что-нибудь подходящее.

— Нет, я поняла — с моей научной карьерой всё кончено, — вид у неё был убитый.

Говорили мы, конечно, что и как делать нашему сыну. Получалось, что, хотя он уже и был студентом-медиком в Москве, всё равно ему надо сначала заканчивать колледж, а уже потом пытаться поступать в медицинский институт, в который иммигрантам поступить очень тяжело. По приблизительным подсчётам, он на этом потеряет не менее 6—7 лет. После этих разговоров и сын сильно помрачнел.

Зашла молодая пара, оба не более сорока лет, которые относительно давно приехали из Москвы. Он уже сдал врачебный экзамен и третий год был в хирургической резидентуре. Я обрадовался: вот от него-то я и узнаю, что мне необходимо. Но он был усталый, вялый, сказал, что он после дежурства и стал жаловаться на сумасшедшую физическую и психологическую нагрузку хирургических резидентов: они дежурят каждую вторую или третью ночь, а после дежурств ещё остаются работать по 12—14 напряжённых часов. Его жена тоже жаловалась:

— Это какое-то издевательство над людьми! Вы бы видели, какой измученный он приходит домой с тех дежурств — на него просто страшно смотреть. Я серьёзно опасаюсь за его здоровье, — при этом она больше апеллировала к Ирине.

Их рассказы навели оторопь на меня, а Ирина сникла окончательно:

— Я думаю, в твоём возрасте ты не выдержишь такой нагрузки.

Наш хозяин посоветовал:

— Можно ведь идти в другую резидентуру, на патологию, например, или в психиатрию. Это намного короче и легче: ночных дежурств мало и они не такие тяжёлые, как у хирургов. Я знаю многих русских врачей, которые поменяли здесь свою специальность на более лёгкую.

Ирина грустно смотрела на меня, ей было меня жалко, но она сказала:

— Я думаю, тебе лучше выбрать другую специальность. Надо быть реалистом и мириться с действительностью.

Так, узел вокруг моей шеи завязывался всё туже. Меня уже и пугали и уговаривали отказаться от дела, которое я любил и знал. Конечно, я постарел для того, чтобы стать снова начинающим хирургом. Но я не мог представить себе, что никогда больше не войду в операционную и не встану возле операционного стола. Если бы мне пришлось от этого отказаться, я бы страдал до конца жизни. Конца жизни? Да это и был бы конец моей жизни. Нет, я буду пробовать всё, чтобы оставаться хирургом, оставаться са-

мим собой. Я всю жизнь добивался того, чего очень хотел. Мне всё доставалось, с трудом, но доставалось. И я верил в своё счастье. Если уж не станет сил и не будет выхода, тогда... Но заранее сдаваться — это не в моих правилах. А ведь Ирина знала меня, знала, как я люблю свою специальность, и знала, что не в моём характере идти на компромиссы в таком принципиальном вопросе, как выбор цели жизни. Почему же она подталкивала меня на это? Я ответил Ирине резко:

— Я хочу умереть хирургом. Пусть я лучше свалюсь замертво возле операционного стола, чем буду медленно загнивать над микроскопом или томиться в длинных беседах с психами.

Мы ушли из гостей оба недовольные друг другом.

Мне хотелось наконец побыть одному, подумать обо всем. На следующее утро я пешком ушёл в Средний Манхэттен. Шёл, думал и смотрел. Всё новое, что обрушилось на нас в Нью-Йорке, вызвало психологический стресс: непонимание, помноженное на страх и на несогласие. Надо было как-то приводить мозги в порядок.

Города я не знал и шёл по нему, как Тарзан после джунглей — по своему дикому наитию. Так я попал на какую-то площадь, где вокруг стояли небоскрёбы, а в углублении посередине был небольшой каток с искусственным льдом и громадной позолоченной фигурой Прометея. Вокруг развевались флаги всех стран. Бродя и рассматривая, я нашёл название того места — площадь Рокфеллера.

Оттуда я перешёл на шикарную Пятую авеню, с красивыми домами и церквями старого архитектурного стиля, потом попал на широкий проспект — Парк-авеню. Там в ряд стояли небоскрёбы новейшего стиля, гигантские вытянутые вверх коробки со сплошными стеклянными стенами разных оттенков. Они не были красивы в привычном смысле установившейся архитектурной эстетики, но их величина, пропорции и оригинальность конструкции действовали на меня эмоционально. Я ходил, задрав голову и разглядывая величественные громады. Гёте писал, что архитектура — это музыка в камне. Новейшая

американская архитектура своей мощностью и устремлённостью ввысь лучше всего выражает самую сущность теперешней Америки. И до чего же это всё ушло вперёд по сравнению с теми низкими и безвкусными строениями, которые окружали нас в России! Я ощущал прилив энергии и оптимизма от сознания, что всё это новое и необычное — теперь станет моим повседневным окружением.

В этом мажорном состоянии я и хотел продумать свои планы. Но где? — вокруг с шумом проносились машины, всё мчалось, гудело, мелькало, отвлекало. Неожиданно передо мной открылся простор какого-то небольшого зелёного парка с ещё одним плоским небоскрёбом вдали. Я по фотографиям узнал — Организация Объединённых Наций. У ограды парка с безразличным видом стоял чёрный охранник в форме. Я привык, что в Москве никого не пускали в административные здания, и сразу заробел: можно ли зайти в тот парк? Прорепетировал в уме вопрос по-английски и спросил:

— Могу я тут погулять? (Can I walk here?)

Не поняв, он переспросил:

— Работать? (to work?)

Очевидно, мне не хватало звучания при произношении гласных, которые в американском варианте английского языка очень открытые и звучные. Я подумал: «Это было бы неплохо, получить работу в ООН», — но открыл рот пошире и сказал:

— Нет, только погулять.

Он с удивлением посмотрел на меня:

— Конечно, гуляй, если хочешь, — и отвернулся.

В парке было прекрасно: цветущие деревья, масса цветов, дул свежий речной ветер с Западной реки, аллеи были пустынны и скамейки не заняты. Как раз то, что нужно, чтобы посидеть и подумать.

Итак: на изучение английского и на подготовку к врачебному экзамену мне нужно не менее двух лет; ещё около трёх—пяти на прохождение резидентуры; значит, когда я закончу это, мне будет не менее пятидесяти пяти. Поздновато начинать! — начало-то и есть всегда самое трудное. Да и то сказать — это всё лишь при сохранившемся здоровье. А если... лучше не думать.

Пока буду учиться, зарабатывать я не смогу. Младшему тоже надо учиться — это самое главное. Значит, рассчитывать можно только на то, что сумеет заработать Ирина. Но как бы она ни устроилась, много денег получать она не будет.

Птички вокруг весело щебетали, прилетали и улетали. А я всё глубже погружался в безвыходность нашей ситуации. За привезенные драгоценности я смогу получить столько, что будет достаточно для скромной поддержки, скажем — на плату за квартиру в течение года. Но есть два варианта в запасе: я нахожу хоть какую-нибудь работу — скажем, ассистентом на операциях или гипсовым техником, даже санитаром. Это задержит мою учёбу, но поддержит всю семью. И последнее: если я смогу написать давно задуманную книгу о советской медицине и найти издателя, это может принести достаточно денег, но задержит мою учёбу. Но писать, переводить на английский, искать издателя — это всё будет раздражать Ирину неверностью исхода. Она трезвей меня понимала, что самой выгодной картой в нашей сложной игре с новой жизнью была моя медицина. Я был уверен, что сумею написать, но не знал американского книжного рынка и обосновать успех этого дела Ирине не мог.

Из всего, что я обдумывал, ясно вытекало, что предстоит долгая и упорная борьба за существование в совершенно непривычных условиях. Наверное, надо пытаться начать действовать во всех направлениях — что-нибудь да получится.

В этих думах я наблюдал, как на ближайшем ко мне дереве птичья пара свивала себе гнездо: один принесёт ветку, другой вставит её между предыдущими — одна ветка, другая ветка, третья. Счастливые птицы — у них будет своё гнездо. Работали они дружно, покосятся на меня, принесут ветку, вставят, опять покосятся, опять вставят. Как будто подсказывали мне, что делать: сначала — квартира! О'кей, птицы, я понял.

Пока что я пошёл в НЙАНА за направлением на языковые курсы. Экономя деньги на транспорте, прошёл обратно, на 42-ю улицу, 70 блоков, т.е. кварталов, ноги уже сильно гудели. Там, в прекрасном Крайслер-небоскрёбе, третьем по высоте, была языковая школа Кембридж: восемь классов — по уровню знаний языка. Надо было сдавать вступительный экзамен, чтобы определить свой уровень. Я думал, что это займёт время. Но секреташа тут же дала мне лист с недоконченными фразами, который я должен был заполнить в несколько минут. Отобрав бумагу, она стала прикладывать к ней трафаретки, по которым определялся уровень моих знаний. Одну, потом другую. Интересно как делается — просто и быстро. Я был уверен, что натянул только на первый-второй уровень. Она приложила третью.

— Третий уровень. Поздравляю. Занятия начинаются через неделю.

Это так меня обрадовало, что опять пешком я прошёл ещё 50 блоков до гостиницы.

Ирина волновалась — что могло случиться со мной в этом ужасном городе? Я сказал:

— Ко мне надо относиться с уважением: перед тобой студент Кембриджской языковой школы, и не какого-нибудь, а третьего класса!

Мы радостно обнялись.

ПЫЛЬ НА ДОРОГЕ

У сотрудников НЙАНА была тяжелая работа: они были первой линией, на которую приходился массивный удар наседающих толп наших беженцев, и задача была — устройство их на работу, и как можно скорее. Прибывали тысячи людей пёстрого профессионального спектра — инженеры, продавцы, юристы, парикмахеры, врачи, торговые работники, учителя, ремесленники. Одно у них было общее — никто не знал английского. Они постоянно толпились в НЙАНА, чего-то просили, требовали, добивались, плакали, скандалили. Сотрудники беседовали с ними через переводчиков, но их не хватало. Тогда они терпеливо и методично пытались объясняться с ними на английском. У беженцев это вызывало реакцию раздражения, отчаяния и уныния.

— Ой, что она такое говорит? Я же ничего не понимаю, что она такое мне говорит! — почти в истерике кричала молодая одесситка.

— А, чтобы вы подавились тут этим вашим английским! — растерянно и злобно бормотал про себя пожилой киевлянин.

— Так, так, так... — кивала головой в такт речи пожилая женщина из Кишинёва, а потом высказывалась: — Ничего я не поняла! Дура дурой.

Собственное непонимание вызывало в них негативную реакцию. Им казалось: раз они говорят по-русски, то и все вокруг должны говорить с ними на русском. Некоторые даже считали, что сотрудники специально скрывают свои знания русского:

— Да понимают они, понимают нас, только не хотят говорить с нами.

Эта толпа возбуждённых или унылых, в зависимости от индивидуального темперамента, людей вызывала во мне и сочувствие, и жалость. Я тоже принадлежал к ним,

и сам был почти немой, но всё-таки старался выжать из себя какие-то слова на английском. Если со мной говорили медленно и внятно, я понимал неплохо. Но одно дело слушать, а другое — говорить. Отвечать мне было мучительно трудно. Я старался заранее продумать слова и репетировал про себя их произношение. Но как только дело доходило до диалога, язык мой прилипал к нёбу. Прежде чем слово вылетало из моего рта, оно должно было как будто пройти во мне с кровью весь большой круг кровообращения от мозга до пятки, чтобы потом вернуться и попасть на язык. Я напрягался и уставал от коротких бесед, как не уставал от хирургических операций. Вдобавок меня морально угнетало ощущение невозможности выразить себя. Я был поэт, автор книг, профессор-лектор, докладчик на учёных конгрессах — а теперь едва мог донести до своего собеседника клочки простых мыслей. И ещё — по свойству характера я всегда любил шутить и острить в разговорах. Но теперь мне было не до остроумия: по лицу собеседников я понимал, что вызывал у них сострадание.

Вот и поди попробуй — рекомендуй на работу людей, которые не понимали, что им говорят. Прежняя высокая квалификация профессионалов нам не только не помогала, но ещё и мешала: как заставить пожилого университетского профессора грузить мешки и ящики в железнодорожные вагоны? У него не только не было сил, но он даже не мог бы понять, чего и куда грузить. Поэтому многие оставались на обеспечении НЙАНА месяцами, а на пособии для бедных (велфар) — даже годами.

На общем для беженцев фоне моя Ирина, конечно, была исключением. Она учила и знала английский с детства, свободно знала немецкий, понимала и могла объясниться на французском. Учёный-экспериментатор, она имела степень кандидата биологических наук. И выглядела привлекательно: элегантная, моложе своих сорока пяти, очень разговорчивая, улыбающаяся. И хотя работы по её квалификации не было, но уже через три недели НЙАНА предложила ей первое же рабочее место — медицинского ассистента в частном врачебном офисе, что-то вроде помощника медицинской сестры. Это было далеко не то,

чего Ирина хотела бы для себя, но на том этапе выбирать не приходилось: в Америке от работы не отказываются. Ей должны были платить $190 в неделю, это казалось нам фантастической суммой. Правда, после налогов оставалось только $150. Всё равно Ирина была горда и счастлива, а мы с сыном радовались за неё и готовились жить на её деньги. Тем более что НЙАНА одной рукой предложила ей работу, а другой рукой сразу сняла нашу семью со своего обеспечения — перестала платить за гостиницу и выдавать на питание.

Среди наших соседей по гостинице сразу распространился слух об Ирининой везении. Постояльцы поздравляли её:

— Мазал Тов! Вы теперь настоящая американка.

Берл сиял от удовольствия, как спортивный тренер радуется за успех своего ученика:

— Я же говорил: помалу, помалу, всё постепенно наладится. А знаете, теперь это за $190, потом найдётся работа за $250, а в следующий раз за $500. Это Америка.

Большинство беженцев завидовали Ирине:

— Как это вам удалось так быстро получить работу?

— Наверное, вы знаете кого-нибудь. Не могли бы дать мне имя этого человека?

— Вы, конечно, дали взятку кому-нибудь в НЙАНА. Ни за что не поверю, чтобы вы нашли работу так быстро без взятки.

Одна сорокалетняя незамужняя женщина — доктор Тася, пышная крашеная блондинка, смотрела на Ирину, как на чудо:

— Лапушка, кисанька, вы такая счастливая: у вас есть и муж, и работа. Я вот три месяца ищу хоть какую-нибудь работу и ничего не могу найти. Кисанька, лапушка, может, вы поговорите там за меня. Я так вам буду благодарна, так благодарна!..

Моя тётка Люба деловито поинтересовалась, где располагается тот офис, куда направили Ирину. Узнав, что это на углу Пятой авеню и 65-й улицы, она очень удивилась:

— Это же самый богатый район Нью-Йорка, там живут только миллионеры.

У нас было мало представления об американских миллионерах, только из отдельных комедийных фильмов

1930—1940-х годов, одни с Чарли Чаплином, другие с Диной Дурбин. В них миллионеры были представлены в малопривлекательном, гротескном стиле. Люба рассказывала Ирине, как всегда тихо, мягко и ненавязчиво, какие это люди, с кем ей придётся столкнуться и как ей лучше вести себя с ними.

Сын продолжал свои ежедневные длинные прогулки по городу, но теперь уже и подрабатывал, помогая разгружать товары у магазинов. Парень он был здоровый, его охотно нанимали на час-два, платя $20—25. А через две недели он нашёл постоянную работу подсобного рабочего на часовой фирме, за $110 в неделю. Как он был горд!

И одновременно подал документы в Хантер-колледж, на Парк-авеню. Этот колледж принадлежал штату Нью-Йорк, поэтому обучение для жителей штата там стоило дёшево, что и определяло выбор. Мы с Ириной в его решения теперь не вмешивались: довольно мы пестовали его в Москве — пусть в Америке приучается к самостоятельности. Но помогать мы ему, конечно, будем всегда.

Я занимался на языковых курсах в послеобеденное время, а по утрам готовил домашние задания и ходил оформлять в НЙАНА и иммигрантских учреждениях документы на нас и на родителей. Они недолго прожили у Любы: вернулась из госпиталя её сожительница, и они вынужденно переехали в нашу гостиницу. Теперь приходилось думать о двух квартирах — для них и для себя, и чтобы были близко друг к другу. Состояние здоровья отца ухудшалось, его надо было возить к докторам, получать лекарства. Во всём этом приходилось помогать маме. Она попрежнему с энтузиазмом и вкусно готовила для всех нас, а я закупал и приносил продукты. В общем, моя жена и сын работали и зарабатывали, а я становился тем, что когда-то в России называли «кухонным мужиком», — подсобником.

Уже более трёх месяцев мы жили по гостиницам в постоянном общении с беженцами, это утомляло всех, а особенно Ирину. Да и платить за наш двухкомнатный номер было дорого. Теперь определились места Ирининой работы, учёбы сына и моих языковых курсов — всё это

было в средней части Манхэттена. Мы трое ходили до этих мест пешком, экономя на транспорте $3 в день. В месяц это уже получалось $90 — большая экономия. Ясно, что уезжать из Манхэттена нельзя, надо селиться где-нибудь в районе нашей гостиницы. Но район этот был дорогой, беженцы в нём вообще на селились. С нашими финансовыми возможностями снять квартиру здесь было трудно, хорошие стоили по $350—450 и больше в месяц, а за меньшие деньги были только квартиры в трущобах, с соседями-наркоманами, бандитами и проститутками. Поселиться там означало бы моральное и даже физическое самоубийство. Мы и так жили в постоянном психологическом шоке от нового окружения, от непривычного перенасыщения улиц тревожными сиренами полиции, пожарных машин и машин скорой помощи.

И как раз однажды вечером в доме напротив разыгрался громкий скандал, из окна раздавались крики на всю улицу, а потом воздух прорезал дикий, отчаянный женский вопль, вслед за которым раздался глухой стук. Это из окна высокого этажа была выброшена женщина. Загудели полицейские сирены, раздались выстрелы, собралась толпа. Бедная моя Ирина испугалась и была страшно подавлена:

— Нет, мы должны скорей переезжать отсюда, мы должны переезжать! — твердила она.

Я вышел на улицу, там собрались чуть ли не все наши беженцы и горячо обсуждали происшествие. Доминировал, как всегда, часовщик из Харькова.

— Что это за страна?! — кричал он. — Это же какие-то дикие люди! Преступники, сплошные преступники! Каждый день грабежи и убийства, убийства и грабежи.

— А что, у вас в России не было преступности, а? — иронически спросил Берл.

— Была, конечно. Но не столько же! Вот — убили женщину. А завтра в газетах будет и про другие убийства тоже. Это же с ума сойти — читать про это каждый день.

— А про что там писали в газетах в вашей России, а?

— Ну, там такое писали, что никто читать не хотел, — усмехнулся часовщик.

— Ну, например, про что?

— Про социалистическое соревнование писали, про перевыполнение планов, про производственные успехи — всё как страна процветает... Враньё одно писали.

— А про лагеря ГУЛАГа в газетах писали?

— Нет, про это, конечно, не писали.

— А представьте себе, если бы в ваших русских газетах писали про каждого арестованного КГБ, что тогда было бы, а?

— Ну, тогда бы им не хватило страниц.

— А что, государственная преступность лучше частной?

— Я не говорю — лучше. Это разные вещи. Здесь страшно выйти на улицу.

— Ну, а там людям страшно было оставаться дома: приходили кагэбэшники, забирали людей по ночам, выволакивали их из постелей. И потом они пропадали навсегда.

— Ну, это было давно — при Сталине.

— А потом стало лучше?

— Во всяком случае, так уже не сажали.

— Тогда почему вы уехали из Союза?

— Дурак был, вот почему! — обозлился собеседник. — Все евреи стали говорить: надо ехать, надо ехать! И мои дети тоже: евреям надо уезжать, евреям надо уезжать... Ну вот — они поехали, а я за ними, из-за жены. Она стала плакать, — он плаксиво передразнил, — «не буду жить без детей». Ну, вот и уехали. А знали бы, какие вещи мы там оставили, какой серьвиз! А что меня здесь ожидает? Где я куплю такой сервиз, я вас спрашиваю?

— Получите работу, начнёте зарабатывать, помалу, помалу всё будет о'кей. Купите себе дом, купите мебель и сервиз купите. Это Америка.

— Америка, шмамерика!.. Если бы знал, ни за что не поехал бы сюда. Что это за страна?! Что это за люди?! Это какие-то дикие люди здесь!

Берл отошёл от него и махнул рукой.

— Он же совсем больной человек, — сказал он мне и показал на голову. — Но поверьте, как только он станет зарабатывать, так заговорит совсем по-другому: ему всё будет нравиться. Я уже видел таких. Надо помалу, помалу.

Я обратился к Берлу за советом:

— Как вы думаете, реально ли найти приличную и недорогую квартиру где-нибудь в этом районе?

— В этом районе — а почему нет? Всё можно, это Америка. Надо только знать подходящих людей. Какие у вас отношения с мистером Лупшицем?

— Кажется, хорошие. Если ему верить, он говорит, что может всё для меня сделать.

— А, конечно, знаете, он кое-что может... но надо быть осторожным. Поговорите с ним. Я слышал, что в доме неподалёку освобождается квартира. Он может помочь — он знает владельца того дома.

В ближайшую субботу я пошёл в синагогу, чтобы повидать мистера Лупшица. Он был на своём обычном месте и молился, слегка покачиваясь. Я накинул талес и встал рядом. Он кончил молиться, и я сказал ему тихо:

— У меня есть к вам деловой разговор.

— Говорите, я слушаю.

— Но в синагоге... лучше выйдем.

— Вы ничего не понимаете, синагога — лучшее место для любых дел.

Я осторожно оглянулся, все молились и не обращали на нас внимания.

— Мне нужна квартира где-нибудь в этом районе.

— Нужна, так будет. У вас есть деньги?

— У меня есть кое-какие драгоценности.

Он сразу закрыл свой молитвенник:

— Какие?

— Часы с брильянтами, старинные. Хорошая работа.

— Вы их принесли? — покажите.

— Нет, зачем я стану носить их в кармане?

— Правильно. Я вижу, вы деловой человек. Ой-ой, какой деловой. А что ещё у вас есть?

— Это всё.

— Всё?

— Ну, да — всё.

— Послушайте, я же знаю, что у вас должно быть что-нибудь ещё. Не хотите говорить — не надо, ваше дело. Все евреи приезжают сюда из России такие бедные. А потом выясняется, что почти каждый что-нибудь да привёз. Сколько вы хотите за ваш браслет?

— Я не знаю здешних цен.

— Покажите мне, я дам настоящую цену. Больше меня никто не даст.

— Я хотел бы оценить это у профессионала.

— Я знаю людей на 47-й улице.

Я посмотрел на него с удивлением, он тоже удивился:

— Вы что, не знаете 47-ю улицу?

— Нет.

— Ой-ой, какой вы ещё зелёный! Это же улица, где все брильянтовые бизнесы. Я там знаю народ, и меня все знают. Мы пойдём туда вместе, я попрошу, чтобы они поглядели и дали настоящую цену. И я тут же дам вам наличные деньги, прямо сразу. Только не делайте глупости и не продавайте никому другому. Кроме меня, никто не даст вам настоящую цену. Можете мне верить.

— Я верю. А как насчёт квартиры?

— Какой квартиры?

— Мне нужна квартира где-нибудь в этом районе.

— Нужна, так будет.

— Но мне она нужна срочно, как можно скорей.

— Послушайте, вы деловой человек? Если нужна квартира — нужны деньги, если нужны деньги — вы продадите мне ваши брильянты. Будут деньги — будет квартира.

— Я слышал, что в доме рядом освобождается одна квартира.

— Конечно, я знаю. Хозяин дома — мой хороший знакомый. Я ему скажу — и квартира будет ваша. Только не продавайте брильянты никому другому.

Наша не очень молитвенная беседа в синагоге затянулась, и я поглядывал по сторонам, — мы вызывали взгляды неодобрения. Пора было убираться из храма.

Ирина уставала за день на работе. Больше всего её утомляла необходимость целыми днями говорить на английском, это ей стоило больших усилий. Как ни хорошо она знала язык, имея довольно большой словарный запас и правильное произношение, но разговорной практики у неё не было. А когда разговариваешь на работе, некогда задумываться над каждым словом, нужен автоматизм речи. Артикуляция непривычного языка требует физических усилий. И необходимость вслушиваться в чужое непривычное произношение, боязнь не понять, что ей гово-

рят, боязнь, что и её могут не понять, — всё это держало Ирину в постоянном напряжении. К тому же ей приходилось отвечать по телефону, а разговаривать, не видя артикуляции собеседника, ещё трудней. Да и сама работа тоже была для неё непривычна, она всегда работала в лабораториях, но никогда до этого — в кабинетах практической медицины.

Теперь ей пришлось с одного-двух показов научиться снимать электрокардиограммы, подготавливать инструменты для врачебных манипуляций и многому другому.

Приходя домой без сил, она всё же хотела рассказывать нам с Володей впечатления дня. А они были удивительные и для нас совершенно новые.

Офис был на первом этаже большого и шикарного трёхэтажного особняка, принадлежавшего самому доктору. Они с женой занимали лишь часть второго этажа, а остальное было превращено в клинику для лечения толстых пациентов похуданием. Этим ведала жена доктора, имея свой штат сотрудников.

В офис и в клинику приходили только очень богатые пациенты, жившие вблизи, в основном женщины — жёны и родственницы миллионеров. В этом районе жили воротилы Уолл-стрита, хозяева многомиллионных корпораций, богатые издатели, знаменитые актёры. Большей частью у их жён — пациенток доктора — не было серьёзных медицинских проблем, они приходили к доктору, как в свой клуб, а заодно хотели проверить кровяное давление, или пожаловаться на плохой сон, или на головную боль. Некоторые заходили в офис во время прогулки, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься днём, когда их мужья работали, а самим им делать было нечего. Появлялись они в дорогих мехах, увешанные драгоценностями, с искусным гримом на немолодых лицах. Многие держали на руках или вели на поводках собачек-болонок, всегда чистеньких и с бантиками. А одна из них приводила даже двух собак-мопсов. Ирининой обязанностью было встречать их у двери и проявлять внимание:

— Добро пожаловать, миссис Смит. Как поживаете?

— Ах, не спрашивайте! — закатывала глаза пациентка. — Я себя чувствую ужасно!

— Что случилось, миссис Смит?

— Я так плохо спала эту ночь, так плохо!..

— О, я очень сожалею, миссис Смит.

— Я решила попросить доктора проверить моё состояние.

— Конечно, миссис Смит, я сейчас же доложу доктору. Присядьте на минутку.

Другая говорила:

— Ах, не пойму, что со мной — я совершенно лишилась аппетита. Вчера мы с мужем были на банкете в честь президента итальянской автомобильной компании. Там было так много вкусных блюд, так много! И представьте — мне совсем не хотелось есть. Я пришла посоветоваться с доктором: что это со мной?

— Конечно, доктор вам всё объяснит и поможет. Вы присядьте, я ему скажу о вас.

Потом Ирина помогала своему шефу. Фактически они оба имели перед собой бездельниц, мучавшихся дурью. Но за первый визит доктор брал с них $150, а за все последующие $100 (при средних для терапевтов в то время цифрах $50 и $25 соответственно). Деньги никогда не передавались из рук в руки: секретарь доктора посылала счета пациенткам на дом, мужья выписывали чеки и присылали их в офис. Доктор был сам очень богат, владел какими-то плантациями и землями. Но в возрасте за восемьдесят лет он со страстью юношеской любви обожал деньги. На нью-йоркской бирже у него был свой агент, который часто ему звонил. Заслышав по телефону агента, доктор бросал своих пациентов на Ирину и подолгу обсуждал с ним, какие акции покупать, какие продавать. Пока он это решал, Ирина оставалась с пациенткой и чувствовала неловкость перед ней. Ей приходилось как-нибудь отвлекать визитёршу.

В таких случаях помогала собачка, на которую стоило лишь глянуть, как хозяйка забывала о своих хворобах и принималась страстно расхваливать пёсика. Ирина вежливо поддакивала, пока не возвращался доктор. Он извинялся, сообщал, что был занят разговором с тяжёлым больным. Он даже начинал развлекать собачку, делая вид, что помогает своей пациентке всем, чем только может. Потом он назначал ей ненужные анализы и прописывал ненужные лекарства, выдумывал какой-то особый режим

дня и особую (очень дорогую!) диету. Ирина провожала пациентку до двери и желала ей поправляться. От чего?

Ирина, которая сама ещё недавно принадлежала к московской элите, теперь оказалась в положении Золушки. Она всю жизнь работала и терпеть не могла богатых бездельников. Чтобы уметь с достоинством делать то, за что ей платили, нужно было иметь хорошие манеры. И хорошую выдержку (чтобы не выказать наплыва презрения). Доктор, кажется, ценил это в Ирине. Некоторым из пациентов он даже специально представлял её, рассказывал, что она свежая иммигрантка из России и сама жена доктора.

— Ах, действительно? Как интересно! — закатывала глаза пациентка.

Чтобы скоротать время, некоторые из них начинали расспрашивать Ирину про её семью, про Россию, про наше теперешнее положение. Каждый ответ вызывал восторженную реакцию, всегда одну и ту же:

— Ах, действительно? Как интересно!

Бывали такие, что обещали пригласить Ирину со мной к ним на обед, кое-кто даже говорил, что обязательно расскажет о нас мужу или другому влиятельному лицу, чтобы те что-то сделали для нас. Что? Ирина ни о чём не просила, но благодарила, конечно, за добрые чувства. Уходя, они тут же забывали свои обещания.

Но Ирине было на это наплевать: как ни мизерно становилось наше существование, чек её недельного заработка компенсировал нас каждую пятницу.

На кембриджских языковых курсах занимались иммигранты из всех стран мира. Никогда раньше не видел я такого смешения людей разных наций. Доминировали смуглые и чёрные из стран бассейна Карибского моря и из Латинской и Южной Америк. Впервые я узнал, как выглядят люди из Венесуэлы, Доминиканской Республики, Боливии, Гаити, Перу, Панамы, Бразилии. Было много филиппинцев, южнокорейцев, израильтян. Занимались там франкоязычные канадцы, итальянцы, испанцы. И, конечно, было довольно много советских беженцев. Вот когда я смог по-настоящему увидеть: кого только не принимала к себе Америка!

Большинство студентов были молодые — от 17 до 30 лет. Они приехали в поисках работы, не оставив позади себя больших трагедий и не думая навсегда расставаться со своей семьёй и страной. Многие из них даже могли неплохо объясниться на английском, но не умели читать и писать. Они были на третьем-четвёртом и выше левелах (классах). Молодые — как молодые: держались свободно, были веселы и приветливы. Они были хорошо знакомы с деталями повседневного быта Америки, имея в своих странах много американских бытовых товаров и кинофильмов. В Нью-Йорке они чувствовали себя как дома.

Отличались от них только мы: большинство в возрасте около сорока лет, а некоторые даже и за пятьдесят, совсем не говорили на английском, все уехали навсегда, пережив трагедии расставания навеки. Почти все учились на первом или втором левеле. Ничто американское не проникало в наш прошлый быт, и мы чувствовали себя здесь в чужом, незнакомом мире. Поэтому и держались наши скованно, изолированными группками, избегая контактов со всеми другими, особенно с чёрными. На них поглядывали с подозрением и недружелюбием.

Наблюдая такую разницу в составе и поведении, можно было видеть — до чего нас довела изоляция от другого мира! Ведь неграмотный чёрный паренёк из Гаити или желтокожая девушка из Филиппин чувствовали и вели себя здесь более раскованно и общительно, чем солидные по возрасту советские инженеры, учителя и доктора.

Однажды я проголодался и решил в перерыве взять сандвич из машины-автомата. Так делали все студенты, кроме нас. Мы приносили еду с собой: дорого это было — запускать в машину целый доллар. Опыта с машиной у меня не было — всю жизнь до сих пор мы всё покупали у продавцов на прилавках. На автомате была инструкция, но прочитать и понять заняло бы время. Я решил постоять в стороне и понаблюдать, как это делают другие. Они бросали монеты, ловко нажимали на нужную кнопку и забирали покупку. Я подошёл к автомату, но тут обнаружил, что у меня не было достаточно мелочи. Где разменять бумажный доллар на монеты? Пока я стоял в раздумье, подошёл другой беженец, 50-летний инженер из Ленинграда. Он тоже не знал этой сложной техники. Мы с ним

обсуждали, и, очевидно, со стороны выглядели странно и смешно: стоят два немолодых мужика и не знают, как купить из машины сандвич. Тут весело подошла молоденькая чёрная, приветливо улыбнулась и спросила:

— Кэн ай хэлп ю?

Она выхватила мой доллар и вставила в другую машину, рядом, — оттуда посыпались монеты. Собрав монеты, спросила, какой сандвич я хочу, и пустила их в машину. Я следил за ней, как заворожённый. Машина задвигала полочки внутри, и мой выбор предстал в окошке передо мной. Но я не знал, как его открыть. Она улыбнулась и достала сандвич. Чудеса!

Чувствовал я себя смущённо и рассыпался в благодарностях, блея на английском, как старый козёл.

— Откуда вы? — спросила она.

— Я из России, меня зовут Владимир, — я протянул ей руку.

— Хэлло, Валдимир (она тут же перепутала). Меня зовут Дорел, я из Коста-Рики. Я ничего не знаю о России, но слышала, что там очень холодно.

— Да... зимой... там много... снега, — я с трудом подбирал слова.

— Я никогда не видела настоящий снег, только в кино, — засмеялась Дорел и убежала к своей молодой компании.

Когда она отошла, ленинградский инженер буркнул ей вслед:

— А всё-таки они все дикари, эти чёрные.

Я же чувствовал наоборот — мы с ним должны были произвести на неё впечатление дикарей.

Привыкнуть к чёрной коже наши беженцы долго не могли, а некоторые так никогда и не привыкли. Сколько ни пропагандировала советская власть полное равенство рас и сколько ни пыталась внушить, что американские негры — это несправедливо угнетаемый народ, всё равно чёрные и жёлтые были и оставались для многих русских непонятными и даже неполноценными людьми. Очевидно, слишком бросающаяся в глаза разность цвета кожи настораживает непривычных к этому. Ясно, среди чёрных в Америке есть довольно много людей, не вызывающих

симпатии своим поведением. Но то же можно отнести и к некоторым белым людям.

Приглядываясь к нашим чёрным соученикам, я обнаружил среди них много симпатичных лиц, с живыми улыбками и умными глазами. Изучение языка им давалось намного легче, чем нашим беженцам. Было жалко смотреть, с каким трудом и как плохо осваивали язык мои сограждане. А те чёрные и смуглые, которых они презирали за дикость, учились намного успешнее.

Особенно мне нравились чёрные и смуглые девушки с Карибских островов — грациозные, как лани, и подвижные, как ртуть. Они всегда улыбались и разговаривали приветливо. А наши женщины-беженки, даже и симпатичные внешне, всегда были надутые, держались скованно и редко улыбались.

Я подружился с Дорел. Завидя меня, она махала мне рукой и бежала навстречу. Я рассказывал ей про Россию. Не знаю, было ли это ей интересно, но она слушала терпеливо. А для меня это была хорошая разговорная практика. Она спрашивала:

— Владимир, когда ты поедешь обратно в Россию?

— Никогда.

— Почему: тебе там не нравится?

Я коротко отвечал:

— Коммунисты: пиф-паф, пиф-паф.

И мы оба хохотали.

Я подарил ей русскую деревянную куклу-матрёшку, которая разнималась пополам и внутри неё была следующая, потом третья, потом четвёртая. Я специально отрепетировал рассказ, что это типичная женщина, потому что внутри неё есть ещё много других. Дорел расхохоталась, поцеловала меня и в восторге понеслась по коридору. Она всем показывала матрёшку и как она разнимается. И кричала:

— Мой друг Владимир подарил мне это! Это мэтроушка!

Она носилась и прыгала, как газель, опять подбегала ко мне и целовала, и опять кричала:

— Это мэтроушка, мой друг Владимир подарил мне мэтроушка!

Наши беженцы смотрели на неё с осуждением, а на меня — с удивлением. Инженер из Ленинграда говорил:

— Не понимаю, чего вы разыгрываете из себя демократа? Вы же видите, что она дикарка, как все эти негры.

В ней действительно была непосредственность дикарки, но мне это нравилось больше, чем скованность наших женщин. И я ничего не разыгрывал. Я всей душой стремился стать американцем, а это значило, что я буду жить бок о бок с чёрными и относиться к ним как к равным. От Дорел я выучил много слов. Одно из них было бойфренд — то ли просто приятель, то ли любовник; а другое — герлфренд, тоже — то ли просто продруга, то ли любовница. Хоть чему-то, но научиться можно ото всех.

Мы помнили, что наш знакомый из сабвея мистер Эллан Граф просил позвонить ему, и несколько раз обсуждали между собой, но — стеснялись и не решались. Мы не знали американцев и не были уверены, что его предложение — это не простая формальность: сказал и забыл. Я опять спросил совета у Берла.

— Конечно, позвоните. Почему бы и нет? Знаете, американец так просто не станет предлагать. Раз он сказал, значит, имел что-то в виду. Вы говорите, он юрист? О'кей, это ещё лучше: у вас будет свой знакомый юрист. Где он живёт, этот парень?

Я показал ему карточку с адресом. Берл даже присвистнул:

— Ого, он, должно быть, большая персона, раз живёт в таком богатом доме. Я знаю, я там рядом продавал газеты в киоске. Надо позвонить, это хорошее знакомство. Я же вам говорю: помалу, помалу, вы обзаведётесь хорошими знакомыми. А может быть, через несколько лет сами будете жить в таком же доме. А почему нет? — это Америка.

Позвонила Ирина и только начала неуверенно представляться взявшей трубку женщине, как та воскликнула:

— Я знаю, кто вы — те русские, которых мой муж недавно встретил в сабвее. Он мне рассказывал, что вы очень симпатичная пара и у вас прекрасный парень-сын. Почему вы не звонили до сих пор?

— Мы были заняты, знаете, устройством всяких дел...

— Мы хотим вас видеть у себя. Когда вы придёте?

— Мы были бы очень рады...

— Приходите завтра вечером на обед, в 6 часов.

— Спасибо, мы придём.

Первое приглашение в американский дом, да ещё к таким важным людям! Немного запуганные Ирининым опытом общения с миллионерами, мы оделись в самое лучшее — тоже не лыком шиты! — и вышли заранее, чтобы прийти вовремя. Они жили в десяти кварталах от нас, на углу Западной авеню Центрального парка и 81-й улицы, и мы пошли пешком. Не прошли мы и двух кварталов, как вдруг потемнело и стеной полил сплошной дождь. Что делать — бежать обратно или прятаться где-нибудь? Но это означало бы опоздание. Да и когда этот дождь кончится? Вот ведь природа в Америке!

Мы решили прибыть вовремя во что бы то ни стало и героически топали по лужам и без зонтов. Подошли мы к дому насквозь мокрые, но зато — вовремя. В дверях роскошного подъезда стоял не менее роскошный ливрейный швейцар (в Америке его называют дормэн). Отряхиваясь и озираясь, мы сказали, кто мы; по внутреннему телефону в квартиру он получил разрешение пропустить нас. Другой швейцар-лифтёр поднимал нас на третий этаж. С нас стекали струйки, а в зеркалах лифта мы видели свои смешные отображения: точно мокрые курицы. От нашего шика ничего не осталось. Хозяева, оба одетые по-домашнему, Эллан без пиджака и галстука, Маргарет в каком-то невзрачном платье, ждали нас у открытой двери. Мы не решались входить, чтобы не наследить. Наверное, мы были очень смешны, топчась у порога. Они со смехом втащили нас в холл невероятных размеров, там можно было бы кататься на велосипеде. Хозяева принесли свои сухие вещи и стали раздавать нам одежду и обувь. Мы переодевались в разных комнатах, а они метались и приносили нам что подходило по размеру. В разговорах, смехе, извинениях и переодеваниях как-то сразу наладилась между нами дружеская атмосфера. К моменту, когда мы были в их одежде, мы уже чувствовали себя с ними абсолютно по-свойски.

Неловко топая в чужом, мы перешли в гостиную с большим каменным камином, над которым возвышалось зеркало в бронзовой раме. Там на столиках стоял строй

бутылок и лёгкие закуски — коктейль, типичное начало перед тем, как садиться за стол. Выпить чего-нибудь было совершенно необходимо, но я присматривался к тому, как это делал хозяин, чтобы повторять на американский манер. Он предложил на выбор сделать несколько смесей, из которых я знал только одну — кровавую Мэри: водку с томатным соком. Начали с этого, он потягивал небольшими глотками, и я делал то же (хотя по русской манере хотел бы опрокинуть весь бокал сразу). Закусывали сырыми нарезанными овощами, которые мокали в какой-то густой соус, вроде смеси из майонеза и сметаны. Маргарет объяснила, что это типичная американская закуска к коктейлю, и соус продаётся готовым и называется диип. Эллан говорил по-русски, ему это доставляло видимое удовольствие. Но Маргарет, тоже юрист, в России не бывала и русского не знала. Так что я понимал её с трудом, а отвечал только через перевод.

Мы с интересом оглядывались вокруг, и они объяснили, что только недавно купили эту квартиру. Практичная Ирина поинтересовалась:

— Сколько может стоить такая квартира?

— Эта стоила $100 000 ($300 000 теперь), — Эллан добавил, — но это дёшево, потому что она была в запущенном состоянии. Сейчас вообще время, когда надо покупать квартиры. Скоро они станут подниматься в цене.

Спасибо за совет, думалось нам. При общем доходе около $700 в месяц — заработок Ирины — эта идея нам не подходила.

А Эллан весело продолжал:

— Мы сделали большой ремонт за свой счёт, а теперь отделываем всё своими руками, и даже ещё не закончили. Приходим с работы, переодеваемся в рабочее тряпьё и начинаем красить, клеить, стучать, вешать и перевешивать... — он засмеялся.

После двух коктейлей (второй был водка с апельсиновым соком, скрюдрайвер) они, с гордостью новосёлов, повели нас показывать квартиру и свою работу. Всего было шесть больших комнат: три спальни, две ванные комнаты, гостиная, столовая, кабинет и громадный холл-прихожая. За большой кухней помещалась ещё комната для прислуги, которой у них не было.

— Это для гостей, — посмеялась Маргарет.

Таких квартир мы никогда в жизни не видели. Мебель была расставлена ещё не во всех комнатах, но в гостиной, столовой и кабинете была очень красивая — как музейная. И везде были развешаны хорошие картины.

А всё-таки особенно на нас произвело впечатление, что они сами трудились над отделкой. Ясно, что работы они не боялись — типичная американская черта. Раньше я только слышал об этом, а теперь видел воочию.

Обедали мы в столовой, при свечах на столе. Обычного русского изобилия блюд на столе не было: на каждом приборе разложенный заранее салат, а потом Маргарет обносила нас жаренной на решётке курятиной с гарниром, а Эллан разливал по бокалам приятное вино — очень просто. Интересно было наблюдать.

После обеда Маргарет с Ириной ушли в гостиную, а мы с Элланом уселись в его кабинете пить французский коньяк и кофе. Одну стену до потолка занимала библиотека хозяина. Я был библиофил, любитель и собиратель книг, и с интересом рассматривал корешки первой виденной мной американской библиотеки. Хозяин с увлечением показывал некоторые из книг, на прекрасной бумаге, в богатых переплётах. Я не мог оторвать от них глаз и с грустью вспоминал, что в моём кабинете тоже было три шкафа книг, хотя и не таких красивых. Неужели я когда-нибудь смогу читать книги на английском и суждено ли мне собрать свою американскую библиотеку? Я даже вздохнул невольно. Эллан заметил и, как человек проницательный, возможно и понял. Он стал показывать мне русские книги Пушкина, Толстого, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чехова и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Меня поразила его эрудиция — он даже цитировал Пушкина наизусть.

Мы, конечно, хотели воспользоваться дружелюбием хозяев, чтобы задать им несколько важных вопросов о нашем устройстве. Эллан был уверен, что у Младшего хороший шанс после окончания колледжа стать студентом-медиком:

— Твоё знание русского языка и твой общий культурный опыт в России всегда будут плюсом для тебя.

Младший прислушивался, для него это было мнение авторитетного человека.

Ирине Эллан сказал:

— Я не считаю, что ваши шансы найти работу в научной сфере совсем ничтожны, как вам говорили другие. В Нью-Йорке такая масса научных центров и лабораторий, что наверняка найдётся место и для вас, с вашим хорошим знанием английского и других языков. Это очень ценится. Я попытаюсь поговорить с моими друзьями, может быть, мы сумеем найти что-нибудь подходящее для вас. Не оставаться же вам ассистентом доктора.

Его солидные рассуждения и дружеский тон благотворно повлияли на Иринино настроение. Впервые за долгое время она расслабилась, смеялась, много болтала. А главное — Эллан сумел притушить в ней безнадёжность относительно её будущего.

Из нас троих Эллан ничего нового не мог сказать мне, но всё же подбадривал:

— Я не знаю, какой квалификации доктор вы были в России, но я думаю, что с вашим опытом вы легко найдёте себе место в резидентуре. У нас в Америке ничего так не ценится, как опыт и инициатива.

Я постарался запомнить эти слова.

Конечно, он не мог знать моей квалификации, а я не стремился рассказывать о прежних достижениях. Какой был в этом толк? Мне даже не хотелось упоминать свои титулы и звания, чтобы это не показалось ему враньём. Однако я решил поделиться с Элланом своими писательскими планами. Ещё ни разу я не обсуждал это ни с кем, а тут передо мной был высокообразованный американец, знаток традиций не только американской, но даже и русской литературы. Это читатель высшего класса.

— Я хотел бы написать книгу, в которой на примере своего опыта рассказал бы американским читателям о жизни современной России. Я прошёл длинный путь в разных условиях, от деревенской больнички до столичной клиники, и я лечил разных людей, среди них были и мировые знаменитости. Что вы думаете о такой идее?

Эллан заинтересовался:

— Американские читатели любят истинные истории о жизни в России. Я не знаю ваших писательских возможностей, но идея звучит интересно. Желаю вам успеха. Когда у вас уже будет проект контракта с издательством, обязательно покажите его мне, прежде чем подписывать. В этом я кое-что понимаю и могу быть вам полезен, — улыбнулся он.

Перед уходом они завернули нам с собой недоеденные вкусные блюда и свалили в другой мешок наши непросохшие вещи:

— Не волнуйтесь за наши вещи, мы их потом у вас заберём.

В тот незабываемый вечер с нашими первыми американскими друзьями мы впервые за долгое время погрузились в мир интеллигентных людей, к которым раньше принадлежали. Вернёмся ли мы в него снова, сможем ли устроить свою жизнь в Америке, чтобы жить, как жили Графы — этого мы не знали. Но судьба показала нам образец, к которому надо было стремиться. Мы почувствовали в тот вечер, что наши новые соотечественники — американцы — сердечные и по-настоящему демократичные люди. Действительно, Бог послал нам этого человека.

Квартира, квартира — необходима была квартира! После посещения Графов, которые сами были новосёлы, мы ещё больше затосковали по своей квартире. Каждому живому существу хочется жить в своей норке. Вспоминались стихи моего приятеля Бориса Заходера про обезьяну: «До чего же хочется жить в своей квартире, лапы так и чешутся, сразу все четыре».

Ирина всё больше уставала на работе, нервы её были в плохом состоянии, а гостиница была не дом и наводила не неё ещё большую депрессию. Каждый день она жаловалась на физическую усталость и на бессмысленность работы в офисе. К тому же её стала утомлять своей прилипчивой дружбой доктор Тася. Её устроили массажисткой в офис жены доктора для лечения похуданием, на втором этаже. Теперь на работу они ходили вместе. Тася считала, что главное в работе — это каждый день менять платья и носить высоко взбитую причёску. Поэтому она шла с закрученными на бигуди волосами, прикрытыми косынкой. Раскручивала и расчёсывала она их за минуту до того, как войти в офис. И всю дорогу жаловалась Ирине:

— Кисанька, лапушка, ты себе не представляешь, какая стерва эта наша хозяйка! Как она над нами, русскими, издевается. Ты, кисанька, такая счастливая, что работаешь с доктором, а не наверху.

При плохом знании английского Тася умела всасывать в себя сплетни, как пылесос всасывает пыль. И она взахлёб наговаривала их Ирине. Днём она тоже несколько раз забегала к ней:

— Кисанька, лапушка, я только на минутку, чтобы не видеть нащу стерву.

И тихо шипела ей разные сплетни, отвлекая от работы. При появлении доктора Тася преображалась, улыбалась, старалась выказать как можно больше почтения:

— Добрый день, доктор. Какой у вас прекрасный офис! Ирина такая счастливая, что работает с вами.

Сама Ирина ничего ей про своё счастье не говорила. Наоборот, эта работа ни с какой стороны не могла считаться её устройством. Тасина прилипчивость настораживала, и она старалась держаться с ней поосторожней.

Я надеялся, что жизнь в квартире, отдельно от всех, хотя бы немного налаженный домашний быт помогут Ирине успокоиться. Срочно нужна квартира. А для этого нужны были деньги.

В назначенный день мы с мистером Лупшицем поехали на автобусе на 47-ю улицу.

Мне ещё не приходилось бывать на этой Брильянтовой улице. Но во мне ещё свежи были воспоминания атмосферы тайны и опасности, окружавшие покупку-продажу брильянтов в Союзе. Там это считалось криминальным преступлением и наказывалось тюрьмой. В автобусе я, с оглядкой, показал мои старые часы с браслетом из мелких брильянтов своему спутнику. Он долго их рассматривал, склонившись вниз, чтобы другие не видели, взвешивал на ладони, что-то про себя решал. Потом я положил их в нагрудный карман и старался постоянно ощущать — так спокойней.

Когда я увидел громадные витрины 47-й улицы, усыпанные тысячами чудесных брильянтов разной величины и формы, я встал как вкопанный и онемел. Хоть я и понимал, что должна быть разница между брильянтовым

делом в России и в Америке, но разницу такого масштаба представить себе не мог. Чуть ли не в шоке я стоял перед витриной магазина Каплана на углу Шестой авеню и смотрел на горы драгоценностей, которые продавались и покупались абсолютно открыто. Боже мой, до чего же здесь во всём другой мир! А мой спутник приговаривал:

— А! Теперь вы видите, куда я вас привёл? В самое правильное место. У меня здесь много знакомых, они знают настоящую цену. Вы сделаете сегодня свой первый хороший бизнес. Это потому, что я привёл вас сюда.

Он нырнул куда-то вбок и покатился шариком вдоль узкого коридора. По бокам был длинный ряд мелких то ли лавочек, то ли прилавков за стеклом, в каждой сидел еврей в ермолке, с вставленным в одну глазницу увеличительным стеклом. Все они работали над брильянтами. Лупшиц остановился напротив одного, довольно молодого, и заговорил с ним на смеси иврита и идиш. Я не понимал ни слова, но мне показалось, что оценщик отнёсся к нему абсолютно индифферентно.

— Дайте ему ваши часы.

Тот долго рассматривал через свой окуляр, потом они опять заговорили.

— Он говорит — тысяча долларов. Ему можно верить.

Я поразился и расстроился: за эту вещь я заплатил семь тысяч рублей и рассчитывал продать её ну не меньше, чем за две с половиной тысячи долларов. Нет, я хотел, чтобы её оценили хотя бы два человека, тогда бы я получил более правильное представление о цене.

— Пойдёмте спросим кого-нибудь другого.

— Как хотите. Но больше вам никто не даст.

Когда мы вышли, он доверительно сказал:

— Знаете, может быть, вы и правы. Сразу видно, вы деловой человек. Вот что — я дам вам тысячу двести долларов. Прямо сейчас.

— Спасибо, но давайте спросим цену у другого оценщика.

Другой магазин был такой же по структуре, только там сидело ещё больше евреев в ермолках и с лупами. Лупшиц нашёл кого-то и опять заговорил на непонятной мне смеси языков. Повторилась та же сцена, после чего Лупшиц мне:

— Вы были правы — этот молодец говорит: полторы тысячи.

— Вот видите. Давайте сходим ещё к одному.

— Зачем? Смотрите, я открываю свой бумажник и даю вам полторы тысячи.

— Нет, пойдёмте к третьему.

— Ах, какой вы недоверчивый.

Мы пошли к третьему, там он мне сообщил — тысяча семьсот.

Ого, стоимость возрастала от магазина к магазину — интересная ситуация: кому мне доверять? Я даже не понимал, что они ему говорили — всё это была его интерпретация. Известно, что из двух спорящих по любому вопросу один — всегда дурак (потому что не знает, о чём спорит), а другой — подлец (потому что знает, но продолжает спор). В этом случае я, конечно, и был дурак. Кто тогда был Лупшиц? Мог ли он обманывать свежего беженца, чтобы обобрать? Во всяком случае, как ни срочно нужны были деньги, я решил с продажей не спешить. А Лупшиц с сияющим видом сказал:

— Даю вам две тысячи, прямо сейчас. Идёт?

— Знаете, я подумаю.

— Подумаете? О чём тут думать! Больше этого вам никто не даст.

— Очень может быть. Но я хочу сначала поговорить с женой.

— Вы мне не доверяете? Напрасно.

— Я вам доверяю, но дайте мне поговорить с женой.

Неожиданное везение: по протекции пожилого американца русского происхождения, мистера Майкла Левина, меня пригласил на деловую встречу хирург-ортопед из большого госпиталя в Бронксе. Левин сказал, что доктор Селин занимает высокое положение в департаменте ортопедической хирургии, что он еврей, сын иммигрантов из России, и заверил, что я могу ожидать самое хорошее отношение с его стороны. Что могло бы быть «самым хорошим»? Если бы он предложил мне работу. Мы с Ириной заранее радовались. Чтобы произвести на него лучшее впечатление, я составил и отрепетировал с Ириной несколько коротких фраз-ответов на

возможные вопросы. В качестве рекомендации я взял с собой образцы искусственных металлических суставов моей конструкции, которые сумел перевезти для меня Коля Савицкий.

В назначенное время, секунда в секунду, я предстал перед столом секретаря:

— С добрым утром, я доктор Владимир Голяховский, у меня деловая встреча с доктором Селиным.

— Присядьте, я сейчас доложу.

Про себя я подумал: «Уф, всё-таки секретарша меня поняла».

Я приготовился к тому, что доктор встретит меня, коллегу-беженца, широкой и приветливой улыбкой (моё представление о типичном американце). Но он едва кивнул в мою сторону. Был он немного моложе меня, выглядел усталым и так, как будто ему было не до меня. Для помощи в переводе он позвал молодого доктора-резидента, поляка, который говорил по-русски. Но беседовали мы больше на английском.

— Почему вы уехали из России?

Вопрос был странным: как мог еврей, сын иммигрантов, спрашивать об этом? Ответ был ясен: люди уезжали оттуда потому, что им не хотелось там жить. Собрав все слова в кулак, я объяснил:

— Я устал жить в той стране. Мне там всё тяжело доставалось.

— У вас было хорошее положение?

— Да, я был профессором в Москве.

— Были у вас какие-нибудь скандалы на работе из-за характера? Какой у вас характер?

Опять странный вопрос: это можно спрашивать у того, кого уже принимают на работу, но он мне ничего ещё не предлагал и даже не спрашивал. Рассказывать ему про мои столкновения с коммунистами было бы слишком трудно, да и ни к чему.

— Я думаю, что неплохой. Нет, скандалов у меня не было.

После этого он подвёл меня к негатоскопу на стене, на котором было несколько рентгеновских снимков сложного перелома и вывиха в плечевом суставе.

— Ну, доктор, что бы вы стали делать в таком случае?

Меня уже много лет не экзаменовали, и теперь я очень хотел не ударить лицом в грязь. Я присмотрелся к снимкам:

— В этом случае трудно рассчитывать на хороший исход, что ни делай.

— Согласен, — наклонил голову Селин. — Ну, а всё-таки, что бы вы стали делать?

— Я бы выбрал между операцией артродеза (запирание сустава сращением костей) или искусственным протезом сустава.

— Какой конструкции протез? — наступал он на меня. В те годы это был пока ещё новый метод лечения.

— Для такой операции у меня есть протез своей конструкции.

— Да? Можете показать его мне?

— Могу, — я достал протез из портфеля.

— Гм, гм, — он крутил его в руках, — интересно.

Оба они с резидентом стали наперебой задавать мне вопросы о методике операции, о лечении после операции, сколько я сделал таких операций, какие были результаты.

— У вас есть патент на это изобретение?

— Четыре патента: из США, Японии, Италии и России.

— Гм, интересно. О'кей, пойдём со мной в обход по палатам, я хочу с вами посмотреть кое-каких пациентов после операций.

Теперь я почувствовал себя немного уверенней.

Я никогда не видел американского госпиталя, какие там палаты, какое оборудование. Профессионализм моей души ликовал, когда я шёл по коридорам за доктором. Поляк-резидент с почтением пропускал меня вперёд. Но доктор шёл впереди и даже как будто забыл обо мне. А я на ходу ко всему присматривался. Таких хороших палат на одного или двух больных нигде в Москве не было, кроме как в кремлёвской больнице для правительства. Но оборудование здесь было намного лучше. Доктор делал обход очень наспех, на ходу спрашивал: — Ну, как дела, о'кей?

Больные слабо отвечали: — О'кей.

На этом осмотр заканчивался. Мне показалось это странным. При выходе из палаты он скороговоркой говорил мне диагноз и операцию. Я понимал не всё, но не

решался переспрашивать: меньше задавать вопросов — лучше. Мы пришли обратно в кабинет.

— Чего бы вы хотели от меня?

— Если возможно, я хотел бы получить работу (это была главная фраза, которую я заучивал наизусть).

— Какую?

— Одну из вспомогательных позиций.

— Например?

— Может быть, помощником в операционной,

— Ну, что ж, можно что-нибудь придумать для вас. Например, должность ассистента на операциях. В штате Нью-Йорк это разрешается. Что вы об этом думаете?

Что я думал? Я думал только о том, что мне повезло и как рада будет Ирина.

— Это очень хорошо. Спасибо.

Вернулся я в возбуждении и мне не терпелось рассказать всё Ирине. Я пошёл встречать её, чтобы перехватить по дороге домой. Она шла усталой походкой, опустив голову. С ней была Тася, которая громко говорила:

— Кисанька, лапушка! Ты ж понимаешь, что уж я-то как-нибудь знаю больше неё, а наша дура-хозяйка доверяет только...

Ирина вопросительно взглянула на меня. Но не хотел я рассказывать при Тасе, только улыбнулся Ирине и обнял её:

— Пойдём, погуляем ещё немножко.

Несколько дней потом мы с Ириной жили в состоянии радостного предвкушения. Она даже не жаловалась на свою усталость, а теперь беспокоилась за меня:

— Конечно, работа станет для тебя самым эффективным способом освоения английского. Но ты даже не представляешь, как утомляет необходимость целый день разговаривать на непривычном языке. И как ты сможешь и работать, и ещё готовиться к экзамену? Выдержишь ли ты такую нагрузку в твоём возрасте?

— Не волнуйся, вработаюсь, а потом смогу найти время и для занятий.

Если я буду занят в операционной, в привычной атмосфере операций, я попаду как рыба в воду. К тому же хирурги во время операций мало разговаривают, пони-

мая друг друга с одного слова или движения. Ну, а готовиться к экзамену придётся по ночам.

Как всегда бывает, дело тянулось: надо было ждать, пока доктор Селин вёл обо мне переговоры с администрацией госпиталя. Я ещё раз приезжал к нему — привёз необходимые документы. На этот раз я чувствовал себя более уверенно и привёл с собой д-ра Бучкова, дававшего мне первые советы. Он заканчивал резидентуру в том же госпитале и, зная меня, мог быть хорошим живым рекомендателем. Селин захотел расспросить его обо мне наедине, я ждал возле секретарши. Я подарил ей деревянную матрёшку — пусть помнит, когда буду звонить с вопросами. Потом меня позвали в кабинет. Я не знал, что он спрашивал, но Селин как будто бы смотрел на меня более приветливо. Он даже сказал:

— Ну, доктор, поехали со мной — подброшу вас ближе к дому.

Он расспрашивал о России, оказалось, он знал несколько русских слов. Потом сказал:

— Может, заедем ко мне домой? Я угощу вас выпивкой.

Жил он в богатом районе на Восточной стороне Манхэттена, в квартире, похожей на квартиру Графов. Мы выпили пиво, и он представил меня жене. Без переводов Ирины я чувствовал себя неловко-косноязычным и постарался поскорей распрощаться.

Потом я раз в неделю звонил секретарше и каждый раз слышал:

— Ах, это вы. Доктор Селин просил передать: пока ничего нового для вас у него нет.

Моя заботливая тётка Люба через каких-то знакомых узнала, что в том госпитале хорошо платят, и по моей должности могут назначить не меньше, чем двенадцать тысяч в год. Ого, это же по тысяче в месяц! Но я не делал расчётов заранее. Ирина этого не любила — у неё был трезвый ум.

Наш друг и советчик Берл, узнав о моих новостях, сказал:

— Вот видите: помалу, помалу всё у вас устроится. Это Америка, — и спросил: — А он серьёзный человек, этот доктор?

— Я его знаю слишком мало. Он даже приглашал меня домой. Не думаете же вы, что американский доктор-еврей станет обманывать своего коллегу из России?

— А я знаю? Люди бывают разные. И в Америке тоже, — добавил он.

Но у самого меня сомнений не было, я верил в доброжелательность, честность и порядочность американских докторов.

Теперь, когда стала светить работа и заработок, ещё больше нужна была квартира. Мистер Лупшиц чуть ли не каждый день ловил меня около гостиницы, отводил в сторону и спрашивал:

— Послушайте, вы решили насчёт брильянтов?

— Я решаю. Что вы мне скажете насчёт квартиры?

— Квартира вот-вот освободится.

— Как только освободится, мы с вами договоримся о брильянтах.

Так у нас возник взаимный деловой интерес. Я понимал — ему хотелось купить по дешёвке, воспользовавшись моей некомпетентностью, незнанием языка и острейшей проблемой — нуждой в квартире. Всю жизнь я старался держаться подальше от таких скользких людей. Но теперь у меня не было выхода.

Ирина недовольно и с раздражением выговаривала мне:

— Напрасно ты связался с ним и сказал, что у тебя есть драгоценности. Он жулик, и ты попадёшь с ним в неприятную историю. Здесь полным-полно жуликов.

— Но на сегодня он единственный, кто может помочь нам найти нужную квартиру. Обещаю тебе быть осторожным и не попадать ни в какую историю.

Ирина всё равно боялась. С момента нашего приезда в Нью-Йорк она постоянно чего-нибудь боялась и на всё раздражалась. Я совершенно не знал, как её успокоить.

Но всё-таки через несколько дней мистер Лупшиц повёл нас — Ирину, меня и Младшего — смотреть освободившуюся квартиру в большом старом доме на углу авеню Амстердам и 91-й улицы. Он шариком катился впереди и приговаривал:

— Вот увидите квартиру и поймёте, что я для вас делаю. Хозяин дома мой знакомый, я с ним поговорю, и квартира будет ваша.

В дверях дома стоял швейцар-дорман, не с такими широкими золотыми галунами, как в доме Графов, но всё-таки швейцар. Вестибюль тоже был не такой блестящий, довольно запущенный, но с зеркалами и вазами — остатки прежней роскоши. Лупшиц сообщил дорману, что привёл новых жильцов осмотреть квартиру. Мы поднялись на десятый этаж, дверь в квартиру была открыта; в ней ещё не сделан ремонт, потолки высокие, окна большие, комнаты просторные. Всего было пять комнат: две спальни с двумя ванными, гостиная, столовая и кухня (в Америке кухня считается комнатой).

— Сколько она стоит в месяц? — спосил я.

— А сколько бы вы дали? — вопросом ответил Лупшиц.

— У нас нет опыта... ну, я бы сказал — триста долларов в месяц, — неуверенно сказал я.

— Да ни один хозяин не сдаст вам такую квартиру за триста долларов! — вскричал он. — Послушайте, что я вам скажу. Я знаю хозяина, он миллионер. Ой, сколько у него миллионов! Это бруклинский еврей, такой религиозный, не дай бог, какой религиозный!.. У него пятьдесят таких домов по всему городу. А посмотрите на него в субботу в синагоге: вам покажется, что он нищий. Да! Поверьте мне, это такой жмот, что он никому не уступит и пяти долларов. Но я сам буду с ним говорить, мне он уступит. Главное, чтобы он поверил, что вам можно сдать квартиру. Пока что вы не работаете, а жена зарабатывает мало. Он не поверит, что вы будете регулярно платить. А выселить вас на улицу он не имеет права. Зачем ему думать о неприятностях? Каждый хозяин хочет жильцов, которые работают и имеют постоянный доход. Его придётся уговаривать. Но такого жмота уговорить невозможно. Никто не может. А я могу.

Ирина была насторожена и расстроена. Она шепнула мне:

— В такой большой квартире нам придётся жить с родителями — смешно было бы им платить за свою, если мы станем жить в пятикомнатной.

Такая перспектива ни её, ни меня не радовала — мы хотели жить отдельно.

— Какая же, по-вашему, месячная плата за эту квартиру?

— Какая? Он может запросить и пятьсот, и шестьсот долларов.

Мы сразу скисли — это не для нас. Зачем-то в это время поднялся на лифте дорман. Увидев нас у открытой квартиры, он буркнул Лупшицу:

— Это не та квартира, я же вам сказал, та — напротив.

— Не та? — Лупшиц смутился и забормотал что-то несвязное.

На наш звонок соседка напротив открыла дверь. Оказалось, это она со своей подругой переезжают в квартиру напротив и скоро освобождают свою. Мы попросили её разрешения осмотреть. Там была прихожая, довольно большая гостиная, столовая, спальня, кухня и одна ванная. Она была меньше, но мне понравилась больше: стоить она должна дешевле. Но Ирине квартира не понравилась с первого взгляда. Младший только спросил, какая комната будет предназначена ему, узнав, что самая отдалённая, удовлетворился — ему тоже хотелось самостоятельности, личного покоя.

Если нам повезёт и удастся снять эту квартиру, то надо скорее искать поблизости ещё квартиру для родителей. Тоже нелёгкая задача.

Но главное, предстояло уговорить и Ирину, и хозяина.

Прошло уже несколько недель, но доктор Селин не давал никакого ответа о работе.

Я стал просить Ирину звонить, боялся, что не сумею ответить по телефону. К тому же у меня была надежда, что голос жены, просящей о работе для мужа, может больше тронуть его сердце. Но каждый раз он давал разные объяснения и заканчивал:

— Позвоните через неделю.

В конце концов в Ирину закрались сомнения.

— По тому, как изменился тон его голоса за эти недели, мне кажется, что он ничего не собирается для тебя делать. По-моему, он обманщик и болтун. Как хочешь, я не стану больше ему звонить.

— Не может быть, чтобы серьёзный человек поступал так несерьёзно, — возражал я. — Пойми, я знаю по себе: когда я был директором клиники, много людей приходили просить у меня работу. Я никого не обманывал — или брал, или отказывал. Ведь это же работа. Нет, нет, американский доктор не станет так поступать. Вспомни наших

новых друзей Графов, ты же видела на их примере, какие сердечные и демократичные люди американцы.

— Они могут быть исключением. По-моему, ты идеализируешь американцев.

— Предположим, я их идеализирую. Но если даже и так, то в моём случае Селин может просто сочувственно отнестись к коллеге-иммигранту из России, откуда эмигрировали его родители. Ведь он даже приглашал меня домой, и он знает несколько русских слов. Нет, давай позвоним ещё раз, хотя бы последний.

— Хорошо, но это будет в последний раз.

В моей душе не было сомнений, но нарастала тревога, овладевало предчувствие крушения: ни работы, ни квартиры не было. Из-за этого я не мог концентрироваться на занятиях английским. Готовя по утрам упражнения, я тупо сидел над бумагой, и мозг мой был, как в тумане. Я спускался вниз, в толпу постояльцев и беженцев. Там раньше шли громкие дискуссии, но теперь стало тише. Берл объяснил мне:

— Тот часовщик из Харькова съехал из отеля, он нашёл работу и квартиру. Он теперь всем доволен. Вы бы его не узнали. Я же ему говорил — найдёте работу и перестанете нервничать. Это Америка.

Неплохо бы и мне найти работу и перестать нервничать. Чтобы отвлечься от мрачного настроения, я начал по утрам бегать и подтягиваться на турнике в Центральном парке. Для этого я за $3 купил на прилавке на 42-й улице дешёвые шорты и майку. И стал похож на американца. В Москве, да и по всему Союзу, мы никогда не видели, чтобы толпы жителей бегали по паркам для своего спортивного удовольствия, каждый сам по себе. А здесь это было обычное явление: с раннего утра и до поздней ночи мужчины и женщины, молодые, пожилые и даже старые бегали по аллеям и дорожкам Центрального парка. И я побежал вместе с ними.

То ли от переживаний, то ли от упражнений я похудел на десять фунтов (четыре килограмма). Когда, проводив на работу Ирину и Младшего, я выходил вниз в своём спортивном наряде, Берл говорил мне:

— Ого, вы совсем как настоящий янки — бежать, бежать, бежать... И выглядываете хорошо, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

— Спасибо, чем дела хуже, тем шире должна быть улыбка.

Стояла чудесная погода начала лета, утра были свежие, и пышная молодая зелень изумительно красива на фоне безоблачного ярко-голубого неба. Я бегал вокруг резервуара с сотнями других ньюйоркцев. У меня даже появились там знакомые, и мы на бегу приветливо здоровались, перебрасываясь одним-двумя словами:

— Хэлло, с добрым утром! Как дела? — и разбегались с улыбкой.

Мне нравилось бежать в их массе, я как будто чувствовал приобщение к той бодрой толпе, к новой жизни. Это была иллюзия самообмана, курс самостоятельного психологического лечения физическим отвлечением. Но иногда самообман так приятен: «тьмы низких истин нам дороже / нас возвышающий обман»...

Я прибегал в гостиницу и — всё начиналось снова.

Мистер Лупшиц уже несколько раз сообщал мне, что разговаривал с хозяином дома, но тот пока ещё не дал ему ответ. При этом он не забывал спросить:

— А вы не продали те брильянты кому-нибудь другому?

Один раз он даже повёл меня в контору хозяина. Для большого домовладельца контора была невзрачная и маленькая — всего одна полузапущенная квартира, никаких кабинетов, никакой помпы. Бизнес был семейный, работала целая ортодоксальная еврейская семья: бородатые мужчины в чёрном, с ермолками на голове, и женщины в париках на стриженых головах. Хозяин — невзрачный человек лет за сорок, его мать была то ли бухгалтером, то ли секретарём. Лупшиц представил меня как свежего иммигранта, доктора, которому нужна освобождающаяся квартира в том доме. Они мельком взглянули в мою сторону — никто не проявил никакого интереса ни ко мне, ни к нему. Хозяин только буркнул цену $375 — намного больше, чем я ожидал.

Сумеем ли мы выжить при такой плате? Но я всё-таки продолжал уговаривать Ирину:

— Тебе понравится квартира. Хотя она и дорогая, но лучшего местоположения мы не найдём. Самое важное — жить в центре. Это сохранит нам энергию. Если ты не привыкнешь, мы потом сможем найти другую. В Америке люди

живут не как в России — несколькими поколениями всё в том же жилье. Американцы часто переезжают, улучшают свою жизнь. И мы тоже сможем когда-нибудь (сам я думал — когда?).

Выбора не было, и Ирина нехотя согласилась.

Тогда я сам пошёл к хозяину на переговоры. Я объяснил ему нашу ситуацию, как мог. Он слушал без огонька сочувствия в глазах, и я понимал, что никакой скидки в месячной цене он не даст.

— Квартира стоит $375 в месяц, не включая электричество и газ, — сказал он сухо. — Контракт должен быть заключён не менее чем на два года. За два года вы должны выплатить мне $ 9000. Если сегодня вы заплатите мне наличными за три месяца вперёд и ещё депозит за один месяц, всего полторы тысячи долларов, квартира ваша.

Я лихорадочно подсчитывал в уме: Ирина зарабатывает $650 в месяц, на Младшего рассчитывать не приходится — он будет учиться; квартира с газом и светом будет стоить $425, значит, получится 650 минус 425 — около 200 долларов нам на проживание в месяц; ну, я продам драгоценности, может быть, за $7000—8000. Это почти что стоимость квартиры за два года; надо соглашаться, всё равно лучшего ничего не найдём, а наша жизнь во многом будет зависеть от квартиры; я займу наличные деньги у тётки Любы, чтобы расплатиться сегодня.

Я сказал по-американски: «О'кей!» — и пошёл к Любе занимать деньги. Её уговаривать не пришлось, Люба всё понимала с первого слова. Мы отправились в её банк, а оттуда я бегом побежал с деньгами на 70-ю улицу. Отдав деньги, я получил расписку и проект контракта на два года.

Обратно по Бродвею я летел, как на крыльях, хотя прошёл в тот день больше ста кварталов. Я буквально не чувствовал под собой ног: у нас есть квартира!

У гостиницы мне встретился мистер Лупшиц.

— Послушайте, я опять разговаривал с хозяином, он обещал подумать...

— У меня уже есть контракт на два года на эту квартиру.

Он немного остолбенел, но сразу стал хвастать:

— Вот видите, он же мне обещал. Теперь вы понимаете, что я для вас сделал? Я всё могу! Как теперь насчёт брильянтов? Может быть, у вас ещё что-нибудь есть, а?

Но мне было не до того: я хотел как можно скорей обрадовать Ирину и пошёл встречать её после работы. Придя заранее, я встал на Пятой авеню напротив её офиса. Ирина вышла вдвоём с Тасей и удивилась:

— Что случилось, почему ты не на курсах?

— У нас есть квартира, — сказал я игриво.

— Правда?

— Правда.

— Ну, слава богу, хоть одна гора с плеч, — выдохнула Ирина.

Тася принялась поздравлять:

— Кисанька, лапушка! Поздравляю, я так рада за вас. Вы такие счастливые, всё у вас налаживается. И наш доктор так доволен Ириной, прямо души в ней не чает, всем рассказывает, какой Ирина хороший работник...

Она ещё что-то говорила, но нам никто не был нужен: мы были счастливы. Взявшись за руки, мы пошли через Центральный парк и специально подошли на 91-й улице к «нашему» дому, и остановились — полюбоваться на него. Теперь у нас было другое отношение к нему, сугубо личное: это был наш первый американский дом.

Много воды утекло с тех пор, многое переменилось в жизни, но дом у нас остался тот же. Он мой ровесник, его построили в 1929 году. Только его закончили, как началась Великая Американская Депрессия. Люди разорялись за один день, и многие не выдерживали. Построивший дом хозяин тоже потерял все деньги и — бросился вниз с его верхнего этажа. Эту историю мы узнали уже потом, много лет спустя.

После нашего вселения дом вскоре обновили, потёртые мраморные стены вестибюля заново отполировали, поставили новые зеркала, два мраморных камина и большие люстры. И стало красиво и чисто. Мы прожили в нашем доме дольше и счастливее, чем нам тогда казалось. Менялись наши обстоятельства, но мы оставались верны нашему дому. И он служит нам верой и правдой.

Итак, квартира уже была наша, надо только ждать окончания ремонта. Что теперь делать с квартирой для родителей? Моя мама никогда не была практичной, но она была

смелой. А смелость, как известно, города берёт. Мама ходила по ближайшим улицам и нашла рядом греческую церковь. Поскольку греки и русские исповедуют одну религию, она приходила туда молиться, а заодно разговорилась со священником. Она объяснила, что ей с мужем нужна комната, и он рекомендовал женщину-гречанку с соседней улицы, которая сдавала одну большую хорошую комнату на тихой 92-й улице — совсем рядом. Ай да мама!

Но это был только временный выход из положения, а здоровье отца всё ухудшалось. Нужна постоянная квартира рядом с нами. Как и где найти? Мои родители сблизились с казанской парой, интеллигентными и добрыми людьми, соседями по гостинице. Каким-то образом те узнали, что на нашей же улице есть дом, принадлежащий не частному хозяину, а городскому управлению — дом, который город сдавал за низкую цену малоимущим, живущим на городском содержании — велфар.

— Надо пойти в управление дома и записаться на очередь на квартиру, — сказали они.

У нас с Ириной были опасения: вдруг это паршивый дом, вроде тех, что мы видели в избытке вокруг? В них жил такой сброд. Ни за что на свете не допустили бы мы, чтобы наши старые и уважаемые родители там поселились. Я пошёл посмотреть: нет — строение высокое и чистое, входившие и выходившие жильцы, в основном хиспаникс, выглядели аккуратно и казались вполне порядочного поведения. И дом стоял как раз через улицу от нашего. Я опять проконсультировался с Берлом.

— Там живут нормальные люди, — сказал он. — Они или на обеспечении города, или работают за низкое жалованье. Почему нет? — жить там можно. Это Америка.

Что нужно, чтобы записаться? Пока я метался по разным организационным делам, заботливые казанцы сами пошли и записали моих стариков на очередь. Бывают же такие добрые люди! Им сказали, что квартира может быть в течение года. Так просто? У отца в Москве ушло четверть века, чтобы получить свою, хоть и тесную квартиру.

А тем временем Америка подарила нам ещё одного друга и доброго человека — мистера Джака Чёрчина, немного старше меня. Моя заботливая тётка Люба искала

для нас покупателя драгоценностей. У неё был племянник по мужу, Джак, успешный бизнесмен средней руки, симпатичный человек, который души в ней не чаял и был готов сделать для неё всё. Услыхав про наши проблемы, он предложил купить все драгоценности сразу.

Джак немного говорил по-русски, так как уехал из России мальчиком-подростком.

С ним было легко сойтись: весёлый, общительный, откровенный, любитель острых анекдотов. Он сказал:

— Володя, дорогой, я счастливый это сделать для вас и для Любочка. По-настоящему, эти даймондс (брильянты) мне не очень нужно, я имею много. Но я имею тоже большая семья, и потом смогу делать гифтс (подарки) моим дочкам и внукам.

Мы с ним поехали к его оценщику. Это уже были не мелкие лавочки на 47-й улице, любезные сердцу мистера Лупшица, а большая фирма драгоценностей на Западной стороне Манхэттена: богатая приёмная и светлый большой цех за стеклом. Оценку делал сам хозяин фирмы. Он объяснил, что брильянты очень старые, постаринному обработанные, поэтому для сегодняшнего рынка они не представляют большой ценности и нуждаются в новой обработке. Это я мог понять: им было более ста лет, из которых шестьдесят они пролежали в сундуке своих хозяев, скрытые от советской власти. За часы он назначил $3000 (на тысячу больше, чем давал Лупшиц), а за всё вместе — $7000. Это было приблизительно, то, на что я и сам рассчитывал. Я вздохнул, и Джак поехал со мной в ближний к нам банк — класть деньги на мой счёт, первый американский счёт в банке. Мы законно имели право на свой счёт в банке, потому что уже не были на обеспечении НЙАНА. Как говорили беженцы, «мы уже слезли с НЙАН'ы». И у меня появилась первая чековая книжка. Я хотел взять полторы тысячи — отдать долг нашей общей с Джаком тётке Любе, но он остановил меня:

— Володя, я всегда даю Любочка деньги, я дам эти полтора тысяча тоже.

— Джак, спасибо, конечно, но это мой долг.

— Что касается Любочка, то не беспокойся — это всегда мой долг.

Я понимал Джака — у него была широкая, щедрая натура. Покупка драгоценностей — это всё-таки был бизнес, а он хотел сделать подарок. Я люблю щедрость и тоже был щедрым, когда мог позволить себе такое удовольствие и роскошь. Смогу ли ещё?

На совести у меня оставался Лупшиц. Как-никак, он суетился, привёл нас в этот дом и познакомил с хозяином. Если нельзя быть щедрым, то и не надо быть скупым. Я подарил брошку-камею для его жены и три золотые царские монеты (на $500—600).

— А как же насчёт брильянтов? Продали другому? За сколько?

— Моя жена решила оставить их для себя.

— Вы же говорили, что вам деньги нужны.

— Нужны, конечно, но мы временно одолжили у друзей.

Общей ошибкой почти всех беженцев была поспешность в оценке американской жизни. Многие из нас очень быстро начинали считать, что уже её понимают. На самом деле, по поговорке «мы видим то, что знаем», мы судили Америку по своим привычным канонам, вывезенным из другого мира. В первый же месяц по приезде нам представлялось, что мы уже кое в чём разобрались. Потом проходил ещё месяц-другой, и мы осознавали, что тогда понимали не так, а вот теперь уже понимаем. Ещё через полгода-год признавали, что тогда тоже было не совсем то, но зато теперь... и так по этапам времени.

Доктор загружал Ирину работой, в которой она не имела опыта: она должна была производить анализы крови, делая под микроскопом подсчёты форменных элементов — красных и белых телец. Она не умела этого и боялась сделать ошибку. И всё чаще он поручал ей делать уколы — внутримышечные введения лекарств. Но она не была медицинской сестрой, не имела ни образования, ни практики. Ей казалось неправильным, что она должна была делать это. Но возражать она не смела и только жаловалась мне. Тогда мы оба ещё не имели понятия, что по закону она не имела права делать это, у неё не было лицензии — разрешения на эти процедуры. Её доктор, конечно, это знал, но нарушал закон, чтобы только не платить квалифицированной медицинской сестре в пять раз больше того, что платил Ирине. Ни Ирина, ни я не понимали — как это в самом центре Нью-Йорка, где было столько госпиталей и научных институтов, могло происходить такое.

Секретарша доктора, молодая американка по имени Шери, почти не скрывая ненавидела доктора и всё, что там происходило.

— Ах, Ирина, всё это такой фальшивый вздор! — говорила она.

На втором этаже, где командовала жена доктора, полноту лечили какими-то примитивными манипуляциями: накладывали примочки, прилаживали пневматические манжетки для сдавливания тканей, кормили тощим салатом (а потом пациенты шли в ресторан и наедались). Главная задача была — продержать пациента в офисе как можно дольше: оплата там шла по часам. Что бы ни делалось, декорум для сотрудников был улыбаться и угождать, угождать и улыбаться. Они и улыбались. Но с приходом Таси вели друг против друга постоянные интриги, в центре которых всегда была она. Другие сотрудницы из России жаловались на неё Ирине:

— Эта ваша «кисанька-лапушка» такая противная интриганка! Только и делает, что подлизывается к хозяйке и к доктору.

— Почему она моя? Я её знаю не дольше, чем вы с ней знакомы.

Приходя с работы, Ирина чуть ли не каждый день говорила:

— Я поняла — здесь никому доверять нельзя.

И мы с ней спорили.

Когда Ирина в следующий раз позвонила доктору Селину, секретарша долго её не соединяла с ним, но в конце концов он взял трубку и скороговоркой сказал:

— Завтра у меня будет специальная деловая встреча с администрацией по поводу вашего мужа. Позвоните послезавтра во второй половине дня.

Я с укоризной выговорил Ирине:

— Вот видишь, а ты сомневалась в нём. Я знаю: американцы — деловые люди. Может быть, послезавтра уже будем знать что-нибудь о моей работе.

Два дня прошли в тревожном ожидании. Но Иринино настроение немного улучшилось, и, придя с работы, она со смехом рассказала мне сегодняшний эпизод: у дверей офиса раздался звонок, и она пошла открывать. Там стоял молодой человек. Он сказал:

— Я Кон Эдисон.

— С добрым утром, мистер Кон Эдисон. Входите, пожалуйста.

— Я Кон Эдисон, — с некоторым удивлением и подчёркнуто повторил посетитель.

— Хорошо, мистер Кон Эдисон, я поняла, — ещё любезней ответила Ирина. — Входите, пожалуйста, мистер Эдисон.

Он посмотрел на неё, как на ненормальную, а она подумала: «Что такое странное с ним? Что он так на меня смотрит?»

Тут подошёл её доктор, и недоразумение разрешилось. Откуда было Ирине знать, что «Кон Эдисон» — это название фирмы, снабжающей Нью-Йорк электричеством и газом? Служащий фирмы пришёл сверять счётчики, а она приняла его за пациента. Мы ведь ещё не жили в квартире и не получали счетов от «Кон Эдисон».

Мы посмеялись, но настроение тревожного ожидания не проходило. Боже мой: сколько же мне пришлось ждать с того времени, как я подал заявление на выезд из России! Но теперь мне казалось, что наступил последний этап этих ожиданий. Ведь если я получу работу — мы выживем. А уж если мы выживем, то я добьюсь того, чтобы снова стать доктором.

Через два дня Ирина, придя с работы, звонила по телефону-автомату в вестибюле гостиницы, а я стоял за её спиной, затаив в ожидании дыхание.

— Добрый день, я жена доктора Голяховского. Могу я говорить с доктором Селиным? Он уехал?.. В отпуск?.. Надолго?.. Ах, на три недели... Он ничего не передавал вам для моего мужа?.. Нет?.. Может быть, вы знаете, встречался ли он вчера с администратором? А, он уехал ещё позавчера... — она повесила трубку.

Я стоял, как будто меня заморозили, мне даже трудно было сдвинуться с места. Рядом был, как обычно, Берл. Он спросил Ирину:

— Что-нибудь случилось?

У неё на глазах слёзы. Кусая губы, она объяснила Берлу, в чём было дело. Он сказал:

— Наверное, он плохой человек, этот доктор. Американцы тоже есть разные. Но ничего, найдётся какая-нибудь другая работа, помалу, помалу всё устроится. Это Америка.

Я слышал всё, как сквозь вату в ущах.

Ирина кричала, почти в истерике, когда мы вернулись в номер:

— Наглый лжец, обманщик! Я вижу, что все доктора тут такие: заносчивые и невежественные. Все, все! Как можно?!

Я молчал, я осознал, что был для него *никто — я был пыль на дороге* (как говорят в Америке). И я почувствовал, что такие удары и разочарования могут повторяться снова и снова. Потому что здесь я и есть *никто*: у меня нет лицензии, я не сдал врачебный экзамен, я не владею английским. А мой опыт, знания, умения, даже талант — это никому не нужно, не имеет значения. И поэтому просто щелчком по носу, как надоедливую букашку, пренебрежительно отбросил меня мой первый американский коллега, к которому я обратился. Это было глубокое потрясение, из которого я долго не мог выйти.

Ирина и сын переживали моё поражение — это был удар по самому нашему существованию. Много раз потом Ирина выговаривала мне с раздражением:

— Ты сам отчасти виноват в том, что случилось. Это произошло из-за твоей абсолютной неподготовленности. Если бы ты меньше терял времени на разговоры с беженцами, а побольше занимался английским, ты мог бы разговаривать лучше, и к тебе было бы другое отношение. Кому нужны твои наблюдения над иммигрантской массой? Никому. — И добавляла саркастически: — Это всё твоя поэтическая натура.

Жена всегда права. Да, я «терял время», да, я «поэтическая натура». Но ведь я всегда был таким: я любил жизнь во всех её проявлениях, меня тянуло к людям, они меня интересовали, и меня заполняли жившие в душе звуки — я писал стихи. Без всего этого я был не я. Но ведь я же

доказал там, в оставленной России, что я не только болтун и мечтатель. И я знал — для нового успеха мне нужно больше времени. Время и общение с новыми людьми лечили меня от пережитого потрясения. Почему вместо понимания и сочувствия Ирина сердилась на меня за то, что составляло мою индивидуальность? Натуру невозможно подавить: как её ни глуши, она всё равно остаётся в тебе. И нельзя обвинять человека в том, какая у него натура — он с ней родился и вырос.

В глубине души я очень обиделся на Ирину, и эта обида оставила рубец.

Её раздражение ко мне вызывало такое же отношение сына. Молодые души мало понимают, но остро чувствуют. Он всё больше мрачнел и почти совсем перестал разговаривать со мной. Так одна неудача привела к другим осложнениям. В семье нашей назревала критическая ситуация.

А всё-таки Ирина пыталась и помочь мне. Я уже потом узнал, что по секрету от меня она ходила для переговоров к ребе реформистской синагоги, в двух кварталах от нас. Наши казанские соседи-приятели, единственные, с кем мы сошлись на этапах беженства, рекомендовали ей того ребе как человека культурного, отзывчивого и влиятельного. Этим милым людям пришло в голову, после 25-летнего супружества, сыграть в синагоге традиционную еврейскую свадьбу под кипой. И уговорил их как раз тот ребе.

Этому предшествовала интересная история: вокруг нашей гостиницы было много синагог различного толкования еврейской религии — от очень консервативного хасидского направления с канонами одежды в чёрные лапсердаки и шляпы для мужчин, и с ношением париков на бритых головах для женщин, и где мужчины и женщины обязаны быть разделены во время их частых молитв; до полной свободы реформистского направления — одевайтесь как хотите и молитесь все вместе. Для наших беженцев и то и другое было чуждо — в стране, где любая религия была гонима, они выросли атеистами. Это вызывало неодобрение еврейского общества вокруг нас: в Америке еврейство всегда определялось не как национальность, а как религия.

— Эти русские должны прежде всего стать настоящими евреями, — говорили про нас американцы. И они всячески пытались склонять нас к религии. Синагоги существовали на пожертвования их прихожан и были заинтересованы залучить к себе побольше беженцев — прихожанам это импонировало, и они жертвовали больше. Казанские наши друзья, мягкие по характеру, первыми согласились на совершение над ними религиозного обряда. А для ребе в этом была прямая выгода: видя его активность, местные прихожане давали на его синагогу больше денег.

Ирина терпеть не могла никакие религиозные культы и решилась на переговоры с ребе только потому, что та синагога была реформистской. Скрепя сердце, она пошла на деловую встречу. Ребе был одет в обычный костюм и выглядел совсем не как традиционный ребе. Его приветливая манера общения понравилась Ирине. Он выслушал её рассказ о причинах нашего отъезда из России, о моих талантах, о том, с каким желанием быть полезным новой стране я приехал сюда. Она просила его поддержать меня, помочь мне найти работу, чтобы я не потерял веру в себя и снова смог стать активным и полезным человеком. Ребе обещал обязательно сделать для меня что-нибудь. Он даже хотел пригласить нас обоих на обед к себе домой и познакомить со своей женой. Он собирался помочь и Ирине найти работу в научной лаборатории.

В назначенную субботу мы пошли на свадьбу наших приятелей. Собралось довольного много беженцев, никто из нас до этого не видел никакого еврейского обряда. Обычные прихожане молились, а наши сидели зеваками и комментировали, перешёптываясь.

Свадьба была весёлая, прихожане пели и танцевали, вовлекая и наших. Многие притоптывали, а доктор Тася пошла в настоящий пляс. Она прихватила с собой коротышку мистера Лупшица: Тася шла кругами, а он, подбоченясь, сучил ножками и шариком вертелся на месте. Впервые мы попробовали кошерное вино из Израиля. Многим оно не понравилось — слишком слабое для выходцев из России.

После этой свадьбы Ирина не выдержала тайны и рассказала мне о своей попытке. На этот раз она верила в успех больше, чем я, даже подбадривала и уговаривала меня:

— Не может быть, чтобы этот ребе так же ничего не сделал, как тот доктор. Он не такой. И уж на этот раз я сама сумела рассказать ему всё как надо. По всему разговору я поняла, что он очень тобой заинтересовался и хочет помочь.

— Посмотрим.

Я в ту пору как будто окаменел душой. Ирина без меня ходила вниз звонить ребе, беседовала по телефону с его женой. Жена ребе очень расхваливала ей повенчанную пару и намекала, что и другим тоже было бы неплохо сыграть религиозную свадьбу в их синагоге. Нам такая комедия и в голову не приходила: валять дурака как компромисс за патронаж? Ни за что на свете мы бы не стали делать это. И постепенно Ирина стала терять энтузиазм и веру в того ребе. После пяти-шести безрезультатных разговоров она перестала звонить. После этого и она сильно помрачнела, во взгляде её появились искры озлобления, и почти всегда она ходила с прикушенной губой.

И религию, и всех, кто её проповедовал, она возненавидела ещё больше.

Но мне всё было безразлично. Я понимал: ни на какую помощь надеяться мы не могли, ничего мы здесь не значили, мы стали тем, что по-американски образно называется Dust on the Street (пылью на дороге).

МОИ ПОПЫТКИ ВЫПЛЫВАТЬ

Палящий зной и изнуряющая влажность ньюйоркского лета превосходят все достоинства этого города — когда наступило лето, то пропало желание что-либо делать днём. Нас стали мучить непривычно жаркие дни: после полудня солнцепёк сгущался до духоты, от Атлантики надвигалась влажность испарений, а на улицах это смешивалось с вонью от отбросов в мусорных корзинах и на мостовой. С непривычки бывало тяжело дышать, и мы забегали в магазины, где воздух охлаждался мощными кондиционерами. К нашему изумлению, чем жарче становилось, тем больше на улицу высыпало смуглого населения — хиспаникс и чёрных. Теперь они, явно счастливые такой погодой, до поздней ночи топтались перед домами и мелкими магазинчиками-лавочками. У многих в руках были радиоприёмники, и они ходили по улицам под оглушительный аккомпанемент своих песен. Для них это была погода их Карибских островов. А на скамейках Бродвея весь день преспокойно сидели старые белые женщины — урождённые жительницы Нью-Йорка, кто с тележками для покупок, кто с сигаретами в зубах. Их эта жара, влажность и запахи ничуть не смущали.

В вестибюле нашей гостиницы дули свежие струи кондиционера. Поэтому там толпилось ещё больше постояльцев и беженцев. Не желая раздражать Ирину, я теперь не задерживался около них. Но однажды увидел там харьковского часовщика, бывшего жильца, который пришёл нас навестить в субботу. Он и на этот раз говорил шумно, но уже по другому поводу:

— Почему это я не должен работать по субботам? Я теряю на этом пятьдесят долларов! Я сказал хозяину, что хочу работать по субботам тоже. А он говорит, что евреям по субботам работать нельзя. А если я хочу? Что это — я в свободной стране или нет? Если так будет продолжаться, я уйду от него и начну своё дело.

Потом он принялся детально обсуждать с постояльцами, какую ему лучше купить подержанную машину:

— Для начала я хочу подержанную и большую, чтобы безопасней. А когда научусь водить сам, то куплю себе новую, а эту отдам жене.

Берл сказал мне:

— Видите, что происходит с человеком в Америке, а? Теперь он уже не такой нервный и не жалеет, что приехал. Теперь он хочет покупать одна машина, потом другая машина — помалу, помалу. Это Америка!

Да, Берл был прав — доказательство налицо. Когда-нибудь наступит и на нашей улице праздник. Когда?

А пока что по ночам было так душно в номере, что мы изнывали от духоты и открывали окна. Но Бродвей гудел под нашими окнами, и от городского шума было невозможно заснуть: поток мчащихся машин, перекрикивание всю ночь торговцев наркотиками и каких-то подозрительных компаний, иногда даже звуки выстрелов; а вдобавок к этому — пугающие сирены полицейских машин, пронзительное завывание машин скорой помощи и оглушающее пароходоподобное гудение приближающихся и удаляющихся тяжёлых пожарных машин. Бедная моя Ирина была абсолютно измучена. Надо было скорей уезжать из гостиницы. Хозяин дома обещал подготовить нашу квартиру к первому июня, но ремонт всё затягивался.

Прошло уже четыре месяца, как мы покинули Москву. Несмотря на постоянную занятость учёбой и разнообразными делами по устройству, я часто вспоминал прошлое и оставленных там друзей. Мои воспоминания как бы обволакивались матовой кисеёй времени и событий. Это не была тоска по Родине, я ни на минуту не хотел бы вернуться туда, не хотел снова её увидеть. Но так много новых впечатлений обрушилось на нас, что в думах о прошлом я невольно находил отдых от напряжения и суеты настоящего. Ирине я про свои воспоминания и размышления говорить не хотел — в ту пору мы во многом отдалились друг от друга...

По утрам я провожал её до Центрального парка, дальше она шла одна, а я отправлялся на пробежку и подтягивания на турнике, пока не наступила жара. Пробегаясь, я любовался деревьями парка, особенно красавицами магнолиями, вишнёвыми деревьями и платанами, которых в нашей полосе России не было.

Но вот мы, наконец, получили ключи от квартиры. Она сверкала свежестью ремонта и абсолютной пустотой: мебели у нас не было. Многие из беженцев переправляли в контейнерах свою мебель из Союза в Израиль, а уже оттуда, заботами и оплатой американских властей, она ещё долго плыла в Америку. Хозяева её всегда волновались и нервничали. Но мы не хотели этой канители и не вывозили свою мебель.

Мы с сыном квартире были рады, но Ирина вошла в неё без радости — она продолжала её не любить. А может быть, в ту пору в её душе не было сил радоваться.

Рады — не рады, а обставляться надо, и мы втроём пошли покупать мебель. В нашей прошлой жизни в России покупка мебели была кошмаром: её или совсем не было в продаже, или была такая, что на неё не хотелось смотреть. Без большого блата или взятки ничего приличного купить было нельзя. А в Нью-Йорке всё было просто: как раз в нашем районе была мебель на все вкусы и цены, чуть ли не в каждом квартале — только деньги плати. Мы уже заранее присмотрели близкий магазин, хозяин его был кубинский иммигрант. Поэтому и мебель там была пышного псевдоиспанского стиля, и нам не очень нравилась, но зато подходила по относительно недорогой цене. Кроме нас, покупателей не было, хозяин не отходил от нас. Услыхав, что я доктор:

— Я могу вам предложить долгосрочный кредит на большую сумму. На Кубе у меня было много клиентов докторов, все богатые, и все покупали у меня в кредит.

Мы с Ириной переглянулись: покупка в кредит была новостью для нас, но хозяин даже не представлял, на какой долгий срок нам нужен кредит. Мы и сами тоже не представляли.

— Нет, спасибо. Мне ещё нужно сдавать докторский экзамен.

— Это ничего, я буду ждать. Вы можете выплачивать по частям.

Тоже была новинка для нас. Но, незнакомые с таким сервисом, мы предпочли покупать по старинке — деньги на бочку.

Ирина стремилась выбирать что дешевле, а мне казалось, что мебель покупается надолго и лучше выбрать то, что нравится, хотя бы и немного дороже. Мы спорили враждебным полушепотом почти возле каждого предмета. Я ещё обязательно хотел купить цветной телевизор с дистанционным управлением. Там стоял такой, фирмы «Адмирал», за $200. Ирине казалось это непозволительной роскошью:

— Зачем нам телевизор, да ещё цветной, да ещё с дистанционным управлением?

— Он нам просто необходим — для привыкания к английскому языку и для познавания нашей страны.

— А я считаю, что это лишняя роскошь.

Хозяин вежливо стоял в стороне, не понимая, о чём мы спорили. Наш Младший тем временем смотрел по тому телевизору мультипликационный фильм и хохотал. Я настоял на своём, Ирина надулась. Тут хозяин спросил:

— Не желаете ли купить аппараты для кондиционирования воздуха? Летом в Нью-Йорке жарко.

— Да, хотим, — сразу выпалила Ирина. — Кондиционеры нам важней всего. Я согласна спать на полу, но не хочу больше задыхаться от жары и духоты.

Потратили мы почти $2000 и за два часа (с препирательствами) купили, что хотели.

Хозяин провожал нас на улицу, обещал завтра же всё бесплатно доставить, просил заходить опять и снова предлагал кредит. А мы удивлялись: как всё легко и просто в Америке — только деньги плати.

Спасибо моей тётке Любе, она приберегла для нас несколько предметов из добротной старой обстановки её покойного брата: кровать, письменный стол и комод для белья. Это всё в комнату Младшего — ему отдали дальнюю изолированную спальню, чтобы он мог там спокойно заниматься. Ещё был складной столовый стол, старинный книжный шкаф, старинный диван и около 500 томов русской классики из моей библиотеки (я по почте заранее пересылал их из Москвы). Всё это привезли дети

Джака Чёрчина, с которым мы подружились, считая теперь друг друга кузенами.

Хозяин магазина сам привёз мебель и сам установил в окна аппараты для кондиционирования воздуха. До чего же хороша жизнь, когда они гудят и посылают струи прохладного воздуха! Разочарование было только с телевизором — изображение плохое, экран — как посыпанный песком. С проволочной антенной он лучше всего работал на кухне. Ирина дулась:

— Вот, теперь будем смотреть телевизор на кухне. Всё твои затеи.

Оказалось, в Нью-Йорке надо пользоваться кабельной антенной — $25 за соединение и ежемесячная плата $15. Я приуныл, а у Ирины это вызвало бурную реакцию:

— Я говорила, что телевизор нам не нужен! Зачем ты его купил? Теперь что будем с ним делать?

Ирину беспокоило, что во мне не погасли прежние привычки состоятельного человека, что я растрачу все наши небольшие деньги. Я только вздыхал про себя — лучше было с ней не спорить, а делать всё без лишних обсуждений.

Для оформления платы счетов за электричество, газ, телефон и кабельное телевидение нужно было ехать на 125-ю улицу — в Гарлем. Там я ещё ни разу не был и, признаться, испытывал некоторую встревоженность. О Гарлеме мы слышали ещё в России: много говорили и писали, что это район только для чёрных и белым людям там опасно. С момента приезда беженцы испытывали настороженные чувства к людям с чёрной кожей. Расовые предрассудки и невосприятие жили в нас, как врождённый инстинкт. С первого дня нас многократно предупреждали в НЙАНА, чтобы мы не произносили слово «негр», что это такое же оскорбление для чернокожих, как в России слово «жид» для евреев. Надо было называть их «чёрные», а ещё лучше — «африканские американцы». Понять это было трудно. Ещё нас предупреждали, чтобы мы не вступали в опасную конфронтацию с чёрными: их поведение непредсказуемо — они могут оскорбить, избить, ранить, а то и убить. Это звучало странно: мы знали, что приехали в страну, где белые составляют боль-

шинство, а чёрные — меньшинство. Что же это за демократия, где есть такой антагонизм и большинство должно опасаться и сторониться меньшинства? Нам разъяснили, что этот антагонизм имеет свои исторические корни: белые привезли сюда из Африки рабов — предков теперешних чёрных, сто лет держали их в рабстве, и ещё лет двадцать назад в Америке была развита расовая дискриминация и сегрегация — разобщение чёрных и белых. Это мы знали — советская пресса раздувала это, как могла. Когда чёрного студента Джеймса Мередита не допускали на занятия в колледже, нам прожужжали об этом все уши. Будто в самом Союзе не было дискриминации.

В НЙАНА нам объясняли, что белые якобы должны испытывать перед чёрными чувство вины и должны относиться к ним с повышенной внимательностью. Поэтому их даже стараются побольше принимать на работу и на учёбу. Тут уж мы ничего не понимали: как сегодняшние люди могут чувствовать на себе вину прошлых поколений? Я, как всегда, спросил об этом Берла. Он ответил:

— А, знаете, это в Нью-Йорке и в других больших городах так считают. Потому что здесь много чёрных, они целыми поколениями приспособились жить на поддержке городских властей: им всё дают бесплатно. А в глубине Америки этого нет. Там есть даже такие районы и штаты, куда чёрные боятся появиться. Ничего, помалу, помалу вы всё поймёте. Это Америка.

Отправляясь в Гарлем, я был насторожён. Когда я вышел из станции метро, то увидел себя со всех сторон окружённым чёрными пешеходами. 125-я улица, широкая и прямая, хорошо проглядывается в обоих направлениях. И на обоих я видел сотни чёрных. Кажется, я был чуть ли не единственный белый среди них. Внутренне поёживаясь, я напряг мышцы плеч и засунул правую руку в карман — будто у меня там мог быть револьвер. Я шёл и искал нужный мне номер дома, и никто вокруг не обращал на меня внимания — те чёрные, кого я видел, выглядели довольно обычно. В большом здании управления, куда я пришёл, было много белых сотрудников и посетителей. У меня отлегло на душе. Когда я шёл обратно к станции метро, я уже не держал руку в кармане. У страха глаза велики, говорят.

Уже потом я узнал, что самые опасные районы города — это Южный Бронкс и Бэдфорд-Стайверсент в Бруклине, а совсем не Гарлем. Там мне предстояло в будушем работать и испытать довольно много неприятных столкновений с чёрными.

На другой день раздался звонок, и я открыл дверь — там стояла молодая и низкорослая женщина такой невероятной толщины, что она не без труда прошла через дверной проём.

— Я кабельное телевидение, — заявила она.

Наученный Ирининым опытом с Кон Эдисоном, я понял: она пришла подсоединять телевизор. По смуглому, почти чёрному виду и акценту я заподозрил, что она пуэрториканка. Переваливаясь, притоптывая и виляя задом, она ходила по квартире, протаскивая длинные шнуры, и всё время напевала какие-то весёлые песни на своём искажённом испанском. Мы с ней разговорились и стали рассказывать друг другу каждый о себе, как могли — её английский был немногим лучше моего, но каждый разговор был для меня полезной практикой. Так и подмывало спросить, почему она такая толстая. По виду она была вполне здоровая, но неудобно же задать такой вопрос! Работая, она уронила на пол щипцы-кусачки и никак не могла наклониться за ними — живот мешал. Тогда она села на пол и... не смогла подняться. Я стал её поднимать, но для такой бочки у меня не было достаточно сил; в результате я тоже оказался на полу. Мы сидели и оба хохотали. Тут я её и спросил:

— Для чего вам быть такой толстой?

— Да я разве толстая? — и захохотала. — Это я разъелась, пока была на вэлфаре (городском обеспечении) и растила троих детей без мужа. А теперешний мой бойфренд любит, чтобы я была такая.

— А!.. — и мы опять расхохотались. О жизни на вэлфаре и о вкусах не спорят.

Всё-таки она подсоединила телевизор к кабелю, и изображение на цветном экране оказалось такое яркое и красивое, какого мы никогда в Москве не видели. И хотя Ирина продолжала не любить нашу квартиру, но её сразу привлекла к себе магическая сила американского телеви-

дения. Телевизор мы поставили в спальне, и теперь, приходя с работы, она ложилась отдыхать и включала телевизор дистанционным управлением. Смотрела она разные программы до самого сна и уже не сердилась за то, что я его купил. Младший, если не занимался, тоже любил смотреть с ней всё подряд, но его тянуло к мультикам: он, большое дитя, хохотал над приключениями кота Тома и мышонка Джерри.

Мне с трудом удавалось разбирать отдельные слова из скороговорки новостей и актёров, поэтому я телевизор не смотрел, а сидел в нашей проходной столовой. Там я поставил дощатый письменный стол со струганой полкой для учебников. Их задёшево сделали по моему эскизу в мебельной мастерской. Стол и полка были куда бедней и хуже кабинета финской мебели из орехового дерева, который был у меня в Москве. Но я не тужил об этом, а сидел, занимался английским и обдумывал будущую книгу.

Получив как доктор щелчок по носу, я всё больше задумывался о возможности написать и опубликовать книгу воспоминаний о своём опыте работы в советской медицине. Я надеялся как писатель скорей найти деньги и привлечь интерес к себе, а это могло поправить и моё пошатнувшееся положение в собственной семье. Во мне жило эгоистическое желание во что бы то ни стало доказать, хотя бы только и рассказом — кто я был, что я умел и знал. Хотя прошлая жизнь и отлетела от меня, но нелегко отказываться от всего, что было.

О читательской аудитории Америки я представления не имел, но мне казалось, что жизненные наблюдения русского доктора будут ею встречены с интересом. Но вот как добраться до читателей? Лучше всего через предварительное опубликование отдельных статей-рассказов в журналах. Поэтому первое, что я сделал за своим новым столом, было короткое письмо, в котором я представлял себя и предлагал материал о своём опыте. Надо было перевести письмо на английский, и мне пришлось просить Ирину. Я знал, что она будет недовольна, и буквально пересилил себя, сказав ей:

— Пожалуйста, сделай это для меня. Я знаю, как ты к этому относишься, но очень прошу. Иначе я буду вынужден искать платного переводчика.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Немного отойдя от обманов Селина и ребе, я написал короткое письмо доктору Эллиоту, в Милуоки, штат Висконсин. Он был единственный американец, который посетил мою клинику и которого я принимал дома, в 1967 году. С тех пор прошло одиннадцать лет. Я мало знал о нём, помнил, что он нерелигиозный еврей и успешный частнопрактикующий ортопед. В письме я ни о чём его не просил, лишь сообщал, что иммигрировал в его страну. Старый знакомый ответил мне, писал, что никак не ожидал такого поворота в моей биографии, помня моё высокое положение в русской ортопедии. Он сам не мог приехать, но его мать, которой он рассказал про нас, жила в Нью-Йорке и хотела бы пригласить нас с Ириной на обед.

И вот, созвонившись, мы отправились в один из очень богатых домов на Восточной стороне Манхэттена. Я помнил совет моей тётки Любы — заводить знакомства с влиятельными людьми. А эти были ещё и евреи — мощная прослойка ньюйоркского общества. А вдруг они могут помочь мне с публикацией очерков?

Принимали нас любезно. Пока в гостиной пили коктейли, пожилая дама расспрашивала, как нам удалось выехать из России, как мы устроились и что собираемся делать. Отвечала больше Ирина. На всё, что она говорила, хозяйка восклицала с ажиотажем:

— Действительно?.. Как интересно!.. Изумительно!.. Прекрасно!.. Действительно?..

И при этом она незаметно толкала в бок старого мужа, чтобы расшевелить — он явно пытался задремать. Ничего такого прекрасного и изумительного мы не рассказывали, и хозяин продолжал всхрапывать до самого обеда. Хозяйка позвонила хрустальным колокольчиком, явилась чёрная прислуга в переднике и крахмальной наколочке на голове, доложила, что кушать подано. Громадный стол

был сервирован шикарно, как, бывало, показывали в старых американских кинофильмах. Хозяйка поминутно звонила хрустальным колокольчиком, чёрная прислуга являлась, подливала вино и меняла блюда. Я заметил, что на шее у неё висела золотая шестиконечная звезда Давида и знак «Ша», который носят все исповедующие иудейскую религию.

После обеда перешли в гостиную, и хозяева завели разговор о положении евреев в России и во всём мире. Это их явно интересовало. Я сказал:

— В России все граждане должны иметь внутренний паспорт, в котором обязательно, как пятая графа, указана национальность. Если там написано «еврей», то хорошего отношения при приёме на работу или учёбу не жди, да и вообще ничего хорошего.

— Действительно? Как интересно! — воскликнула хозяйка.

Полудремавший хозяин возразил:

— Но ведь евреи — это не национальность, а религия.

— Религия — это иудаизм, а евреи — это национальная группа, — поправил я. — И моя жена, и я — евреи, она даже с двух сторон, но мы не религиозны.

— Действительно? Как интересно! — отреагировала хозяйка. Но хозяин недовольно:

— Евреи — это религия, а не национальность.

Тогда я спросил хозяина:

— Кто, по-вашему, живёт в Италии: итальянцы или католики?

— Что за вопрос! Итальянцы, конечно.

— Значит, они по национальности итальянцы, а по вере — католики. Так?

— Это другое дело. А евреи — это религия.

— Вот ваша прислуга исповедует иудаизм, и вы тоже. Вы одной веры, но не одной национальности.

Он даже подскочил:

— Это другое дело: она чёрная.

— Но вы же с ней исповедуете одну религию. А если ваши расы разные, то и национальности должны быть разными. Есть научные доказательства, что этническая группа евреев имеет характерные особенности. Мы, доктора, знаем, что евреи имеют свои типичные генетические заболевания.

— Действительно?.. Как интересно!.. — хозяйка.

— Евреи — это группа людей, исповедующих еврейскую религию, — мрачно сказал он.

«Ну и чёрт с тобой!» — решил я и прекратил спорить.

Ни удовольствия, ни пользы от посещения того богатого дома мы не получили, хотя познавать Америку и американцев было полезно. Я уже много раз слышал и до сих продолжаю слышать, что в Америке евреев принято считать религиозной, а не национальной группой. Если с этим согласиться, то атеисты — вообще люди без национальности. Нас, еврейских иммигрантов из России, называют русскими, даже и тех, кто исповедовал иудейскую религию. Абсолютная запутанность понятий и определений! Ведь люди нередко меняют веру, но это не значит, что они переходят в другую национальную группу. Как говорили в России: бьют не по паспорту, а по роже.

Зато мы смогли полностью удовлетворить нашу *национальную* еврейскую гордость на параде в честь 30-летия Израиля. Это был первый парад, который мы видели в Нью-Йорке. Я ещё раньше заметил, что в НЙАНА рядом с американским флагом стоял израильский. В синагогах и в других официальных помещениях я тоже видел два эти флага рядом. В понимании выходца из России только один флаг — свой — мог быть представлен внутри страны.

— Почему вы поставили два флага? — спрашивал я.

— Потому что Израиль нам очень дорог и близок.

— Но ведь он дорог и близок не всем американцам.

— Ну и что ж? Выходцы из Кубы ставят кубинский флаг, пуэрториканцы — пуэрто-риканский, а мы ставим израильский. Наши предки произошли оттуда.

Было в этом сохранение приверженности стране, откуда происходили корни. Ведь Америка — страна иммигрантов: все её жители — это второе, третье или более давнее поколение прибывших в неё. Все нашли здесь пристанище и приобрели страну для себя, но корни их там, откуда вышли их предки. Они так и говорят: «я американец по национальности, а по происхождению — ирландец, итальянец, китаец, поляк...» (и так далее — длинный список чуть ли не всех стран мира). Флаг страны их предков добавляет к их гордости за происхождение и ничего не умаляет от Америки. Мы тоже становились американцами

по национальной принадлежности и русскими по происхождению. Но красный советский флаг положительных эмоций у нас не вызывал. А «еврейский вопрос», существовавший в России, продолжал тревожить наши души. Чем больше я узнавал об Израиле, тем больше испытывал трепетное чувство сыновней любви к той стране. Предки моих предков вышли оттуда, и я счастлив и горд, что вместе с русской во мне течет сильная кровь еврейского народа.

В день парада знакомый американец, мистер Михаил Левин, привёл нас с Ириной в синагогу Темпл Эману-Эль на Пятой авеню. Место мы нашли с трудом — по поводу 30-летия Израиля собралась толпа, был и почётный гость — премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Шли мы туда с некоторым предубеждением, но эта реформистская синагога оказалась даже больше зрелищным предприятием, чем храмом веры. Построенная из розового мрамора, она и снаружи и внутри больше похожа на католический костёл — с органом и хором. Нет лишь икон и скульптур, запрещённых еврейской религией. Службу вели молодые ребе, высокие красавцы. Они выглядели как нанятые актёры, и артикуляция их речи тоже была театральная — вставая в позу, они поочередно, как монолог, внятно и красиво говорили молитвы и провозглашали славу Израилю (даже я кое-что понимал). Это сопровождалось великолепным пением солистов и хора, под аккомпанемент органа. Левин объяснил нам: это самая богатая синагога — её содержат евреи Пятой авеню и ближайшего района, они оплачивают хор профессиональных певцов и приглашают петь знаменитых оперных солистов. Но за театрализацию служб и пения эту синагогу скептически критикуют другие синагоги, более бедные, но в вере более традиционные. Мы с Ириной толкнули друг друга локтями: ага, значит, для богатых так и синагога не такая, как все! Вот к этим-то ребе стоило бы обратиться, да только... нас уже остудили первые опыты.

Парад мы представляли себе в советском стиле: топают по площади шумные колонны и несут портреты и лозунги. Чьи портреты и какие лозунги — мы увидим. Но в Нью-Йорке нет больших площадей, всё застроено небоскрёбами. Поэтому колонны проходили вдоль Пятой авеню. Мы встали в толпе неподалёку от Темпл Эману-Эль и ждали. Очень быстрые и настойчивые волонтёры собирали пожертвования на Израиль. Мы переглянулись с Ириной, и я отдал всё немногое, что было в кармане. Она не возражала: на этот раз у нас было общее возвышенное настроение и согласие.

Мы были уверены, что парадом по Пятой авеню пойдут только евреи. В Нью-Йорке их более трёх миллионов — для парада хватило бы. И вот — приближающиеся горны, впереди гарцуют кавалеристы со знамёнами, за ними идёт мэр города Эд Коч в окружении конгрессменов и сенаторов, а за ними длинные колонны всех городских клубов и учреждений: ветераны американской и израильской армий, полицейские, пожарники, клерки, медики из разных госпиталей, профессора и студенты колледжей и университетов, школьники многих школ — шли чёрные, жёлтые, белые, ирландцы, шотландцы, канадцы... Все вместе праздновали праздник Израиля из солидарности, не имея к нему никакого прямого отношения. И все несли израильские флаги, и никаких портретов и лозунгов. До чего же хороши были девушки всех национальностей в коротких юбках, марширующие под зажигательную музыку! Что за удовольствие смотреть на юношей-спортсменов, на ходу ритмично демонстрирующих приёмы борьбы дзюдо! Поразительно искренняя атмосфера праздника: ликование, дружелюбие, веселье. В тот день там было почти два миллиона участников парада, отнюдь не только евреев. Кто-то нёс самодельный транспарант: «Простите меня, что я голосовал за Картера» (это было до подписания исторического соглашения между Израилем и Египтом в Кэмп-Дэвиде, по инициативе и при содействии президента Картера). Для нас это было очень необычно: критиковать президента своей страны, да ещё публично, на параде!..

Всю жизнь в России нас дискриминационно вынуждали умалчивать еврейское происхождение. Зато всю жизнь заставляли ходить на коммунистические парады и демонстрации: хочешь не хочешь, иди в толпы, организованные коммунистами, и пой пропагандистские песни, и неси украшения — портреты диктаторов и их лозунги... Если там мы и веселились, то от заряда нашей молодости, а не от фальши навязанного праздника. А здесь все американцы отмечали праздник Израиля. И никто их не гнал и не заставлял: вот она — свобода, демократия и отсутствие «еврейского вопроса». Мы впервые видели это воочию.

Я СТАНОВЛЮСЬ ГАЗЕТНЫМ И РАДИОЖУРНАЛИСТОМ

Я любил нашу квартиру. Первые ночи я просыпался и шёл просто побродить по ней — как хорошо чувствовать себя дома. Особенно мне нравилось оставаться в ней по утрам одному, когда Ирина и Младший уходили, как мы говорили, «на заработки». Тогда я садился заниматься английским и писать наброски к книге. Оба эти занятия двигались медленно, но всё-таки на курсах я уже перешёл на четвёртый уровень и написал несколько рассказов для будущей книги. Для перебивки в занятиях я включал телевизор. Хотя я мало понимал из живой речи, мне открывался новый мир, особенно из жизни Америки. В показах событий я ухватывал только основной смысл, но мгновенность, динамичность и всесторонность показа поражали меня. Казалось невероятным, что я мог смотреть живые сообщения из Парижа, Токио, Иерусалима — отовсюду. Нравилось мне смотреть и рекламу: она была блестяще сделана, я узнавал массу новых продуктов, товаров, автомобилей. И сообщения о погоде были полезны мне: понимать их было легче — в них повторялись одни и те же слова. Меня привлекала и та лёгкая и непринуждённая форма, с которой метеорологи общались со зрительской аудиторией. Они это делали так, что даже при плохой погоде возникало хорошее настроение. А хорошего-то настроения мне и не хватало.

Всё это абсолютно отличалось от сухих процензурированных передач советского телевидения. Но что совершенно меня поразило, так это не виданные мною никогда передачи на медицинские темы в новостях: любое медицинское событие в лечении, в производстве нового лекарства, в новой операции — всё на другой же день попадало на экран. Это я смотрел с жадностью, для меня это была

единственная пока информация о медицине в моей новой стране. И подавалась она исчерпывающе всесторонне.

В прошлом один раз меня пригласили на студию Московского телевидения отвечать на вопросы ведущего о советском здравоохранении. Цензура предварительно произвела над моими ответами прямо-таки хирургическую ампутацию. А когда я сделал одну из самых первых в мире операций по замещению повреждённого сустава искусственным металлическим моей конструкции, то лишь через два года об этом была крохотная заметка в хронике «Вечерней Москвы» и перепечатка в немецкой газете. Вот и всё.

По вечерам телевизор переходил в распоряжение Ирины и Младшего. Им открывался мир кинофильмов Голливуда, который мы знали только понаслышке да по злобной критике советской прессы. Ирина смотрела всё подряд, от немого кино 1910-х годов до продукции наших дней. Ей не всё одинаково нравилось, и однажды она сказала со вздохом:

— Знаешь, вчера показывали какой-то фильм 1937 года — абсолютная ерунда. И всё-таки я подумала: насколько же лучше дурить людей такими фильмами, чем сажать их тысячами в лагеря ГУЛАГа, как это делалось в Союзе в том же 1937 году.

Я расхохотался от её неожиданного сравнения и неоспоримого вывода. И она рассмеялась, поняв наивность высказывания. Ненадолго к нам вернулось хорошее настроение и любовь.

Мой план привлечь внимание американской прессы не давал пока никаких результатов — ответы на мои письма не приходили. В долгом ожидании я обратился к Андрею Седых, издателю ежедневной русской газеты «Новое Русское слово» — не возьмёт ли он напечатать некоторые мои стихи и статьи-рассказы? Ему уже далеко за семьдесят, но он был крепкий и подвижный, уехал из России ещё в 1919 году, сам писал, стал ветераном русской зарубежной литературы, знал Бунина, Мережковского и других. Поразить его моими талантами я не надеялся.

Я не совсем представлял, какое общественное значение имеет эта русская газета, хотя в ту пору это была единственная свободная русская газета. Седых сказал:

— Мы издаёмся тиражом тридцать тысяч и продаёмся по всему миру. Вы не думайте — в этой стране центральные газеты, и даже правительство в Вашингтоне, все очень прислушиваются к тому, что мы печатаем, — и взял мои рукописи.

Он посоветовал мне обратиться на радиостанцию «Голос Свободы — Либерти». Она тогда помещалась на 42-й улице, неподалёку от моих языковых курсов. Я созвонился и пришёл к одному из директоров — высокому седому господину лет около 60. После моего рассказа о себе ему нетрудно было понять, что мне нужны деньги.

— Для начала выступите с беседой-воспоминаниями о вашем врачебном опыте перед аудиторией наших сотрудников. Мы заплатим за это $100. А за передачи по радио на Россию будем платить по $80, — предложил он.

Ого, это было совсем неплохо! Но Ирина наверняка должна испугаться, она всего боялась. Поэтому до поры до времени я решил ей об этом не говорить.

В назначенное время слушать мои воспоминания собралось человек пятнадцать из русской редакции. Аудитория была политически настроенная. Большинство из них покинули Россию лет тридцать—сорок назад. Представляя меня, директор сказал:

— Общее состояние медицины и положение врачей в Союзе мы знаем. Нам интереснее послушать рассказы доктора, который лечил там некоторых знаменитостей и членов правительства.

Уловив этот настрой, я стал рассказывать про министра внутренних дел генерала Щёлокова, ближайшего друга Брежнева, про начальника уголовного розыска генерала Карпеца, который собирал документы на каждого из членов Политбюро, про сгоревшего космонавта Бондаренко и про первого космонавта Гагарина, про гениальную балерину Большого театра еврейку Майю Плисецкую. Меня закидали вопросами о подробностях. И получился прообраз моей возможной будущей книги, которую я «сквозь магический кристалл ещё не ясно различал» (Пушкин). Это было и полезно, и стимулировало. А к тому же, в кармане у меня появились первые заработанные доллары.

Через несколько дней я принёс текст первого выступления — для записи передачи в эфир. Редактор отдела науки Мусин быстро просмотрел мои четыре страницы, что-то переставил местами, где-то заменил малозначащие слова и спросил:

— Вы согласны с такой редакцией?

— Конечно, согласен. Собственно, вы ничего не изменили.

— Ничего и не надо менять, всё и так хорошо. Теперь пойдём в студию записывать вас.

— Прямо сейчас?

— Ну да, прямо сейчас.

— Будет ли кто-нибудь из руководителей проверять мой текст?

— Зачем? Вы его наговорите, и мы отправим в Мюнхен, в нашу главную контору, а они передадут в эфир на Россию, оттуда ближе и слышно лучше. И так раз в неделю.

— И никакой проверки?

Он улыбнулся, слегка прищурив глаза:

— Никакой проверки. Я знаю, что вы имеете в виду: нечто вроде цензуры. Её здесь совсем нет, забудьте про это. Вы автор, и это ваш текст. Всё.

Хотя я, конечно, знал, что на Западе цензуры нет, но ещё не успел это осознать. Это было всё равно, что приученного к темноте вывести на яркое солнце: я готов был протирать глаза от непривычки.

А когда он привёл меня в студию, я опять чуть было не стал протирать глаза от неожиданности: там сидела молодая женщина — настоящая русская красавица. У неё были толстая и длинная русая коса, пышные ресницы и глубокие-глубокие голубые глаза невероятных размеров. Чудо!

Мусин представил:

— Это оператор Таня, она будет записывать ваши передачи.

— Здравствуйте, Таня, — сказал я несколько растерянно. — Откуда вы взялись?

— Я? — улыбнулась. — Из Москвы.

— Почему же я не знал вас там прежде?

Таня потупила глаза под длинными ресницами, покраснела и тихо сказала:

— Давайте начинать работать.

Мусин хитро улыбался, прищурившись, наблюдая — какое впечатление произвела на меня красавица. Кто же не любит смотреть на красивых женщин?

Так начались передачи, которые я вёл потом более двух лет. Без цензуры я стал постепенно расковываться как автор, мне становилось легче и интересней писать. Как же была вколочена в нас привычка быть под цензурой! — не сразу удавалось даже изнутри самого себя освободиться от автоматизма подсознательного цензурирования. Но, наконец-то, впервые в жизни я писал что хотел и как хотел. И это доставляло неотразимое удовольствие!

6 августа 1978 года в «Новом русском слове» была напечатана моя стихотворная сказка для детей «Воронье царство». И вслед за этим стали печататься в газете еженедельные подвальные статьи о моём прошлом под общим названием «Эта бесплатная и общедоступная медицина».

Я начал их так: «Здоровье — это самая индивидуальная собственность человека. Казалось бы, здоровье невозможно социализировать, обобществить. Но советская партократия сумела сделать и это, лишив своих граждан возможности полноценно предупреждать и лечить свои болезни. «Советским нищенским уровнем здравоохранения» назвал это академик Андрей Сахаров. Миф о бесплатности и общедоступности медицинской помощи в СССР — это пропагандистский манёвр, рассчитанный на неинформированность западного общества. Физически уничтожив десятки миллионов своих граждан, власть пытается доказать общественному мнению своё добродетельное отношение к их здоровью...»

На такой выпад советская власть наверняка могла огрызнуться. Этого-то больше всего и боялась моя Ирина. Ей казалось, что агенты КГБ станут преследовать меня и могут даже убить. И она боялась за Младшего.

— Ты сам наживёшь неприятности и накликаешь беду на всех нас. Я не вижу никакого рационального зерна в этой твоей антисоветской деятельности. Ты и там не был диссидентом, и здесь никому ничего этим не докажешь. А если ты думаешь заработать этим деньги, то денег это

тоже приносит не так много. Лучше бы ты больше занимался языком и подготовкой к медицинскому экзамену.

Я отмалчивался и отговаривался, как мог. Правда была в том, что я уже не мог не писать. Меня буквально захлестнула притягательная возможность впервые в жизни выразить всё, что так долго копилось в душе. Я просто не мог остановиться. И наши размолвки с Ириной всё чаще превращались в ссоры.

Как раз в ту пору американский сенатор Эдвард Кеннеди отправился в частную поездку в Москву. Следя за новостями телевидения, я видел, как его принимал тогдашний президент СССР маразматик Брежнев. Ведущие объявляли, что сенатор посещал московские больницы. Я поразился: как ни странно, цель поездки сенатора была именно знакомство с системой советской медицины, чтобы перенять её опыт и внедрить в Америке (он тогда собирался выдвигаться в президенты США и вырабатывал платформу для предвыборной кампании). Я хорошо понимал, что для показа ему подготовят позолоченную фальшь — настоящую-то медицину показывать было стыдно.

Эта новость дала мне повод уговаривать Ирину:

— Смотри, как важно то, что я задумал и уже начал делать — написать правду о медицине в России. Если такой человек, как Кеннеди, может так глубоко заблуждаться на этот счёт, то что же знают об этом остальные американцы!? — ничего. Мои статьи и будущая книга на многое откроют им глаза. Я даже думаю, если бы Кеннеди знал о моих статьях, то, чем ехать в Москву, он прочитал бы их или даже поговорил со мной.

(По правде говоря, я и до сих пор так думаю.)

Но Ирина злобно уставилась на меня:

— Да, ты так считаешь? До чего же ты наивен! Все политики здесь — хитрые и продажные дельцы. Ты что, не видел по телевизору, как сенаторы берут взятки десятками тысяч долларов? Нужны ему твои советы! Он поехал для того, чтобы делать политику.

— Ну, ну, не все продажные. Во всяком случае, меньше, чем в России. Но дело не в политике. Как бывший советский доктор я хочу, чтобы американцам стала известна правда о русской медицине. А лучше меня эту правду

никто не знает и не расскажет. Я в силах написать интересную и живую книгу о том, что видел и знал. Для этого мне и вывезли мои дневники за пятнадцать лет. Книга может принести нам достаточно денег, чтобы существовать безбедно. Поверь мне.

Бедная моя Ирина терялась в мыслях о нашем настоящем и будущем.

Смягчившись, она серьёзно посмотрела на меня и примирённо сказала:

— Раз ты так считаешь... Ну, смотри, я тебе верю. Я всегда верила в тебя. Но сколько же нам ждать?..

И как раз вскоре обстоятельства ещё усилили мою веру в возможный литературный успех: советский дипломат Аркадий Шевченко, заместитель Генерального секретаря ООН, объявил себя перебежчиком. Вся американская медия — TV, газеты, радио были полны сообщений о нём и о его уехавшей жене. Но не это было интересно для меня, а новое сенсационное сообщение: через неделю после его решения одна нью-йоркская профессиональная проститутка была специально приставлена к алкоголику Шевченко агентами ФБР и провела с ним несколько ночей; теперь она заявила, что пишет об этом книгу. И для неё была организована пресс-конференция в зале одного из лучших отелей, показанная всеми каналами TV. Я смотрел и глазам своим не верил: героиня сенсации появилась в сопровождении своего литературного агента, юриста и издателя и выступала как новая литературная звезда, а не как представительница древнейшей профессии. Вряд ли какой-либо автор — лауреат Нобелевской премии был заранее так уверен в успехе своего произведения и имел лучшую рекламу. Что же такое сенсационное она собиралась написать, может, он раскрыл ей государственные тайны России? Нет, на вопросы журналистов она сбивчиво отвечала, что он ничего ей не рассказывал, но много пил и поэтому не в состоянии был заниматься с ней любовью — этого она не стеснялась. Ну и сенсация!

Я был абсолютно поражён. То, что проститутка с помощью профессионала журналиста, представителя второй древнейшей профессии, сможет написать что-нибудь — это

я допускал. То, что из этого сделали сенсацию, было для меня новым, типично американским подходом; но и это я мог с натяжкой понять — хотят представить говно конфеткой. Но самое главное: её «литературный взлёт» подтверждал мне, что в Америке имеется повышенный интересе к любому материалу о России. Если уж такую книгу будут печатать, значит — чуть ли не любая история о России годится в книгу. И это подхлёстывало мою решимость писать свою книгу.

И я опять говорил Ирине:

— Смотри, на примере этой идиотской истории, да ещё и с неприличным душком, видно, какой действительно настоящий интерес может вызвать моя серьёзная книга, мои ценные материалы о русской медицине. Ну, кому нужна книга этой проститутки, кто её станет читать? Это же позор, это же стыдно! А мою серьёзную книгу будут читать врачи, студенты, интеллигентные люди — миллионы читателей. Только вот — что такое литературный агент?

Ирина тоже не знала. В Союзе не было такой профессии. Где мне найти литературного агента? На время мне даже удалось увлечь моей идеей скептическую Ирину. Но рассуждения о ценности моей книги в сравнении с историей проститутки были примером наивности неинформированного в американской жизни новичка. Оба мы тогда не понимали, что такое в Америке сенсация. А заодно мы ошибались в оценке стыда и позора, оценивая их по нашим прежним критериям. Сенсация — это в Америке приманка на деньги. А стыд и позор — это привлекающая внимание известность. Уже потом мы узнали поговорку: shame is fame — позор это известность. А известность тоже приносит деньги. Пока мы этого ещё не знали.

Но, насмотревшись разных новостей, я начинал подозревать, что американские журналы — это ни больше ни меньше, как те же самые Бобчинский и Добчинский из гоголевского «Ревизора» («Чрезвычайное происшествие! Неожиданное известие! кто первый сказал Э!»). И медии тоже важнее всего поднять волну, первой крикнуть новость — заработать на этом. С годами и опытом я убеждался в этом всё больше и больше. Но ещё не тогда.

А тогда... однажды вечером я возвращался домой с языковых курсов по Западной авеню Центрального парка. Мимо проезжали машины, проходили люди, бился пульс жизни города, к которому я уже привыкал. Из-за жары и усталости я шёл не быстро, и мысли мои скользили тоже не спеша. Я повторял про себя какие-то услышанные не курсах слова и упражнения, а между ними возникали другие думы. И вдруг, совершенно неожиданно, я осознал, что думал — на английском. Это было впервые: простые мысли, может быть три-четыре слова, но я думал их на английском! Я чуть не подпрыгнул от этого открытия. Значит, что-то всё-таки менялось во мне. Мне так хотелось, чтобы это произошло поскорей, и вот — началось. Я ускорил шаги и радостно ворвался в кондиционированную прохладу нашей квартиры. Ирина посмотрела на меня с удивлением и тревогой — она постоянно чего-то боялась.

— Что-нибудь случилось?

— Да, случилось: я сейчас впервые думал на английском. Как-то само собой получилось. Просто даже не верится.

— Ну, слава Богу, — Ирина вздохнула с облегчением — Наверное, в честь этого тебе письмо.

— От кого?

— От какого-то американца из Вашингтона.

У меня там не было знакомых, я с удивлением открыл конверт. Письмо было написано по-русски, но с множеством ошибок — ясно, что автор ещё не твёрдо знал язык. Он писал, что читает в русской газете мои статьи и рассказы, и они ему очень нравятся. Он предлагал перевести их на английский бесплатно и предложить в какой-нибудь журнал. Если их напечатают, в чём он не сомневался, то мы поделим гонорар пополам.

— Ага! — я передал письмо Ирине. — Вот видишь, это как раз начало того, что я ожидал. Надеюсь, его английский лучше его русского, иначе кто же поймёт, что я хочу сказать? Во всяком случае, одно прекрасно: он не просит деньги вперёд.

И я тут же написал ему, что согласен на его предложение.

Тем временем я стал получать всё больше писем. Редакторы журналов, в которые я разослал предложения рассказов, в витиеватых выражениях отвечали вежливыми отказами. А на адрес русской газеты мне писали читатели. Некоторым из них мои статьи нравились, особенно старым иммигрантам, уехавшим из России лет 50—60 назад. Они благодарили за то, что, наконец, узнали правду о состоянии медицины в России. Но некоторые недавние беженцы писали раздражённые замечания, особенно коллеги-врачи: им не нравилась моя критика советской медицины. Одна женщина-доктор писала: «Да, мы работали в плохих условиях; да, у нас не было достаточно лекарств; да, нам не хватало инструментов; да, нам порой нечем было лечить наших больных! — но всё-таки мы лечили лучше, чем лечат в Америке. Чего вы добиваетесь тем, что критикуете русскую медицину? Только того, чтобы к нам, русским докторам, относились здесь плохо. И так уж мы поставлены в такие условия, что нам надо сдавать экзамен после тридцати лет беспорочной работы. А без этого невозможно устроиться здесь на работу. А сдать тот экзамен практически невозможно...»

Ну, что было ответить на такое раздражение? Оно исходило от неустройства пожилой женщины и от полного непонимания новых условий: без знания языка она не могла ни сдавать экзамен, ни устроиться на работу. Она ещё ни одного дня не провела ни в американском офисе, ни в госпитале, а ей казалось, что она лечила своих больных лучше, чем лечат в Америке. Почему? Эта психология отрицания и осуждения — типичная истерическая реакция на непонятное окружение. И почему она считала, что мои статьи способны создать фон неприязни к русским у наших американских коллег? Это было явное преувеличение: американцы русскую газету не читали, а если бы им кто-то и рассказал, то она же сама соглашалась, что медицина в Союзе была бедная. Я показал письмо Ирине:

— Посмотри, какую ерунду способны писать русские доктора.

Ирина прочла и помрачнела:

— Я тебя предупреждала: у тебя ещё будут неприятности из-за этих твоих статей.

Но я так не думал. И редактор отдела науки Мусин, и оператор записи Таня тоже хвалили мои статьи в газете и выступления на радио. А так как мы, люди, всегда больше любим тех, кто нас хвалит, то мне всё больше нравилось бывать с ними: с Мишей Мусиным мы уже близко сошлись, с ним можно было интересно поговорить, а с Таней можно было пошутить и поулыбаться.

Мой путь на радиостанцию проходил мимо Нью-Йоркской публичной библиотеки на Пятой авеню — великолепное здание: сочетание строгого архитектурного классицизма с украшениями эпохи изящного искусства начала XX века. Однажды я решил пройтись по скверу позади библиотеки. Было довольно пустынно, только возле некоторых скамеек сидели и стояли группки каких-то людей — может быть, читателей, вышедших наружу отдохнуть. Я не обращал на них внимания, а рассматривал здание со стороны сквера. Проходя мимо одной группы, я услышал, будто кто-то обращался ко мне. Я остановился:

— Извините, вы со мной разговариваете?

— Смоук-смоук-смоук, — полушёпотом сказал чёрный парень лет двадцати.

От растерянности я не понял и уставился на него:

— Что?

— Смоук-смоук-смоук, — он подошёл ближе и показал мне сигарету-самокрутку, которую ловко прятал в кулаке. — Один доллар, один доллар, смоук-смоук-смоук.

Только тогда я сообразил, что он предлагал марихуану для курения — smoke. Я всмотрелся в его компанию: подозрительно неопрятные, они были совсем не похожи на завсегдатаев читальных залов. На всякий случай, я побыстрей убрался подальше.

Придя на радиостанцию, я, смеясь, рассказал Тане:

— Представляете, оказывается, около библиотеки идёт бойкая торговля наркотиками. А я-то принял торговцев за посетителей библиотеки.

Она опустила пушистые ресницы:

— Да, я знаю. Я сама там покупаю.

— Вы?!

— А что вы удивляетесь? В Нью-Йорке чуть ли не все курят марихуану. А я здесь уже шесть лет. Да, можете меня поздравить — вчера я стала американской гражданкой.

— О, поздравляю!

— Спасибо, мы решили немного отпраздновать это здесь. Приглашаю вас остаться с нами.

Получить гражданство США казалось мне чуть ли не пределом мечтаний. Это означало, что ты уже прожил здесь не менее пяти лет. А для нас, в нашей теперешней ситуации, продержаться такой срок было нелегко. Что-то с нами со всеми будет через пять лет?..

Пока Таня с несколькими женщинами готовила стол для праздника, я, как всегда, разговорился с Мишей Мусиным. Он казался мне большим авторитетом: жил здесь уже три года, знал английский, они с женой оба работали и прилично зарабатывали, дочка училась в колледже — чего ещё можно желать? Но в голове у него всегда роились странные мысли и планы. И на этот раз он размечтался:

— Вообще-то я хотел бы жить в Европе. Знаешь, старик, там всё так приятно и близко. Сел в субботу на машину, отъехал пару сотен километров от дома — вот тебе уже и другая страна, другие люди, другая культура. Не то, что здесь: один и тот же стандарт во всех штатах, во всех мотелях, во всех ресторанах. Можешь зайти в любой американский мотель и с закрытыми глазами, на ощупь, всегда найдёшь выключатель, лампу и кровать — всё на тех же самых местах, что и во всех других мотелях всех других штатов. Это скучно, и жить от этого здесь скучно.

Я слушал с удивлением. Америка, казалось мне, должна быть очень многообразна и совсем нескучна. Но я-то ещё нигде не был. А он продолжал разглагольствовать:

— Я вот думаю: не бросить ли мне эту радиостанцию к чёрту и не стать ли оптиметристом? Работа не тяжёлая: проверяй зрение, примеряй очки, да и только. А зарабатывают они здорово. Открою офис где-нибудь на хорошей улице. Красота!

— А ты умеешь это делать? У тебя есть образование?

— В том-то и дело, что нет. Вот если бы как-нибудь раздобыть лицензию... А то вот, знаешь, давай вместе писать книгу.

— Какую?

— Да вот хоть про медицину в России. Ты знаешь материал, а у меня есть опыт в журналистике. Я по образованию химик, но пятнадцать лет работал журналистом.

Я признался:

— По правде говоря, я всё время думаю о книге. Но надо, чтобы она заинтересовала американских читателей. А для этого надо написать хорошую книгу.

— Необязательно хорошую. Можно написать любое дерьмо, и американцы его проглотят.

Я удивлённо на него посмотрел, а его понесло дальше:

— Ты ещё новичок здесь, и к тому же не знаешь английский. А я живу тут три года и много читаю. Ты даже себе не представляешь, сколько здесь издаётся самых разных книг — сотни тысяч названий каждый год. Зайди в любой книжный магазин и там найдёшь десятки разных книг по любому вопросу. Ты думаешь, все они хорошие?

— Но ведь кто-то же читает эти книги, — возразил я неуверенно.

— Конечно, читают. Вот в том-то и дело, что всё читают. Вон Танин муж, который никогда не был писателем в России, здесь написал какое-то говно про половые связи и извращения знаменитых советских актёров и спортсменов. Издали! И он даже хорошо заработал на этом. А ведь, на самом деле, казалось бы — кому здесь это нужно? Да в Америке все эти извращения известны лучше, чем в Москве! — а вот издали.

— Может быть, насчёт извращений ты и прав. Но я не стану писать заведомо плохую книгу. У меня может не получиться хорошая, но не потому, что я этого не хочу.

— Не это главное, — перебил он. — Главное — получить деньги вперёд, аванс на книгу. А потом можно вообще не писать — деньги всё равно обратно не просят. А если и попросят, всегда можно отговориться, что, мол, продолжаем писать.

— Ну, знаешь ли, — расхохотался я, — ты меня совсем огорошил. Так что же: писать или не писать?

— Давай попробуем. Надо собрать кое-какие статистические данные по здравоохранению в Союзе и представить их в настоящем виде. Американцы любят читать всякие рассуждения, подкреплённые статистикой. Особенно, если дать таблицы и схемы.

— Хорошо, я подберу необходимые цифры и подумаю, какие схемы и таблицы составить. А что такое «литературный агент»? Для чего он нужен, где его искать и что вообще он делает?

— Агент нам не нужен, — убеждённо сказал он, — агент обычно берёт десять—пятнадцать процентов от гонорара автора и ничего не делает.

— Да?..

В это время разгорячённая Таня позвала нас в другую комнату, где на столе стояла большая бутыль водки и закуска по русскому обычаю: винегрет из овощей, нарезанная селёдка, чёрный хлеб. Как видно, во все годы в Америке эти люди придерживались традиций русского стола.

Первый тост выпили за новую гражданку Америки. Все потянулись чокаться пластмассовыми стаканами, выпили залпом и стали передавать друг другу закуски. Прожевав, шумно заговорили и принялись выкрикивать ей свои пожелания:

— Таня, чтоб ты стала миллионершей! — кричала в общем шуме её подруга.

— Пусть муж купит тебе норковую шубку!

— Чтоб ты всю жизнь ездила на «Кадиллаках» и «Мерседесах»!

— Нет, нет, пусть она ездит на «Роллс-ройсах»!

Таня уже выпила два больших стакана, раскраснелась, смеялась.

— Доктор, а что вы мне пожелаете?

— Родить такую же красавицу, как вы сами! А если будет мальчик, то — богатыря. Можно и того, и другого.

— Богатырь? Как мой муж? — спросила она и залилась хохотом.

— Если он богатырь... — ответил я неуверенно.

— Доктор, — хохотала она, — вы же не знаете: мой муж старый, он на 25 лет старше меня. И он маленький и некрасивый.

— Ну, тогда родите двух девочек-красавиц.

— Нет, я хочу родить богатыря, — капризно говорила она, всё больше смеясь и пьянея. — И я знаю способ, как этого достичь!..

— Таня, расскажи нам твой способ! — хмельно кричала её подруга.

— Нет, нет, это мой секрет. Я его расскажу только доктору, наедине...

Я профессионально заметил, что опьянела она слишком быстро и у неё тряслись руки, когда она подносила стакан с водкой к губам.

Когда мы вышли, она уже покачивалась и попросила меня:

— Проводите меня, доктор. Я тут недалеко живу, на Третьей авеню.

Я крепко удерживал её под руку и по дороге купил ей большую розу на длинной ножке.

— Ах, какой вы милый, доктор, — говорила она, прижимаясь, — вы мне очень-очень нравитесь...

— И вы мне нравитесь, Таня.

— А вы знаете, мой муж очень-очень ревнивый...

— Я его понимаю: с такой красавицей-женой нельзя не быть ревнивым.

— Вообще-то я не даю ему поводов ревновать, но иногда... — она заливалась смехом и без умолку говорила. — Я вышла замуж, когда мне было девятнадцать... Я была глупая-глупая девчонка... Он был инженер и состоятельный человек, красивая обстановка... Он прекрасно танцевал и всех обыгрывал в карты — вот я и влюбилась... А когда мне было 21, мы уехали в Америку. Мне казалось это очень-очень романтичным — уехать в Америку... Я же говорю, что была молоденькая дурочка... А потом я стала тосковать по маме, по дому и всё время плакала... Вот, доктор, а мы уже пришли.

— Вы дойдёте одна?

— Есть дорман, он поможет... он мне обязательно поможет.

— Таня, вы счастливы, что живёте в Америке?

— Счастлива?.. — переспросила протяжно. — Да я иногда проклинаю тот день и час, когда прилетела сюда. А иногда — ничего. Когда муж издал книгу, нас приглашали на банкеты и приёмы. Было красиво, но и противно... Ах, это всё трудно рассказывать, хотя вы и доктор... — и опять пьяно рассмеялась.

— А как вы думаете, Таня, может ли ваш муж помочь мне найти издателя для книги? Я хочу написать книгу о русской медицине.

Она перестала смеяться и посмотрела на меня очень задумчиво.

— Наверное, он может. Только...

— Что — только?

— Нет, ничего, это я просто так, — встряхнула головой, — вы сами с ним поговорите, я в его дела не вмешиваюсь... если он не просит.

И нетвёрдой походкой Таня вошла в дверь дома.

Была в этой русской красавице какая-то тайна.

В тот вечер я пришёл домой позже обычного, и от меня пахло водкой. Ирина посмотрела осуждающе, но ничего не сказала. После полуночи, когда мы уже засыпали, раздался телефонный звонок. Так поздно нам никто не звонил. Может, это от родителей? Может, отцу опять плохо? Ирина зажгла свет и взяла трубку. По её растерянному лицу я понял, что она слушала что-то странное.

— Это тебя, — она передала трубку мне.

— Алло?

Очень глубокий и хриплый мужской голос по-русски произнёс:

— Прекрати писать свои блядские статьи в газете!

Не ожидая ничего подобного, я сначала растерялся. Мне показалось, что я слышал какие-то другие голоса и пьяный шум неподалёку от говорящего. Я соображал: кто бы это мог быть? Характерный голос был похож на один, принадлежавший московскому доктору-беженцу, которого я однажды встретил в НЙАНА. Он тогда рассказывал, что работал заместителем главного врача в 1-й градской больнице в Москве. Должности эти обычно занимали коммунисты, причём довольно активные — им приходилось иметь дела с официальными организациями, включая милицию и КГБ, они имели к ним прямое отношение. Решив, что это его голос, я задал вопрос:

— Что вам не нравится в моих статьях?

— Мне не нравится, что ты — шкура, — прохрипел он.

Пожалуй, это был его голос. Но продолжать такой разговор я не собирался и повесил трубку. Ирина спросила:

— Кто это был?

— Не знаю, мне показалось, что голос знакомый. По-видимому, это один из докторов-иммигрантов.

Телефон зазвонил опять. Ирина снова взяла трубку и через несколько секунд со злостью бросила её обратно. Она была очень возбуждена и напугана.

— Опять? — спросил я. — Что теперь?

— Он сказал: «Если ты, сука, не прекратишь свою писанину, мы заставим тебя замолчать».

Оба мы ждали — не раздастся ли ещё звонок?

У Ирины в глазах стояли слёзы:

— Что теперь делать? Ты добился своего. Я тебя просила не писать в газету, нет, ты всё равно продолжаешь!.. Вот теперь твоя жизнь в опасности. Кто тот человек, на которого ты думаешь?

— Ты успокойся. Во-первых, голос был пьяный, да и другие пьяные голоса слышались в трубке. Эти угрозы — это всё несерьёзно...

— Откуда ты знаешь?

— Да потому что, если бы кто-то захотел расправиться со мной, то не стал бы предупреждать меня заранее. По-моему, это был тот заместитель главврача, которого я встретил однажды. Очень характерный голос.

— Что, ты считаешь, мы должны делать?

— Давай завтра позвоним в ФБР и расскажем эту историю. А ещё я поговорю с редактором газеты, он может такие дела знать и подсказать, что делать.

Мы заснули только на рассвете. Всю ночь каждый из нас думал о своём: Ирина о том, что будет, а я — о том, почему некоторые из моих русских коллег были так недовольны тем, что я писал о советской медицине. Если тот голос не принадлежал действительному врагу, то ответ мог быть только один: они не хотели признавать собственную отсталость — обычный синдром отрицания; и они боялись, что правда о состоянии советской медицины может как-нибудь повлиять на их устройство в Америке — будто наивные американцы, принимая их на работу, будут ориентироваться не на их знания и опыт, а на мои

русские статьи. Непонимание всей разницы условий жизни и работы здесь — вот что всё это было.

Рано утром Ирина позвонила в ФБР и рассказала о ночном звонке. В тот же вечер, когда меня ещё не было дома, пришли два молодых американца, и через дверную щель показали свои удостоверения. Ирина с опаской впустила их. Они были корректные и деловые. Когда я пришёл, Ирина уже успела рассказать им всю историю.

— Вы кого-нибудь подозреваете? — спросили они меня.

С помощью Ирининого перевода я рассказал о моих статьях и выступлениях на радио, о своих подозрениях, и объяснил, что позиция заместителя главного врача во многом в Союзе была политическая. Агенты поблагодарили за информацию:

— Нам известно, что среди массы новых иммигрантов из России есть не менее двухсот разведчиков КГБ. Мы следим за всеми подозрительными.

Ирина встревоженно спрашивала:

— Насколько это опасно для моего мужа? Что теперь нам надо делать?

— Это не опасно, но мы вам советуем — держитесь подальше от них всех.

На следующий день подозрительная Ирина всё-таки опять позвонила в ФБР, чтобы убедиться, что это были их сотрудники, а не подставные советские агенты.

Интересно, что через несколько дней после этого в «Литературной газете», где когда-то печатались мои статьи, была опубликована ещё одна статья, на этот раз — обличающая меня в продаже Родины (кому? за что?) и ещё с какими-то чёрными обвинениями. Сам я её не читал, но почти уверен, что связь между ночным телефонным звонком и той статьёй была.

Так начало моей журналистской карьеры в Америке привело к напряжённой ситуации дома, к конфронтации с бывшими коллегами, да ещё и с Россией. Но мне это было неважно: я собирался продолжать писать во что бы то ни стало.

Опять серьёзно заболел мой отец — сердце всё слабело. Его срочно положили в отделение интенсивной терапии в Госпитале Святого Луки (St. Lucas Hospital), где

лежали самые тяжёлые больные. Теперь мы с мамой ездили ежедневно его навещать. Я представился персоналу как русский доктор и разговаривал по поводу состояния отца с врачами и сёстрами, а потом переводил это маме. Как к доктору ко мне отнеслись очень сердечно и разрешили приходить и оставаться в любое время. Конечно, я был тронут таким отношением. А сёстры и санитарки даже приносили нам кое-что из госпитальной еды. Мы всячески старались отказываться, но из вежливости должны были есть — они ведь это делали от чистого сердца.

Отец был на грани жизни и смерти: его подключили к аппарату искусственного дыхания, ему делалось постоянное внутривенное введение жидкостей и лекарств. Тяжко было видеть его в таком состоянии, в слабости, в полузабытьи, со множеством проводов, трубок, катетеров в его полуживом теле. Мама часами сидела возле него, держала руку или гладила по голове. Что она думала? — они прожили вместе почти пятьдесят трудных лет, дожили до благополучия, оставили это позади, чтобы не расставаться со мной, единственным сыном, и вот теперь были без своего жилья, без своих вещей, без всего, к чему привыкли. А сейчас ей ещё грозило вдовье одиночество. Мне тяжело было смотреть на них обоих.

В Америке все старики и пожилые беженцы за 65 получают достаточное обеспечение: возрастное вспомоществование для неимущих (SSI) — около двадцати долларов в день (они по привычке называют это пенсией), им дополнительно дают купоны на продукты (foodstamps), их селят в дешёвые квартиры. И что особенно важно для них — они имеют бесплатную медицинскую страховку Медикэйд (Medicaid), по которой лечат в больницах и поликлиниках и выдают любые необходимые лекарства. Вряд ли какая другая страна так хорошо обеспечивает старость иммигрантов. Прожить им на всё это можно скромно, но безбедно. Но, кроме этого обеспечения, как важна им моральная поддержка друг друга — единственный остаток их прежней привычной жизни.

Иммиграция, беженство — болезненный процесс переселения, болезнь своего рода. И выздоровление от этого во многом зависит от возраста переселяемого. Пересадите на новое место молодое деревце, оно сначала только слегка свесит листья, потом быстро пустит корни в новую почву и вскоре приживётся. Не то со старыми деревьями: они долго болеют, вянут, их корни медленно и неохотно врастаются в новую почву — чужеродную среду. Некоторые из них гибнут, так и не прижившись. Мы, хирурги, называем всё это болезнью трасплантации — своеобразным страданием ткани, пересаженной на новое место тела. Так вот и моим старикам досталось страдать при переселении, и у постели умирающего отца я не мог не винить за это себя, хотя бы отчасти.

Но и нам, среднему поколению, нелегко доставалось быть зажатыми между двумя другими: сверху — больные и немощные старики-родители, нуждающиеся в постоянной помощи и заботе, а снизу — подрастающее поколение детей, которому тоже нужна поддержка и которое тоже нельзя оставить без внимания. А нам и самим необходимо биться и карабкаться, чтобы заново достичь своей цели. Американцы называют такое положение среднего поколения — возрастная генерация сандвича: начинка зажата посередине между двумя слоями хлеба.

Я смотрел на родителей, и все эти мысли проносились в моих мозгах. Мы с мамой проводили в госпитале часы, и она деликатно уговаривала меня:

— Ты иди, занимайся своими делами и семьёй, я доеду домой одна.

Но не оставлять же маму в госпитале одну, когда каждый день мог стать последним для отца. И пока мы сидели возле него, я с любопытством оглядывался вокруг и старался побольше понять из работы коллег.

Всю мою прежнюю рабочую жизнь я проводил много времени в отделениях реанимации, при мне создавалось первое из них ещё в 1950-х годах. Так что я был в курсе состояния этого раздела медицины в России. Здесь же большая часть оборудования была мне незнакома: новые аппараты и приспособления, применение стерильных однократно используемых пластмассовых шприцов, пластмассовых систем из трубок и наборов для вливания (в так

называемой «передовой медицине» России стеклянные шприцы и резиновые трубки кипятили для использования сотнями раз), всевозможные приспособления для быстрой диагностики. Любые анализы крови, её газовый состав, самый важный фактор в определении критических состояний (редко тогда в русских больницах определяемый) — всё это делалось умными аппаратами с их мозгами-компьютерами за быстрые минуты.

Но особенно поражало меня, что я ни разу не слышал и не заметил, чтобы чего-то необходимого в том отделении не было: всё всегда было под рукой. Бичом наших русских больниц всегда была нехватка даже самого необходимого оборудования и лекарств: доминировало русское «нет». Здесь слова «нет» как будто вообще не существовало. И сама атмосфера работы в отделении, ритм и суета лечебного процесса — всё было намного организованнее и активнее, чем в больницах России. Насколько я успел заметить, ни доктора, ни сёстры никогда «не опускали руки» возле тяжёлых больных, каким бы критическим ни было их состояние. В русских больницах, особенно по небольшим городам, больные зачастую умирали потому, что в критическом состоянии не получали необходимого лечения — нечем было лечить, и во многих случаях им просто «давали помереть». И это было привычной нормой.

Хотя я не задавал лишних вопросов, но за долгие дни сидения там понял, что в американском госпитале работать было намного интересней. И мне снова хотелось поскорее надеть белый халат и встать рядом с моими американскими коллегами, чтобы научиться их действительно передовой медицине. И вот, перебирая в памяти недовольные замечания моих корреспондентов-врачей, которые, ничего не зная, критиковали американскую медицину, я думал: какими же надо быть слепыми, чтобы хвалить нашу дремучую отсталость.

И произошло чудо американского лечения: мой отец стал поправляться. Его по-настоящему спасли от смерти и через десять дней выписали в довольно хорошем состоянии. Когда мы с мамой забирали его, мы подарили персоналу отделения коробку шоколадных конфет. Чем ещё могли мы отблагодарить их?

А через несколько дней отцу прислали из Медикэйда копию счёта за лечение — четырнадцать тысяч долларов, что получалось по полторы тысячи в день! Родители испугались, думая, что с них требуют оплату. В панике они позвонили нам:

— Володенька, что-то такое неладное случилось, я даже боюсь сказать...

— Что-нибудь с папой?

— Нет, папа, слава Богу, здоров. Но пришло письмо: требуют массу денег за лечение.

Мы с Ириной пришли, чтобы выяснить. Документ такой мы видели впервые и разобрались тоже не сразу. Пробежав его глазами несколько раз, мы увидели, что наверху было написано — «это не счёт к оплате». Когда мы объяснили родителям, что это лишь информация о том, сколько заплатила госпиталю их страховая компания, оба они были растеряны. Мама даже начала плакать, а отец всё повторял:

— Неужели столько заплатили за моё лечение? Ведь я же ничего не сделал для Америки, я же ни дня тут не работал!..

В МОЁМ ВОЗРАСТЕ ЛЕГЧЕ БЫТЬ ПРОФЕССОРОМ, ЧЕМ СТУДЕНТОМ

Я закончил четыре уровня (класса) кембриджских языковых курсов. И хотя мне далеко было до совершенства в английском, но уже пора было двигаться вперёд — к медицине. Дальнейшее изучение языка можно проходить параллельно с подготовкой к экзамену ECFMG — Квалификационный экзамен для лиц с иностранным медицинским образованием.

Готовиться к этому экзамену лучше всего было в специальном подготовительном Центре Стенли Каплана. Приглашающие рекламы этого Центра висели на стенах в НЙАНА, и практически все доктора-иммигранты там занимались. Полгода занятия стоили $600, и сам экзамен тоже стоил $350. За беженцев всё платила НЙАНА. Платные курсы к платным экзаменам — новое для нас чудо. Что это такое? Никто в Советский Союз не иммигрировал, и экзаменовать там было некого. Но в Америку сплошным потоком, как колонны переселяющихся муравьёв, прибывали толпы врачей из разных стран всех континентов. Какой у них уровень подготовки — было неизвестно. А разбавлять свой высокий образовательный стандарт новоприбывшими американские доктора не собирались.

И с начала XX века для врачей был установлен закон: хочешь стать медицинским доктором (M.D., Medical Doctor) — докажи, что уровень твоих знаний соответствует уровню американских требований. Экзамен для всех докторов Америки один и тот же.

В Америке всё образование — частное, включая колледжи и университеты. И стоит оно дорого. Вот и создавались специальные Центры по подготовке к таким экзаменам. Говорили, что мистер Каплан когда-то сам не смог

сдать медицинский экзамен и поэтому организовал курсы для подготовки. Постепенно дело разрослось и стало дорогим. За меня НЙАНА платить не хотела: у меня зарабатывающая жена. Но заработка её едва хватало на самый примитивный быт, и мне удалось уговорить их дать половину, с последующей выплатой.

Экзамен был пугающий: надо ответить на приблизительно тысячу письменных вопросов по всем разделам практической и теоретической медицины, дав на 75% правильные ответы. Требования и форма экзамена были для нас большой новостью, камнем преткновения на пути к работе по профессии. Привычное нам советское образование стояло на трёх консервативных китах: единство системы на всех уровнях, преподавание в классических традициях (почти 100-летней давности)и строжайший государственный (партийный) контроль за программой. Официально врачи и учителя должны были периодически совершенствовать свои знания каждые три года, но это была лишь проформа. Уровень наш явно отставал от американского, и намного.

Почти двести лет назад Пушкин писал:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь...

и

Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, больше ничего.

Это оставалось актуально и для советской эпохи. Хотя массовость образования в России с её колониями-республиками сильно возросла, но отсталость от уровня высшего образования в старанх Запада уменьшалась очень медленно. Мы, советские врачи той эпохи, одну треть времени в медицинских институтах тратили на изучение марксизма-ленинизма. Самый первый и важный выпускной государственный экзамен всегда был по марксистской философии — идеология превыше всего. Об этом я тоже писал в своих статьях в русской газете, и это тоже вызывало недовольство некоторых моих коллег. Но теперь нам всем приходилось расплачиваться, догоняя уровень знаний и подготовки американских докторов.

Когда я впервые пришёл на занятия в Центр Каплана в Манхэттене, я ожидал увидеть аудиторию, слушающую лекции, так проводились все занятия в России. Вместо этого девушка-регистратор выдала мне первую по программе магнитофонную кассету и буклет с напечатанными по теме кассеты вопросами-ответами.

— Что мне с этим делать?

— Сидите и слушайте, как другие.

— Где и как слушать?

Она повела меня в небольшой зал, где стояли длинные столы с множеством магнитофонов. Почти все были заняты: в тишине каждый слушал свою кассету через наушники. Приложив палец к губам, она усадила меня на свободное место, дала наушники.

— Это всё? — шёпотом.

— Всё. Прослушаете первую кассету, подойдёте ко мне — я обменяю её на следующую.

Я надел наушники и приготовился услышать медленную внятную речь. Вместо этого лектор говорил так быстро, что я не разбирал буквально ни одного слова. В растерянности я остановил ленту, перекрутил к началу, опять включил — то же самое.

У лектора не было достаточной для меня внятности речи. В стремлении понять я сконцентрировался и напрягся, как перед поднятием тяжёлого веса — не помогло. В растерянности я стал оглядываться вокруг: как другие слушают такую непонятную скороговорку? Неподалёку какие-то молодые доктора, в основном мужчины, сидели, расслабленно откинувшись на спинки стульев, и слушали наушники с видом любителей классической музыки, погружённых в звучание симфонии в концертном зале. На столах рядом с ними стояли принесенные из соседнего кафе бумажные чашки с кофе, который они время от времени пили мелкими глотками. Некоторые из них положили ноги на стол — и по этому, и по кофе в них сразу узнавались американцы. Изредка, по ходу слушания, они заглядывали в буклеты, сверялись с вопросами и ответами, опять закрывали глаза и откидывались, чтобы слушать. Их было немного.

Другая группа подальше — лица индусского и азиатского типа, смуглые или чёрные из стран Азии и Латинской Америки, тоже молодые, но среди них довольно много женщин, некоторые одеты в национальные одежды и сари. Они тоже слушали плёнки без видимого затруднения, но не так расслабленно, как американцы. На столах рядом с ними лежали толстые американские учебники и тетради с записями. Они иногда останавливали магнитофон, листали учебники, что-то записывали и продолжали слушать. Кофе они не пили и ноги на стол не клали.

Дальше сидели, сгруппировавшись, доктора постарше. Они часто снимали наушники, нервно листали словари и переговаривались шёпотом. Среди них много женщин среднего и выше возраста. Они слушали плёнки с видимым трудом, и по тоскливому беспокойству в их глазах нетрудно было распознать нашего брата — русских беженцев. Кофе они не пили, но часто, по одному — по два вставали и выходили в коридор.

Распознав своих, я тоже вышел и сразу натолкнулся на группу курящих мужчин, беседующих по-русски. Никого из них я не знал, но кивнул им. Они поизучали меня глазами, сильно не заинтересовались. Все были в возрасте около сорока, двое помоложе, а двое явно старше меня. Я закурил, для компании, и стал слушать. Очевидно, они тут были старожилы, и разговор шёл о результатах последнего экзамена. Вёлся он в таком примерно ключе:

— Сколько ты на этот раз получил?

— Немного продвинулся: шестьдесят восемь — далеко до заветных семидесяти пяти.

— А та женщина из Черновцов не добрала всего один балл.

— Да ну?! Обидно, конечно.

— А что толку-то? — всё равно не сдала.

— Наши опять на одном из последних мест по статистике.

— Да, в этот раз мало кто сдал. Но и вопросы были такие, что я вам скажу! А знакомых по Каплановскому курсу всего три-четыре вопроса — совсем мало.

— Нет, я насчитал штук десять знакомых.

— Во всяком случае, с первого раза наши вообще не сдают.

— Было несколько случаев.

— Были, но это молодые с хорошим английским. Таких всего один-два — и обчёлся.

— В среднем все сдают по три-четыре раза.

— Я знаю наших, которые сдавали пять и шесть раз.

— Ну, есть такие и не только среди наших. Вон, из Доминиканской Республики одна сдавала уже семь раз и теперь снова готовится.

— Чёрная?

— А какая же ещё!

— Так чего же ты от неё хочешь?

— Ну, есть чёрные ребята, которые сдавали с первого раза.

— Есть, но это американцы, закончившие институты в других странах, или те, кто учились по американским учебникам.

— Да, говорят, по американским-то учебникам заниматься лучше.

— Лучше тем, кто читает свободно. А я одно и то же слово по десять раз в словаре ищу.

— Да, и я от словаря почти не отрываюсь тоже.

— Если бы ясно понимать, чего они там говорят на этих плёнках...

— Некоторые занимаются дома, по учебникам.

— Ещё лучше иметь копии всех вопросов-ответов и шпарить прямо по ним.

— Да, я знаю наших, которые готовятся дома по таким вопросам.

— Где же их достать?

— В Бруклине продают — полный набор экзаменов за последние пять лет.

— Сколько стоит?

— Сто пятьдесят долларов.

— Так дорого!

— А что — люди складываются вместе, по пять-шесть человек, и покупают.

Дальше разговор перешёл на какие-то истории и анекдоты. Я вернулся на своё место, надел наушники и снова стал слушать. Если можно образно так сказать, я впился ушами в наушники. Но нужно было не только знать слова, но и иметь привычку слушать обычную речь, не видя лица и артикуляции собеседника — как по телефону. И я слушал, слушал — и опять ничего не понял. Устав от непривычного напряжения, снова вышел в коридор. Там

стояли те же и другие курящие русские, на этот раз к ним прибавилось несколько женщин. Пожилая женщина, на вид за пятьдесят, с раздражением говорила:

— На чёрта он мне нужен, этот экзамен! Я тридцать лет проработала в одной и той же больнице, во Львове, психиатром, и уже вышла на пенсию. А теперь вот сижу здесь и чувствую себя дура дурой. Чтоб он сдох, кто придумал этот экзамен!

— Почему вы решили его сдавать? — сочувственно спросила другая.

— Потому что мне надо работать: у меня дочка разведённая и внучка маленькая. Нас некому поддерживать. Ах, как я не хотела уезжать из России! Дочка меня уговорила, и пять лет назад мы поехали в Израиль. И всё было хорошо: с моим стажем я начала там работать без всякого экзамена, дочка вышла замуж, внучка родилась. И вдруг как гром среди ясного неба — дочка разошлась! И не захотела там больше оставаться. Чего это нам стоило — выбраться из Израиля сюда... Два года ушли на разрешение, и мы всё ещё не устроены. Откуда я знала, что этот дурацкий экзамен обязателен для всех, даже с моим стажем? И вот, в мои-то годы, я пришла на эти курсы. Ну, разве это справедливо?

— Вы знаете английский?

— Откуда мне его знать? Кое-как разбираюсь со словарём.

— Говорят, в Калифорнии докторам разрешают работать без экзамена.

— Ха!.. если правда... но это же — опять переезжать и устраиваться на новом месте!..

Я решил попробовать другую тактику работы с магнитофоном: слушать короткими частями, буквально одну-две фразы, и повторять их много раз подряд. Бог с ним, со смыслом лекции — нужно научиться слышать отдельные слова, а уже потом из них начнут складываться целые фразы. Когда — потом? Наверное, через неделю-две. Я нервно включал и выключал магнитофон каждую секунду. Включу — напряжённо вслушаюсь, перекручу назад и опять — включаю и вслушиваюсь. Довольно трудное занятие. Американец, сосед по столу, стал на меня коситься, а я с завистью поглядывал на него — небрежно развалившегося и слушавшего лекцию без остановок.

В тот день девушка, выдавшая мне кассету, так и не дождалась, чтобы я поменял её на следующую.

Дома Ирина спросила:

— Ну, как тебе понравились занятия?

— Знаешь, там, оказывается, не живая лекция в аудитории, а надо слушать записанные на плёнки лекции.

— Да? И как тебе это показалось?

— Тяжело понимать.

Но насколько тяжело, этого я сказать не решился.

После того ночного телефонного звонка мы с тревогой ждали, что может повториться что-то подобное. Особенно боялась, конечно, Ирина. От страха она стала носить с собой в сумочке большой шприц с толстой иглой.

— Если кто-нибудь станет на меня нападать, я вонжу в него эту иглу!

Я подтрунивал над ней:

— Пока ты будешь доставать шприц и снимать футляр с иглы, у тебя уже вырвут сумку.

Но она настаивала серьёзно:

— Я совсем не шучу! Если успею, то воткну в любую часть тела, хоть в глаза. Хорошо, что я научилась делать уколы. По крайней мере, пригодится при обороне.

Ирина смотрела по телевизору много современных американских фильмов, а в них всё чаще показывали эпизоды таких диких и изощрённых преступлений, каких мы, выходцы из другого мира, не могли себе представить. Когда мы покинули Россию, там ещё был строгий режим контроля над всей страной и не было разгула преступного мира, который пришёл потом. А в Америке этот отрицательный атрибут слабого контроля был давно. И хотя телефильмы представляли мир выдуманный, но отражали они реальные факты. Это пугало многих беженцев, особенно нервно настроенных женщин. А у Ирины, на фоне постоянной тревоги за всех нас, нервы были напряжены постоянно.

Её напуганность отчасти передавалась Младшему, который постепенно всё больше мрачнел и всё меньше разговаривал дома, особенно со мной. Он уже начал заниматься в колледже, где слушал живые лекции преподавателей. Без привычки понимать длинные периоды живой

речи ему это тоже было нелегко. Мы пошли с ним в его любимый магазин электроники и купили портативный магнитофон. Теперь он стал записывать лекции, а дома прослушивал их по два-три раза. На это у него уходили все ночи до утра, иногда до трёх-четырёх часов. От хронического напряжения и невысыпания от делался ещё более мрачным. Сын никогда не был хорошим учеником, всегда нуждался в подгоне и помощи. Но теперь мы не в состоянии были дать ему ни того, ни другого.

А я продолжал свою борьбу с магнитофонными кассетами-лекциями. Теперь все дни у меня уходили на это тоскливое занятие: заготовив себе большие сандвичи и взяв термос с кофе на весь день, я приходил туда к 10 утра и нередко уходил в 10 вечера. Вжимая свой зад в стул, а уши — в наушники, я задеревенело сидел весь день. Через неделю упорного сидения я начал только лишь различать отдельные слова на разных плёнках, независимо от дикции лектора. Тысячи раз заглядывал я в англо-русский медицинский словарь, отчаивался, кусал губы, сжимал кулаки и готов был биться головой о стенку. В отчаянии я выходил с сигаретой в коридор, а там всегда стояли или сидели группки наших и вели свои бесконечные разговоры. Теперь мы все уже знали друг друга, и в беседах можно было получить кое-какую полезную информацию и слегка расслабиться.

Ушло ещё две недели, пока я стал понимать смысл того, что слушал. Выходил я из центра уже в темноте. По шумным и живым улицам мчались шикарные лимузины и ходил весёлый народ — кто в рестораны, кто из театров. В том водовороте богатой и счастливой жизни не было места для меня. Я шёл домой и упорно твердил сам себе: я добьюсь, я добьюсь, я добьюсь!.. А приходя домой, старался принимать более расслабленный и уверенный вид. Но Ирина, наблюдая, как оба мы с Младшим бились в своей учёбе, расстраивалась за нас всё больше и больше.

Придя однажды с наигранной весёлой улыбкой, я застал её сидящей на диване в позе абсолютного отчаяния: у неё были опущены плечи, она смотрела куда-то в пол, и на её лице были подавленность и грусть.

— Что случилось?

Не повернула головы и ответила не сразу:

— Я уволена.

Я даже не сразу осознал, настолько это было неожиданно. Я подсел и взял её за плечи:

— Что произошло?

— Ничего, ничего не произошло, просто доктор сказал мне: спасибо вам за работу, я вами очень доволен, но считаю, что по вашей квалификации вы можете найти себе более подходящее место. Вот вам чек на две недели вперёд. И всё.

Нетрудно было догадаться, о чём бедная моя Ирина думала, сидя в ожидании меня. Она зарабатывала почти $700 в месяц, и выжить нам без этих денег было невозможно. Найти другую работу нелегко, и на это нужно время. Конечно, она впала в глубокую панику. Прежде всего мне надо как-нибудь её успокоить — сразу всё равно ничего не придумаешь. Со всей возможной теплотой в голосе я сказал:

— Ладно, ты не отчаивайся, что-нибудь придумаем. Раз уж так случилось, постарайся об этом забыть.

— Я бы хотела забыть, — со слезами в голосе, — но мне обидно, что он так поступил со мной. Я работала, выбивалась из сил, делала всё, что он меня заставлял. Почему от так сделал? Знаешь, я подозреваю, что это Тася устроила. Она всегда разводила интриги и сплетни.

— Ну и чёрт с ней, — продолжал я успокаивать Ирину. — Знаешь, моя мама всегда говорит: что Бог ни делает — всё к лучшему. Я уверен, что ты найдёшь работу лучше этой. Ну, что ты там такое делала, что тебе было интересно? — ничего. Ты очень устала, тебе надо отдохнуть. У нас есть ещё деньги за драгоценности, и мы можем продержаться несколько месяцев, экономя. А за это время ты обязательно что-нибудь найдёшь, может быть, даже по специальности, в научной лаборатории. Помнишь, что тебе говорил Эллан Граф? Я с ним поговорю, он ведь обещал помочь найти что-либо подходящее.

Мы действительно продолжали дружбу с Элланом и Маргарет Граф, они навещали нас в новой квартире, приглашали в театр, даже приносили нам овощи с фермы его отца. Они были наши единственные американские друзья, и поэтому я ссылался Ирине на них. В традициях русского общества всегда было искать помощь и помогать друг другу — выжить без этого там было трудно. Ссылка на друзей могла немного подбодрить Ирину.

Я говорил ей самые нежные и ласковые слова, чтобы растворить горечь увольнения и растопить тот холодок, который уже давно разделял нас. В цепи наших неудач и несчастий это охлаждение было самым горьким для нас обоих. И я обнимал и ласкал её всю ночь, а она тревожно засыпала у меня на плече и вновь просыпалась, вздрагивая. И я опять начинал свои ласковые увещевания и целовал, целовал её заплаканное лицо.

На следующий день я не пошёл на занятия, а повёл её в Центральный парк. Не мог же я оставлять её дома одну, наедине с грустными мыслями. В парке я показывал ей тех бегунов, с которыми поверхностно познакомился, когда сам бегал по утрам, подводил её к примеченным мной деревьям, рассказывал ей всякие про них истории, читал свои первые американские стихи возле гиганта-платана — делал всё, чтобы её отвлекать. А на другой день мы поехали на сабвее в Форт Трайтон Парк, на севере Манхэттена, и опять гуляли. Мы обсуждали все возможные варианты ближайшего будущего, но при этом старались не упоминать Иринину неудачу на работе — забыть об этом.

Через несколько дней, немного отдохнув и успокоившись, Ирина поехала в НЙАНУ, в которой давно уже не была, чтобы узнать о возможности какой-нибудь новой работы.

А мне надо было активизировать свои планы на издание книги. Добровольный мой переводчик из Вашингтона уже прислал переводы нескольких рассказов из русской газеты. Я пытался их прочитать, но оценить качество перевода, конечно, не мог. Он сам послал эти тексты в какой-то из популярных медицинских журналов и теперь ждал ответа. На радиостанции мой приятель Мусин продолжал развивать фантастические планы издания, в которые я всё меньше верил. Самым реалистичным мне представлялся план поговорить с Таниным мужем: если он сумел издать свою книгу и добиться успеха, то он должен знать каких-то людей, которые издают книги.

После того последнего разговора с красавицей Таней я стал приглядываться к ней осторожней, моя медицинская интуиция подсказывала мне, что есть в ней что-то странное. Однажды мы были с ней одни в студии для записи, она с грустью спросила:

— Доктор, почему иногда так хочется помереть?

— По глупости, поверьте мне, Таня, только по глупости, — отшутился я, но про себя подумал: «Эге, что-то с тобой происходит, красавица».

— Скоро мой муж придёт за мной, — сказала Таня. — Вы ведь хотели с ним поговорить.

Танин муж, Юрий, оказался на вид совсем не подходящей ей парой, он был невзрачен во всём: небольшого роста, выглядел старше своих пятидесяти лет, довольно некрасив, небрежно одет и с болезненно-недовольным выражением лица.

Мы разговаривали с ним в коридоре. Он сказал, как по плечу похлопал — свысока:

— Я читаю ваши статьи и рассказы в русской газете. Они мне нравятся.

— Спасибо.

— Я давно хотел поговорить с вами как с доктором. Понимаете (он понизил голос и оглянулся), мне нужно какое-нибудь лекарство от импотенции. У меня старая гипертоническая болезнь и ещё диабет. Ну, с ними я научился справляться. Но я стал замечать у себя упадок половой активности — то совсем нет эрекции, а то есть лишь ненадолго. Что бы вы мне посоветовали?

— Знаете, я ведь ортопедический хирург, я не занимался таким лечением.

Но он настойчиво говорил своё:

— Понимаете — жена молодая, да и другие женщины кругом. А? Может, вы что-нибудь узнаете для меня. Ведь вы вращаетесь в медицинском мире.

— Я постараюсь.

Странно было слушать такие откровения с первых же слов знакомства, тем более что я работал с его женой. Но есть порода людей, которые любят только использовать других для себя, особенно любят использовать докторов.

Тут подошла его улыбающаяся красавица-жена, и он небрежно её поцеловал. Чтобы поговорить с ним о моём деле, я пошёл их немного проводить.

— Я хочу вас попросить о любезности, — начал я на улице, — не можете ли вы дать мне совет: к кому лучше обратиться за помощью в издании книги о русской медицине, которую я пишу.

Он с готовностью ответил:

— Я знаю очень солидных издателей, они могут издать быстро — в два месяца. Только я хочу вас сразу предупредить: я беру за это 75% от авторского гонорара.

Я постарался не подать вида, как меня это ошеломило. Но я заметил, что Таня бросила на меня испытующий взгляд. Отвечать ему на такой беззастенчивый грабёж было нечего. Я соображал — как корректней с ними распроститься? А он в это время перебрасывался с Таней замечаниями о проститутках, которых довольно много было на улице:

— Видишь? Вон та опять вышла на работу, её не было уже пару месяцев. Наверное, сидела в тюрьме. На улице промышлять опасно, куда лучше иметь своего патрона. А другая, смотри, уже подцепила клиента. Хорошо, если это не переодетый полицейский.

Мир проституток был ему чем-то близок и интересен. Тут он указал мне на шикарный синий «Кадиллак», припаркованный у тротуара:

— Это моя машина. Мне надо сейчас ехать в аэропорт Кеннеди, встретиться там кое с кем из деловых людей из Калифорнии. Таня, ты хочешь поехать со мной?

При этом вопросе Таня как-то сразу поблекла, даже уголки губ у неё опустились. Он смотрел на неё выжидательно и, мне показалось, грозно. Она с видимым трудом пересилила себя и ответила игривым голосом:

— Ах, мне так надоели эти твои деловые встречи и обеды, я устала от ваших разговоров и шикарных приёмов.

Тут я заторопился и стал прощаться. Юрий сказал:

— Так вы подумайте о моём предложении, доктор. Дело это верное.

Завернув от них за угол, я почувствовал облегчение.

Дома Ирина передала мне очередное письмо-ответ из одного из журналов, куда я рассылал свои предложения. Мы уже так привыкли к отказам, что Ирина даже не открывала письмо — не интересно. Я стал читать:

«Дорогой доктор Голяховский, редакция журнала «American Medical News» заинтересовалась вашим пред-

ложением и предлагает вам дать интервью нашему корреспонденту, который приедет к вам. Мы выплатим вам за это гонорар $400...»

— Ну, вот, наконец-то, — сказал я Ирине. — Это как раз то, что нам сейчас больше всего нужно, — реклама. Видишь, что-то всё-таки стало налаживаться. Это интервью может привлечь кого-нибудь из другого журнала, а может быть, и те переводы будут напечатаны. Это прямой путь к изданию книги.

Среди мириад непонятного нам нового в Америке одним из самых непонятных была система образования. Даже и не система, а множество разных систем.

Американская организация образования так же отличается от русской, как заваленные тысячами разнообразных продуктов американские супермаркеты отличаются от русских «продовольственных магазинов» с их ничтожным выбором: назначение вроде бы одно и то же, а по разнообразию и выбору сравнение несовместимо. Самое главное отличие в системах образования состоит в том, что в американской учащемуся предоставляется свободное право выбора предметов изучения (в пределах профессиональной направленности: гуманитарное, техническое или медико-биологическое).

Когда Младшему надо было регистрироваться для поступления в колледж на предмедицинское обучение, ни он, ни мы не знали сроков и порядка регистрации. Поэтому сначала пришлось заплатить $1000, чтобы его зачислили. Это для нас громадные деньги, но дискуссий не было: на учёбу Младшего стоило отдать самое последнее. Уже потом он выяснил, что как проживающий в штате Нью-Йорк имел право на бесплатную учёбу именно в этом колледже, принадлежащем не частной организации, а самому штату. Однако для этого ему надо было набрать в один семестр двенадцать «кредитов», то есть быть зачисленным на двенадцать программ по его свободному выбору. А на каждый предмет-программу были свои сроки регистрации. Поэтому он ежедневно метался между департаментами (кафедрами) и совершенно ошалел от множества новой информации: как набрать двенадцать кредитов?

Он взял, конечно, английский язык как основной предмет, и этого ему было более чем достаточно для загруженности. Были там и химия, и биология, но необходимо было брать ещё что-то. К своему удивлению, он узнал, что был и такой предмет, как «украинские танцы». Как он ни был занят и мрачен, но об этом предмете рассказывал нам, заливаясь детским смехом. Мы с Ириной тоже от души смеялись (что бывало всё реже и реже). Украинские танцы для изучения он брать не стал, но решил взять класс дзюдо, которым занимался немного ещё в Москве. Ему казалось, что это будет во всех отношениях выгодно, но на первом же занятии выяснилось, что надо иметь специальный спортивный костюм — стоил он $60. Хорошо было бы избежать затрат и поменять предмет, но было уже поздно. Костюм пришлось купить. Среди других предметов взял он и теннис, потому что вполне прилично играл. К тому же он решил, что расходы не нужны, так как ракетку он с собой привёз. Однако не тут-то было: по теннису необходимо писать сочинение, а для этого пришлось покупать книгу — опять расход $12. И так и шло: образование требовало всё новых расходов.

Но постепенно продвигаясь в лабиринте всех трудностей, он выяснил, что в колледже были специальные советники по всем вопросам выбора для студентов.

Ничего подобного в России не существовало (как и самого выбора тоже). Советуясь с ними, он даже смог вернуть нам $1000, что было для нас и радостно, и удивительно.

От постоянного напряжения, от множества новых впечатлений и информации и от хронического недосыпания Младший впал в небольшую депрессию. Мне очень хотелось помочь ему выйти из этого состояния и дружески поговорить с ним. Однако он долго и угрюмо избегал общения. Всё-таки однажды мы разговорились.

— Чем ты недоволен? — спросил я.

— Хм, странный вопрос. Чем, по-твоему, мне надо быть довольным?

— Ты помнишь, в Риме, когда ты начал нервничать по поводу своего будущего, я тебе обещал, что при любых условиях я сделаю всё, чтобы ты смог закончить ме-

дицинское образование. Я тебе и теперь подтверждаю это. И вот — ты уже начал заниматься.

— Ага, вот в том-то и дело, — отвечал он раздражённо, — я начал заниматься не медициной, а только предмедициной. Знаешь, сколько лет своих занятий я теряю?

— Конечно, знаю: ты был бы сейчас на четвёртом курсе медицинского института, тебе оставалось бы три года до диплома советского врача. А здесь тебе нужно учиться ещё семь лет: три года в колледже и четыре года в медицинском институте, если поступишь. Зато у тебя будет диплом американского доктора.

— Если поступлю. Знаешь, как это здесь трудно. Чем же мне быть довольным?

Я посмотрел на него и вздохнул: конечно, там я помог ему поступить, а здесь ему надо добиваться успеха самому. Я сказал:

— Ты знаешь, сколько лет я теряю? Тридцать! Да, да, тридцать лет. Это целая жизнь. Я ведь был уже профессором, заведующим кафедрой, одним из ведущих специалистов в своей области. А теперь я должен сдавать экзамен, как только что закончивший врач. И после этого мне придётся с самого начала проходить специализацию (трейнинг) по предмету, который я уже много лет преподавал. Я фактически должен стать доктором второй раз в жизни. Но я рад, что на этот раз — американским доктором. А ты можешь стать им всего через семь лет, когда тебе будет всего-то двадцать восемь лет. В Америке это средний возраст для начинающего доктора.

Младший молчал. Я тоже не знал, что еще сказать. Потом он произнес угрюмо:

— Ты меня всё равно никогда не поймёшь, у нас с тобой разница поколений: у тебя свои проблемы, у меня — свои.

Конечно, это было так. У молодости свои проблемы, поэтому молодость всегда эгоистична. Нервная система молодых менее закалена, чем у людей поживших. А в Америке на всех новоприбывших из России давили постоянные стрессовые ситуации. Будь наш сын менее набалован нашей опёкой там, он был бы более подготовлен к жизни здесь — американцы своих детей приучают к самостоятельности. Конечно, мы могли сказать своему: ты в Америке, и делай так, как делают американцы. Но в том-то и дело, что он не был подготовлен к этому. А мы с Ириной боялись, чтобы у него не произошло серьёзного психологического срыва. Мы знали случаи, когда такие вот студенты-иммигранты кончали здесь жизнь самоубийством.

Ирина всё ещё не могла найти работу и продолжала нервничать. Я с беспокойством следил и за её психическим состоянием тоже. Однажды я застал её взбешённую чем-то: она металась по квартире, как раненый зверь. Войдя, я так и застыл у двери:

— Что произошло опять?

Она стала кричать и плакать:

— Эта дрянь паршивая, эта «кисанька-лапушка» Тася, которой я столько помогала, которая сама ничего не знает, которая гроша ломаного не стоит, у которой нет никакого английского, которая разводила интриги, которая прикидывалась лучшей подругой, которая лебезила перед доктором!..

— Ну, ладно, что с ней такое связано, что ты на неё так сердишься?

— А то, что я узнала, что она стала работать на моём месте на другой день после моего увольнения! Конечно, это она так подстроила, чтобы доктор меня уволил, это она!..

— Ладно, успокойся. Стоит ли принимать это так близко к сердцу?

— Как успокоиться, когда люди кругом такие подлые: все — и русские иммигранты, и американцы! До приезда в эту страну я никогда не видела столько подлости в людях.

— Ты не видела, потому что у тебя было другое окружение: там мы принадлежали к элите общества, а здесь мы — дно низшего класса. В этом вся и разница.

— Может быть, ты и прав, но я не могу жить — понимаешь? — не могу я среди таких людей жить! А ты ещё с ними проводил столько времени. Надо тебе описывать их! Подумаешь, какой предмет для наблюдений!

— Ах, Ирина, всё на свете — предмет для наблюдений. Есть и хорошие люди вокруг. Вон — наши друзья Графы. Я разговаривал с Элланом, он обещал поговорить с кем-то насчёт тебя. А пока они пригласили нас в театр на открытом воздухе в Центральном парке.

Успокоившись, она стала рассуждать хоть и злобно, но без крика. Любыми путями необходимо было её отвлекать, и приглашение в театр было как нельзя более кстати.

Наш Центральный парк был в полной красе. Стояла летняя жара, но всё равно по субботам-воскресеньям там гуляли сотни тысяч жителей города: на громадных бейсбольных полях играли в бейсбол, на лужайках — в футбол и волейбол, дети играли на специальных площадках с песком и игровыми конструкциями для разных возрастов. А по свободным от машин проезжим дорогам бегали, катались на велосипедах, мчались на модных тогда роликовых досках и на роликовых коньках целые толпы. В прудах парка плавали на лодках, а на многочисленных лугах и лужайках собирались на пикники и жарили на мангалах мясо — отовсюду разносился его дразнящий запах. Особенно любили это многочисленные семьи пуэрториканцев и доминиканцев, проводившие в парке целые дни, — никакая жара их не пугала. И хотя всё кишело людьми разного возраста и состояния, но мы никогда не видели ни одного пьяного. Нас, привыкших видеть на улицах и в парках пьяных людей, отсутствие их поражало больше всего.

Когда спадала дневная жара, в парке устраивались бесплатные массовые симфонические и оперные концерты, выступали лучшие оркестры, с лучшими певцами и дирижёрами. Люди собирались по сто тысяч и больше. Приходили заранее, приносили с собой заготовленную еду, напитки, лёгкое вино, расстилали на траве одеяла, и компаниями и семьями сидели в ожидании начала представления.

Кроме этого, в Парке был построен на пожертвования миллионера Делакорте специальный открытый амфитеатр с большой сценой — для вечерних спектаклей исключительно шекспировского репертуара. Туда-то нас и пригласили наши американские друзья.

Мы встретились часа за три до спектакля, они позаботились принести одеяла — расстелить на траве в тени небольшого деревца (с тех пор оно выросло) — и еду. Марджи была беременна в первый раз, и они с Ириной обсуждали это событие. Эллан давал Младшему полезные советы об учёбе в колледже. Они очень трогательно нас кормили пиццей и гамбургерами, и я видел, как Ирина постепенно оттаивала под лучами их дружбы. Пока мы сидели и закусывали, актёры-любители, одетые в костюмы шекспировского времени, прогуливались между группами сидящих и развлекали нас показом фокусов и чтением шекспировских стихов.

Когда подошло время спектакля, раздался сигнал, и все выстроились в длинную очередь за билетами (бесплатными). Очередь тянулась вокруг большого бейсбольного поля, и в ней было около трёх тысяч человек. Билеты выдавались по одному в каждые руки. И вот что было для нас удивительно: ни один человек не просил дать больше, не забегал вперёд, не скандалил, всё происходило при полном порядке и даже тишине. Я представлял, что творилось бы в России: многие добивались бы привилегий, чтобы не стоять в очереди, просили бы дать лишний билет, скандалили. Но спокойным американцам и в голову не приходило нарушать установленные правила. И сам спектакль на открытой арене был интересным для нас зрелищем. Для нервной системы Ирины и Младшего это был вечер эффективной терапии. И я был бесконечно благодарен Графам: одному мне успокаивать и отвлекать их становилось всё трудней.

На удивление самому себе, ни на минуту не ощущал я состояния безнадёжности. Вопреки логике происходящих событий я продолжал жить в вере в наш будущий успех. Это было необъяснимо, может быть — лишь предвидение поэтической души.

Пока я оставался единственным зарабатывающим хоть что-то в нашей семье, Ирина завела режим строжайшей экономии. Для этого она рыскала по ближайшим к нам супермаркетам, чтобы выискать, где в этот день была распродажа каких-нибудь продуктов по сниженным ценам. Она в этих поисках была большой мастер, и покупка продуктов хоть немного дешевле была её единственным удовольствием. По вечерам она хвасталась мне, что сэкономила на сметане 20 центов, на овощах 30 центов, на твороге 40 центов... Я преувеличенно её нахваливал, но наблюдал за ней с тревогой.

Однажды я шёл по Бродвею, чтобы занести очередной рассказ в редакцию русской газеты, после чего пой-

ти на радиостанцию для еженедельной передачи, а уже оттуда — в Каплановский центр для занятий. В кармане у меня была одна монета — 25 центов, в портфеле лежали рукописи, англо-русский словарь и сандвич. И я думал: «Наверное, сейчас на всём длинном Бродвее, среди тысяч и тысяч людей нет никого бедней меня, да ещё с таким трудным и неясным будущим... да, это так... но я всё равно чувствую себя счастливым... почему? Потому что я знаю: наступит день, когда я буду на этом же Бродвее одним из самых благополучных здесь, и буду опять принадлежать к элите, к настоящей элите духа... я добьюсь своего!..»

Вот чего мне действительно не хватало — это информации в достаточном количестве: я ещё не мог читать американские газеты и журналы. А информация была нужна для моих планов. И поэтому мне было интересно и полезно разговаривать с редакторами русских газет и радио, они жили здесь давно и были намного более информированы. Мой приятель на радио Мусин поучал меня:

— Для того чтобы понять Америку, нужно каждый день читать газеты. По воскресеньям я прочитываю несколько фунтов американских газет.

Слыша такие вещи, я буквально смотрел ему в рот: он был для меня большим авторитетом. По его совету я уже собрал кое-какие интересные статистические данные о советской медицине. С болью отрывая время от занятий, я ходил для этого в библиотеку Медицинской академии на Пятой авеню. А он обещал за это время найти и поговорить с кем-нибудь, связанным с издательскими делами. Когда я выложил перед ним собранные материалы, он на них даже не глянул.

— Знаешь, старик, я передумал: делай книгу один.

— Но ты же хотел...

— Я решил уходить с этой работы, хочу поступить на большую фармацевтическую фирму — там платят вдвое больше.

— Что ж, — вздохнул я, спорить с этим не приходилось. — Когда начинаешь?

— Да, понимаешь, в том-то и дело, что у меня нет никакого опыта. Я получил химическое образование, но всю жизнь был журналистом.

— А-а, ну что ж, начнёшь — и появится опыт.

— Без рекомендации другой фирмы туда не берут.

— Значит, нет надежды?

— Вот если бы достать такую рекомендацию, — протянул он мечтательно.

— Кто же тебе её даст, если ты не работал?

— Да мне тут обещал один... понимаешь, им там всё равно — был бы фирменный бланк с подписью.

— Да, но это...

— Э, да ты не знаешь, что ли, что на Брайтоне можно купить любую поддельную бумагу и даже фальшивые дипломы?

Этого я не знал, хотя в разговорах слышал, что кое-кто из беженцев пустился в разные мошеннические махинации и жульнические проделки. В основном тогда это ещё был мелкий обман. Крупные афёры пришли потом, когда Союз стал распадаться.

Так или иначе, с отказом Мусина помочь мне в устройстве публикации я опять был предоставлен самому себе. Это утяжеляло задачу, и с мыслями о новой ситуации я вышел из Каплановского центра в 10 вечера. Я шёл по 56-й улице, вокруг никого не было, и я не заметил, как возле артистического входа Карнеги-Холла ко мне пристроился молодой чёрный парень. Посреди своих дум я вдруг услышал:

— Эй, мэн (человек), дай квотер (двадцать пять центов).

Не успел я ещё никак среагировать, как он положил мне руку на плечо и мрачно добавил:

— Я только что из тюрьмы вышел.

Услышав это дополнение, я сразу вынул из кармана мой единственный квотер и протянул ему — лучше сразу подать, чем связываться с таким героем. Мы как раз подошли к углу 7-й авеню, и в один прыжок я отскочил от обрётшего свободу.

С абсолютно пустым карманом, но зато и без единой царапины ножом я заявился домой. Рассказывать Ирине о той встрече я не стал: с её постоянным ощущением опасности она бы сильно разволновалась. Зато у неё была новость:

— Знаешь, в НЙАНА мне предложили поступить на трёхмесячные курсы бухгалтеров и машинисток. Там платят стипендию $80 в неделю и число мест ограничено. Ответ надо дать завтра.

— Ну, и что ты решила?

— Я предоставляю решать это тебе.

Я понимал, что ни при каких обстоятельствах Ирина не собиралась в будущем заниматься этим трудом. Поэтому она и не хотела сама решать. Да и я никогда на думал, что моя Ирина станет бухгалтером или машинисткой. Но для её нервной системы необходимо было найти как можно скорей хоть какое-то отвлечение от сидения дома с тяжкими мыслями. Я сказал:

— По-моему, надо поступать.

— Ты так думаешь?

— Конечно, ты будешь там целыми днями с людьми, и опять-таки — это практика в разговорах и даже печатании на английском. И ты за это станешь получать $15 в день — при твоей экономии этого вполне достаточно для нашего стола.

— Да, об этом я сразу подумала. Но я боюсь, что меня потом обяжут поступить на работу, раз платили деньги.

Я вспомнил, что мне только недавно говорил Мусин о проделках наших иммигрантов.

— Э, забудь об этом. Знаешь, все наши хитрят и выкручивают что-нибудь для себя. Твоя учёба будет самым маленьким из всех прегрешений.

Ирина жалобно взглянула на меня и прижалась, как беззащитный зверёныш. Я стал её целовать:

— Вот видишь, теперь все мы трое станем студентами. А учиться, это ещё не самое плохое занятие на свете.

Приехал из Чикаго журналист от журнала «American Medical News», чтобы взять у меня интервью. Это самый популярный медицинский журнал Америки, и я придавал очень важное значение этому первому печатному появлению моих идей для будущей книги. Опыт дачи интервью у меня был, меня интервьюировали газеты и телевидение в Москве, в Восточной Германии и Чехословакии. Но тогда у меня было положение профессора и писателя, и темы были конкретные — о моей работе. Теперь я был беженец, бывший профессор и писатель, и тема должна быть обо всём состоянии медицины в моей бывшей стране. К тому же тогда я отвечал на русском, а теперь интервью будет вестись на английском. Ирина не пошла в тот

день на свои новые курсы, чтобы помогать переводом — самому мне явно не хватило бы разговорной практики для такой сложной беседы.

Журналист был средних лет и как будто немного вялый. Войдя в квартиру, он с некоторым удивлением оглядывался — очевидно, его поразила бедность жилища доктора: в Америке доктора относятся к богатому сословию. Он как будто бы не совсем был заинтересован в своей миссии и сразу сказал, что собирается закончить всё в один день. Выложив на стол портативный магнитофон и достав фотоаппарат, он начал:

— Итак, почему вы уехали из Советского Союза?

Вот это-то и было главным содержанием беседы, и мне надо было вести её так, чтобы под конец он сам сказал мне — почему я уехал. Я хотел отвечать как можно более кратко, но как объяснить в нескольких словах — почему? И так один ответ вызывал новый вопрос, а следующий — два новых вопроса. И снова ответы, и снова вопросы. Вялость журналиста сменилась заинтересованностью, потом и оживлённостью: он хотел ещё и ещё информации. Я пытался вести беседу на английском, невероятно напрягаясь для подбора слов и построения фразы. Каждое слово, зарождённое в мозгу, мне надо было проводить через большой круг кровообращения, чтобы оно попало на язык. Но по лицу журналиста я видел, что ему стоило большого труда понимать меня. И дело было не только в словах, но и в их произношении. Ирина поправляла меня, иногда начинала отвечать за меня. Она всегда была большая любительница поговорить, и я вслушивался и поправлял, если она что-то говорила не так, как я хотел. У нас даже возникали перепалки на русском, наш гость явно сочувствовал моим усилиям, но без Ирининой помощи мы никогда бы не кончили.

Мы устроили перерыв с ланчем для гостя. Ирина заранее купила продукты, которые почти никогда не появлялись на нашем столе, но он ел наспех и хотел продолжать вопросы. Мы думали, что он торопился закончить, однако он попросил разрешения прийти ещё и завтра. Когда за ним закрылась дверь, я почувствовал невероятную усталость — не от общения, а от попыток говорить на английском. Фактически это был первый раз, когда я разговари-

вал или вслушивался в английскую речь целый день. Трудно представить, как с непривычки утомляет новый язык.

На другой день он пришёл раньше и вёл себя, как заинтересованный фокстерьер: вскакивал с места, восклицал, перебивал и задавал глубокие и острые вопросы. Чувствовался высокий класс его журналистского профессионализма. В этот раз отвечать на английском мне было немного легче, потому что с первого дня я усвоил и запомнил кое-какие входные обороты речи. Что значит практика!

Потом он нас с Ириной фотографировал так, чтобы она обязательно держала в руках мои книги, а у меня в руках были изобретённые мной искусственные суставы, фотографировал мои русские и иностранные патенты. А когда я сослался на то, что много лет вёл дневники, он захотел их посмотреть, стал листать, просил перевести отдельные страницы и тоже их сфотографировал. Получилось очень живое и документированное интервью. Закончив работу к концу второго дня, он сказал:

— Откровенно говоря, я даже не ожидал собрать такой новый и интересный материал. Многое из рассказанного вами совершенно неизвестно американцам. Они думают, что медицина в Советском Союзе действительно доступная, бесплатная и высококвалифицированная. Думаю, что наш материал будет иметь успех у читателей. Вы не удивляйтесь, если после появления интервью вам станут звонить незнакомые люди, писать письма, даже приглашать к себе. В Америке это принято.

После его ухода мы с Ириной оба были и утомлены, и возбуждены. Я говорил:

— Видишь — это интервью может дать нам как раз то, чего я добиваюсь: знакомства и полезные связи, которые помогли бы мне найти работу и опубликовать книгу. Помнишь, что тётка Люба говорила в самый первый наш вечер в Нью-Йорке? — в Америке очень полезно иметь связи. А ты мне не верила, когда я рассылал письма.

Ирина не возражала, тем более что, уходя, журналист оставил нам чек на $400, весьма желанный в нашей ситуации.

Учиться было трудно; теперь я уже мог улавливать основной смысл лекций на плёнках в Каплановском центре, но для ясного понимания мне не хватало слов. Тысячи раз в день я останавливал магнитофон, открывал англо-русский словарь, находил нужое слово и выписывал его с переводом в тетрадь. Включал магнитофон, а через секунду останавливал для поисков другого слова. Сделав несколько новых записей, забывал предыдущие и снова лез в словарь. Обнаружив, что я только недавно то слово выписал, я с отчаянием ругал себя и старался затвердить его. Но всё равно, одно и то же слово приходилось повторять по много-много раз.

К каждой лекции-плёнке выдавались напечатанные на машинке (компьютеров в общем пользовании ещё не было) буклеты с типичными вопросами по этой теме, за которыми следовали ответы, каждому вопросу соответствовал множественный выбор из четырёх-пяти ответов, из которых один был правильным. Эти вопросы и ответы приблизительно соответствовали возможным экзаменационным. Закончив лекцию, лектор всегда разбирал вопросы и объяснял — почему и какие ответы правильные.

Смысл подготовки к экзамену сводился к тому, что надо было вникать и запоминать вопросы по темам лекций, понять — что именно спрашивалось, и постараться помнить не менее пяти-шести тысяч вариантов по всем разделам медицины. Каплан гарантировал, что если хорошо знать его материал, то можно сдать экзамен с высокой оценкой. Такой объём материала студенты колледжа и института проходили за 6—7 лет, но нам, докторам из других стран, надо было подготовиться за полугодовой курс или снова повторять то же самое — пока не сдашь.

Вот мы и сидели там с утра до ночи и старались понять и запомнить. Понимать было нелегко, а запоминать нам надо было не только факты, но и сами незнакомые слова. Когда лекция была по клинической медицине — о симптомах заболеваний и лечении болезней, — мне помогала профессиональная память. Но в современной американской медицине практическое лечение базируется на основе знания фактов и законов медицины теоретической — микробиологии, биохимии, физиологии, морфологии, фармакологии и генетики. Это отличает медицину наших дней от той, которую я изучал тридцать лет назад. Всех этих основ мы, практические доктора, после окон-

чания института уже никогда не касались. А с тех пор в этих науках были сделаны новые фундаментальные открытия, о которых я знал только понаслышке.

Особенно трудно было понимать объяснения по генетике. Когда я учился, генетика была в зачаточном состоянии, а в Советском Союзе преподавали её по лжеучению Лысенко. Он как догму доказывал возможность направленного изменения генетического кода — основы жизни клетки. Это было на руку коммунистическим идеям общественных преобразований (в добавление к лагерям ГУЛАГа). Нам тогда вменялось в обязанность знать учение Лысенко чуть ли не наизусть, а научные открытия западных учёных трактовались как вредная «буржуазная идеология».

Когда я заканчивал институт, в 1953 году, основная генетическая структура клетки (ДНК) была только открыта Франсисом Криком и Джеймсом Уотсоном, и я уже не имел возможности изучать это. А теперь для экзаменов надо было знать подробное строение и функцию этой магической двойной спирали. И вот приходилось мне отступать ещё более назад и браться за изучение основ — великая сила необходимости сильней всех обстоятельств на свете.

А как с этим справлялись другие русские доктора? Те, кто был моложе меня, уже изучали поздние открытия, когда антизападная истерия в Союзе ослабела. Для них структура ДНК не была новостью — хоть и не в деталях, но они её проходили.

Я спросил пожилую женщину-психиатра, ту, которая проклинала экзамен и кто его придумал:

— Как вы учите структуру ДНК?

— Ой, что это такое? — испуганно воскликнула она.

— Ну, структура, которая отвественна за синтез аминокислот и генетический код. По правде говоря, я сам о ней почти ничего не знаю, поэтому и спрашиваю.

— А я так и вообще понятия не имею и иметь не хочу, с меня хватит! — нервно отреагировала она. — Я читаю русские учебники, которые привезла с собой. В моём возрасте и при моих обстоятельствах это больше, чем достаточно. А там про это ничего нет.

— Но те учебники отстали от американской медицины на десятки лет.

— Отстали? Нет, за мой век в медицине немногое изменилось.

Я поразился такому заключению: медицинская наука быстро менялась на наших глазах благодаря развитию техники и электроники, в медицине открывались новые научные факты, на которых основываются всё новые и новые методы лечения. Отрицать это было более чем странно — невежественно. Но она продолжала:

— Если уж так надо, то у меня есть переводы почти всех лекций Каплановского курса на русский язык: наши слушали, переводили и обменивались друг с другом. Я достала копии. Они, правда, от руки написаны и не всегда ясно. Хотите, могу вам дать.

— Нет, спасибо, я думаю, что лучше вникать в английский текст — мы ведь сдаём экзамен на английском, и вся наша последующая практика будет на английском.

— Кто это вам сказал? Я лично не собираюсь лечить американцев. Почти все наши русские врачи на Брайтоне лечат в своих офисах русских пациентов.

К нам подошли другие соученики. Любители проводить время в беседах и спорах, они горячо включились в обсуждение — на каком языке легче готовиться к экзамену. Большинство молодых считали, что это надо делать на английском, большинство немолодых — на русском. Молодые доказывали:

— Если готовиться по-русски, то на экзамене каждый вопрос надо прочитать на английском, перевести его мысленно на русский, вспомнить правильный ответ опять-таки на русском, потом найти в предложенном выборе соответствующий ответ на английском и перевести его обратно. Это же сумасшедшая работа! На экзамене не хватит на это времени: там на один вопрос даётся в среднем около 40 секунд.

Старшие возражали:

— Хорошо вам говорить — вы знаете английский. А что нам делать, если нам всё равно легче понимать на русском?

Один из докторов, московский хирург Игорь, скептически улыбаясь говорил:

— Всё равно всем придётся и читать и говорить по-английски. Я по себе знаю.

Он приехал раньше нас и нашёл работу в научной лаборатории, а по вечерам приходил готовиться к экзамену. Москвич с москвичом, мы сошлись с ним ближе. Игорь за два года освоил язык настолько, что без проблем читал и разговаривал.

— Мне помогло то, что я целыми днями работаю с американцами, — объяснял он.

По сути, основной вопрос нашей адаптации здесь и был — привыкание к языку. А для этого необходимо было погружаться в него как можно больше и не болтать по-русски в коридоре Каплановского центра, что любили делать все наши. Я попытался найти себе в Каплановском центре собеседников-американцев. Но сойтись с ними было трудно.

Мы называли американцами всех, кто разговаривал на английском. И вскоре я приобрёл двух приятелей среди них. Один — пятидесятилетний доктор из Уругвая Хаим. Он уже сдал первый экзамен и поступил в резидентуру (трейнинг по специальности) по восстановительному лечению, а теперь готовился ко второму экзамену — на лицензию для права лечения частных больных. Это высоко поднимало его в моих глазах. Хаим сам однажды заговорил со мной, рассказал, что его родители, литовские евреи из-под Витебска, молодыми бежали в двадцатые годы в Америку, но она их не приняла. Он родился и вырос в Уругвае, его первый язык был испанский, но английский он выучил ещё в детстве. Способный организатор, он стал министром здравоохранения в своей стране, состоятельным человеком. А потом женился на американке, и она уговорила его бросить карьеру и переехать в Нью-Йорк. Чем больше я к нему присматривался, тем больше его лицо казалось мне похожим на лица родных моего отца, которые тоже были из тех краев. Мы обсудили это и по каким-то деталям решили, что, наверное, принадлежим к дальним ветвям одного рода: евреи из Витебска в конце прошлого и начале этого века разбегались по всему миру. И мы стали в полушутку называть друг друга кузенами (в Америке даже и дальние братья — все кузены, только разной степени).

Другая моя новая знакомая была женщина за тридцать лет, с удивительно милой улыбкой — мягкой и приветливой. В первый раз она улыбнулась мне, когда мы столкнулись у входной стеклянной двери. И та улыбка запала мне в душу. Я потом искал её глазами и всегда видел на одном и том же месте. Она без труда слушала кассеты, прикрыв глаза ладонью с красивыми пальцами. Американка? Но для американки у неё была слишком мягкая манера поведения. И она всегда была изысканно одета, а американки все ходили в небрежно наброшенных лёгких спортивных нарядах. Я давно собирался заговорить с ней, но всё стеснялся своего плохого английского. А она каждый день улыбалась мне всё приветливей. Однажды я всё-таки подошёл и спросил:

— Извините, из какой вы страны?

— Из Италии. А вы — из России?

— Да, из Москвы. А вы?

— Из Венеции. Вы знаете Венецию?

— Кто же не знает Венецию!

И это положило начало дружбе. Она уже сдала первый экзамен и закончила резидентуру по психиатрии, а теперь готовилась для экзамена на право частной практики ФЛЕКС (Федеральный лицензионный экзамен). Был у неё муж-доктор и двое детей, звали её Виктория.

Теперь мы часто беседовали втроём, на английском, который ни для одного из нас не был родным языком: итальянка, уругваец и русский — все ставшие американцами. Как-то я сказал, что мне для занятий по генетике нужна была бы книга-атлас СИБА, большой и дорогой учебник, один экземпляр которого в центре всегда был занят.

С обычной своей улыбкой и с дружеской готовностью она сказала:

— Я вам принесу, у меня есть. Можете читать сколько вам нужно.

Мне это казалось королевским жестом — доверить такую прекрасную и дорогую книгу.

Учебники в Америке стоят дорого: цена такой книги могла быть около $100—150. Я принёс тот шикарно изданный тяжёлый том домой и стал по ночам медленно вчитываться в текст и всматриваться в прекрасные ил-

люстрации доктора-художника Фрэнка Нэттера, они во многом помогали мне понимать то, что я читал с трудом.

Медленное чтение занимало время, я стал вставать в 4 часа ночи (в Америке говорят — в 4 часа утра). Это давало мне 2—3 часа дополнительного времени занятий. Для всякого большого дела нужна самодисциплина, и вот я на долгие годы приучил себя просыпаться так рано, чтобы постепенно вникать в глубины знаний, которые пропустил по возрасту и времени.

Впервые в жизни я читал медицинский учебник с удовольствием. Трудно даже представить, какая большая разница была между американскими и советскими учебниками во всём: в глубине материала, в чёткости его изложения и в свободной и легко усвояемой манере его преподавания. Советские учебники все страдали перегруженностью марксистской идеологией, поверхностностью и скукотой изложения. И неудивительно: писать учебники там доверялось лишь тем, кто занимал высокие посты, а это были в основном коммунисты-карьеристы. Я терпеть не мог советские учебники, но с первой же страницы (как с первого взгляда!) мне понравились учебники американские. А та первая книга ещё помогла мне по-настоящему оценить значение медицинских иллюстраций: ничего нет лучше для усвоения трудно понимаемого материала, чем чёткие рисунки.

Тогда я ещё не представлял себе, что настанет день, когда будет издан мой учебник с моими иллюстрациями и коллеги станут называть меня вторым Фрэнком Нэттером, и книга моя тоже будет стоить $150...

Однажды Хаим принёс в центр журнал с моим интервью. Я ещё не знал, что оно опубликовано. Мы стояли в коридоре втроём, когда он достал его из портфеля:

— Поздравляю! Прекрасное интервью. Здесь так много написано интересного про тебя, и фотографии твои из России прекрасные. Ты у нас теперь знаменитость!

Я с волнением взял журнал в руки: на обложке была моя большая фотография и анонс текста. Не успел я ещё открыть страницы, как Виктория ловко выхватила его и убежала с ним на своё место — читать. Издали я видел, как её длинные волосы свесились над моим портретом. Читала она долго, потом подошла ко мне. У меня были надеты наушники, и она положила мне руку на плечо — нежное прикосновение! Я снял наушники, и она шепнула:

— А я и не знала, что вы такой интересный человек: и профессор, и писатель, и изобретатель. Вы действительно необыкновенный человек.

— Ну, что вы! Самый обыкновенный...

Но что может быть приятней и волновать больше, чем похвала красивой женщины!

Дома Ирина и Младший стали возбуждённо читать интервью, я просил их переводить мне некоторые непонятные слова и выражения. Они перебивали друг друга, восклицали, смеялись, удивлялись — реакция радости и семейного единения. Потом мы пошли к родителям, и там Ирина читала и переводила им. Мама смотрела на меня с обожанием, а отец, всё ещё слабый после болезни, рассматривал фотографии со слезами на глазах.

Как и предсказывал журналист, скоро после опубликования мне стали звонить и писать письма люди со всех концов страны. Обнаружился в Алабаме мой бывший студент, который уже обогнал меня — сдал экзамен и был в резидентуре. Нашёлся мой старый приятель и коллега Валентин, который уехал раньше. Он почему-то экзамен не сдавал, работал хирургическим ассистентом (технический помощник на операциях) в Техасе. Доктор из Лас-Вегаса приглашал приехать погостить у него. Доктор из Калифорнии хотел обсудить со мной вопросы лечения травмы у артистов балета. Женщина-доктор на пенсии из Манхэттена предлагала заниматься с ней разговорным английским.

Один телефонный звонок был особенно важным для меня: доктор Павел Лапидус из ортопедического госпиталя для заболеваний суставов (Hospital for Joint Diseases) в Гарлеме предлагал мне приехать для переговоров о возможной работе. Мы с Ириной взволновались: на этот раз не я просил о работе, а меня приглашали для переговоров. Я ничего не знал ни о докторе Лапидусе, ни о том госпитале. Расположение госпиталя в Гарлеме меня не настораживало — я бы пошёл работать к чёрту на кулички.

Лапидус прислал мне приглашение прийти гостем на научную конференцию. Госпиталь был старый, и мой доктор тоже был старик, за восемьдесят, но подвижный человек. В руках он держал несколько журналов с моим интервью. Я стал его благодарить:

— Спасибо вам за приглашение и внимание.

— А?.. Что вы сказали?..

Он почти ничего не слышал, поэтому я больше молчал, а он с удовольствием старого человека, словившего нового слушателя, говорил и говорил — громко, как почти все глухие. С первого момента он процитировал мне строки из «Онегина», очевидно, демонстрируя свою память. Я удивился, и он рассказал, что сам сбежал из России сразу после революции в октябре 1917 года. Был он тогда одним из первых военных лётчиков царской армии, в чине поручика. Чтобы скрыться от красных, он на своём самолёте перелетел в Румынию. После долгих странствований попал он в Америку и в 1920-е годы стал первым доктором-резидентом этого госпиталя, а потом руководителем отдела хирургии стопы.

— Меня в Америке называют «отцом хирургии стопы», — с гордостью говорил он, — меня все знают и уважают.

Он скупил и раздавал экземпляры журнала другим докторам:

— Я хочу сделать вас популярным среди коллег, вы этого заслуживаете. Вот увидите, кто-нибудь из них обязательно предложит вам работу. Меня здесь все ценят и уважают, если я попрошу — так и сделают.

— Спасибо, я очень надеюсь, — кричал я ему в ухо. А так как он всё равно мог не расслышать, я старался изобразить благодарность мимикой.

Лапидус привёл меня в кабинет директора департамента ортопедии доктора Робертса. На его столе тоже лежал журнал с интервью. Директор улыбался мне, но когда Лапидус сказал про работу, крикнул ему в ухо:

— Пусть он сдаст экзамен, тогда посмотрим.

Возможно, в качестве утешения он добавил мне:

— Приходите с женой на вечерний коктейль в отеле «Хилтон».

Мой покровитель повёл меня к бывшему директору доктору Милгарму и целый час водил от одного влиятельного доктора к другому. В госпитале шла суета научной сессии, съехалось много народа из разных стран, британский профессор Фриман сделал интересный доклад о своём новом методе, все были заняты обсуждением, своими докладами и встречами в кулуарах. Я это понимал и чувствовал себя как бы бедным родственником. Лапидуса встречали с уважением, он раздавал журналы, представлял меня и заговаривал о работе. На это все отвечали примерно так:

— Хэлло, добро пожаловать в Америку. Я читал ваше интервью — очень интересно. Ах, вы хотите найти работу? Позвоните на следующей неделе моему секретарю...

В очередной попытке Лапидус подвёл меня к немолодому доктору с седыми усами прусского типа — торчком вверх. По пути он сказал мне:

— Это доктор Розен, очень влиятельный и добрый человек. — И обратился к нему: — Это русский доктор, интервью которого было напечатано...

Неожиданно усы доктора Розена пришли в ещё большее возбуждение, а их хозяин — в шумный восторг:

— Это вы? Да, да, я читал. Очень интересно, очень интересно! Меня и мою жену глубоко интересуют судьбы еврейских беженцев. Ведь когда-то наши родители тоже бежали из России в Америку из-за антисемитизма. Скажите, неужели антисемитизм в России всё ещё не убывает?

— Ему нужно помочь устроиться на работу. Ты можешь это сделать? — кричал Лапидус

— Работу? — конечно! Что за вопрос? Вот вам моя карточка, позвоните и приходите на той неделе, мы поговорим обо всём. Мне очень хочется поговорить с вами.

— Ты ему помоги найти работу, — кричал Лапидус.

— Конечно же! Обязательно позвоните, мы поговорим обо всём.

Я даже не знал, что сказать — так был обрадован и благодарен им обоим!

Банкет в «Хилтоне» завершал тот насыщенный день. Для нас с Ириной приём в одном из самых шикарных отелей был большой новостью. Собралось несколько сотен

докторов, все одеты в смокинги, с жёнами в вечерних платьях. Коктейль-парти предшествовал обеду, все стояли и расхаживали по громадному залу, на столах по стенам были разложены изысканные закуски: сёмга, лососина, осетрина, чёрная и красная икра, разнообразные горячие закуски и красиво нарезанные овощи и фрукты. В нескольких местах бармены разливали напитки — кто что хотел и кто сколько хотел. Было довольно тесно и шумно: беседовали компаниями, перекидывались приветствиями, радовались встречам, ходили со скучающими лицами и все держали в руках бокалы и стаканы с напитками и тарелки с закусками. Такой вкусной еды мы не пробовали давно, но стеснялись и брали немного. По старой русской традиции я высматривал — есть ли пьяные? Не было ни одного.

Лапидуса не было видно, но я всё-таки подвёл Ирину к директору Робертсу — поблагодарить за приглашение. Он разговаривал с британцем Фриманом, а неподалёку стоял и Розен. Мне бросились в глаза шикарно накрахмаленные пышные рюшки на их манишках (сам я был в обычном пиджаке). Я указал на него Ирине:

— Это доктор Розен, к которому я пойду на переговоры о работе.

— Для еврея у него усы слишком прусские, — заметила Ирина.

Оба они были заняты и лишь вежливо нам улыбнулись. Но неожиданно нам встретился доктор-поляк, который помогал мне переводом у Селина четыре месяца назад. При виде него во мне всколыхнулись горькие воспоминания.

— Чем закончились ваши переговоры с ним тогда? — спросил он.

— Ничем. Он просто обманул меня.

— Жалко. Но на него это похоже. Скажу вам между нами: он такое дерьмо! — и как человек, и как специалист тоже. По моему мнению, как ортопед он вам в подметки не годится. Ему не нужен никто сильнее его. Когда вы стали показывать модели ваших искусственных суставов, я сразу понял, что он не захочет вас взять.

Я удивился:

— Какой же я ему конкурент, если у меня нет с ним равного положения?

Поляк понизил голос:

— Знаете, если хотите найти работу, лучше не упоминайте, что вы были большой профессор. Американцы этого не любят, они считают себя выше всех.

Острая на язык Ирина не удержалась, чтобы не вставить своё:

— Вот и я считаю, что американцы невежественные и заносчивые, а этот Селин — ещё и беззастенчивый обманщик.

Я с беспокойством оглянулся — вдруг услышит кто-нибудь, кто знает русский? А поляк вежливо улыбнулся, непонятно было — не соглашался или соглашался.

После коктейля гостей попросили перейти в другой зал с накрытыми для обеда столами. Но мы были приглашены только на коктейль, места за столами были все резервированы.

Мы с Ириной уехали домой и в тот же вечер переделали моё рабочее резюме (список должностей и званий), которое я заготовил для показа при приёме на работу. Мы сократили его наполовину, убрав оттуда мои учёные титулы, изобретения и число научных статей. Получилось вполне лысое резюме, без творческих выступов и научных локонов — ординарный доктор. Я отпечатал его на машинке, чтобы разослать докторам, с которыми меня познакомил добрый старик Лапидус.

На второй день конференции я опять отправился туда же и узнал, что этот госпиталь скоро должен переезжать в новый, специально построенный в центре города дом, и всех участников пригласили ехать на автобусах на стройку. Американцы называют центр города — даунтаун, нижний город. Дело в том, что длинный остров Манхэттен, где развивался первый большой город Америки Нью-Йорк, стоит на карте вертикально, и его административный и финансовый центры находятся в нижней части города. Ехать в даунтаун пригласили и меня, и я забился на заднее сиденье автобуса.

Стройка нового госпиталя подходила к концу, снаружи здание выглядело солидной шестнадцатиэтажной вертикальной башней: множество стекла, облицованного серым гранитом. Но внутренние работы ещё не были за-

вершены, лифта не было, и мы пешком поднимались на этажи. По дороге директор Робертс и строители рассказывали, где что будет расположено. На тринадцатом этаже будет госпитальное кафе для сотрудников, и нам приготовили там лёгкий ланч: кофе, сандвичи, печенье. Из окна сверху я видел узкую улицу внизу и спросил:

— Какая это улица?

Оказалось, что это была та самая 17-я улица, по которой мы с Ириной гуляли в наш самый первый день в Нью-Йорке. Я стоял у окна и думал: как интересно получается — значит, именно эту стройку я наблюдал тогда издали, не предполагая, что это будет госпиталь и я потом приду сюда...

Да, мы многое не можем предугадать в нашем будущем. Если бы я тогда же догадался подняться всего ещё на один пролёт лестницы, на 14-й этаж, то я увидел бы помещение, где будет мой кабинет, а перед ним комната моего секретаря...

И если бы я мог мысленным взором заглянуть в будущее, то через пятнадцать лет увидел бы себя в смокинге, сидящим на очередном банкете за одним столом с докторами Робертсом и Розеном, как равный с равными...

Ни о чём таком я не думал. Но я жил в твёрдой уверенности, что моя судьба — добиться успеха.

Моя тётка Люба передала нам с родителями приглашение Джака Чёрчина на бар митцва его внука. Бар митцва — это традиционное еврейское празднование дня рождения мальчика, когда ему исполняется тринадцать лет. По-старому считалось, что в этот день он становится взрослым, поэтому в синагоге ему дают читать вслух очередные молитвы дня из Торы — книги еврейских законов.

Люба объяснила, что после этого все семьи устраивают празднование, а уж Джак постарается устроить настоящий шикарный приём.

Об этой традиции мы знали понаслышке, никогда ни на одном таком семейном празднике не были. Джак считал нас своими родственниками, мы оба с ним были Любиными племянниками с двух сторон. Празднование должно было происходить в синагоге маленького городка Смиттаун, в пригороде Нью-Йорка. Заботливый Джак взялся нас туда привезти на машине, снял для нас комнаты в местной гостинице и обязался через день отвезти обратно. Конечно, мы были рады поехать, познакомиться со всей его семьёй, а заодно и поглазеть на невиданное зрелище.

Джак приехал за нами на новой машине «Форд-Кэмпер» — грузовик с элегантным кузовом, приспособленным для путешествий, как комната: стол, четыре постели, маленькая кухня с полками, холодильник и туалет с душем. Всё это мы видели в первый раз, и нам было интересно. Даже мой слабый отец оживился от новых впечатлений. Нас привезли в гостиницу с большими комнатами. Всё в них было устроено с удобным стандартом. Когда-то мой приятель с радиостанции «Свобода» Мусин рассказывал мне о стандартах американских гостиниц. Я нашёл их очень рациональными.

Семья Джака приехала знакомиться с нами: жена Дороти, три замужние дочери и женатый сын. Старшая дочь Синди, сорокалетняя толстая дама, была замужем за пуэрториканцем Ральфом Ромеро. Это их сыну исполнялось тринадцать и звали его Карлос Ромеро — странное имя для еврейского мальчишки. От Любы мы узнали, что в угоду богатой семье жены бедный зять принял иудейскую религию. Я подумал, что Берл в таком случае сказал бы: «А, ничего, это Америка».

На следующее утро нас повезли в синагогу — просторное здание модерного стиля с одной сплошной стеклянной стеной. Она была реформистская, мужчинам и женщинам разрешалось быть вместе, поэтому моя Ирина не очень ворчала на религиозные правила. Богатый и щедрый Джак жертовал на эту синагогу много денег и был почётным членом конгрегации. Поэтому весь праздник был оркестрован ему в угоду и по его желанию. На стоянку перед синагогой то и дело подъезжали шикарные машины: «Кадиллаки», «Линкольны», «Ягуары», «Мерседесы», даже «Роллс-Ройсы». Собралось сотни три хорошо одетых людей — всё больше состоятельные друзья и партнёры Джака — с семьями, включая детей. Мужчинам раздали шапочки-ермолки, женщинам раздавали цветы, настроение было праздничное.

После долгого ожидания наступила сама процедура: Карлос бойко читал на иврите текст Торы, его поздравля-

ли, родителей поздравляли, пуэрториканских его родственников (которые не понимали по-английски) поздравляли и, конечно, особенно поздравляли сияющего дедушку. Внушительного размера ребе произносил длинную речь, из которой мы узнали, что сам бар митцве бой (мальчик) хотел в будущем тоже стать ребе. Речь он закончил так:

«И если ты действительно станешь ребе, то ты будешь единственный в мире ребе с именем Карлос Ромеро».

Все громко засмеялись и обрадовались, что процедура закончена. В холле синагоги были накрыты длинные столы со множеством разнообразной прекрасной еды — кошерной и некошерной. Это был приём сразу после обряда, так сказать — закуска перед основным пиром. А вечером все были приглашены в смокингах и вечерних платьях в большой местный ресторан: там-то и была основная феерия праздника.

В ресторане гремел оркестр, повсюду были развешаны гирлянды цветов и трепетали разноцветные ленты, прибывающая толпа подогревалась коктейлями с закусками для предстоящего ликования. Когда наступило время, открыли широкие двери и все повалили в громадный зал с накрытыми столами. Каждый круглый стол на десять человек. Нас как родственников посадили неподалёку от главного стола, где будут сам бар митцве бой с родителями и дедушкой-бабушкой. Но пока их стол пустовал. И вот при торжественном объявлении по громкому микрофону и под звуки бравурной музыки, по-цирковому — по очереди и с интервалами, под аплодисменты и выкрики всего зала стали появляться: тёти и дяди именинника, бабушка-пуэрториканка с родными, сам дедушка Джак с женой, потом родители Карлоса и, наконец, под бой барабанов и завывание труб — он сам въехал в зал на подаренном мотороллере. Все взвыли в восторге. Разыграно это торжество было красиво и точно. Весь вечер гремел оркестр, все танцевали, и мы с Ириной. Она прекрасный танцор, а я — весьма средний, но мы всегда любили танцевать. А уже давно не приходилось.

Так мы получали массу удовольствия, подсмотрев, как веселится богатая Америка.

На разосланные мной лысые резюме ни один доктор, к которым меня подводил старик Лапидус, не ответил. Я

звонил секретарям, они обещали напомнить, но ничего не произошло. Оставалась одна надежда — на доктора Розена, который, казалось мне, явно сочувствовал моему положению. Но он часто бывал в отъезде, за границей. Наконец, в назначенное секретарём время я поехал к Розену в большой госпиталь Бэт Израэль, в даунтауне, для переговоров о работе. В портфеле у меня было то же резюме, но для Розена я всё-таки захватил с собой свои изобретения — искусственные суставы. В душе я рассчитывал на полное его понимание, на беседу профессора с профессором.

Из вестибюля снизу я позвонил в его офис, чтобы узнать, как его найти. Секретарша переговорила с ним и сказала, что доктор сейчас спустится ко мне. Я не ожидал этого и хотел было возразить, но она быстро повесила трубку.

Пока я ждал, то подумал, что, может быть, он хочет оказать мне честь, встретив меня внизу, чтобы сопроводить к себе. Я, бывало, сам так делал, когда ко мне приезжали высокие гости: иностранные коллеги-профессора, а один раз советский министр здравоохранения профессор Борис Петровский. Ну, что ж, коли так, то это давало мне даже больше надежды на серьёзный разговор с благоприятным исходом.

По вестибюлю проходила масса народа: больные, посетители, сотрудники, каждую минуту провозили кресла и каталки — в госпитале шла обычная рабочая суета. В этой толпе я старался не просмотреть доктора Розена. Наконец появились вдали его торчащие острые усы, и я обрадованно пошёл навстречу:

— Добрый день, спасибо, что вы пригласили меня.

— Как поживаете, о'кей?

— О'кей, конечно о'кей, — я уже привыкал к частому в Америке применению этого о'кея.

И я продолжал:

— Спасибо, что вы вышли встречать меня...

— Да, конечно. Давайте отойдём куда-нибудь в уголок, — мы отошли в сторону от течения толпы. — Теперь я вас слушаю.

Немного растерявшись от такой нерасполагающей к деловому разговору позиции, я стал говорить:

— Доктор Розен, я хотел бы...

В это время около него остановился какой-то доктор в халате и, не обращая на меня внимания, быстро и живо заговорил о каком-то больном. Розен ужасно обрадовался собеседнику, и они оживлённо рассуждали минут десять. Когда тот отошёл, Розен повернулся ко мне:

— Да, я вас слушаю.

— Доктор Розен, я хотел бы найти работу помощника...

Тут он увидал кого-то в толпе и замахал рукой, выкрикивая приветствие. Я прервался и ждал.

— Да, да, я вас слушаю.

— Я хотел бы, пока не сдал экзамен...

И снова к нему подошли, и он снова им обрадовался и быстро заговорил. Я отошёл на шаг, стоял в стороне и недоумевал: если заполненный толпой холл госпиталя неподходящее место для делового разговора, то почему он не позвал меня в кабинет или хотя бы не повёл в госпитальный кафетерий, который был тут же, рядом?

Всё-таки он вернулся ко мне:

— Да, так что вы сказали?

— Я хотел бы найти какую-нибудь работу, пока не сдам экзамен. Я принёс вам моё резюме...

Он с восторгом перебил меня:

— О, желаю вам успеха! Конечно! Ну да!.. Слушайте, может быть, мы как-нибудь отобедаем вместе, а? Я приглашу вас с женой к себе. О'кей?

Я растерянно сказал: «О'кей» — хотя никакого о'кея в таком странном разговоре не видел: ведь не за приглашением на обед я напросился.

Ещё несколько раз сказав свой «о'кей», он ушёл обратно в кабинет. А я растерянно смотрел ему вслед и с горечью думал: «Когда Селин не захотел мне помочь, это был один случай. Статистически один случай никогда не сто процентов. Но теперь у меня уже есть печальный опыт пяти или больше случаев. Это уже полные сто процентов. Почему? — я ведь прошу любую работу помощника. И наверняка где-нибудь такая работа есть. Но никто не хочет мне помочь. Если бы ко мне в Москве с такой же просьбой пришёл американский коллега-иммигрант (если бы нашёлся такой дурак!), я приложил бы все усилия, чтобы ему помочь. Даже если бы не удалось, я принял бы его с уважением и не стал бы дурачить посулами обеда. На кой мне чёрт его обед? Что это, так здесь принято — сулить приглашения на обед как возмещение за невнимание?..»

Но ответа на свои вопросы я не находил.

Ирина ужасно обозлилась на американцев за меня:

— Бездушные, самодовольные, тупые! В них нет никакой гуманности, никакой даже простейшей культуры поведения!..

И как раз когда она бушевала, нам позвонил доктор-хирург по фамилии Требуко. Он пригласил нас на воскресный день к себе домой и обещал заехать за нами утром. И вот перед нашим домом остановился большой «Кадиллак», и хозяин, моих лет, распахнул перед нами его дверцы. Пока мы ехали, он рассказал, что прочитал моё интервью и сразу вспомнил себя 25 лет назад. Он был итальянец, эмигрировавший из Неаполя и приехавший в Нью-Йорк без знания языка и без гроша в кармане. Рассказывал он с явным итальянским акцентом, приятно распевая слова. И как почти у каждого итальянца, у него был врождённый талант мгновенного дружеского расположения. Скоро нам стало так легко с ним, будто мы были давние приятели.

— Вы можете понять, как мне было тяжело и неуютно в этой стране после моей Италии, — говорил он. — Я уставал, я отчаивался, я проклинал себя, что приехал. А теперь я хочу вам показать, чего я здесь добился, — и по пути домой он завёз нас в свой частный офис в Квинсе (район Нью-Йорка). В офисе нас ждала его жена — полная и яркая итальянка типичного неаполитанского типа. Он представил:

— Моя жена и мой менеджер.

Она действительно работала как менеджер его офиса. Как она кинулась нас целовать!

— Мама мия, какие вы оба красивые! Как вы хорошо одеты! Сразу видно, что европейцы! Конечно же — русские тоже европейцы, вы так сразу отличаетесь от американцев, мама мия!..

Ничего такого на нас не было, но мы почувствовали себя окончательно в плену их расположения. А она принялась угощать нас каким-то особым кофе с особыми итальянскими конфетами и печеньем:

— Это такой вкусный кофе!.. Белиссимо!.. Американцы такого не пьют. Это — мм (с типичным итальянским жестом)! Нет, в Америке нигде такого не выпьете!.. Это — мм (с новым жестом)!..

Стол был сервирован в его просторном кабинете, украшенном картинами и резьбой по дереву. Запах кофе стоял одуряющий. Я болтал с ними, пил кофе и думал: а ведь кабинет доктора Розена я так и не увидел...

И они повели нас на экскурсию по офису. А показывать было что — целая небольшая и прекрасная клиника, каких я никогда не видел. Сразу от входа — зал для ожидающих пациентов, с удобной мебелью, коврами, лампионами и картинами по стенам, на журнальных столиках разложены американские и итальянские журналы и газеты, очевидно, и пациенты были итальянцы; за этим залом — комната для двух секретарей с новой, входившей тогда в обиход компьютерной установкой; далее шёл коридор — с левой стороны кабинет менеджера (она хотела пропустить: «Э! Есть на что любоваться», — с жестикуляцией, но он настоял) — небольшая комната с множеством семейных фотографий по стенам; потом кабинет-библиотека доктора, где был сервирован кофе; за ним операционная комната для амбулаторных процедур, оснащённая богатым оборудованием, какого не было в московских больницах; комната для послеоперационного наблюдения; рентгеновский кабинет с невиданной мною новой аппаратурой; а справа шли в ряд три комнаты для осмотра пациентов и помещение для лаборатории, медицинской сестры и рентгенотехника. Этот офис был настоящий медицинский чудо-дворец, я буквально онемел от восторга. А он похлопывал меня по плечу и говорил:

— Нравится, а? И у тебя будет такой же.

Она перебила, с жестикуляцией:

— Э!.. почему ты говоришь — такой же? У профессора будет лучше!

Я недоверчиво на них смотрел, а он смеялся:

— Не веришь? Я бы тоже не поверил, когда начинал. Сейчас ты видишь своё будущее.

Ирина уже работала до этого в богатом докторском офисе, но применительно к моему будущему она тоже смотрела на всё это, как на сказку.

После осмотра они повезли нас в свой громадный двухэтажный дом в богатом районе Лонг Айлэнд в пригороде Нью-Йорка. В нём было не меньше десяти комнат. Обед был в итальянском ресторане, они пригласили семьи двух соседей-евреев, потомков давних иммигрантов из России. Требуко объяснил, что хотел, чтобы мы чувствовали себя среди «своих», хотя те ни слова не говорили по-русски. За обедом я узнал, что один из них издаёт поздравительные и видовые открытки — миллионное производство, у другого был патент на новый тип застёжек на подтяжках, и он имел миллионное производство подтяжек: «король подтяжек» — так отрекомендовал его мой новый друг Требуко. И тут мне вспомнился старый советский фильм «Искатели счастья», в котором евреи из Америки иммигрируют в Биробиджан, чтобы там найти счастье (вот ведь как наизнанку вывернуто!). Один из них мечтал открыть в России фабрику подтяжек и с пафосом провозглашал себя: «Пиня — король подтяжек». Довелось-таки мне увидеть короля подтяжек не в кино, а в жизни. Обедать в окружении миллионеров нам пока ещё не приходилось. Другой из них весело спросил нас:

— Ну, как вам нравится в Америке?

— Никак не нравится, — резко и насупленно отрезала Ирина.

Чтобы смягчить её резкость, я вставил:

— Мы ведь знаем пока только Нью-Йорк, а все говорят, что Нью-Йорк — это не Америка.

Но почувствовав недовольство, он стал уговаривать меня ехать в Израиль:

— Поверьте, там вам не будет так трудно, вы сразу получите хорошую работу, сразу станете профессором университета. Я знаю много примеров, когда русские беженцы не могли устроиться здесь, а там стали процветать.

— Ну, не думаю, чтобы меня там ждали с распростёртыми объятиями.

— Поверьте, там для евреев больше возможностей, чем здесь, — настаивал он.

— Знаете, — сказал я ему, — я только что видел офис доктора Требуко, вашего соседа. Это дворец. А ведь он начал с нуля. И я тоже надеюсь добиться кое-чего здесь, в Америке.

— Да, конечно, верно, это Америка: рано или поздно здесь все достигают, чего сами стоят.

Мы засиделись за вкусным и обильным обедом, а потом нас всех пригласили на кофе к королю подтяжек. Было уже поздно, когда Требуко и другой сосед решили отвезти нас домой на его «Мерседесе». Перед отъездом тот добрый еврей стал незаметно совать мне в карман бумажку в двадцать долларов. Вот тебе на — неужели я так жалок, что он решил мне «подать»? Я стал вежливо отказываться, возникла неловкая сцена.

— Ну, хорошо, отдайте эти деньги вашему сыну.

Уже прощаясь у нашего дома, Требуко сказал:

— Владимир, ты тоже приобретёшь здесь всё. Но только — не потеряй одного: не утрать свою европейскую гуманность.

Это было очень уместное замечание в свете моих предыдущих контактов. Уже дома Ирина сказала:

— Да, американцам есть чему поучиться у европейцев. Хотела бы я, чтобы они видели, как по-человечески тепло принимал нас итальянец.

При общеизвестной гуманности нашей новой страны Америки так мало встретил я пока гуманности индивидуальной.

А доктор Требуко тоже пытался помочь и сам привёз меня к его знакомому ортопеду. Опять были обещания, и опять — нулевой результат. Я убеждался, что таким путём получить работу не смогу.

Но мне всё мерещился тот офис. И я думал: ведь Требуко тоже начинал здесь без поддержки. И как-то раз я сказал Ирине:

— Знаешь, по-моему, американцы не проявляют ко мне внимания не потому, что они не гуманны вообще. Нет, наверное, истина в другом: в этой стране быть иммигрантом — это самое обычное дело. Все они потомки иммигрантов и знают, что начинать жизнь сначала — тяжело. Однако все добивались своего. Просто это Америка.

В Нью-Йорке по всему городу разбросано много мусора, и больше всего это газеты. Они заполняют собой мусорные корзины на углах улиц, они валяются, их гонит вдоль улиц сильный океанский ветер, они лежат, уже

прочтённые и брошенные, на сиденьях и под сиденьями в вагонах метро, они — повсюду.

В Нью-Йорке выпускаются десятки газет на многих языках — английском, испанском, китайском, итальянском, французском, русском, иврите... Многие выходят двумя ежедневными изданиями — утренним и вечерним. Есть газеты большие и серьёзные — для интеллектуалов и профессионалов; есть газеты в полразмера с сенсационными новостями и иллюстрированные разного рода картинками; есть специальные газеты-сплетницы про знаменитостей; спортивные газеты и масса местных газет и тонких журналов по районам города.

Большинство людей покупают, просматривают и вскоре бросают или оставляют эти газеты на месте, где закончили читать, — в транспорте, в кафе и ресторанах, на бульварах и в скверах. Если представить, что не менее трёх-четырёх миллионов людей ежедневно просматривают по 40—50 страниц газет, то легко понять, откуда в Нью-Йорке берётся газетный мусор.

Русские газеты не были для нас источником новостей, мы смотрели новости по TV и слушали по радио. А многочисленные статьи на политические темы и обсуждения искусств в русской прессе нам не нравились своей мелкотравчатой тенденциозностью: иммигрантский русский журнализм страдал (и всё ещё страдает) необъективностью освещения материала и плохим его изложением.

Но прошло около шести месяцев нашей жизни здесь, прежде чем мы тоже стали интересоваться англоязычными газетами: что же, всё-таки, в них там пишется? Покупать газеты нам было не по карману, даже 25—50 центов их тогдашней стоимости были у нас на строгом бюджетном учёте каждого дня. Но Нью-Йорк научит всему. Довольно часто мы видели такую типичную уличную сцену: идёт вполне прилично одетый человек, типа мелкого или среднего служащего, и вдруг неожиданно ныряет головой в мусорную корзину, достаёт оттуда несмятую газету, кладёт её себе под мышку или в портфель, чтобы потом читать и где-нибудь опять бросить. Когда мы это увидели впервые, то глазам своим не поверили: москвичи так не делали. Но такая сценка подбирания газет повсюду — не только из корзин, но и с сидений на транспорте, со

столиков в кафе — стала повторяться перед нашими глазами, и мы поняли, что в Америке это вполне обычно. И никому до этого дела нет.

И я стал часто подбирать листы газет, которые кто-нибудь оставлял на столах или стульях в Каплановском центре. А Ирина приносила домой газеты, найденные в вагонах сабвея. И Младший подбирал их, где видел. Бывало, у нас к вечеру скапливались три одинаковые газеты — каждому своя. У меня ушло много месяцев, прежде чем я стал бегло скользить глазами по заголовкам и читать то, чем заинтересовался. Ирина и Младший освоились с газетами быстрей. Нам нравился стиль журнализма в газете «Нью-Йорк таймс» — серьёзный, глубокий и объективный.

И мы на всю оставшуюся жизнь стали ежедневно читать эту газету, уже не подбирая, а выписывая её для себя.

Однажды Младший нашёл в «Нью-Йорк таймс» объявление, что открывается новый медицинский институт на острове Доминика, в Карибском море, и желающие поступить приглашаются на интервью в город Бостон (давался телефон и адрес). Сначала он не придал значения этому объявлению, но оно повторялось изо дня в день, и он показал его нам:

— Вот, — сказал он, — поеду учиться в Доминику.

Мы с Ириной с удивлением уставились в газету: что это ещё такое?

— Где эта Доминика? — спросил я.

Все втроём мы стали выискивать на карте то благословенное место. Маленькая, едва заметная точка между островами Гваделупа и Мартиника не внушала доверия.

— Какой же медицинский институт поместится на таком островке? — засомневалась Ирина.

— Слушай, — сказал я сыну, — как бывший профессор медицинского института я знаю, что для обучения студентов он должен базироваться на госпиталях. Откуда же на этой, как ее — Доминике возьмётся достаточное количество больных с разными необходимыми для обучения болезнями? Да там просто нет места и людей для больших госпиталей.

— А мне наплевать, какие там госпитали. Раз об этом институте печатают объявление в солидной газете, значит, он там есть. Туда и американцы захотят поступить, а для нас, иммигрантов, это самый лучший шанс попасть. А мне что надо — чтобы меня туда приняли и чтобы я как можно скорей стал врачом. Вот и всё.

— Надо бы всё-таки хоть что-то узнать об этом институте.

— Вот поеду в Бостон на интервью — и узнаю.

Ирина поддержала его:

— Если туда приглашают американцев, значит, кто-то из них туда поступает. Почему бы и ему не попробовать?

Младший созвонился с Бостоном и рано утром уехал. Вернулся он в тот же день к вечеру, радостно ворвался и закричал с порога:

— Меня приняли! Меня приняли! Надо только срочно внести тысячу долларов, и с января я могу начать заниматься.

Мы с Ириной переглянулись, не зная — радоваться или нет? Что-то уж очень легко его приняли и всё слишком просто. А он сбивчиво и возбуждённо рассказывал:

— Этот институт — обыкновенное коммерческое предприятие, его финансирует один богатый мужик, который продаёт зерно в Советский Союз. Надо платить за учёбу пять тысяч долларов в семестр, а жизнь там дешёвая. Да, ещё авиационный билет туда стоит пятьсот долларов. Преподаватели все американцы, и первые два года надо учиться там. А на вторые два года (в американских медицинских институтах учатся четыре года, после трёх лет в колледже) надо самому находить какой-нибудь госпиталь в Америке с врачами-преподавателями и учиться у них. И ещё — самое главное: мне зачли один год учёбы, так что мне там учиться всего один год, а потом приеду обратно.

Всё звучало довольно просто, кроме одного: где взять столько денег? А он так же возбуждённо продолжал:

— Я понимаю, если у вас нет таких денег, можно будет взять заём в банке на долгий срок, под высокие проценты. Я потом сам смогу выплатить — ведь через три года я уже стану врачом. Но первую тысячу надо послать завтра же, обязательно. Иначе они наберут достаточно сту-

дентов и мне не останется места. Со мной там было много американцев, которые не попали в институты здесь.

Мы с Ириной не спали и обсуждали этот новый проект всю ночь. В конце концов, раз всё это делается официально и много американцев хотят там учиться, значит, этому можно доверять. Денег таких у нас не было, но и пропустить такую возможность для нашего сына мы не должны — ведь это его будущее. Поэтому одну тысячу мы внесём завтра и станем думать, где раздобыть остальные.

— А может быть, подождать вносить пока деньги? — шептала мне Ирина, чтобы он как-нибудь не услышал в своей комнате.

— Я тоже подождал бы и сначала узнал побольше про эту Доминику, — шептал я ей в ответ. — Но ты же знаешь, какой он нетерпеливый. Если мы завтра не внесём и место пропадёт, что будет тогда?

Прямо с утра Младший подгонял меня, чтобы идти в банк. Мы были там первыми, и я выписал мани-ордер (специальная форма чека) и послал его заказным письмом ускоренной доставки (дорогим для нас). Настроение у Младшего сразу стало прекрасное — жизнь повернулась к нему радостной неожиданностью.

Наш единственный постоянный американский авторитет моя тётка Люба сказала:

— В Америке большое значение придаётся престижности учебного заведения, в котором учился. А этот медицинский институт не только не престижный, но и вообще никому не известный. Если Младший хочет иметь здесь хорошую докторскую карьеру, ему лучше поступить в престижный американский институт.

— О каком престиже ты говоришь, Люба? — возражал я. — В нашем положении не до престижа, а как пробиться любыми путями. Что, например, толку, что я был профессор престижного московского института? Младшему главное стать американским доктором, неважно, какой институт он окончил.

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что Люба была права. Практика четверти века показала мне, что почти все доктора из России, не имеющие за плечами престижа образования, смогли обосноваться только для лечения русской иммигрантской массы, не вписались в

основную струю американской медицины. Нужны были особые счастливые обстоятельства, для того чтобы стать настоящим американским доктором. Но тогда ничего этого мы не учитывали и значения ничему не придавали.

Младший всё-таки пошёл к советнику по учебным делам в своём колледже. Советник выяснил, что институт в Доминике ещё не был включён в число институтов, которым доверяла Американская медицинская ассоциация. И он отговаривал Младшего от поступления. Но это не остановило его и даже не убедило нас:

— Подумаешь, какие дела — пока не включен, так потом будет включён, — думали все мы по неопытности.

И стали разведывать возможность получить Младшему ссуду в банке. Сунулись в один банк, в другой, в третий... но американские банки не любят рисковать, и ни один не давал ссуды для учёбы в непризнанном Америкой институте: как он сможет вернуть деньги, если нет уверенности, что он получит признаваемый здесь диплом?

А без ссуды мы не могли оплатить и один семестр, не то что весь курс учёбы. Мы объяснили сыну, что у нас просто нет столько денег, чтобы он не подумал, что мы не захотели ему дать. Поверил он или не поверил, но тяжело переживал неудачу.

— Эх, такая была шикарная возможность, — повторял он несколько дней. — А смогу ли я поступить в американский институт — это ещё вопрос. Может, на этом и закончить мечтать о медицине?..

Он опять помрачнел, редко выходил из своей комнаты, с нами разговаривал только на английском, заявил, что хочет избавиться от русского акцента. В нём происходили психологические перемены молодой души, впервые столкнувшейся с трудностями жизни. Мы с Ириной страдали и за него и из-за него тоже. Эх вы, дети, дети, сколько от вас радостей и сколько за вас переживаний!..

Мы даже не смогли получить обратно ту тысячу долларов, которую отослали. После длительных переговоров нам вернули лишь половину.

— Я говорила, что не надо было вносить деньги, не разузнав всего прежде! — попрекала меня Ирина. Но ведь я дал слово, что ничего не пожалею для его учёбы. Если бы тогда я не послал тот вступительный взнос, он обвинял бы в своём неуспехе нас.

Несколько лет спустя в газетах печаталась серия статей о тёмных махинациях в медицинском институте на острове Доминика, о том, что он стал простым коммерческим предприятием по продаже дипломов, что там учились подставные лица. У его «выпускников» отбирали дипломы, и они старались вернуть их судом. Может быть, судьба Младшего хранила его для чего-то лучшего?

Добрый старик доктор Лапидус был расстроен неудачей своих попыток помочь мне. И вскоре я получил от него ещё одно приглашение: прийти на заседание Научного общества ортопедических хирургов в Нью-Йоркскую академию медицины. Он, возможно, надеялся, что приобщение к цеху специалистов может дать мне ещё шанс заинтересовать собой кого-нибудь из них.

Хоть я и отчаялся в своих попытках, но это приглашение было мне интересно: как проводятся такие заседания в Америке? Что на них обсуждают? Всю мою рабочую жизнь я регулярно, раз в месяц, ходил на заседания Общества московских ортопедов, участвовал в научных полемиках, делал доклады, а потом даже был членом правления общества. Наши заседания проводились по вечерам, в конце недели; специального помещения у нас не было, мы собирались где-нибудь в больницах, где были аудитории (не во всех они были). Усталые врачи съезжались из своих поликлиник, травмпунктов и больниц после приёмов больных и операций. Половина русских ортопедов-травматологов были женщины — «врачихи», как их называли: хозяйки, матери, жёны. Им невероятно трудно было сочетать напряжённую работу с ведением нелёгкого домашнего хозяйства, они часто говорили: «Когда я на работе, я постоянно думаю о доме, а когда я дома, я постоянно думаю о работе». Но заседания общества вменялись в обязанность, а заканчивались они поздно, и купить домой продукты в те дни они не могли. И вот между работой и заседанием они кидались торопливо обежать несколько продуктовых магазинов, потолкаться в очередях, потом с сумками в руках трястись в тесных вагонах метро и трамваев. Являлись они, как правило, с опозданием, взмыленные, волоча в обеих руках сумки-авоськи. А опаздывать было нехорошо: председатель научного общества, кто-либо из солидных профессоров, мог сделать замечание. Я как сейчас вижу усталые лица тех врачих: взъерошенные и со смущенными глазами, они виновато пробирались на свободное место, под осуждающим взглядом председателя. Там они плюхались на стул или скамейку и, наконец-то, переводили дыхание. Кто и о чём выступал — это им в тот момент было безразлично, им хотелось только одного — передохнуть. Заседания общества были лишней нагрузкой в их нелёгкой жизни.

Я не хочу умалять достоинств русских женщин-врачей. Не они сами, а условия жизни делали их так несчастно выглядящими. Работали они не хуже, а подчас и лучше мужчин. И уж не меньше них. Кое-кто из них тоже выступал на заседаниях с хорошими докладами. А некоторые выбивались в доценты и профессора. Но всё равно была в России поговорка: «Женщина-врач — это не женщина, и не врач».

Мужчины на заседания нашего общества ортопедов-травматологов приходили расслабленно и заранее, чтобы встретиться и поболтать с приятелями; сумки с продуктами они не приносили, а стояли до начала заседания в коридоре и покуривали, обсуждая дела рабочие и футбольные игры. Про них и их жизнь дискриминационных русских поговорок не было.

Вот с этими воспоминаниями из прошлого и с ожиданием увидеть, как это всё происходит в Америке, я и отправился в Нью-Йоркскую академию. Я попросил Ирину пойти со мной для помощи в переводе, на случай если чего-то не пойму в докладах или в возможных разговорах.

Академия медицины занимает большое старинное здание на северном конце шикарной Пятой авеню. В дверях стоял ливрейный швейцар и распахивал массивные двери. В них то и дело входили мужчины — ортопедические хирурги. Ни одной женщины не было. Мужчины чем-то были между собой схожи: высокие, в основном, моложаво выглядящие, хорошо одетые — как на подбор. Я даже невольно залюбовался (не знаю, как Ирина).

На первом этаже был буфет, где многие останавливались выпить один-два стаканчика виски со льдом, или пиво, или просто сок, или «Кока-колу». На втором этаже ресторан с накрытыми столами: там до начала заседания для докторов был сервирован обед, суетились официан-

ты в белых смокингах. Наших имён в списке приглашённых не было, а платить по $30 за обед мы не хотели. Вместо этого мы поднялись на лифте на четвёртый этаж — в шикарную старинного стиля библиотеку с высокими книжными шкафами дубового дерева и с расписанными стенами. В двух читальных залах были удобные кресла и широкие столы с подсветкой. Там можно было получить любую медицинскую книгу и журнал со всего мира, включая Россию. Залы заседаний были на третьем этаже.

Когда мы туда вошли, первым делом бросилось в глаза, что наверху по передней стене зала было световое табло, по которому бежали сигналы с цифрами. Удивившись, мы спросили у соседей, — что это такое? Они переглянулись и усмехнулись:

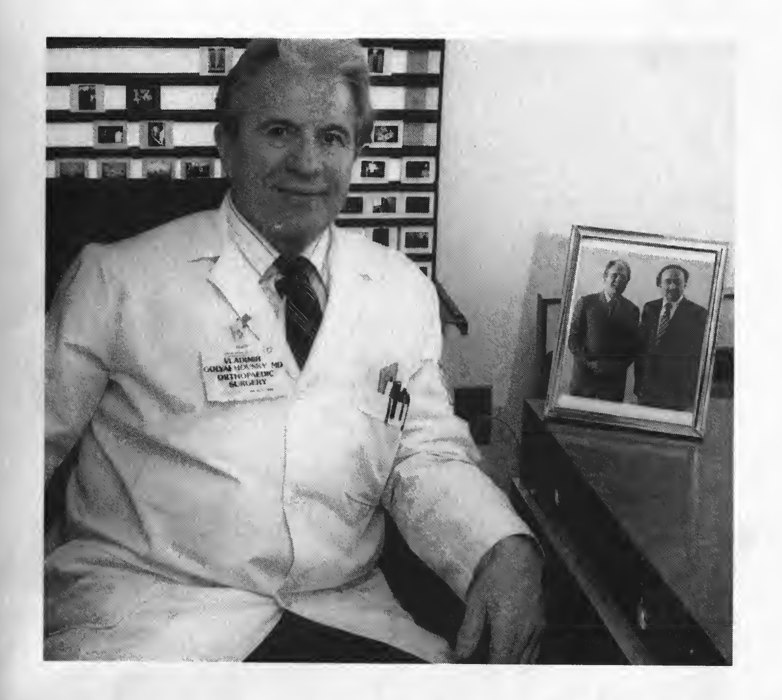
— Вы не знаете? Это же данные состояния акций на бирже.

Ага, вот оно что: богатые ортопеды получают сведения о своих финансовых вложениях прямо во время научного заседания. Что ж, очевидно, для них это не менее важно, чем темы дискуссий.

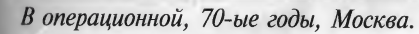
Пока зал заполнялся, я всё оглядывался по сторонам: набралось человек триста, а женщин было две-три, молодых и моложавых, изящно одетых, хорошо причёсанных. Сумок с продуктами в руках они не держали.

Я вслушивался в чётко представленные и богато иллюстрированные яркими слайдами доклады, в живую дискуссию. Понимал я далеко не всё, Ирина кое-что дошёптывала, и слайды помогали мне ориентироваться, о чём шла дискуссия. Дебатировались различные методы полного замещения поражённых артритом коленных суставов искусственными протезами. Материал докладов был большой — сотни операций у каждого из трёх докладчиков. Мне было очень интересно: операции эти я не видел — их в России ещё не делали ни одной.

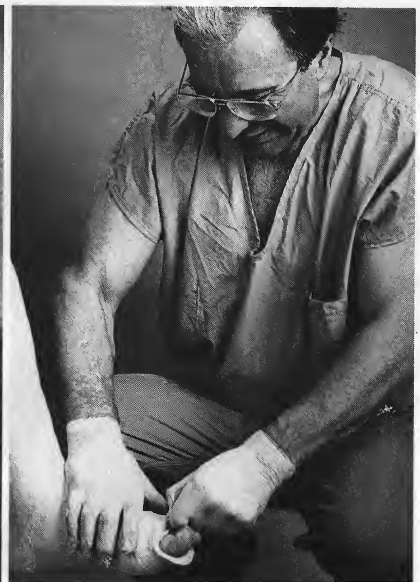
После заседания я заметил в толпе доктора Розена, узнав его по торчащим прусским усам. Он на меня не смотрел, и я к нему подходить не захотел. Расходились мы уже в темноте, и шли с Ириной к автобусной остановке по Пятой авеню. Было прохладно, но я шёл в пиджаке нараспашку — я был возбуждён всем виденным: до чего же это всё было непохоже на то, что я знал в прошлой







В операционной, 70-ые годы, Москва.



В Нью-Йорке в 1980 году я с трудом получил работу гипсового техника.



Владимиру Голяховскому с самыми теплыми чувствами. Майя Плисецкая

Моя пациентка и друг Майя Плисецкая, 1970.



Мы с Ириной вскоре после приезда в Нью-Йорк, 1978. Я держу свои изобретения — искусственные суставы, а Ирина — мои книги стихов для детей.



Группа резидентов-хирургов — все из разных стран. Я — в первом ряду слева — единственный из России. Рядом со мной директор резидентуры доктор Роберт Лернер — единственный американец, 1983.

жизни! Но я был здесь чужой и ненужный. Помолчав, я патетически сказал Ирине:

— Вот увидишь — я когда-нибудь буду делать доклад в этой академии. Я тебе обещаю.

Она даже рассмеялась:

— До чего же ты неисправимый оптимист!

Прошло десять лет — и я делал доклад на заседании Общества ортопедических хирургов академии. Ирина была со мной.

Чем больше я занимался «на Каплане», как говорила наша группа русских докторов, тем больше мой мозг запутывался в густой сети новой информации.

Учёба продвигалась медленно и туго, я преодолевал три преграды: незнание языка, непонимание научного предмета лекций и тугую сопротивляемость немолодой, загруженной долгой жизнью памяти. Уже давно я был специалистом в своей области, а специалист — это тот, кто узнаёт всё больше и больше во всё меньшем и меньшем. И трудно было снова адаптировать себя к широкому объёму студенческих знаний, так же трудно, как снова становиться рядовым солдатом, побыв в генералах. Заработанный профессорский авторитет мог поднимать меня над общим уровнем, но он и оторвал от него. Я видел, как в освоении материала меня обгоняли мои младшие коллеги — рядовые доктора. Им было легче: они сохранили свежесть знаний и их мозг не был загружен углублением в узкую специальность. И, конечно, моё самолюбие страдало. Я пытался разработать для себя какую-нибудь рациональную систему запоминания. Ведь все говорили, что секрет успеха на экзамене заключался именно в способности запомнить вопрос и правильный ответ, раздумывать там было некогда: или знаешь ответ, или отвечаешь наугад и переходишь к следующему.

Моя система была в том, что, прослушав лекцию (с переводом слов это занимало два-три часа), я сначала отвечал на вопросы сам, без разъяснений лектора. Получалось, что «попадал» я лишь в одну треть правильных ответов. Это было немногим более выбора наугад. Тогда я прослушивал объяснения и запоминал правильные ответы. Через час-два я возвращался к ним и попадал в три

четверти ответов — неплохо. На следующее утро, перед новой лекцией, я первым делом возвращался к тем же вопросам и — попадал в половину. Через два дня уже не было и того. Тогда я снова слушал те же объяснения и повторял свою систему. Но через две-три недели чуть ли не всё выветривалось из памяти. А полный курс был — около пятисот лекций. Я надеялся, что количество моих занятий перейдёт в качество запоминания, но пока буксовал на месте.

Несколько более подкованных докторов — кардиологов и терапевтов, которые закончили институты недавно и имели лучшую подготовку по физиологии, биохимии и фармакологии, нередко затевали в коридоре учёные споры о том, что в лекциях многое объяснялось неправильно. У меня не было знаний и мнения, а итальянка Виктория говорила, со своей улыбкой:

— У ваших русских слишком много гонора. И вообще они слишком много говорят.

Мои отношения с ней принимали некоторый игривый характер. Практикуясь в разговорном английском, я часто ел ланч вместе с ней. Она покупала еду в кафетерии напротив, а я угощал её сандвичем своей конструкции и изготовления: несколько слоёв бекона с листьями салата между двумя большими кусками хлеба. Это был самый дешёвый вариант, но ей очень нравилось. Она хвалила мои кулинарные способности, и мы оба часто смеялись. Когда я неправильно повторял за ней английские слова, мы опять смеялись. Я чувствовал себя молодым и смешливым. А смех, говорят, до добра не доводит...

Однажды вечером на Каплане появилась старая знакомая — доктор Тася, «кисанька-лапушка», которая интригами выжила Ирину с работы и заняла её место. Она тоже пришла готовиться к экзамену. Увидев меня, Тася обрадованно подбежала:

— Как хорошо, что вы здесь! Вы сможете помогать мне. Я такая дура, такая дура!..

У меня к ней было неприятное чувство, и я постарался принять нейтрально-прохладное выражение.

Тася стала приходить каждый вечер после работы, обычно усаживалась на скамейке в коридоре, собирала

вокруг себя других наших докториц, звала их «кисанька-ми-лапушками», курила и болтала часами. Ненадолго она уходила заниматься в зал, но скоро возвращалась в коридор и со вздохом заявляла другим:

— Ой, я чувствую, что не сдам, ну точно не сдам!.. ничего не знаю, я такая дура!..

Об Ирине она никогда меня не спрашивала, а я тоже не упоминал о Тасе.

Несколько раз мне приходилось видеть её неподалёку от нашего дома вместе с мистером Лупшицем. Они так дружно болтали друг с другом, что нетрудно было догадаться: жулик нашёл жулика. Я здоровался прохладно, а то и заранее переходил на другую сторону улицы. Однажды всё-таки я столкнулся с Лупшицем лицом к лицу у выхода из синагоги:

— Эй, доктор, как поживаете? Что-то я давненько вас не видел.

— Целыми днями сижу и готовлюсь к экзамену на курсах.

— А, это Стэнли Каплана?

— Откуда вы знаете?

— Мне наша общая знакомая говорила, что видит вас там.

— Тася?

— Да, чудесная женщина, очень, очень умная.

И тут же спросил:

— Вы думаете — сдадите экзамен?

— Не уверен. Во всяком случае, не с первого раза.

Я рассказал в нескольких словах мои проблемы. Он, очевидно, мало интересовался вопросами приобретения знаний, поэтом вдруг спросил:

— Послушайте, может, вы всё-таки продадите мне те часы с брильянтами, или что-то ещё, если у вас есть?

— Я же вам говорил — больше ничего нет.

— А, ну-ну... а я бы дал настоящую цену, больше чем тогда.

— Но у меня действительно ничего нет.

— А, ну-ну... послушайте, я хочу вам что-то сказать, — он понизил голос. — Зачем вам вообще сдавать этот экзамен?

— Как — зачем? — чтобы снова работать доктором.

— Но вы сказали, что не уверены, что сдадите.

— С первого раза? — почти уверен, что не сдам.

— Вот видите... Послушайте, а вы действительно хотите его сдать?

— Что за вопрос? Конечно, хочу.

— Я могу так сделать, что вы наверняка сдадите.

Разговор принимал неожиданный оборот. Я даже рассмеялся:

— Вы пойдёте сдавать за меня? Каким образом вы можете сотворить такое?

— Это моё дело. Вы, конечно, сами будете сдавать, и всё будет совсем-совсем официально. Так официально, что ни одна живая душа об этом никогда не узнает. Вы только заплатите десять тысяч долларов, и получите готовую бумагу. Хотите так?

Я опешил. Были разговоры, что в Бруклине шла купля-продажа разных справок об образовании и даже дипломов из России, но я не слышал, чтобы продавался и американский экзамен. А он, оглядываясь, продолжал:

— Послушайте, никакого риска, никто не вовлечён и никто не узнает, никаких настоящих имён, ни-ни, кроме вашего. И вам даже не надо платить все деньги вперёд, можно в два приёма. Я объясню: мы с вами вдвоём идём в банк, и вы кладёте пять тысяч на нейтральное имя. Не на моё, и не на чьё-нибудь, а на нейтральное. Они будут там лежать, и никто о них не будет знать. Когда подойдёт день экзамена, вы его будете сдавать, как все, и делать всё, как полагается. Постарайтесь не делать вид, что вам легко — сдавайте, как все русские. Но результат вас пусть не волнует: вы сдадите во всех случаях, чего бы вы там ни написали. А? — подумаешь, кому это нужно, чего вы там напишите! Я гарантирую. А когда придёт положительный ответ, мы с Вами вдвоём опять пойдём в банк, и даже не вместе. Вы там докладываете ещё пять тысяч на тот же счёт. А я буду стоять в стороне. Я вообще в стороне. То нейтральное лицо снимет деньги со счёта. А вы себе можете поступать на работу. Ну как — нравится?

Меня бросало в жар и в холод при одной мысли, что можно так торговать экзаменом.

Говорил он серьёзно, и я подозревал — кто это «нейтральное лицо». А он продолжал:

— Послушайте, если у вас нет десяти тысяч, то можно сделать по-другому: нейтральное лицо снимает со счёта первые пять, а остальные пять вы выплатите в рассрочку за полгода, когда уже начнёте работать. Можно и так.

Совсем хорошо! — платить дьяволу в рассрочку. Он смотрел на меня снизу вверх, а я думал: что мне сказать этому пожилому человеку? прочитать ему лекцию об общей морали? о врачебной морали? об уголовной ответственности? о моей собственной морали, наконец? Известно, что все жулики думают о других, что и они жулики тоже. Почему он подходил ко мне с этой меркой? Думал ли он, что раз я попал в тяжёлое положение, то пойду на всё, чтобы из него выбраться? Но что было толку объяснять ему, что, будь у меня хоть миллион, я никогда не пошёл бы на такую дьявольскую сделку с душой. Это то же, что и убийство, только — убийство своей собственной души.

— Извините, у меня нет денег, — я повернулся, чтобы уходить. Он поймал меня за рукав:

— Послушайте, последнее слово, — зашипел мне в ухо, — не надо даже никаких денег. Вы мне покажите, какие у вас есть драгоценности, и мы договоримся. Я вам говорю — это дело верное. Я знаю людей, которые это могут. Подумайте, а?..

Мне чуть ли не жалко его стало — так ему хотелось вырвать из меня хоть что-нибудь.

— У меня нет денег и нет драгоценностей.

Я был настолько в шоке от этой беседы, что решил больше не разговаривать с ним вообще.

Когда я рассказал это Ирине, она злобно ответила:

— Я тебе говорю, что здесь все жулики. Я это давно поняла.

За наши годы в Америке были случаи, когда результат экзамена отменялся, потому что выявлялись какие-то неблаговидные сведения. Но я до сих пор не знаю, был ли у кого опыт покупки американского врачебного экзамена таким способом. Впрочем, подозрения у меня были.

Ирина ужасно тяготилась своими бухгалтерско-секретарскими курсами. Но восемьдесят долларов в неделю, которые ей там платили, поддерживали наше убогое существование. Однако она не могла пересилить себя и отказалась изучать бухгалтерию, тогда её стипендию сокра-

тили до сорока долларов. Она отчаянно стремилась найти работу.

Мы каждый день приносили домой подобранные где-нибудь газеты, и она до деталей вычитывала объявления о работе. Как назло, больше всего требовался бухгалтерско-секретарский контингент. Ирина становилась всё раздражительней. Я по-прежнему считал, что надо пытаться искать работу в научных лабораториях. А она кричала со слезами на глазах:

— Забудь об этом! Здесь нет, нет, нет такой работы для меня.

В душе я в это не верил: в Америке должна быть любая работа, только надо уметь искать. Ничего ей не говоря, я решил сам провести поиск. По контактам с иммигрантами я знал, что вся русская колония держалась на том, что люди помогали друг другу советами и устройством. Большинство селились в Брайтон-Бич, в Бруклине или в Квинсе, тесно друг к другу, и выживали потому, что все были в цепкой связке. Правда, в основном это были парикмахеры, продавцы, маникюрши, мелкие ремесленники и хозяйственники. Профессионалам устраиваться по специальности было трудней. Поэтому доктора, инженеры и научные работники часто зарабатывали вождением такси или другим далёким от их профессии трудом.

Мой соученик по Каплановскому центру, московский хирург Игорь, был редким исключением: он и его жена оба работали в научных лабораториях. Я рассказал ему об Ирининой ситуации, и он пригласил нас домой, заехав за нами на своей машине. Они с женой Ритой приехали на три года раньше нас, жили в хорошем районе, в хорошо обставленной квартире, и вообще — видна была их вполне благополучная жизнь. И это давала им их работа лаборантами.

Угощая нас обедом, они рассказывали:

— В больших научных центрах постоянно возникает необходимость в работниках такого профиля, как Ирина. Например, почему бы вам не поехать в отдел кадров Медицинского центра Колумбийского университета. Расскажите там о своём опыте, объясните им своё положение, а главное — оставьте им в файле заявление и своё резюме, в котором напишите, где раньше работали и что делали. Пройдёт немного времени, и они вас сами позовут, когда откроется соответствующая позиция.

Совет был поразительно прост, но самим нам это в голову не приходило. Вот и получалось, что иммигрантам важно обмениваться опытом с иммигрантами.

Ирина так и сделала, как советовали Игорь с Ритой: поехала в Медицинский центр Колумбийского университета — громадный пресвитерианский госпиталь, занимавший несколько кварталов. Это не просто больница, а целый медицинский городок из нескольких научных институтов. Ирина оставила в отделе кадров свои бумаги. Ей сказали, что позвонят и пригласят на интервью (обязательная форма разговора при принятии на любую работу в Америке), как только освободится место, подходящее по профилю её специальности — иммунологии. Сколько надо ждать — было непредвидимо. Поэтому она продолжала изучать газетные объявления.

И однажды обнаружила: «Институту аэронавтики и астронавтики требуется сотрудник со свободным знанием русского, немецкого и французского языков, с опытом научной работы, знакомый со специальной астрономической терминологией и способный выдержать экзамен по...» — шёл длинный перечень совершенно незнакомых ей предметов. Что бросалось в глаза — это русский язык. Она знала ещё и немецкий, а французский очень мало. Об остальном в списке она понятия не имела. Очевидно, им нужен был Леонардо да Винчи, потому что кто же другой мог соответствовать таким требованиям.

Ирина колебалась, а я пошутил:

— Вот, не захотела стать бухгалтером, сделают из тебя космонавтку.

Только от полного отчаяния нашего положения бедная моя Ирина пошла сдавать экзамен, преодолевая страх и волнение. В шикарном небоскрёбе на богатой улице Парк авеню ей дали три абсолютно непонятных буклета с техническими терминами на разных языках. А она не понимала их даже на русском. В бессилии Ирина закрыла было буклеты, чтобы отказаться от этой идеи. Но суровая необходимость пересилила. Она сказала себе: мне для моей семьи нужна эта работа! И — сдала экзамен.

Новоявленному эквиваленту Леонардо тут же предложили работу с оплатой $10 000 в год и какими-то бенефитами (приложение к зарплате — медицинская страховка для всей семьи, оплаченный отпуск и тому подобное). Когда директор объяснял ей это, Ирина думала лишь одно: «Господи, да только бы взяли!..» К работе она должна была приступить 1 января 1979 года.

И как раз тогда же судьба улыбнулась мне тоже: я нашёл литературного агента. Это была румынская иммигрантка, около пятидесяти лет, которая уже давно занималась связью авторов с издательствами. Всё было хорошо, кроме одного: она не знала русский язык, а у меня было очень мало переводов моего вашингтонского переводчика Майка (Михаила) Сильвестра. Поэтому ей читал и переводил с русского на английский её любовник, пожилой алкоголик, бывший русский офицер. Литературные достоинства его устного перевода были сомнительны — английский его тоже был не очень хорош. Отдельные истории из написанных мной ей понравились.

— Ну, хорошо, — говорила она, — а что же будет связывать между собой все эти медицинские истории?

— Они будут связаны историей моей жизни, я напишу историю русского доктора.

К этому она относилась с недоверием. Я срочно стал дописывать — заполнять пробелы, чтобы получался связный рассказ. Она отдала рукопись на прочтение русскоязычному рецензенту крупного американского издательства. Теперь будущее моей книги зависело от его рецензии.

Пока я сидел дома и интенсивно писал, я не появлялся на Каплане. Однажды раздался телефонный звонок. Голос итальянки Виктории:

— Владимир, куда ты делся? Я скучаю без тебя.

Неожиданность этого звонка всколыхнула мне душу, и я потом долго вспоминал её голос и улыбку. У меня не было и мысли искать в ней больше, чем подругу по занятиям, но я разволновался.

В другой раз, когда раздался звонок, я уже ждал его. Но вместо этого услышал:

— Это говорят из отдела кадров Медицинского центра Колумбийского госпиталя. Ваша жена приглашается на интервью для получения работы в научной лаборатории.

Я еле дождался, когда со своих курсов придёт Ирина:

— Хочешь новость?

— Что-нибудь случилось?

— Случилось: тебя приглашают на интервью в научную лабораторию.

— Правда? — Ирина засияла от восторга.

И на следующее утро она помчалась туда, а я остался ждать её возвращения — уж очень было важно и интересно узнать результат.

Снова позвонила Виктория:

— Владимир, когда же ты придёшь? Я скучаю без тебя.

Я был полон нерешительности: с одной стороны — сопереживание Ирине в такой важный для нас момент, с другой — путь, ведущий в сторону от неё. Но не показывать же мужчине его смятение перед женщиной, которая ему нравится.

Ирина ворвалась в дверь счастливым вихрем:

— Меня взяли, меня взяли! Я теперь научный работник Колумбийского университета! Я буду работать в иммунологической лаборатории глазного института. Это же — мечта! Это моя настоящая специальность, то, чем я занималась пятнадцать лет. К чёрту аэронавтику с астронавтикой!

— Ну вот, видишь, а ты не верила в возможность научной работы.

Такой счастливой я мою Ирину уже и не помнил. С возбуждением она стала рассказывать подробности беседы с глазным хирургом — будущим шефом: что он её расспрашивал, как она отвечала, что он ей объяснял... Она только постеснялась спросить — сколько ей будут платить. И это её огорчало.

— Главное, чтобы тебе нравилась работа, — говорил я, обнимая её.

И одновременно мне звучал другой голос: «я скучаю без тебя»...

Ирина была полностью поглощена новой работой и, казалось, на замечала во мне никаких перемен. А может быть, их пока и не было. Получив научную должность с

годовой зарплатой в одиннадцать тысяч семьсот долларов (что теперь равно $24 000), она больше всего боялась её потерять. Её страхи не прекратились, а только получили новое направление: она боялась, что кончится грант на её тему, боялась, что её работа не понравится шефу, боялась ездить на сабвее утром туда, а вечером — обратно... Но она по-прежнему не верила в рациональность моих литературных усилий, ворчала и злилась, что я напрасно теряю время на писание и на переговоры с агентом. Преодолеть её негативное настроение было невозможно, у меня не было никакой козырной карты хоть маленького успеха, и настроения у нас были совершенно разные.

А тут пришла рецензия русскоязычного рецензента, которую я так ждал. Она была разгромная, написанная брюзгливым тоном и в желчных выражениях: «Голяховский не Чехов и не Вересаев». Но я никоим образом и не претендовал на сравнение с ними. И книга моя — не художественная. Я был обескуражен не столько самой критикой, сколько злобным тоном. Очевидно, моя агент-румынка и её русский друг тоже считали, что он перегнул:

— Все русскоязычные рецензенты в издательствах — это старые иммигранты, ужасные патриоты России. Они не любят, когда Россию критикуют, даже и советскую.

Румынка говорила:

— Я найду переводчика, чтобы перевести страниц пятьдесят на английский. И мы снова отдадим рукопись в издательство, но уже американскому рецензенту.

— Но у меня нет столько денег, чтобы заплатить за перевод.

— Я пойду на риск и заплачу свои деньги, — отвечала она.

Однако она этого не сделала. Чтобы спасти положение, я нашёл профессионального переводчика из наших беженцев, за $80 он перевёл мне десять страниц краткого изложения идеи и плана книги — литературного предложения. Деньги эти я взял от моих выступлений на радио «Свобода».

Ирина была против, ворчала на меня, и у нас продолжались частые стычки. Сын проводил дни в колледже, а дома сычом сидел в своей комнате, запирал дверь, требовал, чтоб его не беспокоили, и практически с нами не разговаривал. Обстановка была накалённая настолько, что мне больно бывало возвращаться с занятий домой.

А на Каплане Виктория спрашивала глубоким и мягким голосом:

— Владимир, когда же твоя книга будет лежать на витринах книжных магазинов и ты будешь подписывать экземпляры для читателей-поклонников? Я буду первая в очереди.

Обескураживающая наивность её вопроса и нежный взгляд были противоположны тому, что выражали мне дома Иринины тон и взгляд. Одна женщина считала мою затею бесперспективной бессмыслицей, а другая уже ждала моего успеха. И защищая своё авторское и мужское самолюбие, я всё дальше отходил душой от Ирины и всё больше стремился душой к Виктории. Раньше у меня были сомнения: нужна ли мне эта связь? Теперь я всё больше мечтал о ней.

Подходил день золотой свадьбы моих родителей — 21 февраля 1979 года. Оставалось немногим более двух недель до юбилея. По всему было видно, что отец угасал. В свои 78 лет он тяжело переносил трудности иммиграции. Когда я приходил навещать их, он говорил:

— Вот привезли меня сюда умирать...

Мне хотелось доставить ему последнюю радость. Он всю жизнь любил лечить людей, помогать им, общество их доставляло ему удовольствие. А теперь он сидел в чужой нанимаемой комнате и почти никого не видел, кроме нас. Надо было обязательно снова дать ему возможность почувствовать себя в центре круга друзей, сколько бы их ни было. Но родители жили без квартиры, а у нас не было достаточно ни посуды, ни стульев, ни большого стола, чтобы устраивать приём гостей. Да и не хотел я утомлять и занимать этим Ирину, и без того усталую и в постоянно плохом настрое.

Лучше всего было устроить обед в ресторане, потому что приглашенных набралось четырнадцать человек. Надо было бы найти хороший ресторан, но хороший — дорогой.

Конечно, я стал советоваться с Любой, она сказала:

— Мой брат Юлий — единственный из всех нас, четырёх сестёр и четырёх братьев, кто дожил до золотого юбилея. Я хочу, чтобы ты устроил родителям настоящий праздник и дам на это половину денег.

Как всегда, она была родней и добрей всех. Ну, половину денег мне было уже легче наскрести из скудных запасов. Где лучше всего устроить приём? Когда-то, в Москве, я бывал в шикарных ресторанах на диссертационных банкетах и сам устраивал юбилейные приёмы друзей в самых красивых ресторанах. Но здесь, в Нью-Йорке? — Господи, да мы даже и не думали об этом! Пару раз нас приглашали мой кузен Джак и доктор Требуко, и ещё раз нас пригласил на чай в гостинице «Плаза» тот сосед доктора Требуко, который издавал открытки и пытался всунуть мне в карман деньги. В «Плазе», на первом этаже, был действительно прекрасный ресторан — «Эдвардиан». Вот туда бы и пойти, но сколько это будет стоить? У меня были колебания и сомнения. А ведь это — в последний раз для моего отца... — и чувство победило рассудок (я не мог представить, что через десять лет рестораны «Плазы» станут часто посещаемыми мной).

Утром я взял в банке $200, чтобы заплатить аванс за банкет, и перед Капланом пошёл на радиостанцию для записи очередного выступления. Редактор Мусин встретил меня хитрой улыбкой:

— Старик, а я всё-таки достал письмо-рекомендацию, что работал здесь инженером на солидной фирме. Прекрасный бланк, на меловой бумаге — всё как надо.

— Поздравляю! Как тебе это удалось?

— Э, — махнул он рукой, — в Америке всё можно устроить. Меня уже приняли, платить будут вдвое больше, и перспектива намного лучше.

— Значит — прощай?

— Подожди ещё. Я решил сначала поработать там две недели своего отпуска, поглядеть — что и как. Если не понравится, вернусь обратно. Я здесь никому не говорил, так что ты не проговорись, особенно Тане: она болтунья, как все бабы.

— Зачем мне проговариваться, особенно Тане?

Только я вошёл в студию, чтобы записывать текст, красавица Таня встретила меня словами:

— А знаете, доктор, Мусин-то уходит от нас.

— Да что вы говорите! Когда?

— Да, да, только это секрет, — приложила палец к губам. — Он раздобыл рекомендацию, что работал инженером. Теперь нашёл место — будет получать в пять раз больше. Вот повезло! Вы не говорите, что я сказала.

— Ни за что!

Она нервно курила сигарету за сигаретой, руки у неё дрожали, а глаза были воспалённые и беспокойные.

— Доктор, мой муж спрашивал о вас: куда вы пропали?

— Никуда, я просто занимаюсь много, готовлюсь к экзамену.

Она суетливо начала искать что-то в сумочке, глянула на меня и спросила:

— У вас есть с собой наличные деньги? Я вам выпишу чек, и вы получите в банке. А мне сейчас срочно нужны наличные.

Я просматривал свой текст, перелистывая страницы, и удивлённо взглянул на неё:

— Сколько вам нужно?

— Ну, долларов сто, — смотрела пристально и выжидающе.

— У меня есть наличные, но они мне самому нужны сегодня.

— Ах, доктор, голубчик, выручите! Мне прямо сейчас нужно, сейчас...

— Ладно, я вам дам пятьдесят.

Я рассчитал, что могу внести авансом за обед сто пятьдесят вместо двухсот. Таня буквально выхватила у меня деньги, подписала мне чек, всё впопыхах, нервно, суетливо. И тут же скрылась, бросив на ходу: — Я скоро...

Я сидел в студии и ждал почти час, злился и нервничал: что могло случиться? Когда Таня пришла обратно, её как будто подменили: она двигалась медленно, говорила вяло и невнятно. За ней следом беспокойно влетела её сослуживица и подруга. Увидев Таню в таком состоянии, она обхватила её, поддерживая, и сказала:

— Вы нас извините, Таня нездорова, я сейчас приду и сделаю за неё вашу запись, — и увела совершенно ослабевшую красавицу в женскую уборную.

Мне нетрудно было догадаться, что Таня убежала, чтобы купить какой-то наркотик. Какой? Неужели она вкалывает героин?

С радиостанции я пошёл в Каплановский центр, а оттуда — в ресторан отеля «Плаза».

Но пошёл я не один: Виктория хотела идти со мной...

В день золотого юбилея я устроил для родителей праздник на славу, оркестр играл для них медленный вальс, и они танцевали. Мама выглядела моложе на десять лет, а отцу, по нему видно было, тяжело доставалось это веселье. Танцевали и мы с Ириной, только между нами было тогда пустое, безвоздушное пространство.

Здесь я хочу объяснить тем, кто читает эту книгу: по просьбе Ирины я выпускаю целую главу о нашей с ней семейной трагедии, о том, как мы оказались над пропастью разрыва и о том, как оба сумели удержаться от этого. Ирина не захотела, чтобы я включал рассказ об этом, и я должен уважать её желание — в конце концов эта книга не только моя история, но и её тоже. Скажу только, что Ирина обвиняла во всём случившемся наше новое окружение. Отчасти это было так: мы переживали глубочайший иммиграционный шок. Но неправильно делать выпад лишь на воображаемого противника. Причина была и в нас самих тоже.

Мы с невероятными усилиями старались противостоять перегрузкам, как пилоты сверхзвуковых истребителей на виражах. Я ещё кое-как справлялся с этим, у меня крепкая нервная система хирурга и закалка прежней тяжёлой жизнью. Но Ирина этих перегрузок не выдерживала совсем. Наша личная драма отражала долгий период самых больших и глубоких перемен в нашей жизни.

Но — мы прошли через мучительное и долгое горнило очищения. И это доказывает, что судьба действительно соединила нас на жизнь и на смерть, на здоровье и болезни, на богатство и на бедность: наш союз неразрушим!

Лучше всех сказал Шекспир: «Кто знал в любви паденья и подъемы, тому глубины совести знакомы».

Отец очень ослабел со времени празднования золотой свадьбы, черты его лица обострялись всё больше и больше, видно было, что наступает ухудшение. В апреле его опять положили в Отделение интенсивной терапии того же госпиталя Святого Луки. Мы с мамой опять ездили его навещать, но я всё равно ходил в Каплановский центр. Только от всего переживаемого я совершенно потерял способность сосредотачиваться на слушании кассет — я не в состоянии был переключиться мыслями от моей отчаянной ситуации. И я не мог больше писать: фразы не складывались до конца в моём воспалённом мозгу. А тут как раз литературный агент позвонила сказать, что все её попытки заинтересовать несколько издательств моей рукописью провалились. Я убрал со стола все мои записи и даже перестал думать о книге.

Отцу становилось хуже, мама была удручена, и от всего от этого мне иногда казалось, что я схожу с ума.

29 апреля вечером мы навещали отца. Он почти всё время лежал с закрытыми глазами, тяжело дышал и слабо реагировал на нас — резчайшая сердечно-лёгочная слабость. В нём тлела истома смертного страданья, глубину которого никогда не понять живому. Когда мы уходили, я поцеловал его. Он открыл глаза и сказал:

— Смотри за мамой...

Поздно ночью мне позвонили из госпиталя, что он скончался. Когда мы приехали туда, он ещё был тёплый.

Пережитая наша с Ириной драма и смерть отца наложили отпечаток отрешённости от всего, к чему я ещё недавно стремился. Я с трудом восстанавливал способность концентрироваться на занятиях в Каплановском центре, потеряв уровень способности понимать и запоминать, до которого дошёл. Как персонажу греческой мифологии Сизифу в подземном царстве было дано наказание катить по уступам скал вверх тяжёлый камень, и каждый раз он падал вниз у самого верха, так и мне надо было опять начинать сначала. Пересиливая себя, я теперь вставал в 4:30 утра и в 5 часов уже сидел за своим дощатым столом, повторяя вчерашний материал. В 8 часов утра я уходил на занятия, приходил туда первым, к отпиранию двери, и уходил в 10 вечера последним, когда за мной запирали дверь. Туда и обратно я делал пешком более 5 миль в день, это было моим единственным упражнением.

Ирина, видя моё самоотречение и упорство, почти не трогала меня. Она по-прежнему была нервная, но уже не такая раздражённая, мы мало видели друг друга и мало разговаривали. А сына я видел ещё меньше — у него был свой напряжённый режим.

В доме у нас было тихо и грустно.

Угнетала меня и судьба мамы, оставшейся одной и всё ещё без своей квартиры. Я без энтузиазма предложил ей переехать к нам, но умная моя мама не захотела окунаться в обстановку нашей подавленности. Она поселилась у Любы, но три старухи в одной квартире утомляли друг друга своей стариковской разностью. Тогда она перешла жить компаньонкой к состоятельной русской иммигрантке послереволюционных времён, далеко от нас. Теперь у неё были обязанности и даже небольшой доход, но время от времени мы встречались. Мягко, без тени укора, она мне говорила:

— Ты знаешь, я иногда брожу одна по улицам и думаю: как это так — вот был мой муж, прекрасный человек, великолепный доктор, сделавший столько добра людям; и вот он умер — и ничего, никакого следа от него не осталось... И была наша жизнь с ним, которую мы создавали пятьдесят лет; и тоже ничего, ничего не осталось...

Конечно, я не мог не винить себя в этом её одиночестве в чужом мире, оторванности от привычных условий и прежних знакомых (которых у них с отцом было много) — они ведь поехали в Америку только за мной. Я всегда был то, что называется хорошим сыном — ничем особенно родителей не огорчал, даже наоборот — радовал своими успехами. Мама гордилась и обожествляла единственного сына. А теперь я ничего, ничего не мог сделать для неё, даже обеспечить ей мало-мальски приличное существование не был в состоянии. Но чем можно помочь старой вдове? Будь у неё свой дом и прежние знакомые, она могла бы говорить с ними, разбирать вещи отца или архив его бумаг и фотографий. Но — никого кругом, и отцовские костюмы она раздала малознакомым людям, а портфели с отпечатками его статей, писем и фотографии лежали пока у Любы. Я страдал за неё и в душе корил себя. Но не мог же я тогда, когда мы с Ириной решили покинуть Россию, поставить услужение родителям выше планов своей жизни и жизни моей семьи. Каждое поколение должно жить своей жизнью.

На пригородном поезде я возил маму на кладбище, где прах отца был поставлен в нишу к праху его старшего брата Аркадия, который умер задолго до нашего приезда. Аркадий был представителем Временного правительства Керенского в Америке в 1917 году и так и остался здесь, приютив потом на время у себя и самого сбежавшего Керенского. В белом мраморном мавзолее все стены были расписаны именами захороненных, играла тихая грустная музыка. Я приносил маме раскладной стул, она сидела, уставившись взором в имя отца. И о чём-то своём думала.

Через два месяца ей дали от города дешёвую квартиру в доме для бедных, в который они с отцом были записаны на очередь. Дом на нашей же улице, тот самый, который я прежде осматривал. Квартира была хорошая: две просторные комнаты и кухня, по советским меркам — каждый был бы счастлив. И она радовалась, но опять говорила мне:

— Подумать только: папа не дожил до своей квартиры всего два месяца... Как бы он радовался! — ему так хотелось жить в своей американской квартире. В России у нас с ним ушло более тридцати лет, пока нам дали квартиру. А здесь я получила всего через год после приезда. Но уже без него...

О чём могут быть мысли у вдовы, прожившей вместе с мужем пятьдесят лет?..

А я слушал эти вздохи и думал о своём: об экзамене.

Кое-как, с помощью соседей и знакомых, мы обставили мамину квартиру. Ещё одна особенность Америки, и Нью-Йорка в частности: люди часто выставляют на улицу вещи и мебель, которые им не нужны. Иногда это бывают вполне прилично сохранившиеся вещи. Их или подбирают другие, или бросают на слом в грузовики мусорных машин. Кое-что мама сама подобрала и говорила с юмором:

— На помойке нашла.

Теперь мы были соседями, и она могла чаще видеть сына, внука и Ирину. И постепенно стала успокаиваться и оживать.

Изредка я продолжал начитывать на радиостанции написанные ранее фрагменты будущей книги. Мне платили по $100 за каждую передачу, всего 10 минут чтения, и я не мог от этого отказаться.

Придя туда после месячного перерыва, я жалел, что не увижу своего единственного приятеля Мусина: я помнил, что он перешёл работать на инженерную фирму. Однако первый, кого я там увидел, был он — своей собственной персоной, на прежнем месте.

— А, старик, хорошо, что зашёл, — сказал он как ни в чём не бывало.

— Здорово! Вот уж не рассчитывал увидеть тебя здесь опять.

Он прикрыл дверь и стал рассказывать:

— Понимаешь, старик, я проработал у них там (он делал ударение на слове «у них») на фирме две недели и решил вернуться сюда. Здесь работы немного, всё привычное, ну просто как в типичном советском учреждении. А там они все работают, как сумасшедшие. Начинали мы в 7:30 утра и вкалывали, не разгибаясь, до 8 вечера. Правда, за всё сверхурочное время платили в полтора раза, так что заработок был хороший. Но слишком уж много у них надо работать. А я, по старой привычке, больше всего люблю свою личную свободу. Здесь я могу выйти на улицу, когда захочу, пройтись, освежиться, отдохнуть, выпить кофе или в книжном магазине полистать новые книги. А у них там об этом и подумать некогда. Нет, американцы жить не умеют, они умеют только работать. Вот европейцы работают, чтобы жить, а американцы живут, чтобы работать. Мозги, что ли, у них свихнуты?

У меня не было мнения — свихнуты ли у американцев мозги, я ещё не работал в Америке ни одного дня. Странно было, что после трёх лет жизни здесь он, знающий язык, всё ещё так подчёркнуто отделял себя от американцев, или американцев от себя. И его рассуждения были мне странны: мне представлялось, что зарабатывать больше — это хорошо. Как русский хирург я всю жизнь работал очень много, а платили там докторам мало. По мне, логичней было больше работать — и больше получать.

Мусин спросил:

— Ну, ты уже подписал контракт на книгу, получил аванс, сколько?

Я рассказал ему свою ситуацию.

— Ну, не горюй, старик, — сказал он, чтобы что-то сказать.

— Спасибо и на том, что выслушал, бывает хорошо облегчить душу.

Красавица Таня сидела в студии, нервно курила, и была рассеянна. Я невольно опять засмотрелся на неё: до чего же хороша! Но я должен был сказать ей, что чек её оказался неплатёжеспособным. Неприятно об этом говорить, но хотелось получить свои деньги обратно.

— Таня, мне не оплатили ваш чек на $50, — начал я и не успел докончить, как она вскочила в возбуждении, с покрасневшим лицом:

— Ах, доктор, миленький, извините... я не знала... это мой муж — он перевёл все деньги на своё имя, не сказав мне, — засуетилась. — Извините, извините, пожалуйста, как нехорошо получилось-то...

— Вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло.

— Всё равно, мне стыдно. Это всё муж. Он у меня все деньги отобрал... Но я вам отдам, я обязательно отдам. Когда вам нужно?

— Я предпочёл бы сейчас.

— Сейчас? К сожалению, у меня нет с собой... вы уж извините. Посидите, я пойду займу у кого-нибудь.

Она схватила сумочку и выскочила в страшном возбуждении. Я ждал и ждал, но она надолго пропала. В студию заглянул Мусин:

— Ты всё ещё сидишь?

— Жду Таню. Куда она делась?

— Я видел, как она уходила.

— Что значит уходила — до конца дня?

— Может быть. Она тебя записала?

— Нет, иначе я бы тут не сидел.

Позвали другого оператора, Танину подругу, и она записала мою передачу. А Таню я в тот раз так и не дождался.

Некторое время спустя она всё же вернула мне деньги.

— Доктор, вы уж не сердитесь на меня, — с жалкой улыбкой, губы её дрожали, и она добавила тихо: — У меня с мужем нелады. Ах, если бы вы могли понять!..

Это я как раз понять мог. И даже сам мог рассказать ей свои «нелады». А она продолжала:

— Я вам только как доктору скажу: он уже давно импотент, мой муж. Он уже ничего... не может. Ну и чтобы я ничего... не хотела... он приучил меня к наркотикам и водке. Чтобы я до забытья травилась. Сначала я отказывалась, а теперь уже не могу без них. А недавно его бизнес пошёл хуже. Вы знаете, чем он занимается?

— Он у вас писатель, кажется.

— Какой там писатель! — он играет в карты в аэропортах. Выискивает проезжающих людей с деньгами и обыгрывает их. А деньги он с какой-то мафией делит. Вы видели его синий «Кадиллак»? Он его использует как такси: берёт пассажиров и возит их за деньги. Но только он не каждого возьмёт. У них там целая организация. Они и наркотики покупают, прямо там же, у тех, кто привозит из Южной Америки. Ну вот, а недавно он потерял много денег, ему нечем расплачиваться с компаньонами. Вот он и решил заняться новым бизнесом: поставлять клиентам проституток. И он всё чаще стал брать меня с собой в аэропорты... а с недавнего времени перестал говорить своим клиентам, что я... его жена (она стала всхлипывать).

Мне уже неловко становилось слушать её, но и прерывать излияния души было тоже неловко. Таня запнулась, а потом закончила:

— Знаете, он хочет сделать из меня проститутку... и зарабатывать деньги на мне... Я так боюсь, я так боюсь его...

Чёрт подери, лучше бы я прервал её и ушёл, не дослушав. Она смотрела сквозь слёзы:

— Доктор, только вы не говорите никому, пожалуйста, я вас умоляю. Я буду о'кей, я всё улажу. Я решила уйти от него... скоро...

Я совершенно растерялся: как реагировать на этот рассказ-вопль. То, что её поведение становилось всё более странным, замечали все. И Мусин говорил об этом. Но такого поворота я не ожидал. Не приходилось мне ещё сталкиваться с подводными течениями преступного мира, тем более в Америке. Зачем она мне это рассказывала? У неё были друзья, наверное, они как-то смогут помочь ей...

По моим делам даже и размышлять обо всём этом мне было некогда: подходил день экзамена.

Много я в жизни сдавал экзаменов, сидя за столом напротив экзаменатора. Потом я пересел на другую сторону стола и много экзаменов принимал у студентов. Все они были устные, и оценка за них варьировалась не только от содержания ответа, но и от впечатления экзаменатора. Про предстоящий объективный письменный экзамен я слышал от многих уже целый год. Я приготовил себя к тому, что с первого раза его не сдам. Но во мне жило любопытство испытать всё самому — для тренировки к следующему разу.

Экзамен проводился в громадном бальном зале старого отеля «Стетлер-Хилтон».

Регистрация начиналась в 8 утра, но ещё за полчаса до этого я застал в вестибюле зала густую толпу молодых докторов, которая всё увеличивалась: собралось 1300 человек. Бросалось в глаза, что чуть не половина были из Индии и Пакистана — смуглые лица индийского типа доминировали, многие в чалмах и магометанских шапках, женщины завёрнуты в сари. Часто виделись и широкие и узкоглазые лица с Востока: филиппинцы, таиландцы, китайцы, индонезийцы. Попадались чёрные лица из Латинской Америки и с Карибских островов: пуэрториканцы, панамцы, доминиканцы, гаитяне, жители Ямайки. Несколько меньше приземистых смуглых людей с короткими шеями — мексиканцы, перуанцы. Белые европейские лица были в толпе в меньшинстве: из России, Польши, Чехословакии, Румынии, Греции. Немало было и американцев, закончивших медицинские институты в Мексике, Италии, Испании, на Филиппинах, — где образование стоило намного дешевле. И все, все почти — в возрасте около тридцати лет или меньше, ещё не работавшие. Женщин среди молодых было немного. Людей после сорока лет было мало: в основном из России и других восточноевропейских стран. Среди них почти половина были женщины. Моего возраста — около пятидесяти лет — были единицы. В той молодой толпе я был наверняка один из старейших.

Во всём этом я разобрался, прислушиваясь к разговорам и присматриваясь к окружающим. Национальные группы держались вместе и были легко различимы: на врачеб-

ный экзамен собрались люди из экономически слаборазвитых стран мира, их согнала в Америку бедность и неустроенность дома.

И мы, беженцы из Советского Союза, тоже были в этой пёстрой толпе выражением неустроенности в нашей бывшей «великой державе». Мне подумалось: как же неблагополучно положение моих коллег более чем в половине мира! Число сдавших экзамен производило впечатление настоящего нашествия: толпа докторов кинулась в богатую Америку заполнять бреши её медицины. И ведь такие же толпы в этот же самый день собрались для этого экзамена и в других крупных городах США. А экзамен повторялся каждые полгода.

Экзамен стоил $350, оплаченных заранее, и мы регистрировались по списку. Регистраторы строго сверяли фотографии и подписи с расписками при заявке (бывали случаи сдачи экзамена подставными лицами). Контроль был отработан чётко.

Глядя на разноплемённую толпу моих коллег, я думал: почему Америка с её богатством и высокой культурой профессионального образования не может сама обеспечить себя своими докторами? Много времени спустя я понял: по-настоящему передо мной тогда была иллюстрация силы культуры Америки — страна иммигрантов, она способна принять в себя толпы иностранных специалистов, в том числе и докторов, без опасения ослабить уровень своей техники, науки, медицины.

Между тем толпа возбуждённо гудела, переговаривалась на всех языках. Русские иммигранты сгрудились группами. Их можно было определить сразу: старше всех других и много женщин. Была там и доктор Тася, с сигаретой в зубах. Она нервничала и всем и каждому повторяла:

— Ой, кисанька-лапушка, я не сдам, не сдам, чего учила — не помню, ничего не знаю!..

Около неё с застывшим от страха выражением лица женщина-психиатр из Львова. Увидел я и того, кого подозревал в ночном звонке с угрозами расправиться со мной — доктора-коммуниста. Прислушавшись к его типичному хриплому голосу, я убедился, что это был он. Я подумал: «Вот приобретение для американской медицины!» — и отошёл.

Среди нас были ветераны сдачи: сдавали экзамен уже четвёртый-пятый раз и чувствовали себя здесь вполне привычно. Я прислушивался к разговорам. Некоторые тонко продумывали систему списывания и взаимной информации, об этом шло много разговоров:

— Слушай, если правильный ответ «А», ты показывай один палец; если «В» — два пальца, если «С» — три пальца, если «D» — четыре, если «Е» — пять. И держи пальцы на колене с моей стороны, чтобы проктор (наблюдающий служащий) не заметил. И я тебе по такому шифру. Ясно?

Были семейные пары, у мужа с женой тонко разработано, как списывать. Кто-то с завистью говорил, что индусы и филиппинцы заранее узнали вопросы по телефону из их стран (там этот же экзамен сдавался раньше по поясу времени).

— Моя сестра будет целый день сидеть возле женской уборной, а у неё в сумке будет лежать учебник. Как только я пойду в уборную, она за мной, не показывая вида, что мы знакомы. Я в туалете смогу быстро заглянуть в учебник.

— А я буду списывать у индуса, у которого соседний со мной номер. Я его спросил, он согласился, говорит, ему всё равно.

— Да, это индус, а вот американцы, так, наоборот, прикрывают свои ответы локтем. Жалко им, что ли? Мозги у них какие-то перевёрнутые, — вставила психиатр.

Мне, бывшему профессору, было неловко участвовать в этих разговорах, я держался в стороне.

Двери зала раскрылись, мы двинулись к своим индивидуальным столикам с номерами. Старший проктор по микрофону назидательным голосом сообщал правила проведения экзамена, мы нервно вслушивались. Прокторы в длинных проходах между столами раздали каждому запечатанный номерной буклет. На отдельном листе ответов мы написали своё имя, номер и дату рождения. В три приёма, по три часа, надо было отмечать карандашом правильный кружок ответа в выборе A, B, C, D, E, соответственно номеру вопроса. Вопросы были разной длины: иногда одна строчка, иногда полстраницы, иног-

да на выбор четыре-пять кардиограмм или рентгенограмм, фотографий кожных болезней, длинные генетические таблицы. Всё прекрасно и чётко напечатано на меловой бумаге. Вопросов было более пятисот: на один ответ давалось менее минуты. Перед истечением времени каждой части звучали два сигнала, а с третьим, последним, буклеты строго отбирались — потянуть время нельзя было.

По команде мы разложили перед собой наточенные карандаши №2, и строго в одно время нам приказано было распечатать буклеты и начинать отвечать. В зале с почти полутора тысячами человек наступила гробовая тишина — только шелест переворачиваемых страниц.

Первые же три вопроса оказались знакомыми — я их помнил из курса Каплана и быстро зачертил карандашом кружок правильного ответа. Это дало мне ощущение лёгкости. Зато потом около десяти вопросов подряд поставили меня в тупик: не только я не знал ответа, но даже не всегда понимал сам вопрос. Я потерял время, раздумывая. А думать было некогда, на размышлениях терялась необходимая скорость: знаешь, не знаешь ответ — отмечай. Но техника сдачи такого большого экзамена у меня отработана не была. Мозг лихорадочно работал: А или В, или С, или D?.. Я судорожно отметил какие-то кружки наугад. Для решений мозг едва поспевал за читающими глазами. В длинных вопросах я терял нить, приходилось возвращаться к началу, перечитывать. Через час такой гонки я обнаружил, что здорово отстал от соседей, потому что у них были открыты следующие страницы вопросов. Я занервничал: за остающиеся два часа надо было ответить на 140 вопросов. От напряжения голова моя начала гудеть. Не отрываясь от вопросов, я проглотил заготовленную обезболивающую таблетку Tylenol. Постепенно голова прошла, но от сидения в напряжённом положении заныли мышцы.

Мне тогда некогда было думать об этом, но позже я понял: уже сказывался возраст. У молодых, наверное, ни голова, ни мышцы не болели. Иногда краем глаза я видел, как сдавали экзамен мои соседи-американцы: они отмечали ответы с поразительной быстротой, буквально «щёлкали» вопросы. Индусы тоже шли вперёд довольно быстро. В результате некоторые стали вставать и сдавать

свои буклеты ещё за час до срока. А у меня к перерыву остались непрочитанными 20 вопросов, и я судорожно ставил на все один ответ «С», помня, что лучше дать какой-то ответ, чем никакого. Какой-нибудь из этих «С» мог оказаться и правильным.

В перерыве толпа возбуждённых докторов гудела ещё больше, чем до начала: все лихорадочно спрашивали друг друга: какие ответы поставили на какие вопросы, спорили о правильности, перебивали друг друга. Наши русские засыпали вопросами американцев и индусов. Доктор Тася и женщина-психиатр расспрашивали ту, что ходила в уборную — подглядывать в учебник.

— Я два раза выходила и смогла подсмотреть кучу ответов, — хвасталась та.

— Кисанька-лапушка, скажи — какой ответ был правильный? — слышал я.

Прислушиваясь к разговором, я скоро обнаружил, что сделал несколько ошибок, особенно по теоретическим основам, — настроение сразу ухудшилось.

Но — снова за свой столик, снова отточенные карандаши, снова одновременно открываем буклеты. Ещё сотни вопросов, а я просто не понимал некоторые из них, потому что не успевал вчитываться. Опять терял время, опять глотал тайленол. Опять не успевал и снова ставил ответ «С» в последнюю минуту.

Во втором перерыве я снова услышал «кисанька-лапушка» и чей-то плач. Это Тася успокаивала рыдающую женщину, которая бегала в уборную подсматривать:

— ... а на четвёртый раз за мной следом вошла в уборную какая-то... ой! откуда я знала, что она проктор?.. а она следила... и как только я за учебник... она меня сразу накрыла... и повела к главному... сначала они хотели меня совсем снять с экзамена... ой! Потом разрешили мне сдавать... только предупредили, ой! что мой результат будет зачтён, если я сдам выше среднего на десять баллов... ой! — на десять баллов выше! Да я же никогда так не сдам... ой! Мама родная, что они со мной дела-а-а-а-ют-то?..

Психиаторша прокомментировала:

— Да они разве люди? — звери какие-то! Озверели с этим их экзаменом.

Тася была унылая:

— Ой, кисанька-лапушка, я столько наделала ошибок, столько ошибок! — ни за что мне не сдать!..

Я тоже обнаруживал, что сделал много ошибок. А ещё сколько я не знал!

После медицинской части был письменный экзамен по английскому языку на 45 минут. За это время надо было ответить на вопросы по грамматике, структуре предложения и показать понимание разговорного языка. Для этого на плёнке магнитофона был прочитан длинный рассказ, и надо было быстро отвечать на напечатанные вопросы по смыслу рассказа. Это требовало хорошего понимания и оказалось ещё трудней, чем экзамен по медицине.

Закончили мы в 8 часов вечера, я был абсолютно без сил. А молодые доктора с неизбывной энергией всё продолжали и продолжали обсуждать свои ответы.

Ирина ждала меня дома с подогретым обедом. Она сочувственно смотрела, как я вяло жевал, хотя не ел целый день. А я всё рассказывал ей свои впечатления от экзамена. Мне понравилось, как всё было продумано и организовано, никогда я не видел и не представлял себе такой глубокой проверки знаний по всем разделам медицины. Куда до этого устным российским экзаменам? — как моська по сравнению со слоном.

Результат должен прийти по почте через 6—8 недель, но мы с Ириной оба знали, какой он будет. За долгое время впервые ей было меня жалко. Уже засыпая, я сказал:

— Знаешь, для того, чтобы сдать этот экзамен с первого раза, мне надо было приехать в эту страну лет на двадцать раньше...

На следующее утро я уже снова сидел на своём месте в Каплановском центре. Чтобы облегчить запоминание отвлечённых истин теоретических основ медицины — механизмов работы клеточных элементов и тканевых процессов, — я решил делать для себя схематические рисунки. Зрительная память на изображения у меня была более развита, чем память словесная. А рисовать я всегда умел и любил, так что даже интересней будет заниматься.

Через день-два расслабленно начали появляться сдававшие экзамен, но не все: американцы и некоторые индусы больше не пришли, уверенные, что сдали. Зато наши русские явились в полном составе. Каплан разрешал продолжать учёбу до получения результата, к тому же никто не был уверен, что сдал. Все мы вспоминали вопросы, обсуждали ответы, спорили, какие правильны, сверялись с учебниками и собирали их вместе. Некоторые вопросы были из программы Каплана или очень похожи. Каждый помнил по три-пять-десять вопросов-ответов; собранные вместе, они давали цельное представление обо всём экзамене. Это могло помочь в подготовке к следующему.

Докторша-психиатр суетилась больше всех:

— Это издевательство — спрашивать такое, чего ни одному доктору в работе не нужно.

Тася опять плотно уселась в коридоре с сигаретой в зубах, называла всех «кисанькой-лапушкой», расспрашивала, где достать побольше «верных» вопросов-ответов для следующего экзамена. Она завела обмен этими вопросами и сумела и здесь плести интриги, так появились у неё и друзья, и недруги: вот натура! И повторяла:

— Ой, чувствую, что я опять не сдам... ой, опять не сдам.

— Да я его никогда не сдам! — вторила ей психиатр.

Некоторые из нас специально тренировали себя на скорость ответов, садились изолированно где-нибудь в угол на три часа и старались ответить на 180 любых незнакомых вопросов подряд, а потом проверяли себя. Я к этому ещё не был готов. Моё достижение было уже в том, что постепенно я всё ясней понимал лекции на плёнках и всё легче становилось мне читать главы американских учебников.

Есть поговорка: мы видим то, что знаем. Можно сказать: мы понимаем то, что знаем. До сих пор я с трудом прочёл лишь часть одного учебника СИБА, но когда мой английский улучшился и я стал понимать лекции и учебники, я вдруг обнаружил, как великолепно все они преподносили материал. Ничего похожего не было ни в аудиториях, ни в медицинских книгах в России. Теперь я по-настоящему был увлечён учёбой, за долгие-долгие годы мне впервые стало интересно учиться. Хорошо хотя бы в возрасте пятидесяти лет суметь прозреть ещё немного — всё-таки лучше поздно, чем никогда.

Второй раз в своей жизни я изучал медицину, и мне открывался мир знаний, которые я пропустил или забыл. Я слушал, читал, рисовал, запоминал и вникал в неизве-

стные мне ранее теоретические основы довольно глубоко. Теперь кое-кто из наших докторов иногда просил моих разъяснений и объяснений. И я читал им небольшие лекции по структуре ДНК и РНК, о которых ещё полгода назад не знал ничего, и иллюстрировал своими рисунками. Во мне просыпался дремавший уже более двух лет профессор.

Иногда по вечерам, после моих занятий, мы медленно прогуливались с Ириной вдоль Западного авеню Центрального парка (в темноте заходить в сам Парк было опасно), и я с энтузиазмом рассказывал ей о своих новых ощущениях и о предвкушениях сдачи экзамена — в конце концов. Вместе с интересом к занятиям во мне укреплялась уверенность в успехе. Я знал свой характер: я всегда добивался чего хотел, но для этого мне необходимо полностью погрузиться в это желание. Ирина слушала спокойно, хотя и грустно. В наших отношениях наступила новая фаза: теперь трудности нас не разъединяли, а наоборот — сближали. В этом и есть нормальная семейная жизнь.

А на Каплане появлялись новые русские доктора: шёл 1979 год, пик массового приезда беженцев в Америку. Советское правительство готовилось к проведению Олимпийских игр в Москве и несколько ослабило жёсткие правила эмиграции, через которые проходили мы. Новые беженцы приезжали в состоянии большей эйфории — выезд оттуда достался им легче. И вот недавно приехавшие врачи, осторожно оглядываясь, появлялись в Каплановском центре. Для них я был уже ветеран иммиграции, старожил в вопросах адаптации. Бывали среди них и старые знакомые. Они засыпали меня вопросами:

— Ты уже сдал их экзамен?

— Ты уже работаешь с ними?

— Зачли они тебе твои научные титулы и то, что ты заведовал кафедрой?

И на каждый вопрос я отвечал им — нет. Это их огорошивало, им ещё трудно было представить себе, какой сложный был процесс адаптации русских врачей в Америке.

Невропатолог Зиновий, старше меня, довольно самоуверенно говорил:

— Не понимаю: чтобы такой парень, как ты, за год здесь ничего не добился!.. Мне только бы показать кому-нибудь из влиятельных профессоров мои опубликованные статьи по теме докторской диссертации, и я уверен, что это произведёт впечатление. Они меня сразу возьмут профессором в любой университет.

Его жена, специалистка по истории крепостного театра в России XVIII века, добавляла:

— Мой муж такой специалист, такой специалист, что любой госпиталь сочтёт за честь принять его на работу. И я тоже не собираюсь унижать себя тем, чтобы хвататься за любой труд. А пока мы станем знакомиться с Нью-Йорком — здесь ведь так много музеев, выставок, театров. Не правда ли?

Оба не знали английский, а история русского крепостного театра в XVIII веке не была предметом широкого интереса в Америке. Как ветеран иммиграции я снисходительно выслушивал всплески их эйфории. После монотонно-унылой жизни в Советской России им представлялось, что здесь их ждут невероятные возможности свободного мира. Но они не знали и не ожидали, что за свободу им надо платить дорогой ценой. Пройдёт время, эйфория исчезнет, и наступит трезвая оценка сурового пути в новых условиях. Вот тогда-то и начнётся процесс понимания новой жизни. А внедрение в неё произойдёт только в процессе работы. Это я понимал по себе. И надо было знать американскую поговорку: «если дерево не гнётся — оно ломается». Судьба многих складывалась совсем не так, как им сгоряча представлялось.

Наши русские дамы на Каплане звонили по телефону-автомату домой по нескольку раз: как их дети и внуки? нет ли каких новостей? Чемпионом звонков была, конечно, Тася, которая проводила за прослушиванием телефона больше времени, чем за прослушиванием плёнок с лекциями. Когда бы я ни выходил в коридор, всегда слышал:

— Кисанька-лапушка, ну как дела? Ничего? Ну, я позже ещё позвоню.

Некоторые звонили и в Россию, где оставались их близкие. Одна ленинградка, Ирина, мать двоих детей, каждую неделю звонила туда своей маме и уговаривала её приехать:

— Мамочка, ну как ты? Я скучаю, приезжай, мамочка!

Когда прошло шесть недель с экзамена, начали звонить в Филадельфию, в Центр по проведению экзамена, и пытались узнать — как скоро станут рассылать по почте результаты? А они всё задерживались. Но вот однажды психиаторша по телефону узнала, что её результат получен. Сразу помрачнев, бросила трубку:

— Чтоб он сдох, кто придумал этот экзамен!..

На Каплане начался невероятный ажиотаж: все звонили домой узнать результат. Большинство русских мгновенно расстраивались, большинство индусов начинали мгновенно ликовать. Медицинскую часть из наших удалось сдать нескольким, но сдать английский не удалось никому. Женщины, немного отойдя, носились по коридору вихрем:

— Сдал? Не сдал? Сколько получил?

Тася получила низкую оценку 65, а минимально необходимо было 75. Она нервно курила сигарету за сигаретой и повторяла:

— Ой, кисанька-лапушка, чувствую, мне не сдать этот экзамен, ни за что не осилить.

Такой же результат был и у той, что подглядывала в учебник в уборной. Она ревела белугой:

— Ой, что они со мной сдее-е-е-е-е-е-лали!..

Из наших отличились только двое: доцент-невропатолог из Харькова и молодая тихая докторша из Черновцов. Её и знали-то мало, потому что она всегда тихо сидела и занималась в своём уголке, никуда не звонила, ни с кем не разговаривала. Теперь они оба были герои дня. Наши женщины окружили её, поздравляли, завидовали. Признаться, я тоже ей позавидовал. Но мне звонить было некому: Ирина на работе, сын в колледже. Я поспешил домой — проверить мой результат. Почти трясущимися руками (а на операциях они не тряслись) я раскрыл конверт и сразу увидел — 67 за медицину и провал по английскому. Так я и знал!

И хоть и знал, но остаток дня провёл в грустных размышлениях. Когда Ирина пришла с работы, мне не надо было говорить ей — результат был виден на мне. Она лишь мельком глянула на бумагу, и по привычке мы пошли гулять к Центральному парку. Я всё говорил и говорил,

рассуждая — как и почему я сделал много ошибок, злился на себя, что менял ответы в моменты коротких размышлений: первое решение было правильным, а я начинал сомневаться — и делал ошибку за ошибкой. Вопросы часто ставились «с подковыркой», с «подводными рифами», и важно было сориентироваться и не споткнуться в принятии быстрого решения. В технологии сдачи такого трудного и длинного экзамена важно не только находить правильное решение, но и уметь им пользоваться: в большинстве случаев первое, непосредственное впечатление от вопроса подводит к правильному ответу. И на этом надо останавливаться.

Всё это были горькие уроки первого опыта. Я рассуждал, что и как я должен лучше подучить, чтобы не провалиться в следующий раз, Ирина сочувственно молчала. Она не корила меня, что я сам виноват, что не надо мне было делать того-то и того-то. Ей просто было меня жалко.

Когда на следующий день я явился на Каплана, многие кинулись ко мне с вопросом:

— Сдал? Что получил?

— Провалил. Шестьдесят семь.

Горько было это отвечать, и жгло внутреннее чувство стыда, что я — столичный профессор — не смог сдать, а молодая докторша из Черновцов, которая и работала-то всего три-четыре года, смогла. Можно было этому придумать много оправданий, но лучше я себя от этого не чувствовал.

Сколько мне ещё предстояло неудач и разочарований, я даже не предполагал.

Неожиданно умерла моя любимая тётка Люба, так много сделавшая для нас в Америке. Как горько, что я ничего не смог добиться ещё при её жизни! Она бы радовалась и гордилась, зная, что наша новая жизнь в Америке начала налаживаться.

Но Люба и после смерти опекала нас: она оставила небольшое наследство моей маме — десять тысяч долларов. Теперь мама была обеспечена надолго, при скромных её расходах — до конца дней. И это не только помогало ей самой, но и снимало с меня мысли о ее материальной поддержке.

Мы хоронили Любу вместе с кузеном Джаком, который взял все расходы на себя и безудержно плакал, пока ребе произносил речь над гробом. В Америке нет обычая устраивать поминки, и после кладбища все разъехались по своим домам.

Мы вернулись и прошлись с Ириной по парку, разговаривая о Любе. И как раз в тот день пришло письмо: журнал «Medical Economics — Медицинская экономика», один из солидных популярных ежемесячных изданий, принял к опубликованию в двух номерах подряд мою большую статью о социализированной медицине в Советском Союзе. Я получал гонорар $1000 и ещё премию $1000 за лучшую статью года. Эта статья могла стать важным подспорьем при предложении рукописи моей книги в любое издательство. Но я и о статье, и о книге уже и думать забыл.

А деньги нам были как раз нужны: живя на одну Иринину зарплату, мы на всём экономили. Хорошо, что продукты питания в Америке очень дешёвые — самые дешёвые в мире. На стол у нас уходила половина её заработка, на плату за квартиру и коммунальные услуги — другая половина. Вещей мы не покупали, донашивая привезенные; некоторые из наших туфель выглядели уже довольно плачевно. В общем, балансировали мы на грани возможного. А недавно выяснилось, что грант на Иринину научную работу скоро заканчивался, и ей нужно было искать новое место. Опять мы приуныли, я с некоторым трепетом ожидал, что Ирина будет теряться и нервничать. Но иммигрантский опыт закалил её: на этот раз она уже знала, как и что делать, и без паники и страха пошла в отдел кадров своего Колумбийского университета, и подала новое заявление на работу. Как у работника университета у неё было преимущество перед другими кандидатами. И вскоре появилось место старшего лаборанта в лаборатории электрофизиологии сердца при Департменте (кафедре) фармакологии. Через короткое время Ирину интервьюировал директор лаборатории д-р Майкл Розен, профессор Колумбийского университета.

Ещё не задавая вопросов, он стал рассказывать ей технику приложения электродов к живой ткани сердца животных в эксперименте, а потом спросил:



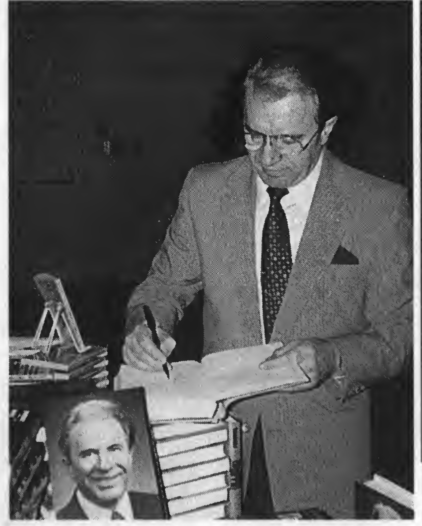
На выпускном банкете резидентов в 1985 году я показываю свой дружеский шарж на резидента д-ра Вильямса с Ямайки, которого мы прозвали Жирафом (он стоит рядом). Из моих шаржей составлена целая галерея, которая существует вот уже скоро 20 лет.



Я с сыном около медицинского института в городе Сиракьюз, в штате Нью-Йорк, 1982.



Ирина с д-ром Уолтером Бессером из Панамы (слева) — моим лучшим другом в Америке, который рекомендовал меня в резидентуру, и д-ром Рамиро Рекена из Боливии, который принял меня туда, несмотря на мои 52 года.



В Бостоне в 1986 году на конференции читателей я подписываю свою недавно вышедшую книгу «Цена свободы».



На конгрессе хирургов в Чикаго в 1986 году с д-ром Робертом Лернером, моим начальником и сверстником. Мы с ним подружились, он помог мне вынести трудности резидентуры.



В 1988 году мы встретились с академиком Илизаровым в Нью-Йорке. К тому времени я первый в Америке стал делать операции по его методу.



Первый раз я оперировал вместе с Илизаровым в Москве в 1958 году. Эту операцию мы делаем вместе в госпитале в Нью-Йорке в 1991 году (он справа). Это была его последняя операция.

— Что вы знаете об электродах и проводимости сердечной мышцы?

Предполагалось, что поступающий на работу должен уверить нанимателя в своей компетентности. Ирина ответила:

— Я ничего не знаю об электродах и даже не понимаю, как это ток бежит по проводам. Но я уверена, что с моим образовательным уровнем я смогу это освоить.

Профессор улыбнулся открытой американской улыбкой:

— Нам как раз нужен свежий человек, способный освоить всё с начала! — и принял её на работу с прежней зарплатой.

Вернулась Ирина возбуждённая и счастливая:

— Я снова сотрудник Колумбийского университета! Мой новый шеф симпатичный человек — молодой, всего сорок, а уже известный учёный.

Я был рад за неё и не хотел напоминать, что её собственный муж тоже когда-то был «всего сорок лет, а уже известный учёный».

Ирина устроила небольшой праздник: купила в деликатесном магазине «Зейбарс» продукты, которых даже названия мы не знали, и мы пировали с вином. Ни водки, ни вина я не пил уже около года — экономил, держал голову в постоянной ясности для занятий, да и поводов не было.

Праздновать с нами пришла моя мама. Обсуждали международную новость — вторжение советских войск в Афганистан (был конец 1979 года). Сразу наступил мгновенный раскол отношений между Америкой и Россией, американское правительство прекратило поставки зерна — в ответ правительство Советов перестало выпускать евреев. С чего эмиграция началась, тем она и заканчивалась — поставками зерна, за которые «выдавали» евреев. Это было как раз то, чего я так боялся, ожидая разрешения на выезд два года назад. Мама говорила:

— Слава Богу, что мы все в Америке. Жалко только, что папы нет с нами. Я каждое утро благодарю Бога, что мы здесь: просыпаюсь утром и сразу первая моя мысль — я в Америке! Знаете, я нашла здесь неподалёку церковь Святого Владимира и теперь хожу туда каждое воскресе-

нье — очень хороший священник. У меня там появились интересные знакомые: генерал-диссидент Пётр Григорьевич Григоренко с женой Зиной. Он знает Володю по газете и по выступлениям на радио. В Америке всё так интересно и хорошо!

Моя почти восьмидесятилетняя мама была редчайший пример иммигранта из стариков, которая не тосковала по России, была всем довольна и не жалела об отъезде. Чуть ли не все старики, которых мы знали, жаловались на всё кругом, были всем недовольны и хотели бы вернуться в привычные свои условия: трасплантационная болезнь, как у пересаженных старых деревьев. Но у мамы была очень мужественная натура, она всю жизнь умела справляться с трудностями. Просто нельзя было не восхищаться ею! Теперь, как все вдовы, она постепенно приходила в себя, меньше плакала, занималась своей квартирой, нашла соседей — таких же пожилых русских женщин-иммигранток, у неё образовывался свой круг знакомых.

Однажды мама пришла к нам в большом возбуждении, держа в руках русскую газету:

— Володенька, здесь написано, что умер какой-то Лев Голяховский. Это же, наверное, мой двоюродный брат Лёвушка.

В газете объявление о смерти: «Волею Божией скончался есаул Ея Императорского Величества Гренадёрского полка Лев Тимофеевич Голяховский». В ту пору в Америке ещё доживали свой век осколки царской Белой гвардии, и объявления такого рода были не редки. Мама моя была дворянского происхождения, из древнего рода, в дальнем родстве с Львом Толстым. Она училась в Институте благородных девиц во Владикавказе и в 1913 году подносила цветы почётному гостю — царю Николаю. Все её родные были офицеры и генералы, брат был военным атташе в Америке, а двое графов Голяховских стали министрами. Во время и после революции многочисленные её родственники или погибли, или сбежали за границу — в Болгарию и Югославию. Шестьдесят лет мама о них ничего не знала, и вдруг — та же фамилия и то же имя. Конечно, она была взволнована.

Я позвонил по телефону, указанному в объявлении, и — что же?.. да, это был её двоюродный брат! Мама не

находила места от счастья найти своих родных через шестьдесят лет! Тут же за ней приехала новая племянница и увезла её на похороны. И хотя это был грустный день, но там были и радостные встречи: оказалось, что в штате Нью-Джерси, неподалёку от Нью-Йорка, жили и другие мамины родственники — двоюродные сестры, племянники и племянницы.

Все они, вместе с тысячами других русских иммигрантов, нашли приют в Сербии с 1920 года до конца войны в 1945-м. После войны британские оккупационные власти стали выдавать их советским органам КГБ, по секретному компромиссному сговору Черчилля со Сталиным. Маминого кузена инженера-полковника царской армии Дмитрия Голяховского увезли, он погиб в сибирских лагерях. Но многим удалось переехать в Америку и в Австралию, а семья Дмитрия попала в Венесуэлу. Потом уже мы узнали, что его дочь (и моя троюродная сестра) стала знаменитой актрисой кино и телевидения под сценическим именем Америка Алонсо. А на самом деле она — Мура Голяховская.

Невероятные превращения происходили с маминым родом за четыре века его существования, и, в конце концов, в России остались лишь единицы, а в Америке нас теперь довольно много.

С недавних пор около дома мне несколько раз попадался на глаза мистер Лупшиц в сопровождении «кисаньки-лапушки» Таси. Рядом с ним Тася была очень оживлённая, почти висела у него на руке, заносся его в сторону, и громко и кокетливо смеялась. Он — низкий и приземистый, она высокая и широкозадая — картина очень смешная. Издали можно было слышать:

— А вы шалун, мистер Лупшиц!..

— Ах, вы опять за своё, мистер Лупшиц!..

А он улыбался, как старый кот, и похохатывал.

Как-то, в одну из пятниц, я днём возвращался домой. По пятницам Каплан закрывал курсы рано — евреям полагалось начинать молиться накануне субботы. Религиозных среди нас почти не было, но правило вынуждены были соблюдать все. Я шёл, как всегда, пешком, обдумывая свои постоянные мысли об экзамене. На Западном

авеню меня обогнала большая машина и остановилась у обочины. Оттуда послышалось:

— Доктор, садитесь — подвезу.

Это был тот часовщик из Харькова, который в начале нашей жизни всегда шумел, ругая Америку в вестибюле гостиницы. Ага, значит, машину он уже купил! Я сел в просторную старую машину:

— Поздравляю — хорошая машина.

— Это разве машина? — возразил он. — Старая колымага. Я на днях куплю совсем новую, а эту отдам жене.

— Значит, дела пошли хорошо?

— Дела — о'кей! Я ушёл от хозяина и завёл свой бизнес: торгую фирменными часами. Теперь не я на хозяина, а на меня люди работают, — он ткнул себя в грудь. — Я держу негров, которые на меня работают. А, доктор! Я уже капиталист, маленький пока, но буду и большой. Как вам это нравится, а?

— Ну, вот, видите, а вы были недовольны.

— Кто, я? — он усмехнулся. — Дурак был, только дураки могут быть в Америке недовольны. Ну, а вы, доктор, вы не защитились ещё? — он, очевидно, имел в виду экзамен.

— Пока не защитился.

— А хотите подработать? Я могу предложить вам продавать часы. Вид у вас солидный, вам покупатели будут верить.

— Спасибо, но мне надо много заниматься к экзамену.

Последнее, чего бы я хотел, это продавать что-либо, но это я ему не сказал.

— Ну, как знаете. Вас куда подбросить?

— Да вот — мы приехали, я уже почти дома. Спасибо, что подбросили.

Он затормозил у синагоги, где как раз стояли Лупшиц с Тасей. Они горячо обсуждали что-то с видом заговорщиков. Когда я вылез из машины, он сделал ей быстрый знак замолчать. Мгновенно перестроясь, Тася схватила его под руку и глупо захихикала:

— Ну как вам не стыдно, мистер Лупшиц!..

Нетрудно было заподозрить, что они говорили о чём-то, что и я знал; иначе — к чему такая реакция при моём приближении? Уж не собиралась ли Тася купить у него

экзамен? На Каплане она теперь появлялась всё реже, а курила и болтала всё больше. Психиаторша говорила с завистью:

— Подумать, какое счастье: у Аси есть самые верные вопросы! Только это секрет: ей дал их один американский доктор, её ухажёр. И он строго-настрого просил её никому их не показывать.

Такому удачному варианту многие наши завидовали, а женщины — тем более: и вопросы верные, и в придачу американский доктор-ухажёр. Только они поправляли, хихикая:

— Не ухажёр, а бойфренд. Вот повезло-то!

Приближался день следующего экзамена, и я всё чаще повторял каплановские вопросы и тренировал себя на скорость. Хотя знания мои намного улучшились, они не были достаточно твёрдыми. Это мешало мне быстро найти правильный ответ — я путался из-за неустойчивости неглубоких знаний. То мне казалось, что правильным был ответ А, то представлялось, что это мог быть В. Правильные и неправильные ответы часто были так близки друг к другу, что отличить их можно было лишь по малозаметной детали. Самая суть ответа выявлялась только при умении легко и быстро ориентироваться в вопросе. Раньше я этого почти не замечал, а теперь нередко становился в тупик в выборе именно потому, что многое пока знал поверхностно. И я нервничал, что мне не удастся сдать экзамен и на этот раз.

Такой трудный и длинный экзамен вполне сравним с марафонским забегом, а для успеха в том и в другом надо иметь точный расчёт тактики и сил. И я не только тренировал себя к ответам, но и вёл для самого себя стратегический расчёт: какие разделы я знаю лучше, какие слабей, какие не знаю почти совсем (психиатрия, гигиена). Для того чтобы получить даже минимально допустимый балл 75, мне надо было повысить свой прежний результат на семь баллов. Это была почти невыполнимая задача. Опытные «сдавальщики» говорили, что от раза к разу результат улучшается на три и никогда не больше, чем на пять баллов. Это было высчитано на де-

сятках примеров. Я с грустью прикидывал, что смогу на этот раз получить 70—72, не больше. Ирине я об этих расчётах не рассказывал, не желая огорчать её заранее. Но и в успехе не заверял.

У неё у самой было потрясение на работе: хотя всё шло гладко и директор лаборатории д-р Розен был ею доволен, он однажды вызвал её и сказал:

— В отделе кадров мне сделали замечание из-за вас.

— Что случилось? — удивилась Ирина.

— Я не имею права держать вас на лаборантской должности, потому что у вас есть научная степень. И они этим недовольны.

У Ирины душа упала в пятки: она поняла, что её увольняют, что она опять лишается работы — уже в третий раз.

— Но я ведь и не скрывала от вас, что имею образование и русскую степень.

— В Америке это соответствует степени Ph.D. (доктор философии), — сказал он.

Ирина ждала, готовая чуть ли не расплакаться. А он добавил:

— Мы вот что сделаем: я перевожу вас на должность научного сотрудника и соответственно повышаю вам зарплату. Теперь вы будете получать четырнадцать тысяч в год.

Что и говорить, она была счастлива! Но переживание травмировало её: баланс нашего материального благополучия лежал на её плечах и был такой неустойчивый...

Вскоре мы опять собрались в той же гостинице на сдачу экзамена. Толпа была такая же огромная, и опять в ней преобладали лица индусского типа и восточные. Наши были всё те же, русская группа менялась мало и медленно: добавились недавно прибывшие, но почти не убавились давно сдававшие: и психиаторша, и Тася, и я с ними. Мой приятель Игорь пришёл сдавать в пятый раз!

С самого начала я почувствовал, что понимаю вопросы лучше и отвечаю точнее, но — всё ещё очень замедленно. Когда я попытался ускорить работу, то сразу сбился.

В каждом новом экзамене было изменение баланса вопросов: хотя они были по всем разделам медицины, иногда могли преобладать акушерско-гинекологические, иногда кардиологические, иногда фармакологические. На этот раз доминировали психиатрические и по гигиене (в Америке к гигиене относится организация здравоохранения). Как на грех, именно эти разделы у меня были подготовлены слабее других. Чуть ли не через каждые 5—6 вопросов я стал встречать именно то, чего почти совсем не знал. В спешке и некоторой панике я пытался найти логические ответы, но логическое в этом экзамене не работало: или знал, или не знал. Тем более что именно психиатрия и организация здравоохранения в Америке больше всего отличаются от советских концепций.

И ещё оказалось много физиологических и психологических вопросов, а также по сексу и сексопатологии: про мужской и женский оргазм, про сексуальные фантазии, про зоны и способы сексуального возбуждения. Они, может, и важны в определённых разделах медицины, но не для обычного клинициста, как я. Эти вопросы ставили меня, зрелого мужчину, в совершенный тупик. Например, спрашивалось: в какой позиции женщина получает большее сексуальное удовлетворение? На выбор давались всевозможные позиции партнёров. В моих воспалённых спешкой мозгах пробегал и собственный опыт, и литературные данные. Но чёрт его знает — какая же из позиций? Не помню, что я ответил, но, забегая вперёд, скажу, что правильным был ответ: когда женщина находится наверху мужчины. Вот тебе на! — я и до сих пор не уверен, что это так. Но ни рассуждать, ни ухмыляться тогда я не мог: правильный ответ — единственное, что мне было нужно для сдачи экзамена.

Потеряв драгоценные минуты, я пытался навёрстывать на клинических и теоретических вопросах. Дело как будто стало выравниваться. Но — другая преграда: пошли серии так называемых вопросов на соответствие. В этих случаях давалось сразу 10—12 коротких вопросов, и за ними следовали, тоже подряд, приблизительно столько же ответов. Задача была — дать каждому вопросу соответствующий ответ. Разброс в тематике был по всей медицине. Несколько ответов могли быть и лишними. Технология в этих разделах была такая: читай первый вопрос — просматривай подряд все ответы — выбирай один соответствующий; читай второй вопрос — снова читай все отве-

ты и выбирай соответствующий. И так всё до конца. А когда всё ответил, то могли оставаться два-три лишних ответа, которые ставились не иначе, как для того, чтобы сбивать экзаменующегося: проверка на точность знаний.

И опять я завозился, подбирая соответствующие ответы. К перерыву у меня было недокончено много вопросов, на которые я судорожно написал ответы наобум. А в перерыве — сплошной встревоженный шум в толпе: все обсуждают, спорят, доказывают, расстраиваются. Я на этот раз и радуюсь, и расстраиваюсь: кое-что ответил правильно, но кое-где сделал ошибки. На удивление спокойней других была Тася. Она даже говорила:

— Знаешь, кисанька-лапушка, мне на этот раз вопросы показались не такие трудные, как на прошлом экзамене. Мне даже хватило времени проверить все ещё раз.

— Вопросы нетрудные? — удивлялась психиаторша. — Может, тебе они лёгкие, а я таких трудных вообще не помню!

Но для меня на этот раз экзамен был действительно легче — я понимал больше и отвечал точней. Но всё же чувствовал, что моих знаний ещё недостаточно. И много вечеров потом мы с Ириной гуляли вдоль Центрального парка, и она терпеливо выслушивала, как я опять взвешивал мои шансы, вспоминая и обсуждая вопросы и ответы. Я всё-таки предпочитал сильно её не расстраивать и не высказывать все сомнения до получения результата.

Я возобновил свои занятия и нарисовал для себя ещё больше рисунков по многим разделам медицины — это помогало мне удержать всё в зрительной памяти. Фактически я нарисовал чуть ли не всю медицину и потом много лет показывал эти рисунки своим коллегам, некоторые делали копии с них, чтобы по ним заниматься. Кое-кто советовал мне издать их отдельной книгой. Но в Америке по каждому вопросу издаётся так много книг, что мне не было смысла ставить перед собой ещё и эту задачу. Пока что я решил возобновить свои передачи на радиостанции «Свобода» и позвонил редактору Мусину. Он встревоженно сказал:

— Старик, знаешь, что у нас случилось? Таня умерла.

— Как — умерла?.. От чего, когда? — я опешил.

— Это случилось на прошлой неделе, совершенно неожиданно. Она дома принимала ванну и случайно в ней утонула. Её нашли мёртвой.

Абсолютно обескураживающая новость: красавица Таня, трагическая фигура иммиграции, умерла! И при каких-то совершенно странных обстоятельствах... Когда я пришёл на радиостанцию, Мусин рассказал некоторые подробности:

— Понимаешь, удивительно то, что она принимала ванну совершенно одетая, в своём халате. Зачем это?

— Так это же самоубийство!

— Ты так думаешь, старик? Почему?

— Конечно, самоубийство. Поверь мне: я видел достаточно самоубийц на своём врачебном веку.

— Ну, не может быть...

— Но кто станет принимать ванну в халате? Особенно если она была дома одна.

— Может быть, ты и прав. Только — трудно поверить. Говорили, вскрытие показало, что она была пьяна в момент смерти, и даже нашли какие-то наркотики в её организме. Она была какая-то странная в последние дни, рассеянная, беспокойная.

— Она готовилась к самоубийству, она думала об этом все те дни. Поэтому и странная.

— Ты так думаешь? Может, ты и прав.

— Слушай, когда она в последний раз села в ванну, то знала, что её найдут там уже мёртвой. И ей не хотелось, чтобы чужие люди видели её тело голым. Именно поэтому она и села в ванну в халате.

— Может, ты и прав, — повторял он.

Тут вошла в студию её бывшая подруга и сердито вступила в разговор:

— Это всё её муж виноват. Она мне на него жаловалась уже давно. Он такой подонок!

— Где он был в тот момент? — спросил я.

— Его дома не было, когда она умерла. Но потом полиция допрашивала его и даже, кажется, держала несколько дней под подозрением. Однако ничего определённого не установили, — сказал Мусин.

— А я вам говорю, что это его вина, — настаивала подруга. — Если бы вы знали, какие ужасные вещи она

про него рассказывала! Я не хочу это повторять, чтобы не оскорблять память моей покойной подруги...

Приблизительно через полгода-год в газетах было сообщено, что муж покойной Тани, Юрий Б. найден в своей квартире убитым выстрелом в голову. Убийство не было с целью ограбления: в доме нашли $10 000 и — никаких следов сопротивления. По сценарию это было типичное для мафии наказание, устранение с дороги. И это косвенно проливало свет на то, почему Таня решилась на самоубийство: она могла подозревать, что устранение убийством — достойная с ним расплата, а может быть — и с ней. И решила устраниться сама.

И теперь, описывая эту трагедию почти через двадцать лет, я тоже чувствую, что нарушаю тайну красавицы Тани. Но я хотел показать, кого куда приводят пути иммиграции.

Я получил письмо от д-ра Ирвинга Куппера, нейрохирурга с мировым именем.

На шикарном бланке с названием «Институт медицины и гуманизма», с изображением Атланта, поддерживающего земной шар, он писал, что прочёл мои статьи в журнале «Медицинская экономика» — «Социализированная медицина в Советском Союзе», они ему понравились и навели на мысль организовать международный симпозиум по проблемам социализированной медицины в России и в других странах. Он приглашал меня выступить докладчиком на этом симпозиуме, который будет организован следующей зимой в городе Неаполь (Naples) во Флориде; мне будут оплачены все расходы по поездке и обещан гонорар $1000. Для знакомства и обсуждения д-р Куппер приглашал меня приехать в пригород Нью-Йорка городок Валхалла, там при Нью-Йоркском колледже медицины располагался Институт нейрохирургии, директором которого он и был.

Профессор Куппер был одним из самых известных врачей мира: в 1960-х годах он первым в мире начал лечить мозговое заболевание пожилого возраста — паркинсонизм — хирургическим путём. Для этого он разработал метод проведения тонких игл в основание мозга и производил через них местное замораживание тех структур, от которых исходило развитие болезни. По новизне, смелости и точности это была настоящая революция в хирургии. Получить персональное письмо от такого крупного учёного было большой честью.

В жаркий летний день мы с Ириной поехали в Валхаллу на поезде, потом пересели на автобус. На машине езды туда было не более часа, но о машине мы и не мечтали. Ирина ехала в качестве переводчика — для такой важной деловой беседы мой английский был ещё недостаточен. Это меня расстраивало. А по дороге случилась новая неприятность: наполовину оторвалась подошва на одном из моих единственных летних туфель. Теперь она отвисала и хлюпала на каждом шагу, и было неудобно ходить, а когда я сидел, то прятал ногу поглубже под сиденье. Необходимость всё время думать об этом нервировала.

В институте была классическая академическая обстановка. Секретарша проводила нас в комнату ожидания, там по стенам висели американские и международные дипломы д-ра Куппера, он был членом академий и научных обществ чуть ли не всего мира. Побродив вдоль стен, я насчитал шестьдесят дипломов и сел, спрятав ноги под стул. Вскоре нас пригласили в кабинет. Типичный американец, высокий седой мужчина (ему тогда было 57—58 лет) с широкой улыбкой вышел нам навстречу, приветливо пожал руки, ввёл в кабинет и заботливо усадил в кресла:

— Я читал ваше интервью и знаю, что вы были известным ортопедом в России, — начал он. — Я рад видеть перед собой такого крупного специалиста, который теперь живёт и работает в Америке.

В это время крупный специалист был занят запихиванием ног как можно глубже под кресло. Но при этом я всё-таки вставил, что жить-то я здесь живу, но пока ещё не работаю, и мне предстоит сдать экзамен и пройти резидентуру. Куппер с любезной уверенностью возразил:

— Ну, экзамен вы, конечно, сдадите, а резидентуру вам обязательно сократят, учитывая ваш большой опыт.

Это было приятное начало беседы. Потом мы обсуждали программу предстоящего симпозиума: он расспраши-

вал, в каких странах есть социализированная медицина, советовался — каких представителей приглашать, на чём делать акцент обсуждения.

Ирина многое, почти всё, очень толково переводила (толковая жена всегда знает больше мужа о его работе). Уловив это и поняв, что без неё мне не справиться, Куппер тут же любезно предложил Ирине:

— Я приглашаю вас тоже, мы оплатим ваш полёт туда и обратно. Я предоставлю вам один из двух домов, которые у меня есть в Неаполе. Мне этот дом совсем не нужен, там располагается контора моего института, но дом абсолютно жилой, вы можете жить в нём неделю или две, сколько вам захочется.

Мы, естественно, удивлялись и благодарили, благодарили и удивлялись его утончённой любезности. Принесли кофе и печенье, секретарь разлила ароматный напиток в красивые чашки. После кофе Куппер повёл нас осмотреть его институт:

— Мне интересно узнать ваше мнение о некоторых моих пациентах.

Конечно, и мне было интересно осмотреть такой всемирно известный институт, но расстраивала оторванная подошва. Стараясь не очень отрывать ногу от пола, я заскользил за ним по коридорам. Благо ещё, что полы были довольно скользкие. Со стороны я мог производить впечатление тренирующегося конькобежца или — ненормального. Но Куппер, тактичный джентльмен, и глазом не повёл. Он с увлечением показывал своих оперированных больных и спрашивал моё мнение. Как только мы подходили в постели больного, я сразу прижимался к ней коленками, чтобы спрятать подошву, а потом уже отвечал на его вопросы.

На прощанье он сказал:

— Я буду держать вас в курсе организационных дел. Я уверен, что с вашим участием симпозиум будет иметь успех.

Я благодарил, пряча ногу под стол, а сам решил, что непременно куплю новую пару туфель. Тем более что должен получить гонорар.

Таким приёмом мы с Ириной были поражены: вот как настоящий профессионал высокого класса относится к

своему коллеге! — это так отличалось от «приёмов» других американских докторов. Да, но вот — подошва, чёрт её подери...

Вообще бедность не очень огорчала меня, я как-то мало придавал ей значения, занятый интенсивной учёбой и непосредственными делами. Ирина, довольно набалованная в прошлом женщина, и вообще как женщина, могла, наверное, относиться к этому по-другому. Но мы с ней нашу бедность не обсуждали, принимая её как какую-то необходимость, хотя бы на время (а на какое время — мы не знали).

Только иногда наша затянувшаяся неустроенность давала себя знать по контрасту, в каких-то конкретных сравнениях. Однажды, проходя мимо нашей бывшей гостиницы, я увидел у входа группу людей — Берла и других старожилов, которым харьковский часовщик демонстрировал свою новую машину «Бьюик-Регал», блестящий лимузин.

Он рассказывал хвастливо:

— А что? — мой бизнес расширяется. Со мной теперь работают двое из России — морской инженер и бывший капитан первого ранга — полковник флота. Вот, он полковник, а я ему плачу. А! Через них я наладил связь с русскими моряками, которые приплывают на торговых кораблях в Латинскую Америку. Чего они там привозят этим голопупым — мне дела нет. А мне они привозят механизмы русских часов, и я скупаю их по доллару штука. А что? — выгодно. Механизмы, конечно, не ахти какие, но ничего — тикают. Мы их привозим сюда и вкладываем в футляры лучших швейцарских фирм. Получается товар что надо! И я продаю его на улицах в центре города. Не я, конечно, а я держу для этого целую свору черномазых. Ну, а за полцены, да ещё и без налогов, люди покупают очень охотно.

Так вот какую работу предлагал тогда мне этот жулик! Хорош бы я был, продавая на улицах его подделки. Интересно, как это у него хватило совести предлагать мне такое? Вообще на улицах Нью-Йорка у разной швали можно было купить всё. Но надо было стать сугубо сухим капиталистом-предпринимателем в душе, чтобы предлагать

такую сделку доктору, профессору. Быстро же он перестроился, этот бывший харьковский часовщик. Ну а кроме таких торговцев, была на улицах масса зазывал в клубы стриптиза и разные бардаки; они ловили пешеходов на тротуарах и вручали им открытки с голыми довочками. Может, мне и такую работу станут предлагать?

Берл слушал часовщика со скептической улыбкой:

— Ну, что я говорил? — это Америка. Вот вы шумели, что вам здесь всё не понравилось. А я вам говорил, что Америка — это рай для иммигрантов. Помалу, помалу все здесь находят своё.

Отведя меня в сторону, Берл добавил:

— Совсем другой человек, а! Нашёл сам себя: стал настоящим американским жуликом.

Покосившись на блестящий «Бьюик» и вспомнив свою отвалившуюся подошву, я ответил:

— Похоже, только жуликам здесь и есть настоящее раздолье.

Чуткий и умный Берл понял и сказал своё:

— Помалу, помалу, и у вас будет успех. Он будет уже сидеть в тюрьме, а вы будете зарабатывать свои большие деньги честным трудом.

Иммиграция, как стихийное бедствие, переламывала всё и всех, и невозможно было предугадать — кто погибнет, как красавица Таня; кто выплывет на поверхность — как этот часовщик; или кто будет бедствовать, как я. Ясно было одно: надо продолжать бороться за новую жизнь.

Мой знакомый невропатолог Зиновий так и не смог никого удивить своими научными статьями (да и можно ли чем-нибудь удивить Америку?) и теперь готовился к экзамену, как все. Его жена, специалистка по крепостному театру XVIII века, сначала повторяла заносчиво:

— Я себя какой-нибудь работой унижать не стану, — и получала пособие по велфару.

Но когда ей пришлось много раз ходить за маленьким чеком в конторы для бедняков и часами сидеть там в очередях вместе с нищими, в основном — чёрными, у неё развилась депрессия. А когда администрация вэлфара стала пытаться посылать на физическую работу — её срочно начали лечить от психических расстройств.

Подходило время получения по почте результатов экзамена, все наши нервничали. Уже две недели я с нетерпением заглядывал в почтовый ящик, но заветный конверт из Филадельфии, из Центра ECFMG, всё не приходил. Что-то в нём будет? Я жил в состоянии напряжения. Но вот однажды утром в коридоре Каплановского центра раздался истошный крик психиаторши:

— Тася сдала экзамен! Тася сдала! Она получила 76!..

Сама она опять не сдала, но почему-то больше радовалась успеху Таси, чем огорчалась своей неудачей. Все засуетились, возбуждённо бегали один к другому:

— Сдал? Не сдал? Что получил?..

На этот раз было довольно много сдавших и среди наших русских. Это был хороший знак: может, и мне повезло? Я помчался домой, чуть ли не бегом пробежал сорок кварталов города, задыхаясь от спешки, достал конверт из ящика — что? — я получил 73, на два балла меньше необходимых 75. Значит, опять не сдал... Ведь уже год, как я упорно занимался, а всё ещё недостаточно. Я рассчитывал даже на меньшее — всего на 70—72, но когда увидел, что мне не хватило только двух баллов, меня взяла досада и злость.

Итак, всё моё упорство принесло мне всего шесть баллов. Но как же Тася смогла улучшить свой результат на целых одиннадцать баллов? Могло ли быть такое? — конечно, нет. Не было сомнений — не зря она вела дружбу с мистером Лупшицем, который когда-то торговал экзаменом за $10 000, предлагая это жульничество и мне. Опять получалось, что жуликам в Америке устраиваться легче.

Э, да чёрт с ними!.. Что мне до них? Для меня попрежнему тянулась полоса неудач, и я чувствовал — начиналось опустошение души. Когда Ирина вернулась с работы, я понуро сидел над грудой бумаг со своей нарисованной медициной, тупо уставившись в них и зажав ладони между коленями. Наверное, эта поза была похожа на позу Гоголя, сжигающего второй том «Мёртвых душ». Ирина поняла, подсела и обняла меня. Так мы просидели несколько минут, ворочая тяжёлые камни разных дум об одном и том же: что будет и когда будет?

Помолчав, в бессильном раздражении я злобно сказал:

— Если не сдам экзамен и в следующий раз, пойду работать зазывалой в бардак. Буду стоять на улице и всучать прохожим открытки с голыми девками. Красота!..

Ирина в ответ показала мне газету «Нью-Йорк таймс», подобранную ею в лаборатории:

— Смотри, здесь есть объявление о работе. Может, стоит, на всякий случай, послать им твоё резюме? Многие люди находят работу по объявлению в газете.

Я глянул небрежно: объявлялось, что госпиталю Святого Винсента в Манхэттене требовались четыре парамедика — это полусестринская должность. Обычно парамедики разъезжают на вызовы на машинах скорой помощи, оказывают срочную помощь и привозят больных в госпиталь. Работа, конечно, низкой квалификации, но в том моём настроении мне было всё равно:

— Ладно, пошлю им бумаги...

КАЖЕТСЯ, Я НАХОЖУ АМЕРИКАНСКОГО СОАВТОРА

Бумаги я послал — без всякой надежды и энтузиазма, заполнил и послал в тот госпиталь. И эти рассылки, и вежливые отказы на них стали для меня привычным делом. В коротком описании своей прежней рабочей деятельности — Curiculum Vitae, или просто CV по-английски — я с каждым разом всё больше сокращал свои прежние научные титулы: был врачом-хирургом и всё — проще для получения работы. Да ведь и просился-то я всего-навсего на мелкие технические должности, так зачем указывать своё прошлое профессорство? Послав бумаги, я вскоре о них и забыл.

Каждое утро я по-прежнему вставал в 4 часа и повторял темы вчерашних занятий. Когда просыпалась Ирина, мы немного переговаривали с ней впечатления вчерашнего дня и заботы предстоящего, я провожал её до станции метро. Короткие эти разговоры помогали нам заново налаживать отношения — терять супружеские связи легко, но восстанавливать их мучительно тяжело. Потом я занимался дома ещё полдня, а когда подходило время Ирине и сыну возвращаться, я брал с собой сандвич и шёл на курсы Каплана — приблизительно сто кварталов, около 4 км. Ходил я быстро, это было моим единственным физическим упражнением. А потом сидел, не отрываясь от бумаг и не снимая наушников, до 10 вечера и опять пешком возвращался домой, но уже еле тащась. И всю дорогу думал о том, что жаловаться мне, кроме как на самого себя, некому, и всё равно другого выхода нет — надо сдать экзамен. Иногда я ловил себя на том, что от отчаяния скрежетал зубами, сжимал кулаки и даже невольно стонал.

Дома настроение было напряжённое, собравшись поздно вечером вместе, мы большей частью подавленно

молчали. Стресс иммиграции всё больше давил на нас, и даже мой несгибаемый оптимизм уже начинал прогибаться. Перспектива хоть какого-то успеха была как заманчивая линия горизонта: кажется, что приближаешься к ней, но на самом деле она отодвигается всё дальше. Чтобы выдержать всё это, нужны были страшные моральные и физические усилия. А я уже ощущал упадок сил, и угнетало предчувствие, что в мои пятьдесят здоровье может мне изменить.

Что-то странное случилось однажды с моей левой ногой: во время быстрой ходьбы я неожиданно ощутил острую боль в бедре, где-то в области тазобедренного сустава. Я ведь не падал и не ушибал ногу. Может быть, шёл слишком быстро? Я замедлил шаг и, хромая, доплёлся до курсов. Но и сидеть мне тоже было больно, я искал удобное положение, это мешало сосредотачиваться. Боль успокаивалась лишь при вытянутой и полусогнутой ноге, да и то ненадолго. В тот вечер я едва сумел добраться до остановки автобуса. Ирина была увлечена телевизионной передачей, и я ничего ей не сказал. Ночью боль не давала заснуть, я всё время ворочался. Утром я объяснил Ирине, что провожать её до метро мне некогда. И так потом мучился несколько дней. Она заметила мою вынужденно скрюченную позицию и страдальческую мимику.

— Что случилось с тобой?

— Ничего серьёзного. Скоро пройдёт, — я старался говорить как можно более уверенно.

— Но что за причина? Ты страдаешь от боли, — настаивала она.

— Бедро болит. Совершенно не знаю почему.

— Может быть, тебе надо сделать рентгеновский снимок?

— Давай подождём. Надеюсь, как началось, так вскоре и пройдёт само по себе.

Теперь я ездил на курсы и обратно на автобусе, но и доходить до остановки мне было мучительно тяжело. Ирина беспокоилась всё больше. Я старался, как мог, успокаивать её, но она становилась недоверчивой и всё более обеспокоенной.

— Я волнуюсь за тебя, — говорила она, — ты невероятно изменился с тех пор, как стал чувствовать эту боль в бедре. Может быть, я виновата в этом?

— Ты? — я поразился. — Каким образом это может быть твоей виной?

— Знаешь, когда у нас был этот разлад, я была ужасно на тебя зла. И вот однажды я пошла в часовню Пресвитерианского госпиталя, где находится наша лаборатория...

— Ты пошла в часовню? Зачем?

— Ты знаешь, хотя я абсолютно неверующая, но в тот раз я решилась просить Бога: «Дорогой Бог, если Ты существуешь, сделай так, чтобы он страдал».

— Зачем? Это же бессмыслица, — я улыбнулся, обнял её и притянул к себе.

— Но я боюсь, что Он услышал мою просьбу, — продолжала она. — Когда нога стала тебя беспокоить, я опять пошла в ту часовню и попросила: «Пожалуйста, Бог, смягчись, я не просила Тебя делать его калекой».

Она всхлипнула и как-то расслабилась в моём объятии. Я чувствовал, что хочу смеяться и плакать вместе; я не верил в чудеса взаимодействия с Высшими силами — и это было смешно, но я понимал, как Ирина тогда страдала и злилась, если решила обратиться к тем Высшим силам, чтобы Они покарали её мужа — было в этом что-то вагнеровское, из его опер с заклинаниями; и это было грустно.

Ирина потом каждый день участливо расспрашивала меня про боль и хотела узнать моё объяснение:

— Ты же сам доктор-ортопед, специалист по таким заболеваниям. Что ты думаешь о своей боли, отчего она?

— Откровенно говоря, сам не понимаю. Но думаю, что это не опасно.

— Ты уверен? А если бы к тебе пришёл пациент с такой же болью, что бы ты сделал?

— В первую очередь сделал бы ему рентгеновский снимок.

— Так почему ты сам не хочешь, чтобы тебе сделали снимок?

— Давай ещё подождём: во-первых, я надеюсь, что боль всё-таки пройдёт сама по себе, а во-вторых, у меня нет медицинской страховки, а чтобы сделать снимок, надо

идти на приём к доктору, только он может его назначить. Визит к доктору и снимок обойдутся не меньше, чем в двести долларов.

— О чем ты говоришь? — это же вопрос здоровья.

— Давай подождём, я чувствую, что ничего серьёзного у меня нет — всё обойдётся.

Даже при муках от боли мне всё же не хотелось отрывать время от занятий, некогда было думать об этом — я поставил себе целью сдать экзамен в следующий раз. Но, конечно, я переживал ещё одно ущемление в жизни: когда-то я посылал тысячи пациентов на рентгеновские снимки, а теперь мне самому они нужны — и это было так трудно сделать, что я вынужденно оттягивал.

Но боль всё не проходила. Иногда, на пути на курсы или обратно, она схватывала меня с непереносимой силой, и я не мог сделать ни одного шага, хотя вообще я был довольно малочувствителен к боли и в прошлом терпел без обезболивания удаление зуба. Теперь я не мог терпеть, глотал две таблетки тайленола и стоял на месте, корчась и раскачиваясь взад-вперёд, в ожидании их действия. В такие моменты я, наверное, выглядел странной фигурой. Но на улицах Нью-Йорка можно медленно исходить кровью до смерти и не привлечь ничьего внимания. Ни разу ни один прохожий не проявил внимания и не предложил мне помощи.

Всё-таки однажды поздно вечером, когда из-за боли я сидел на парапете тротуара и качался, ко мне подбежала маленькая собачонка. Она обнюхала меня и уже было подняла лапку, чтобы помочиться, но я успел быстро откачнуться. Собачонка была на длинном поводке, на другом конце которого болтался невзрачный человечек — её хозяин. Он чему-то улыбался и рассматривал меня с некоторой заинтересованностью.

— Извините, вы — еврей? — спросил он по-английски.

С удивлением я глянул на него снизу вверх:

— У меня болит нога, в этом всё дело. Но ваше предположение правильное — я еврей.

— Из какой вы страны? Судя по вашему акценту, вы, должно быть, француз.

— Н-н-нет, — простонал я сквозь зубы, превозмогая новый наплыв острой боли.

— Тогда из Скандинавии?

— Н-н-нет.

— Из Польши?

Чёрт бы его побрал, чего он хочет от меня? Даже собачка стремилась в сторону, натягивая поводок, а он всё высился возле меня, приставая с расспросами.

— Я из России.

— Так я и думал! — воскликнул он неожиданно. — Вы иммигрант?

— Да.

— Вы собираетесь ехать обратно в Россию?

— Я же сказал вам, что я иммигрант.

— Да, конечно. Как вам нравится здесь?

— Вы имеете в виду здесь, на тротуаре?

Но он не понял этого крючка моего саркастического остроумия.

— Нет, я имею в виду вообще — вам нравится жить в Америке?

— Да, мне нравится, особенно когда нога не болит.

— А что случилось с вашей ногой?

— Кто знает...

— Вам надо проконсультироваться у доктора, он вам скажет.

— Я сам доктор.

— Вы?.. Доктор?.. Это прекрасно! Вы практикуете, работаете доктором здесь?

— Нет, я только готовлюсь к сдаче экзамена.

— Скажите, а это правда, что медицина в России бесплатная? А правда, что там больше женщин-докторов, чем мужчин?

Я понял, что он не отвяжется, поэтому поднялся и стал уходить, хромая. Но он всё шёл за мной, волоча собачонку, постоянно чему-то улыбался и осыпал меня вопросами, и все они были не к месту и странно примитивные. Наконец я потерял терпение и сказал:

— Я пишу книгу, которая может дать ответы на все ваши вопросы.

— Какое название? Кто издатель? Могу я получить её в библиотеке?

— К сожалению, книга ещё не опубликована и, может быть, никогда и не будет.

— Почему?

— Я не могу найти издателя.

— Вы написали вашу книгу на английском?

— Вы считаете, что мой английский достаточно хорош, чтобы писать книги? Конечно же, я написал на русском, но у меня есть переводчик.

— Вам нужен американский соавтор! — воскликнул он и засверкал глазками.

— Я думал о такой возможности. Но я никого не знаю.

— Я могу помочь вам! — его глазки сверлили меня. — Я свободный журналист и уже написал в соавторстве две книги. Я думаю, я мог бы работать с вами над вашей рукописью. Я лично знаком с редакторами журналов, и меня знают издатели разных издательств. Я могу поговорить кое с кем из них и заинтересовать их вашей книгой. Они мне доверяют, — добавил он хвастливо.

Его невзрачный вид и назойливая настойчивость вызывали во мне смешанные чувства. Он мне не нравился неуместностью и примитивностью своих вопросов, но это было лишь впечатление от случайной первой беседы, да ещё в неподходящей обстановке. Если он говорил правду, что он журналист, то его предложение было заманчиво. К тому же он сказал, что уже написал две книги. А я пока ещё не встречал в Нью-Йорке никого, кто написал бы две книги.

Мы обменялись телефонами.

НОГА

Боль в ноге не утихала уже несколько недель. Много раз я себя ощупывал, как собственного пациента, читал страницы медицинских книг на эту тему и взвешивал разные возможности. Боль возникала где-то на уровне тазобедренного сустава и распространялась вниз по ходу седалищного нерва до колена. Движения в суставах были сохранены и слабости ноги не было, но наступать на неё и двигать ею было мучительно болезненно. Мог ли это быть артрит? — вряд ли: слишком острая и распространяющаяся боль. Может, это следствие кровоизлияния в ствол нерва, которое вызвало его воспаление? — это довольно редкое заболевание, называемое невропраксия. Но боль могла быть и от других причин, например — от опухоли в области таза, когда она давит на нерв, или в результате скрытого начального разрушения кости. Какого рода опухоль, какого происхождения разрушение? Ответ на это мог дать только рентгеновский снимок.

Есть поговорка: «Врачу — исцелися сам». Чтобы исцелить кого другого или самого себя, надо знать диагноз. Я понял, что придётся ехать в отделение срочной помощи при госпитале, называемое в Америке Evergency Room — сокращённо ER. В таких отделениях обязаны принимать всех подряд, со страховками или без них, — платить необязательно. Поэтому там всегда скапливается масса неимущего народа, особенно много чёрных и иммигрантов из Латинской Америки и с островов Карибского моря. Смотрят их там доктора, тренированные только на оказание срочной помощи, — начинающие врачи-резиденты на специализации после окончания института. В моём непростом для понимания случае такой доктор разобраться не сможет. Но главное для меня было — увидеть своими глазами рентгеновский снимок, я надеялся, что доктор покажет мне его. Если на нём будет видна опухоль или

разрушение, тогда уже необходимо обратиться за консультацией и лечением к опытному платному специалисту. Хотя, кто знает, будет ли вообще смысл обращаться к доктору — опухоль в этой области чаще всего бывает неизлечимая саркома, самая смертоносная из всех опухолей. Конец при ней во всех случаях предрешённый.

Этими мыслями я с Ириной не делился — зачем пугать её сомнениями? Есть мужья-нытики, любящие вызывать жалость к себе. Я, наоборот, предпочитаю говорить всё лучше, чем есть на самом деле. А моя Ирина уже так давно страдала, мучилась и напрягалась, что ещё одно сильное переживание способно было полностью её истощить. Я предпочёл бы, чтобы она вообще не знала, что я собирался в госпиталь, и не разделял с ней моих опасений. Но я видел, что её собственные были хуже моих. И она настояла, чтобы мы вместе ехали в Пресвитерианский госпиталь Колумбийского университета, где она работала в научной лаборатории.

Это был мой первый визит в отделение срочной помощи, я ещё не предполагал, что потом мне придётся несколько лет работать в таком отделении. Поездка стоя в густой толпе метро и ходьба по лестницам усилили боль, а таблетки я принимать не хотел, чтобы они не «смазали» картину, когда доктор станет меня обследовать. Но ждать этого пришлось слишком долго. В большом зале для ожидания было не менее пятидесяти человек больных с разными симптомами острых болезней, и на меня никто не обращал внимания. Превозмогая боль, я с интересом оглядывался вокруг. Оборудование было намного лучше и богаче нашего русского, но сама обстановка была такая же привычная: толпа ожидающих больных, и на каталках, и в креслах, а среди них мечущиеся врачи и сёстры. Ирина вышла в свою лабораторию и вернулась в белом халате с нагрудным значком Медицинского центра, это дало ей возможность как сотруднице попросить ускорить мой приём.

Как я и ожидал, обследовавший меня доктор был почти того же возраста, что и наш сын, он лишь год назад закончил институт. Узнав от Ирины, что я хирург-ортопед, он смутился и сказал:

— Вам бы лучше проконсультироваться у кого-нибудь более опытного.

— Спасибо, конечно, но сначала я хотел бы сам увидеть свой рентгеновский снимок.

Пока меня на каталке отвезли в рентгеновский кабинет и пока проявляли снимок, Ирина вышла в лабораторию. Я лежал на каталке в смотровой комнате и думал, что это хорошо, что она вышла, — скоро этот юнец-доктор принесёт мой снимок, и по одному только взгляду на его лицо я могу уловить, что дела плохи. Или, если он не сможет определить диагноз по снимку, я сам смогу: я видел тысячи опухолей и разрушений структуры кости и мог узнать их с первого взгляда. Но одно дело видеть это на чужих снимках, другое — на своём собственном. Если Ирина была бы в этот момент со мной, она могла бы всё узнать по моей мимике, но пока она вернётся, я постараюсь придать лицу более спокойное выражение. Ну, а если оправдаются мои худшие предположения, если мне осталось жить всего несколько месяцев? Тогда я обязан докончить свою книгу. По крайней мере, она останется как память обо мне и, может быть, даст хоть какие-то деньги моей семье...

Доктор вернулся со снимком в руках и со смущённым выражением на лице, я впился в него глазами.

— Знаете, там есть что-то на снимках, — сказал он.

— Что есть? — в горле у меня застревал комок.

— Я думаю, это всего лишь возрастные изменения. Но вы лучше посмотрите сами.

Он поставил два снимка на освещённое стекло негатоскопа на стене, и я впился в них глазами, приподнявшись на локтях и ощущая капельки пота на лбу. Сантиметр за сантиметром я тщательно вглядывался в большие плёнки, стараясь не пропустить ни одной детали. Нет, там не было разрушения кости и не было признаков опухоли, мои худшие опасения не подтвердились. Я откинулся на спину, и волна слабости разлилась по моему телу. Как раз в этот момент вошла Ирина и испытующе глянула на доктора, потом на меня, потом в сами снимки.

— Ничего плохого, — сказал я ей. — Просто кости уже не молодые, доктор прав.

Ирина слабо улыбнулась, не доверяя хорошей новости. Доктор почесал голову:

— Всё-таки я советую вам проконсультироваться у хорошего специалиста.

— Конечно, ты должен пойти к хорошему специалисту, — подхватила Ирина охотно. — Доктор, кто самый лучший ортопед в нашем госпитале?

— Во всём Нью-Йорке вы не найдёте лучшего ортопеда, чем доктор Стинчфелд, наш профессор и бывший заведующий.

— В таком случае мы с ним и проконсультируемся, — сказала она твёрдо.

Я не возражал; пусть будет, как она хочет. Напряжённое ожидание снимка и долгая боль истощили мои силы. Но я ощущал и прилив радости: всё-таки есть для меня ещё будущее и я могу снова его планировать!

По дороге обратно я попросил Ирину показать мне *ту* часовню. Мы пришли в небольшую молельню, сбоку прохода, соединяющего корпуса госпиталя. Внутренне я усмехнулся: как из такого уголка мог донестись до Всевышнего её голос? Но я не стал посмеиваться над той вспышкой её обиды и злости. Мы просидели там несколько минут в молчании, держась за руки. И хотя я не верил, но обещал Высшим силам, что всё-таки закончу мою книгу.

Интересно, то ли оттого, что теперь я знал, что у меня нет смертоносной опухоли, то ли под целительным влиянием времени, но боль стала немного успокаиваться. Я думал, что никакой доктор мне не нужен, но не перечил настояниям Ирины: чтобы смягчить её опасения, я согласился пойти на приём к доктору Стинчфелду. Ещё до осмотра секретарь сказала по телефону, что за первый визит он берёт сто долларов и что он заранее назначил мне много разных анализов и дополнительные рентгеновские снимки, которые тоже будут стоить полтораста. Меня это расстроило, а Ирина даже глазом не моргнула:

— Для твоего здоровья нам ничего не жалко.

У д-ра Стинчфелда был великолепный офис: несколько смотровых комнат с оборудованием, которого я прежде не видел. Пока мы ждали несколько минут, я всё думал:

какое, должно быть, удовольствие работать в таких условиях и с таким оборудованием!

Он сам, его манеры и тщательность, с которой он меня обследовал, произвели впечатление. Лет на пятнадцать старше меня, ему тогда было за шестьдесят пять, он по возрасту уже не мог быть заведующим кафедрой, но продолжал приём и лечение частных больных. Он был настоящий представитель старой школы медицины: очень внимательно расспрашивал и тщательно обследовал, потратив на это больше получаса. Зная, что я его коллега-ортопед, он очень дружественно обсудил со мной своё заключение и исключил все те причины, что и я. Однако диагноз моего заболевания ему не был ясен:

— Я не нахожу у вас ортопедического заболевания, но для уверенности, что мы с вами ничего не пропустили, я рекомендую, чтобы вас ещё посмотрел нейрохирург, я направлю вас к очень опытному специалисту.

Профессор-нейрохирург был даже более внушителен и знаменит, чем Стинчфелд, и его офис был ещё богаче оборудован. Он тоже обследовал меня внимательно, но и ему диагноз не был ясен. Я высказал своё предположение, что это может быть кровоизлияние в ствол нерва. Но мой английский был слаб для таких серьёзных обсуждений, и я показал ему заранее нарисованную мной картинку — как представлял себе своё заболевание. Он рассматривал с интересом, похвалил за то, что я хороший художник, и под конец согласился со мной как врачом. Итак: врачу — исцелися сам.

Оба профессора отказались брать с меня деньги. Я передал им с Ириной подарки — недорогие русские сувениры (дорогих у нас не было). Но счёт из отделения срочной помощи на сто с лишним долларов мы оплатили — неудобно мне, врачу, уклоняться от оплаты больничного счета. А потом оказалось, что можно было не платить, что страховка Ирины покрывала и меня: просто у нас не было никакого опыта.

В ЗАПОВЕДНИКЕ АДИРОНДАКС

Только моя боль немного ослабла и стало легче ходить, как Иринино здоровье начало сдавать. Испытания двух лет иммигрантской жизни со всеми переживаниями привели её в состояние истощения сил — она еле могла двигаться. А в тот год, 1980-й, стояло изнурительно влажное и жаркое нью-йоркское лето, которое всех ослабляло. Ирине необходим был полнейший отдых, но у нас не было денег на поездку куда-нибудь в курортное место, да мы и не знали, как организовать такой отдых. Но надо было на пару недель убираться из города, чтобы сменить обстановку! Даже и на этот срок я с трудом мог отрываться от занятий: ведь я тренировал голову, как спортсмен мышцы, в ней я должен был постоянно держать весь пройденный материал, как в мышцах спортсмена постоянно должна быть сила и гибкость. А запас накопленных знаний легко испарялся даже и от коротких перерывов.

После долгих обсуждений мы решили, что проще и дешевле всего взять напрокат небольшую машину, отъехать несколько часов на север нашего штата Нью-Йорк и остановиться в каком-нибудь дешёвом мотеле. Север покрыт лесным массивом с озёрами, и мы слышали, что там, в заповеднике Адирондакс, не так жарко и воздух всегда чистый и прохладный. Пока мы будем там, я возьму с собой свои материалы и буду повторять вопросы-ответы. И вот в бодром настроении от принятого решения и уже почти не хромая я отправился в гараж проката автомобилей.

— Давайте вашу кредитную карточку, — сказали мне.

Кредитные карты тогда только входили в широкое потребление, и у нас её, конечно, не было. Я удивился и предложил:

— Я заплачу вам наличными вперёд.

— Мы наличные деньги не принимаем.

— Почему?

— Потому что нам нужно знать кредитоспособность наших клиентов.

Для недавнего иммигранта это звучало странно. Какая у нас кредитоспособность — никакой не было. Выручил приятель Мусин, он взял машину на своё имя по своей карточке, а меня записал в контракте как своего шофёра. Я расплатился с ним наличными, и в первый раз за два года сел за руль голубого «Шевроле-Сайтэйшен». Я испытывал забытые приятные ощущения. В последние двадцать пять лет в Москве у меня было шесть советских автомобилей, и теперь за рулём, да ещё американской машины, я будто снова ощутил благополучную состоятельность. Ирина тоже была рада, она все годы любила ездить, сидя рядом со мной, хотя и не умела водить (видеть тогда в России женщину за рулём была большая редкость). Мы оба воспряли духом: кто знает, что будет завтра? — будем жить, будто никакого завтра нет, и мы живём без забот!

На другой день, тщательно изучив дорожную карту, мы ехали в Адирондакс через город Олбани, столицу штата Нью-Йорк. Непривычный к американским скоростным автотрассам, я с напряжением всматривался в дорожные знаки и не раз ошибочно сворачивал в сторону. В России не было таких многорядных дорог — без светофоров, но со сложной системой выездов и въездов. Всё, что мы видели по бокам дороги, казалось нам картинками из американских кинофильмов: большие бензозаправочные станции, многочисленные мотели, паркинги-продажи автомобилей, рестораны МакДональдс, гостиницы Ховарда Джонсона, силосные башни ферм вдали. Это был наш первый выезд на дороги Америки, и мы чувствовали себя как настоящие американцы — мчась параллельно с ними в машине, мы ничем не отличались от них.

— Как странно, — говорили мы друг другу, — мы едем по Америке, по нашей Америке!..

Приехав через четыре часа в Олбани, мы поразились красоте и величественности архитектурного комплекса в центре города — построенной прежним губернатором Нельсоном Рокфеллером знаменитой площади Имперского Штата. Мы решили остановиться и осмотреть комплекс, да и поесть уже было время. Машину мы поставили в многоэтажном подземном гараже, захватили с собой термос с кофе и заготовленные сандвичи и целый час гуляли, осматривали и фотографировались.

Заповедник Адирондакс начался вскоре после Олбани, и в лесном массиве через пару часов начало смеркаться. В

мотелях не было свободных комнат, а мы не догадались резервировать по телефону — опять наша неопытность. И тут мы увидели старый двухэтажный бревенчатый дом на берегу Голубого озера. Мотель? Да, висела вывеска.

— Есть у вас свободная комната? Сколько стоит?

Комната была, и относительно недорогая — пятнадцать долларов, и с прекрасным видом на озеро и горы вдали. И воздух действительно шикарный. Вот здесь и будем отдыхать — нам всё-таки повезло!

Это было прекрасное место для пешеходных прогулок, но Ирина была так слаба, что буквально еле передвигала ноги. Теперь настал мой черёд беспокоиться. Мы сидели возле нашей двери, выходящей прямо на берег, глубоко вдыхали хрустально чистый воздух и любовались видом озера в разное время дня и вечера. Время от времени я с неохотой отрывался, доставал свои записи и продолжал зубрить пройденное.

Через несколько дней Ирина окрепла, и мы решили проехать по северу штата на реку Святого Лаврентия. Там посреди широкой и мощной реки было почти две тысячи маленьких островов. Оттуда поехали на Пальцевидные озера — пять узких и длинных водных массивов в форме пальцев руки. Потом — в район Кэтскилских гор. Никогда мы не видели так много разнообразных красот природы на таком небольшом пространстве. Сравнивая эти яркие виды с плоскими и относительно однообразными пейзажами России, я опять и опять чувствовал радость оттого, что теперь это моя страна, что оставил скучную Россию позади. Человек — дитя природы, он не может полностью зависеть лишь от социальных условий и законов общества и страны; любовь к природе своей страны — это естественное чувство человека. И хотя мы выехали на наш первый отдых в состоянии усталости и слабости, под конец поездки мы были в состоянии почти постоянной эйфории.

Уже давно мы не делили друг с другом взаимные сильные чувства радости и удовольствия, а только грусть и напряжение. Теперь обоюдное наслаждение от нашего открытия американской природы принесло долгожданное успокоение нашим истерзанным душам. И это укрепило прилив новой взаимной любви. Так американская природа заплатила нам за то, что мы влюбились в неё.

ОБМЫВАНИЕ НОВОГО ДОМА МОЕГО СОАВТОРА

Мы вернулись домой отдохнувшие и приободрённые. И покачнувшаяся было моя решимость бороться за будущее воспряла с новой силой. Возобновив ежедневную подготовку к экзамену, я чувствовал, что запас моих новых знаний, а главное — умение ориентироваться в тысячах подчас коварных вопросов — значительно улучшились. Натренированная способность быстро находить верные ответы теперь могла быть достаточной для этого тяжёлого испытания. Но для сдачи языковой части я ещё готов не был: в ней требовалось быстрое понимание сложного устного текста, выбор правильных слов, чтобы вставлять их в предложения, грамматика и синтаксис. Но если бы я разделался с медициной, это освободило бы массу времени для подготовки к английскому.

Позвонил мой знакомый журналист Ховард, который предлагал мне своё соавторство.

Он очень просто и радостно, будто мы старые друзья, воскликнул:

— Владимир, как дела? Давно тебя не видел. Знаешь, я купил небольшой дом, как раз недалеко от тебя, так что мы сможем часто видеться. Пока что мы приглашаем вас на приём по поводу покупки дома (в Америке это называется House warming party и соответствует русскому «обмыванию»). Будут только близкие люди, а я считаю вас близкими. Да, кстати, я уже разговаривал кое с кем насчёт книги, есть надежда, приходи — расскажу.

— Спасибо, конечно, мы придём, — я записал адрес и время.

Какие мы близкие друзья, я не понимал, ему, очевидно, просто хотелось сближения для соавторства. Но радоваться ему было чему: дома в Манхэттене, особенно в

нашем районе, были очень дороги — сотни тысяч долларов. Если Ховард мог позволить себе такое, значит, дела его шли хорошо. А если он зарабатывал на жизнь журналистским трудом, то выявлялось, что он довольно успешный журналист, — это я понимал.

Что ж, было интересно посмотреть на покупку и познакомиться поближе. Мы с Ириной старались использовать каждую возможность общения с американцами, нам интересно и полезно было наблюдать их, говорить с ними. Не то что мы набирались от них мудрости, но это было новое, с чем нам хотелось познакомиться и к чему мы собирались приобщаться в нашей новой стране. А в собственных домах в Манхэттене мы ещё ни разу не были. Традиционно такие дома называют браунстоуны, их строили в конце прошлого и начале этого века, это старые кирпичные здания высотой в четыре-пять узких этажей, очень удобное и даже шикарное жилище. Вокруг нас были целые улицы таких домов, из-за роста населения их стали переделывать на квартиры, а потом полностью перешли на многоэтажные квартирные дома.

Но я уже давно не думал о книге и даже не заглядывал в рукопись, и, кроме того, опасался, что новое упоминание об этом может раздражить Ирину. Передавая ей приглашение, я осторожно рассказал о его предложении насчёт соавторства. Ирина, слегка нахмурившись, спросила:

— Что ты о нём знаешь?

— По правде, ничего. Но я и не очень надеюсь на успех этого дела. Говорит, что он профессиональный журналист, и сам напросился в соавторы. Теперь можно узнать его получше. Но если ты считаешь, что я должен отказаться от идеи о книге, тогда забудем это — я не стану продолжать с ним никаких дел.

Ирина понимала, что книга — моя заветная мечта и что рано или поздно я вернусь к этому, потому что никому нельзя уйти от самого себя. После нашего примирения и отдыха её раздражённость намного ослабла. Не очень охотно она уступила:

— Что ж, давай посмотрим — что он за человек и что может тебе предложить. Тогда легче будет принять верное решение. Пойдём, по крайней мере будем разговаривать на английском, это нам обоим полезно.

Дом был действительно хороший, всё в нём было просторно и пахло свежей краской. Сам Ховард был радушный хозяин: только он увидел нас у застеклённой двери входа, его маленькие глазки засияли, он радостно кинулся к нам. За ним так же радостно бежала моя знакомая собачка, она как бы имела приоритет на знакомство со мной.

Он ввёл нас в гостиную, где с бокалами вина в руках стояло десятка два гостей. Ховард с повышенным восторгом стал представлять нас:

— Это доктор, недавно только из России, будущая знаменитость. Мы вместе работаем над проектом его книги. А это его очаровательная жена, которой суждено стать миллионершей, когда её муж добьётся богатства как врач и как писатель.

— Действительно? Как прекрасно! — восклицали некоторые из гостей. — Расскажите, о чём ваша книга?

— Она про медицину в России и мой опыт в ней.

— Это будет успешная книга, бестселлер! — восклицал Ховард. — Вот увидите, по ней сделают кино! — успех, известность, богатство! Это будут миллионы, миллионы долларов!

Ирине, да и мне тоже, не нравился этот разговор. Учитывая наше настоящее состояние, было довольно преждевременно предсказывать нам кучи денег в будущем. С плохо скрываемым раздражением она возразила на восклицания хозяина:

— Мы не стремимся к богатству — деньги не приносят счастья.

— Это вы так кисло говорите потому, что не имеете достаточно денег сейчас. Поверьте, самый первый ваш миллион сразу, как чудом, изменит ваши взгляды. Я знаю вкус успеха — я написал две книги, обе они бестселлеры, — шумел хозяин.

Мы ещё не знали, что тема денег почти всегда присутствует и часто доминирует в разговорах американцев. Но о деньгах говорили все во всех углах гостиной, а потом и за столом в столовой. Общество состояло из людей среднего возраста и состояния, выглядели все интеллигентно, но разговоры вели деловые и скучные. Ирина была изящно и со вкусом одета, после отдыха выглядела свежей и привлекательной, её стали отвлекать вопросами — откуда мы, как и почему уехали, русское ли на ней платье?

— Покажите мне ваши книги, — попросил я Ховарда, чтобы прервать его восклицания.

Он — радостно:

— Одна называется «Как стать своим собственным электриком» — я писал её вместе со знатоком электрического дела, а другая называется «Как стать своим собственным механиком» — тоже написана совместно с профессором механики.

С этими словами он гордо снял с полки и выложил на стол два солидных тома в твёрдой обложке. Немного опешив, я стал их листать, тематика меня поразила.

Это были книги из популярной серии «Делай сам», которые могли хорошо продаваться, но никакой литературой от них не пахло. «Боже мой! — думал я. — Какой же он писатель? В этих технических инструкциях нет и намёка на литературный стиль. Как он сможет быть моим соавтором? Моя книга — это история жизни доктора с описанием многих лиц и фактов, она построена на событиях, диалогах и идеях...»

Но Ховард явно не замечал моей растерянности. Он принадлежал к людям с толстой кожей, полным самими собой и лишённым чувствительности и остроумия. А он ещё и был возбуждён приёмом гостей в новом доме, разогрет вином, и это делало его восклицания ещё более бурными:

— Я уже разговаривал с главным редактором крупного издательства «Харпер и Роу» и рассказал о вас. Он очень заинтересовался нашей идеей. Поскольку он знает меня как соавтора бестселлеров, я думаю, что он согласится публиковать нашу книгу.

«Немного же потребовалось времени, чтобы считать мою книгу нашей», — думал я.

— Когда ты получишь перевод? — приставал Ховард.

— О каком переводе ты спрашиваешь, когда мы ещё не закончили книгу? — парировал я, выделяя «мы».

Не чувствуя моего сарказма, Ховард не унимался:

— Слушай, пока рукопись будет переводиться, ты должен рассказать мне несколько историй из неё. Я использую их для составления Предложения и Оглавления. Я пошлю их в несколько издательств, чтобы посмотреть — какое из них предложит больше. Я собираюсь просить сто

тысяч долларов. Ну, как тебе это понравилось? — он сказал так, будто деньги уже лежат у него в кармане.

— Никто не даст столько.

— Глупости! Ты даже не представляешь, какой шедевр я могу сделать из Предложения и Оглавления! Публика любит такие вещи. Я знаю американского читателя. Это будет великолепно!

Он всё наступал на меня, и его маленькие глазки восторженно и испытующе сверкали. Провожая нас после ужина и десерта, уже на наружной лестнице дома, он кричал нам вдогонку в темноту:

— Ходите осторожно, вы теперь богатые и знаменитые! — и заливался хохотом.

Отойдя от дома на приличное расстояние, Ирина сказала с раздражением:

— Мне он совсем не понравился. Какое идиотство с его стороны говорить о богатстве и славе в нашем положении. Это абсолютно бестактно!

— Америка — не страна интеллектуальных личностей и хороших манер, — отвечал я. — Здесь управляют деньги и, как мы могли заметить, весь вечер это и была главная тема разговоров. Конечно, он вёл себя, как примитивный мужик. Но он уверял меня, что может найти издателя и получить солидную сумму аванса на книгу. Даже если он и преувеличивал, всё-таки в этом должно что-то быть — ведь он и сам рассчитывает на часть денег.

— Будь с ним осторожен, — хмуро продолжала Ирина, — Пока что у меня такое впечатление, что он жулик.

— Что ж, я не давал ему никаких обещаний. Давай посмотрим, что он сможет предложить. Вот что меня действительно озадачило, так это — какой он писатель? Я не понимаю, как мы сможем с ним вместе писать?..

НАКОНЕЦ-ТО Я ПОЛУЧАЮ РАБОТУ

Несколько раз потом я навещал Ховарда в его новом доме поздно вечером после занятий. Я пытался пересказывать ему на английском некоторые из историй, написанных на русском. Он записывал наши беседы на магнитофон и собирался обработать их для перепечатывания. Из-за бедного словарного запаса мне было мучительно трудно передавать смысловые тонкости описаний и диалогов. К тому же к концу дня голова моя была перегружена материалами занятий. В результате примитивно рассказанные истории теряли от этого смысловую окраску. Но Ховард этого, очевидно, не понимал и его это не смущало — он только вставлял массу странных вопросов.

Если я рассказывал, что за мной присылали государственную машину с шофёром, чтобы ехать лечить генерала КГБ, Ховард перебивал, не дослушав, и тут же спрашивал:

— Какая марка машины?

— «Волга».

— Были на ней какие-нибудь специальные знаки?

— Нет, только яркие жёлтые фары и номер был МКА-00-11, его знали все постовые.

— Сколько такая машина стоит?

— Ну, наверное, тысяч двадцать рублей.

— Сколько это в долларах?

— Надо посчитать по курсу тех дней.

— Сколько тебе платили за консультацию?

— Сто рублей.

— А сколько стоил бы проезд на такси?

— Ховард, моя история не об этом.

— Надо описывать всё до деталей. Ладно, я сам придумаю.

— Зачем придумывать? Эта история и так интересна.

— Я знаю американского читателя, ему нужны детали.

В следующий приход он патетически читал мне обработанную им историю:

«Длинный чёрный лимузин, сверкая жёлтыми огнями, какие имели лишь машины членов советского правительства, мчался по средней линии московских шоссе, проезжая с сиреной на красный свет. Постовые милиционеры вставали смирно и отдавали честь: все знали, что в машине ехал не кто иной, как главный консультант Кремлёвской больницы профессор Владимир Голяховский...»

— Ховард, всё было проще: машина принадлежала генералу КГБ и её знали, но меня никто не знал. И я не был главным консультантом Кремлёвской больницы.

— Ты не понимаешь — так надо для того, чтобы издатель прочёл это Предложение и принял рукопись, заплатив нам большие деньги. Потом мы сможем переделать, как ты хочешь.

Если я рассказывал, что видел, как Никита Хрущёв пил коньяк полным фужером в одно глотание, то Ховард перебивал:

— Какой был коньяк?

— Не знаю, наверное, армянский. Он считался самым хорошим.

— Сколько стоила бутылка?

— Наверное, рублей тридцать, точно не знаю. Но дело не в стоимости, а в том, что он много его пил.

— Сколько было людей за столом?

— Много.

— А стол какого дерева?

— Кажется, светлый.

— Сколько он мог стоить?

— Не знаю, наверное, дорого.

Самый частый вопрос был «сколько стоит». Личность Хрущёва, его поведение терялись в этих деталях. Потом в его интерпретации этот рассказ выглядел так: мы с Хрущёвым вместе пили коньяк за столом красного дерева, он пил — больше, напивался пьяный и беседовал со мной на темы управления государством. И опять-таки потому, что я был *такой важный человек.*

Всё это была «журналистская утка» с деталями, возможно, и нужными в описании домашнего хозяйства, но

не имевшими значения для моих историй. Я спорил и всё яснее понимал — Ховард видел своей задачей вставить в мои рассказы больше лжи и мелких деталей. Мне нужен был не такой соавтор, а просто хороший редактор, который сумел бы адаптировать мой материал для понимания широким кругам американских читателей. Мой энтузиазм к нашему соавторству быстро падал, зато энтузиазм Ховарда постоянно рос, и он всё чаще и громче предвещал миллионы.

Мы пока ещё не обсуждали с ним никаких условий, но я сказал, что, надеюсь, они будут справедливые. Он тут же ответил:

— Из аванса я должен получить не менее сорока тысяч долларов. Это минимальная сумма моего годового проживания.

Меня это покоробило, потому что моя сумма была почти равна нулю, но он об этом и не подумал спросить. Но сами по себе такие цифры не могли не волновать — кто знает, может быть, ему это удастся?.. А дальше — посмотрим.

В ту пору у меня на уме было лишь сдать экзамен — подходило его время, и я не хотел терять ни минуты на рассуждения и споры о книге. В моей голове должны были постоянно держаться не менее десяти тысяч вопросов-ответов; я натренировал себя так, что безошибочно отвечал на 80—85% вопросов. Хотя они и не точно повторялись в каждом экзамене, но были похожи, и такого «попадания» было достаточно с запасом, чтобы правильно ответить хотя бы на половину вопросов. А это и требовалось для сдачи.

Каждый день я повторял около тысячи вопросов, голова была перегружена. И однажды, когда я интенсивно занимался дома, зазвонил телефон и женский голос по-американски неправильно произнёс моё имя:

— Доктор Гоулакоувски?

— Да, это я.

— Моё имя Кэрол, я секретарь доктора Ризо, директора департамента ортопедической хирургии госпиталя Святого Винсента в Манхэттене. Вы всё ещё интересуетесь работой?

Оторванный от напряжённых занятий, я замедленно реагировал:

— Простите, что вы сказали?

— Если вы всё ещё интересуетесь работой, то можете приехать для переговоров с доктором Ризо.

— Какой работой?

— Вы посылали нам ваше резюме.

Тут только я, наконец, вспомнил, что более четырёх месяцев назад посылал документы на место парамедика.

— О, да, конечно, я посылал!

— Так вот, можете приехать для интервью с доктором.

— Когда?

— Можете завтра, в час дня, если это вам удобно.

— Конечно, удобно!

— Спасибо, — и, назвав адрес, она положила трубку.

Это мне надо было бы сказать ей спасибо. Я сидел ошалевший — всё ещё трудно было привести в порядок взбаламученные мысли. Первым делом я позвонил Ирине на работу. Непривычная к моим звонкам, она встревожилась:

— Что случилось?

— Мне предлагают работу.

— Правда? Какую?

— Помнишь, ты нашла объявление в газете «Нью-Йорк таймс» на должность парамедика, и я тогда послал резюме. Да? Так вот, позвонила секретарь директора и сказала, чтобы я приехал для интервью.

— Да, да, вспоминаю... Когда интервью?

— Прямо завтра.

По Ирининому голосу было слышно, что она взволновалась тоже. Она сказала:

— Не уходи вечером на курсы, давай всё обсудим.

Уже два года я мечтал о работе, какой-нибудь работе, чтобы зарабатывать хоть сколько-нибудь на приличное существование. Что такое получить работу, может понять только тот, кто годами её добивался и добиться не мог. И это событие, это предложение, такое важное и долгожданное, мы с Ириной обсуждали всю ночь до утра: как мне разговаривать с директором, как спросить, какие будут обязанности, что мне придётся делать, с чем я там встречусь?

Ирину всё тревожило:

— Я только думаю — не будет ли это для тебя слишком тяжёлая физическая работа?

— Ну что ты, не волнуйся: в мои пятьдесят один год я ещё достаточно крепкий мужчина — справлюсь. К тому же парамедики не таскают грузы.

— Как не таскают? Если это будет работа на машине скорой помощи, тогда тебе придётся таскать носилки с больными.

— В Америке почти всё механизировано — наверняка есть облегчающие приспособления.

— Но ведь это и опасная работа! Как я себе представлю тебя где-нибудь на выезде ночью среди всех этих ужасных людей!.. Ты должен подбирать жертвы их преступлений, а вокруг тебя все с оружием, все бандиты... Я боюсь, я не могу тебе это позволить.

— Ну что ты! — даже если хоть раз будет так, я надену пуленепробиваемый жилет.

Под влиянием её беспокойств я представил себя в форме парамедика скорой помощи, в белой рубахе с петлицами, и поверх неё тот тяжёлый жилет, а ещё я подпоясан толстым ремнём, на котором навешаны необходимое медицинское оборудование и разные переговорные устройства; я работаю где-то в густонаселённом районе преступной чёрной бедноты, ночью, в любую погоду... Эта картина меня не порадовала. Но и страха тоже не было: желание получить работу и зарабатывать деньги пересиливало страх. Я уже так истосковался по работе и так устал жить в нищете! Единственное, чего бы я хотел, это успеть сначала сдать экзамен и начать работу, когда уже буду ждать результат его.

Под утро Ирина тревожно заснула у меня на плече и всё вздрагивала: трудно ей было представить своего мужа, когда-то профессора, тем парамедиком...

Утром я всё готовился к разговору, мысленно повторяя заготовленные фразы. Когда я вошёл, директор департамента доктор Питер Ризо улыбнулся мне настоящей открытой американской улыбкой и сказал:

— Из вашего резюме я понял, что вы — доктор, специалист-ортопед. Однако, к сожалению, я могу предложить вам только работу ортопедического техника (Ortopaedic Technician). Я уверен, что вы заслуживаете большего, и желаю вам дальнейших успехов. А пока, если вы согласны, вы будете помогать нам в госпитале и в поликлинике накладывать и снимать гипсовые повязки и налаживать разные виды вытяжения. Я уверен, что у вас богатый опыт и вы поможете нам учить этому наших молодых докторов-резидентов. Что вы об этом думаете?

Господи, что я об этом думал? — пока он говорил, у меня как гора спала с плеч — работа оказалась намного лучше, чем мы с Ириной ожидали: это была работа в госпитале, с больными, с другими докторами — то, что я всю жизнь делал, хотя и в другом качестве. Да это же такое везение!

— Конечно, я согласен, — я постарался улыбнуться такой же американской улыбкой.

— Вот и прекрасно. Тогда пойдёмте в отдел кадров, я вас там представлю и вы договоритесь с ними обо всех деталях. Знаете, вы мне понравились с первого взгляда, как вошли. Я верю, что вы будете хорошо работать.

— И вы мне понравились сразу, когда улыбнулись. Я буду стараться, обещаю.

С того разговора началась моя новая настоящая американская жизнь, я становился не сам по себе — моё окружение будут не иммигранты, а американцы. И хотя до сих пор я видел много безразличия и обманов, но теперь меня поразило приветливое отношение людей, с которыми я имел деловой контакт: все мне улыбались, все терпеливо и вежливо объясняли и отвечали на вопросы.

Меня, конечно, интересовало, сколько я буду получать, но я стеснялся задать этот вопрос в самом начале переговоров и только прикидывал про себя, что уж десять—одиннадцать тысяч в год мне, наверное, дадут. Что ж, вместе с Ириниными двенадцатью это уже было бы двадцать две — двадцать три — совсем неплохо. Управляющая кадрами, высокая молодая блондинка, сказала:

— Вы будете получать из расчёта восемь долларов в час, в год это четырнадцать тысяч пятьсот, и каждые полгода вам полагается прибавка на инфляцию из расчёта 3%. У вас будет полная медицинская страховка, в год

двенадцать оплаченных дней на заболевания и три свободных дня — на случай семейных и личных нужд.

Поистине сегодня всё было намного лучше моих ожиданий! Тогда я не мог предполагать, что через годы стану получать четырнадцать тысяч долларов за одну операцию.

— Извините, я хочу вас спросить, — помявшись, начал я. — Могу ли я сначала сдавать мой докторский экзамен, через две недели? Видите ли, я надеюсь его сдать и поступить потом в резидентуру.

— Действительно? Как прекрасно! — воскликнула блондинка с энтузиазмом, будто всю жизнь ждала, чтобы я пошёл на экзамен. — Конечно, сдавайте. Мы оформим вас через день после экзамена. Желаю удачи!

Из ближайшего телефона-автомата на углу я позвонил Ирине.

— Ну что? — её голос был полон тревоги.

Я сразу выпалил всё — и какая работа, и какая зарплата, и как все прекрасно ко мне отнеслись. Тревога в её голосе сменилась буйной радостью, она звонко воскликнула:

— Правда? Ну, слава Богу. Поздравляю! Мы должны отпраздновать это!

В тот вечер мы собрались все вместе, семьёй — с мамой и Младшим, и настроение у нас было такое, какого не было давным-давно. Особенно радовалась Ирина, а я радовался за неё: не одна она станет теперь зарабатывать — её безработный муж превращается в ортопедического техника. Может, и не такая большая честь для нас обоих, но:

Кто нахлебался жизни гадостей,
Способен оценить и вкусы малых радостей.

Всё в том же приподнятом настроении через две недели я снова сидел на экзамене в громадном зале среди двух тысяч других иностранных докторов. На этот раз я довольно быстро и уверенно, вопрос за вопросом, отвечал почти по всем разделам; слабым местом для меня оставалась психиатрия, но вопросов по ней было не так много.

В перерывах снова были суета, волнения, переговоры о подсказках. Сдавать языковую часть пришла и Тася. Она

сидела с сигаретой в зубах и рассказывала, что уже поступила в резидентуру, её приняли без сданного языкового экзамена, потому что «старенькому шефу я очень понравилась». Ещё один старик? — ловко у неё с ними получалось! Другие русские дамы смотрели на неё с завистью и восхищением — ведь она уже сдала! С высоты этого положения Тася рассказывала сплетни. Меня её появление и её сплетни не задевали и не интересовали: экзамен по английскому был мне пока не по зубам, но я чувствовал уверенность в медицинской части и закончил и сдал свои ответы вместе с американцами.

И вот интересно: после такой мучительной и тяжёлой подготовки, как только экзамен закончился, моей голове вдруг стало так легко, будто испарились из памяти все знания и клетки мозга опустели. Есть такой трудно объяснимый эффект памяти: знания консервируются в глубине её и всплывают на поверхность при необходимости. Некоторые из полученных знаний пригодятся, когда стану работать, большинство скроются навсегда. Но я благодарен судьбе, что всё-таки прошёл через это.

С тех пор минуло двадцать лет, а я до сих пор испытываю чувство радости и гордости, что в возрасте за пятьдесят мне довелось во второй раз изучить всю медицину в новом объёме и на новом для меня языке, и удалось выдержать этот экзамен — едва ли не самое тяжёлое в моей жизни моральное и физическое испытание.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ТЕХНИК-ГИПСОВАЛЬЩИК

Возбуждение, ожидание... я был полон предчувствием сданного экзамена, а за этим, без перерыва — предвкушение первой работы в Америке. Я знал мудрую американскую поговорку «время — деньги» — работать рационально, без проволочек, не так, как мы работали на социализм в России, и представлял, что с первого же часа мне дадут столько работы, что надо умудриться сделать всё чётко и быстро, не ударить лицом в грязь.

Плохо спав, 4 декабря 1980 года, через два с половиной года после приезда в Америку, я приехал в госпиталь Святого Винсента на Двенадцатой улице — на час раньше срока. Мне представлялось, что меня сразу поставят на рабочее место и я начну «вкалывать». Оказалось, что директор был в отпуске, ортопедический кабинет новой поликлиники ещё не открыт, и никто не знал, куда меня направить и с чего мне начинать.

В отделе кадров улыбнулись, сказали «добро пожаловать», послали в отдел охраны и сказали, чтобы я получил белую форму. Меня сфотографировали и выдали нагрудный пропуск с именем и фотографией. На нём значилось, что я числюсь за отделом медицинских сестёр (Nursing service). С пропуском на груди я пошёл получать форму — белые брюки и рубашку. В зарешеченном складе, в подвале госпиталя, никого не было, пришлось наведываться несколько раз. Проходило ценное время, которое я считал на деньги. Наконец повезло: с третьего захода я увидел в открытом окошке лицо без всякого выражения — толстая чёрная женщина средних лет. Я встал напротив неё, но она упорно смотрела куда-то мимо меня. Несколько раз я повторял, протягивая ей бумагу из кадров:

— Извините, я пришёл, чтобы получить форму... Могу ли я попросить Вас... Скажите, пожалуйста, форму здесь выдают?..

Мой английский, конечно, не был ясным, но понять, чего мне нужно, было не трудно — в склад приходили только за формой. Хотя мы стояли напротив друг друга, попытки привлечь её внимание были безуспешны — она всё смотрела куда-то в другую стенку, в упор меня не видя. Я стал указывать ей на мой нагрудный знак. Глянув на него искоса, она исчезла, вернулась, без выражения на лице, швырнула мне свёрток и заняла свою позицию. В свёртке были синие брюки и синие рубашки. Я был уверен, что мне полагалась белая форма, как всем, кто работал с больными.

— Извините, это не то, мне полагается белая форма... Простите, я хочу получить белую форму... Видите ли, я буду работать с больными, мне нужна белая форма...

Реакции на толстом чёрном лице никакой, точно говоришь с манекеном. Ну что было делать? Я уже потерял массу ценного времени. Но я всю жизнь носил белые халаты, белый был цвет моей профессии. Даже в самых худших ожиданиях я представлял себя парамедиком в БЕЛОЙ ФОРМЕ. Нет, не стану я менять цвет из-за этой бабы.

Как ни робок я был для начала работы, но пошёл добиваться белой формы по всем инстанциям. Структуры служб я не знал, и вообще ничего не знал, выяснял — от кого это зависело, пока не наступило время ланча; все вспомогательные службы как вымерли. В течение двух часов потом я искал администратора, час растолковывал ему свою просьбу, объясняя своё положение. Он был занят, почти не обращал на меня внимания, потом всё-таки позвонил по телефону той бабе и долго уговаривал её поменять мне синюю форму на белую. В конце концов я опять оказался в подвале у того же окошка. И то же лицо с тем же безразличным выражением торчало там. После новых моих просьб она буркнула:

— Завтра! — и захлопнула окошко. Её рабочий день закончился. И на этом закончился и мой первый тоже.

Дома Ирина ждала меня с рассказами и впечатлениями, а я мог только рассказать, как всё упёрлось в безразличие и негативизм одной чёрной мелкой сошки:

— Не так я представлял себе начало американской работы. Но всё-таки за восемь бесцельно проведенных часов я получу шестьдесят четыре доллара: время — деньги!

Назавтра мне удалось получить белую форму, и помощница администратора, не зная, что со мной делать, отвела меня в другой конец подвала — в Отдел медицинского снабжения. Заведующая встретила меня радостными восклицаниями:

— Добро пожаловать!

Она тоже понятия не имела, что со мной делать, и стала расспрашивать. Я объяснил, что доктор Ризо предложил мне работу ортопедического техника.

— Действительно? Как прекрасно! А что вы раньше делали?

— Я готовился к докторскому экзамену, я был доктором-ортопедом в России.

— Действительно? Как прекрасно! Вы хотите стать доктором?

— Да, я был доктором в России и хочу стать им в Америке.

— Действительно? Как прекрасно. Вы здесь надолго?

— Навсегда, я надеюсь пройти трейнинг и снова стать доктором.

— Действительно? Как прекрасно! А когда вы пройдёте трейнинг, вы снова вернётесь в Россию?

— Нет, я здесь навсегда, я политический беженец.

— Действительно? Как прекрасно! Знаете, что?.. — она повела меня в большую соседнюю комнату, доверху заваленную старым ортопедическим оборудованием — костылями, шинами, ходилками, каталками, креслами на колёсах, коробками с гипсовыми бинтами.

— Ужас, что здесь делается! — она развела руками. — Я никак не могу добиться от администрации, чтобы мне дали кого-нибудь разобраться в этом бедламе. Наведите, пожалуйста, здесь порядок.

И исчезла, обдав меня обворожительной улыбкой. После моих объяснений и её восклицаний это было по меньшей мере странное задание. Если «время — деньги», то зачем меня, квалифицированного техника, «кидать» на рассортировку хлама? Но что было делать: начинать работу с отказа? выразить возмущение? недоумение? Она

и не собиралась меня ущемить или обидеть, просто не понимала, для чего я у неё оказался.

Когда-то, ещё в Москве, я говорил, что для начала не погнушаюсь никакой работой в Америке, даже санитарской. Как дословно сбывалось! — слова оказались пророческими. И вот я принялся растаскивать весь тот хлам по разным углам. И так работал неделю.

Моя комната-склад находилась рядом со службами инженерного отдела, и мимо часто проходили люди в синей форме — слесари, механики, электрики. Все они были чёрные, почти все — иммигранты из Латинской Америки и с Карибских островов. В подвале не было работников в белой форме и почти не было — с белыми лицами. Видя меня в тех условиях, они удивлялись, останавливались и заводили разговор:

— Здорово. Ты чего тут делаешь?

— Да вот, разбираю оборудование.

— А ты откуда?

— Из России.

— Из России?! — возможно, я был первый русский на их пути, они тут же спрашивали:

— А это правда, что Россия хочет воевать с Америкой?

Вопрос был закономерен: тогда в разгаре была холодная война, и недавно Россия вторглась в Афганистан, что вызвало возмущение и опасение всего мира.

— Простые люди не хотят войны, её развязывают правительства, а не народ, — отвечал я.

— Ага, понятно...

Они были весёлые, улыбались, смеялись, многие что-то напевали, некоторые, разговаривая, даже пританцовывали.

— А ты чего делал в России? — улыбаясь.

— Я был там доктором, ортопедом.

— Доктором? Наверное, был богатый? — со смехом.

— Н-н-нет, в России вообще нет богатых: там коммунизм — там все бедные.

Тут они все, что называется, покатились от хохота. И я заражался их смехом.

— А в Америке ты чего делаешь?

— Я иммигрировал из России, теперь приходится начинать жизнь сначала: пока работаю ортопедическим техником и пытаюсь снова стать доктором.

— Ты чего, хочешь открыть свой офис? — снова весело.

— Ну, сначала мне надо сдать экзамен и пройти трейнинг.

— А когда пройдёшь трейнинг, уедешь обратно в Россию? — ещё веселей.

— Нет, обратного хода мне нет, кто оттуда уехал, вернуться уже не может.

— Что, в Сибирь пошлют? — с дружным хохотом спрашивали они. Уж как ни мало они знали о России, а про Сибирь слышали.

— Обязательно пошлют, — в тон им отвечал я и снова хохотал вместе с ними.

— А я вот уехал из Коста-Рики, но всё равно каждый год навещаю там своих, — говорил один.

— А я из Ямайки уехал, и тоже дома каждый год бываю, — говорил другой.

Я только разводил руками, показывал жестами, что хорошо, когда можно ездить в свою страну. И опять начинался смех.

Эти простые работяги стали моими первыми друзьями на работе. Никогда раньше я не работал с чёрными, и для меня было приятным открытием, что они были весёлые и дружелюбные. Каждый день потом они заглядывали ко мне:

— Док, здорово. Как дела? Ты не огорчайся, принимай всё просто (take it easy).

Я так и старался воспринимать своё странное положение просто. Но, по-настоящему, эта работа в подвале угнетала меня, и дома я о ней не рассказывал: зачем расстраивать Ирину и Младшего? Но у нас в семье всегда было принято делиться впечатлениями дня, и Ирина с интересом спрашивала:

— Ну, как тебе нравится твоя работа?

— Неплохо, нравится.

— Что тебе приходится делать?

— Ну, пока я ещё только присматриваюсь.

— Сколько же можно присматриваться?

— Поликлиника ещё не открыта, вот я и присматриваюсь.

— Но ты выглядишь усталым.

— Это от непривычной обстановки и оттого, что мне целыми днями надо вести разговоры на английском.

В этом тоже была правда. Впервые мне приходилось говорить только по-английски, и мозги и горло очень от этого уставали. В живом контакте нужна быстрота, а я от непривычки долго и мучительно искал чуть ли не каждое слово.

Меня перевели на третий этаж, где лежали ортопедические больные, и решили пока использовать как помощника сестёр на этажах госпиталя. Заведующая медицинским снабжением была этим недовольна:

— Мне как раз нужен такой работник, как Владимир. Безобразие!

Старшая сестра третьего этажа тоже не знала, что со мной делать, и тоже сначала стала расспрашивать меня о прошлом, восклицая: «Действительно? Как прекрасно!»

Потом сказала:

— Для начала помогайте учиться ходить нашим послеоперационным больным.

И я отправился в палаты выполнять функции помощника медсестры. Эта работа была уже намного приятней и интересней: всё-таки — с больными. Большинство из них были люди пожилые, за семьдесят, а то и за восемьдесят, слабые после операций.

Почти всем им было сделано полное удаление поражённого артритом коленного или тазобедренного сустава, с замещением его искусственным металлическим эндопротезом. У некоторых уже были замещены по два сустава. Эти старухи и старики цеплялись за меня, висли на мне, а я осторожно их поддерживал и водил по палате или по коридору. Приободряя их, я расспрашивал, как они себя чувствуют. К моему удивлению, все отвечали — хорошо (I am all right), хоть и слабыми голосами. В России послеоперационные больные всегда долго и нудно жаловались. У американцев явно было другое отношение к операциям и другая выносливость.

Мне как хирургу было интересно наблюдать если уж не операции, то хотя бы послеоперационные результаты. Первое, что меня поразило, — это хирургическая активность американских ортопедов. В России мы очень редко оперировали старых людей: слишком рискованно для их здоровья и малорационально — сколько им жить осталось? Здесь возраст был не помеха и не препятствие для любой операции. И удивительно, что эти больные пере-

носили большие операции довольно легко и поправлялись быстро — вставали, садились и ходить начинали со второго дня после операции и выписывались через две недели. Всё это было интересно, и об этом я теперь с увлечением рассказывал дома.

Конечно, хотелось поближе познакомиться с тем, что и как делали доктора-резиденты — то, что меня могло ожидать в будущем (если сдам экзамен и повезёт).

Каждое утро, за час до начала работы, резиденты собирались на быструю конференцию-летучку, обсуждали — какие больные поступили за ночь, что им было сделано, кого и как оперировали, и кого готовили для операций. Я решил приходить на эти обсуждения. Молодые ребята резиденты, возраста чуть старше моего сына, дружелюбно отнеслись ко мне:

— Хэлло, Владимир, заходи, садись, будь нашим гостем.

— Слушай, а это правда, что ты был ортопедом в России?..

— А как в России лечили такие переломы?..

Ребята были все как на подбор: молодые крепкие мужчины, высокие и интересные. Но меня поразило — до чего эти юнцы были измотаны работой! Они всегда были усталые. Многие из них дремали на конференциях, головы их сами собой свисали то вниз, то вбок. Дежурили они сутками через сутки: придя на работу накануне утром, они не уходили с неё и на другой день до позднего вечера. Ничего похожего в работе в России не было. Выдержу ли я такую нагрузку теперь?.. Дома я про это не рассказывал, чтобы не пугать Ирину.

Раз в неделю была у нас конференция, на которую приходили все — и резиденты, и доктора-аттендинги, обсуждали наиболее тяжёлых больных, делали научные доклады. Много лет и я как профессор и директор сам проводил такие конференции. Теперь мне было интересно послушать американцев. Но — полагалось ли это технику? Нарушать порядки и оказаться в положении, когда тебя просят выйти из зала, мне не хотелось. Улучив минуту, я робко спросил доктора Ризо, можно ли приходить на конференции.

— Конечно, Владимир! Приходи каждый раз, — весело и дружелюбно.

Это было как подарок. Теперь я приходил в небольшой конференц-зал и садился с краю у входа. В быстрых разговорах и спорах понимал я пока не всё, но вслушивался в то, что говорили, и в то, как говорили: я старался запоминать произношение терминов и вообще улавливать — как правильно произносить слова. Многие доктора, увидев новое лицо, подходили ко мне. Они обязательно, как, в Америке принято, называли себя, пожимали руку, говорили «добро пожаловать — Welcome» и иногда начинали расспрашивать.

Обычно кто-нибудь из них приносил на конференцию коробку, полную свежих сладких пончиков («doughtnuts»), а резиденты привозили столик с кофейным чаном и пластиковыми стаканами. Вся конференция шла под общее прихлёбывание и жевание. Но я стеснялся брать кофе и пончик: всё моё начальное знакомство с Америкой проходило под знаком внутренней несвободы и скованности, так характерных для людей из России. Я садился сзади, довольный уже тем, что был допущен в докторское общество. Сидел и напряжённо слушал. И не приходило мне тогда в голову, что пройдёт двенадцать лет, и в этом же самом зале я буду читать лекцию на английском языке как приглашённый профессор Нью-Йоркского Университета, и некоторые их этих докторов-аттендингов будут меня слушать и задавать вопросы.

Уже два раза садился рядом со мной невысокий молодой доктор-аттендинг, лет тридцати, со слегка смуглой кожей. Он, как будто тоже чувствовал себя новичком, приносил завёрнутый сэндвич и тоже не брал кофе и пончики. С первого раза он заговорил со мной и, узнав, что я иммигрировал из России, сказал, что его отец тоже давно иммигрировал из Польши. С видимым сочувствием он добавил, что понимает, как всё нелегко достаётся иммигрантам. Звали его Уолтер Бессер.

Однажды под вечер, когда я уже собирался уходить домой, старшая сестра попросила меня отвезти больного в операционную. Погрузив его на каталку, я впервые отправился в операционный блок госпиталя на двенадцатом этаже. Надев впервые за три года хирургическую маску, я передал больного сёстрам, а сам встал в стороне и смотрел. Шла подготовка к операции удаления коленного

сустава и замещения его металлическим эндопротезом. В России таких операций не делали, хотя мы слышали, что в других странах их делают тысячами (с тех пор прошло уже более двадцати лет, но и до сих пор в России сделаны единицы этих операций). Вытянув шею, я издали смотрел, как сестра раскладывала стерильные инструменты, многие из которых были мне незнакомы. Обстановка операционной: приглушённая суета, звон инструментов — всё это было для моего профессионального хирургического уха, как музыка.

Вошёл, уже намывши руки на операцию, хирург — доктор Уолтер Бессер, посмотрел:

— Что же вы тут стоите? — идите, мойтесь (scrub) на операцию.

Я ещё даже не знал этого слова по-английски и поэтому не понял:

— Вы со мной говорите?

— Да, с вами. Если хотите, будете мне ассистировать. Вы ведь ортопед?

— Да, я был ортопед.

— Мне не дали ассистента на вечер, поэтому давайте оперировать вместе.

Боже мой, какая волна эмоций всколыхнулась во мне! Для профессионала, любящего своё дело и надолго отстранённого от него судьбой, — какое же это счастье опять в него погрузиться! — это как исстрадавшемуся от жажды выпить свежей воды. Три года я не входил в операционную и был рад хоть постоять в ней в стороне. А тут — такая неожиданность! И я ассистировал на той операции, новой для меня.

Уолтер был терпелив и внимателен, всё объяснял и показывал. Потом он взял меня на следующую операцию, я уже чувствовал себя уверенней. Пришёл доктор-нейрохирург, посмотрел на меня и сказал, что ему тоже нужен ассистент. И, как запойный пьяница за бутылку, я ухватился за возможность помогать и ему. Уже было 11 часов ночи, а я всё не выходил из операционной и попросил одну из сестёр позвонить мне домой. Она сказала Ирине, чтобы та не волновалась, что я в операционной.

— Что с ним? — воскликнула Ирина. — Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, не беспокойтесь. Не ему делают операцию, а он ассистирует на операции.

Домой я приехал после часа ночи. Ирина с волнением ждала моего позднего возвращения, когда нужно было ехать в почти пустом метро.

— Я ассистировал на трёх операциях! — хвастливо сказал я.

Я чувствовал — не было в моих руках прежней твёрдости, и добавлялись и волнение, и растерянность. Я успел поработать всего несколько дней, как услышал, что медицинский и вспомогательный персонал госпиталя собирается бастовать. Забастовок в России не было, о них мы только читали в сообщениях из-за границы. Интересно, конечно, — чего и как добивались мои теперешние коллеги сёстры и их помощники? Я спросил:

— Мне тоже полагается участвовать?

— Ты не член профсоюза, тебя это не касается.

Ну и хорошо, из предосторожности и от непонимания не надо мне было ввязываться ни в какие дела.

— Могу я спросить: чего добиваются забастовкой?

— Владимир, сразу видно, что ты из другого мира: все забастовки имеют только одну цель — увеличение оплаты и улучшение условий труда.

— А-а-а, понятно.

Ничего мне было не понятно, потому что сёстры получали по тридцать-сорок тысяч годовой зарплаты, а их помощники, как я, получали до двадцати и больше, в зависимости от стажа. Мне эти суммы казались такими большими...

Утром следующего дня я увидел перед госпиталем кардоны полиции и толпу наших сотрудников вдоль стены и узнал некоторые уже знакомые лица. Длинной цепочкой они вяло ходили друг за другом по кругу, некоторые несли бумажные плакаты со словами ON STRIKE. Большого энтузиазма в них не чувствовалось.

Чтобы подбадривать их, одна фигура энергично топала перед ними взад и вперёд и, держа у рта усилитель-мегафон, с выражением громко скандировала:

— Че-го мы хо-тим? Мы хо-тим повы-ше-ния пла-ты! Ког-да мы хо-тим? Мы хо-тим пря-мо сей-час! — и опять снова и снова повторяла то же самое. Толпа подкрикивала ей в ритм. Каково же было моё удивление, когда я узнал в той кричащей фигуре толстую чёрную, которая не хотела дать мне белую форму. Как она преобразилась — на ее пассивном и невыразительном лице горели глаза, она широко раскрывала рот и кричала и кричала так, что стены резонировали. Я спросил у знакомой:

— Кто эта женщина?

— Это лидер нашего профсоюза.

Ага, вот оно что! Ну, если такая работница, как она, могла орать требования, то прав был Ленин: профсоюзы — это школа коммунизма. Подобное я уже видел в моей стране.

Известно, что труд создал человека. Ну, а если он уже был человеком, то что даёт труд? Удовлетворение и достоинство. Это то, чего мне не приходилось испытывать уже около трёх лет. Но вот я принёс домой первый чек зарплаты на $450 — как раз в свой пятьдесят первый день рождения. Мы собрались всей семьёй, и сын повесил мой чек на ёлку — как украшение. Да он и был украшением нашей жизни. Я с радостью видел улыбку на лице сына, давно уже он не улыбался мне так — я восстанавливал своё достоинство в его глазах.

А вскоре Младший опять мог оценить мой возраставший авторитет. Передаю дословно рассказ Ирины об этом:

«Я работала у себя в лаборатории и была очень занята, когда меня позвали к телефону. Звонил Младший, голосом, полным ликования, он сказал: “Я только что получил почту, отцу пришло письмо, что он сдал экзамен”. Вне себя от восторга я взвизгнула и побежала по лаборатории, крича: “Мой муж сдал экзамен! Мой муж сдал экзамен!..” Наши сотрудники-американцы, не врачи, а научные работники-экспериментаторы, говорили — поздравляем, но они не понимали — что за экзамен? для чего он? Поэтому они спрашивали — что это значит, что он сдал экзамен? — “Это значит, что он опять может быть доктором! Мой муж опять будет доктором!” — отвечала я».

Сын позвонил мне на работу тоже, но у него был только телефон директора департамента, и он оставил сообщение секретарю Кэрол. Та не поняла, в чём дело, и передала это в искажённом виде доктору-резиденту. Я работал в новой поликлинике и как раз разрезал и снимал гипсовую повязку с ноги пациента. Резидент вошёл и сказал:

— Твой сын звонил, что сдал экзамен.

Я ещё не ожидал так скоро своего результата, поэтому просто поблагодарил. До прихода домой я ничего не знал о своём успехе. Но когда я открыл дверь, Младший тут же выскочил мне навстречу с письмом в руках и гордо показал результат — 78. От неожиданности у меня как будто голова закружилась. Младший был так откровенно рад, что вился и прыгал вокруг меня, как большой щенок. По его лицу было видно, что он окончательно примирился со мной: радость и достижения объединили нас. Что ж, это было нормально — родители должны заслуживать уважение их взрослых детей.

У Младшего были свои учебные проблемы: через год он заканчивал колледж, и, чтобы поступить в медицинский институт, ему нужны были самые высокие отметки. Кроме этого, надо было сдать MCAT (Medical College Admitting Test), тоже с высокой оценкой.

Только при этом можно было рассчитывать на успех. По многим примерам мы знали, что попасть русскому иммигранту в американский медицинский институт — почти то же самое, что верблюду пролезть через угольное ушко — из сотен этого добивались лишь двое-трое. Естественно, Младший много занимался и всё больше волновался, проявляя свою молодую неустойчивую психику. Ему всё чаще надо было что-нибудь обсудить дома. Теперь я опять становился для него бóльшим авторитетом, чем Ирина. Он по-детски наивно образовывал коалицию со мной, считая нас с ним на одном уровне и намного выше, чем была она. С неразумно молодой заносчивостью он говорил ей:

— Если бы тебе пришлось учиться столько, сколько нам с отцом, ты бы не выдержала.

Меня это смешило, зато Ирина обижалась не на шутку:

— Ах ты, паршивый неразумный щенок! — кричала она ему. — Да я окончила Московский университет, ког-

да ты ещё не родился, и защитила кандидатскую диссертацию, когда ты ещё не умел писать.

— А мне всё равно, что было в России — уже не считается, — говорил он на английском, стараясь произносить всё с британским произношением.

Мы с Ириной за это над ним посмеивались. А он с недавних пор вообще перестал по-русски говорить с нами дома:

— Я живу в Америке и хочу говорить как настоящий американец, без русского акцента, — заносчиво заявлял он. — Поэтому я решил больше ни слова не произносить на русском. Если хотите со мной говорить — только по-английски. А какое у меня произношение — британское или американское, это моё дело.

Мы пытались его уговаривать не забывать русский, но это было бесполезно. Занимаясь исключительно на английском, вращаясь лишь среди американцев, он не желал принимать ничего русского. Многие молодые иммигранты занимали негативные позиции ко всему русскому, в том числе и к языку.

Получив бумагу о сдаче медицинской части экзамена, я в конце одного из рабочих дней пошёл к директору Ризо с бутылкой французского шампанского и подговорил двух его секретарей, чтобы они меня поддержали.

— Доктор Ризо, я сдал экзамен и хочу это отпраздновать с вами и вашими помощницами. Вы меня взяли на работу, и я вам очень за это благодарен. Может быть, я смогу снова стать вашим коллегой.

Он стал отказываться, потом согласился только пригубить:

— Я вами доволен. Помните, я вам сказал, что вы мне сразу понравились. Так вот, может быть, мне удастся помочь вам поступить в резидентуру.

Это было сверхзаманчиво — в возрасте пятьдесят два я не очень надеялся найти место в хирургической резидентуре. А шампанское мы выпили втроём с секретаршами.

И вскоре я получил по почте толстый пакет: мой американский переводчик Майкл прислал, наконец, перевод первых ста страниц моей книги на английский, которого я ждал уже около года. Я впился в них глазами и, насколько мог понять, решил, что перевод был довольно

близок к оригиналу. Я отнёс его Ховарду, чтобы он всё-таки получил полное представление об историях, которые я ему рассказывал на своём минимальном английском. Ховард пришёл в бурный восторг:

— Владимир, почему ты никогда не говорил, что твои истории такие интересные? Почему ты не говорил этого?

— Я пытался, но мне было трудно объяснить. И ты перебивал меня всё время своими вопросами.

— Что значит — перебивал? Это очень существенные поправки к твоим историям, они важны для американского читателя. Теперь я расставлю всё по местам, напишу Предложение и Оглавление — и успех обеспечен: через месяц-два мы будем иметь контракт с издательством и кучу денег. O'key!

Хотя я не совсем доверчиво относился к Ховарду, но всё-таки он был моей единственной надеждой найти издателя. А он взахлёб продолжал:

— Теперь нам пора заключить договор между собой. Для этого надо иметь юриста, а потом и литературного агента, который будет представлять рукопись и торговаться с издателями. Есть у тебя свой юрист?

— Н-н-нет, я никого не знаю.

— У меня есть хороший юрист, а его жена — хороший литературный агент. Я покажу им Предложение и уверен, что они возьмутся помочь нам. Ты согласен?

— Почему нет? — конечно.

Я рассказал об этом Ирине, она насупилась:

— Будь с ним осторожен, по-моему, ему ни в чём нельзя доверять — он хочет обобрать тебя.

Моя Ирина всегда настороже.

* * *

Работая с американцами, я присматривался к традициям их поведения и старался перенимать у них то, что мне казалось типичным и рациональным. И одним из первых уроков было — научиться их спокойному оптимизму в восприятии повседневных забот и трудностей, улыбаться на работе. Таких черт в русском национальном характере нет — откуда же им было взяться, если мы веками были подвержены недоверию, насторожённости и панике. Но я хотел стать американцем, и надо было научиться вести себя, как

они — быть всегда с виду спокойным и уметь улыбаться. Но улыбаться искусственно — это ещё хуже, чем не улыбаться вообще. По счастью, я улыбаюсь естественно — улыбка всегда была в арсенале моего характера.

В непривычном моём положении гипсового техника, на ступень ниже позиции медсестры, проявлять спокойную удовлетворённость и улыбаться, казалось, было бы странным. Но первые недели я был так счастлив самой работе, так увлечён внедрением в новую жизнь, что это и было для меня естественно. Новый мой приятель доктор Уолтер Бессер всегда меня подбадривал и часто весело повторял:

— Владимир, всё у тебя будет в порядке, помни американскую поговорку Don't worry, be happy — не беспокойся, будь доволен. Это слова из песни, но они отражают настоящую философию американцев.

Днём мне часто приходилось быть, что называется, на побегушках у разных докторов и сестёр, я бесприкословно и старательно исполнял, что поручали делать, накладывал и снимал гипсовые повязки с резидентами. Я работал со всей старательностью и вёл себя соответственно своему положению: на ярмарке служебных отношений надо уметь соответствовать тому ярлыку, который на тебе висит. Зато по вечерам, два-три раза в неделю, я ассистировал на операциях Уолтеру — допоздна и до усталости, и это искупало все, какие были, неудобства моего положения — я опять чувствовал себя хирургом. Мы с ним становились друзьями, он расспрашивал меня о жизни в России и рассказывал, что сам вырос в Панаме, куда ещё в 1938 году иммигрировал его отец, польский еврей. Мать Уолтера была креолка, от неё он получил слегка смуглую кожу и чрезвычайно живой и весёлый характер. В этот госпиталь он пришёл работать недавно, после резидентуры в еврейском госпитале Бруклина, в Нью-Йорке (Brooklyn Jewish Hospital). Как младший он был вынужден уступать дневное операционное время старшим и все операции делал по вечерам.

Резиденты рады были уступить мне своё место у операционного стола поздно вечером. А я только и мог ассистировать после работы. За несколько недель я научился от Уолтера пользоваться новыми для себя инструментами, руки мои окрепли, и мы с ним сплотились в хорошо сработанную операционную бригаду. Другие доктора, включая директора, тоже стали звать меня на помощь в операциях. Некоторые из них, помоложе, иногда даже спрашивали моего совета — что и как я бы сделал. Они относились ко мне как к коллеге с опытом. Теперь на конференциях я уже не стеснялся есть с ними пончики и пить кофе, и я начинал уже лучше понимать их быстрый разговорный английский.

Жители Нью-Йорка привычны к иммигрантам из всех стран мира. Однако именно советских граждан в начале 1980-х годов, когда я стал работать в госпитале, было относительно мало: иммиграция из Советской России началась недавно. В нашем госпитале я, кажется, был первый. И уж наверняка я был там первый русский доктор. Попав в среду своих американских коллег, я ожидал, что кто-нибудь из них станет интересоваться состоянием нашей общей специальности в России. Тем более что Россия всё ещё была за железным занавесом, и сведения о советской науке были скудные. Естественно было поинтересоваться, что там делается. Но только два молодых доктора, Уолтер Бессер и Ричард Хэлберг, спрашивали:

— Владимир, что ты можешь рассказать о новом в русской ортопедии?

— По правде говоря, почти ничего. Как я теперь вижу, русская медицина, в частности ортопедическая хирургия, очень сильно отстала от американской. Но всё-таки есть там одно интересное новшество: метод Илизарова для удлинения и сращения костей его аппаратом наружной фиксации.

Особенно интересовался Уолтер:

— Да, да, я немного слышал об этом от кубинских ортопедов. Я встречался с некоторыми из них в Испании, и они рассказывали интересные вещи об этом, как его? — об Илизарове. Говорили, что он бывал на Кубе и показывал там свой метод в действии. Ты его знал?

— Мы были хорошие друзья.

— Расскажи поподробнее — в чем сущность его метода?

— Он сделал интересное открытие: если кость прочно фиксирована в аппарате наружной фиксации, то путём

её медленного и дозированного растяжения на месте рассечения можно вызвать процесс образования новой костной ткани.

И я рисовал Уолтеру схему операции Илизарова. Он рассматривал, говорил:

— Очень интересно и необычно. В Америке это пока не делают.

— Знаешь, я бы с удовольствием рассказал нашим докторам об этом, но их, кажется, ничего из России не интересует.

— Владимир, ты ещё не знаешь: американцы все хвастуны и зазнайки, и доктора тоже. Они считают себя умней всех на свете, — и он, как всегда, заливисто смеялся.

Большинство докторов были евреи и итальянцы по происхождению, все урождённые американцы. Я учился у них правильному произношению. Особенно мне нравился своим красивым английским доктор Денис Фэбиан, я часто про себя повторял за ним какое-нибудь чётко и красиво произнесённое слово. Мне это нужно было для сдачи языкового экзамена — все свободные вечера дома я готовился к нему.

Внимательно слушая и следя за работой своих коллег, я знакомился с американским направлением в тактике лечения — хирургия каждой страны имеет свои традиции. В Америке хирургия доминировала в лечении многих болезней, которые в России лечили только консервативно.

Госпиталь наш казался мне чрезвычайно богатым. Больше всего меня поражало, что я никогда не слышал обычного в России слова «нет» — всё, что необходимо для лечения больных, всегда было под рукой. Я как-то сказал одному резиденту:

— Какой богатый наш госпиталь!

Он посмотрел на меня с удивлением:

— Владимир, это бедный госпиталь. Ты даже не представляешь, насколько богаче многие другие госпитали.

Наступила моя очередь удивиться:

— Что же в них есть такого, что они ещё богаче?

— Слушай, в них есть такие аппараты и такое оборудование, которые стоят десятки миллионов долларов — всё самое новейшее и самое лучшее.

У меня не хватило фантазии представить себе это. А вернее — не хватало американских наблюдений. И я никак не мог привыкнуть к тому, что многие довольно дорогие устройства и приспособления были только для однократного применения. Мне непривычно и странно было видеть, как выбрасывались в медицинские мусорные контейнеры тысячи шприцов с отличнейшими иглами, первоклассные пластмассовые катетеры, даже сложные пластмассовые аппараты, стоившие не менее пятисот долларов. От этого я просто расстраивался. Сёстры и резиденты говорили мне:

— Это верно, что это дорого стоит. Но если всё это подготавливать для следующего употребления, то будет стоить ещё дороже — слишком много труда, а он дорого стоит.

Так я начинал на практике понимать, как высоко в Америке ценится труд людей.

По вечерам я стал записывать дневные впечатления: особенности операций и инструментов, типы людей и характер их отношений — всё новое для меня. Накапливались наблюдения, и зарождалась мысль, что это может пригодиться для чего-то. Из тех записок и получилась потом эта книга.

ТОРМОЖЕНИЕ

Всё шло хорошо, и я улыбался всё больше и чаще. Однако хорошее долго не держится: вернулась с курсов повышения квалификации операционная сестра Фрэн, хмурая и угловатая женщина лет под сорок. Она с недовольством посматривала в мою сторону и несколько раз делала мне мелкие замечания в резкой форме. Даже когда я пытался ей в чём-нибудь помочь, она вырывала у меня из рук: — Я сама сделаю!

Однажды, когда я мыл руки на операцию, она бросила с раздражением:

— Владимир, ты не имеешь права ассистировать, у тебя нет лицензии.

В своём бесправном положении я не знал, что ответить, стоял с мокрыми руками, с которых стекал мыльный раствор. Уолтер и другие сёстры вступились за меня:

— Но ведь Владимир — ортопедический хирург с большим опытом.

Она злобно повторила:

— По закону штата он не должен касаться больных.

— Но он уже сдал медицинский экзамен в этой стране.

— Мне всё равно — пока у него нет лицензии, он не имеет права участвовать в лечении.

Строго формально она была права: по американскому закону право участвовать в лечении имеет лишь тот, у кого есть лицензия. Этот закон часто обходили во многих госпиталях, но лишь — пока кому-то не приходило в голову его держаться. Лицензии-бумажки у меня не было, и всё упёрлось в плохой характер Фрэн.

С горьким ощущением бесправия и бессилия я должен был прервать мытьё рук и остался стоять позади хирургов. Мои друзья ворчали на неё:

— У-у, злобная дура! И чего ей надо? — и успокаивали меня: — Take it easy — не огорчайся, пошла она, знаешь куда...

В тот вечер я пришёл домой необычно рано.

Но меня как магнитом тянуло в операционную, и теперь, приходя, я помогал своим приятельницам сёстрам перекладывать больных с каталки на операционный стол, помогал доктору-анестезиологу в подготовке для наркоза, а когда один из хирургов смазывал иодом или раствором бетадина кожу больного, я поддерживал на весу обрабатываемую руку или ногу. Потом я завязывал стерильные халаты на спинах хирургов и — становился позади них. Все операции я стоял позади, присматриваясь — что и как они делали, и мысленно я сравнивал их работу с тем, что сам когда-то делал. В этом был интерес музыканта на пенсии, который перестал концертировать и ходит на концерты других — слушать, как они играют. Не знаю, что испытывает при этом музыкант, но мне было грустно.

После окончания операции я помогал резиденту и анестезиологу переложить больного на каталку и вёз его с ними вместе. Многие доктора и сёстры сочувствовали мне и уговаривали доктора Ризо дать мне разрешение ассистировать. Он отнёсся к этому осторожно, обещал поговорить с Фрэн, чтобы она уступила. Несколько дней я надеялся, а Уолтер спрашивал с нетерпением:

— Владимир, дал тебе доктор Ризо разрешение ассистировать?

— Нет ещё.

Через несколько дней Ризо сказал мне:

— Владимир, я разговаривал с Фрэн, но она упёрлась на том, что у тебя нет лицензии. Мы её посылали на курсы для изучения юридических прав операционного персонала. Хоть я и директор, но ничем не могу тебе помочь — я не могу идти против закона.

Хотя и горькое для меня, но и это тоже было интересное наблюдение: как в Америке соблюдают законы. Логическая правота была за меня, но законной правоты не было. Ничего подобного в России мы не знали: при многовековой системе диктатуры на всех уровнях все начальники нарушали законы. Теперь приходилось подчиняться законам.

Только один из старших докторов-аттендингов, Стенли Аксельрод, высокий еврей и сын иммигрантов из России, часто пренебрежительно смотрел на меня. У него

была привычка разговаривать со мной, развалясь на диване в комнате для врачей, когда я стоял перед ним.

— Ах, как я устал, Владимир, — со вздохом начинал он. — Где ты был утром? Ты мне был нужен. Где ты был?

— Я был на конференции резидентов в департаменте реабилитации (лечебной физкультуры).

— Зачем технику нужны конференции? Не понимаю. — Он картинно разводил руками и продолжал: — У тебя есть семья?

— Да, жена и сын.

— Вот как?! — почему-то его это удивляло, хотя он уже спрашивал меня об этом много раз. — Что ты собираешься делать в этой стране?

— Хочу поступить в резидентуру, чтобы снова стать ортопедическим хирургом.

— Are you crasy? — ты с ума сошёл? — в твоём-то возрасте!

— Мы с вами одних лет.

— Ну, я бы не стал на твоём месте мечтать об этом. Слушай, а почему ты вообще уехал из России?

На этот вопрос я не хотел отвечать ему — сыну иммигранта из России. Мне вообще хотелось бы послать его к чёрту, но я буркнул:

— Захотел в Америку.

— Ну, это твоё дело, конечно. Послушай, я должен тебе сказать, что ты превышаешь свои обязанности.

— Какие? — удивился я.

— Фрэн сказала мне, что ты вывозишь больных на каталке в послеоперационную палату.

— Ну да, вместе с анестезиологом и резидентом.

— Ты не имеешь права делать это.

Это было абсолютным абсурдом даже перед законом — я был только физической силой, толкающей каталку. И он не был моим начальником, не его это дело. Значит, Фрэн продолжала вредить мне, жалуясь другим за моей спиной. Но я не имел права и не хотел с ним связываться, опасаясь, что он может навредить ещё больше. Ага, интриги, оказывается, хоть и не так много, как в России, но умеют плести и в Америке!

— Ладно, не буду.

Он ещё глубже разваливался на диване и снова жаловался:

— Ах, как я устал, Владимир! Нет, я бы ни за что не стал начинать резидентуру сначала. Неужели ты хочешь это сделать? Ты с ума сошёл!..

У него было ко мне пренебрежение, а у меня к нему — презрение. Но приходилось глубоко прятать уязвлённое самолюбие: такова иммигрантская судьба. По сути, вся иммиграция — это испытание нервов на терпение. Я должен был вынести и выстоять всё. И ещё — как бы это ни было трудно, при любых принижающих превращениях я должен был сохранить свой уровень интеллекта и самоуважения.

И чем горше были мои думы, тем больше хотелось мне увидеть опубликованной свою книгу. Если уж я не мог рассказывать всем и каждому, кто я был на самом деле, то пусть они хотя бы прочтут это.

(С доктором Аксельродом мы встретились через двенадцать лет, когда я читал лекцию врачам в том госпитале. Он сидел и слушал, и потом захотел сфотографироваться со мной. Я согласился только на групповой снимок.)

В это время пришло письмо-приглашение из Института медицины и гуманизма. Профессор-нейрохирург Куппер, как и обещал при нашем свидании, приглашал на семинар по вопросам социализированной медицины и вложил авиабилеты для нас с Ириной до города Неаполя во Флориде. В красивой программе на художественном бланке значилось, что я — основной докладчик. Кроме бесплатного жилья в его доме, Куппер обещал мне гонорар — тысячу долларов. Очевидно, оторванная подошва на моей туфле при нашем свидании произвела на него впечатление.

Мы с Ириной всю ночь обсуждали: отпустят меня с работы или не отпустят. По нашему опыту в России мы помнили, что все советские директора имели обычай не давать, не разрешать, не пущать. А я и работал-то всего два месяца. И вот со смущением и в ожидании отказа я пришёл в кабинет директора:

— Доктор Ризо, я хочу вас просить... видите ли, я получил приглашение, — я показал, — можно ли мне поехать? Я потом всё отработаю, как вы скажете.

К моему удивлению, он сразу улыбнулся своей широкой американской улыбкой и пожелал удачного выступления и хорошего отдыха. И не только это — в тот же день он стал рассказывать другим, что по приглаше-

нию профессора Куппера Владимир едет на семинар во Флориду. Несколько дней потом многие, встречая меня, восклицали:

— Владимир, это правда, что ты едешь на семинар во Флориду? Желаю удачи! (Enjoy!)

Мой друг Уолтер, узнав об этом, помог мне сделать несколько слайдов для доклада:

— Владимир, в Америке каждый доклад обязательно сопровождается демонстрацией слайдов, и чем больше, тем лучше.

Теперь по вечерам я писал доклад, который должен был сам читать на английском. Ирина перевела мой русский текст, и мы отдали его на редактирование соседке-американке. Я старался выучить его наизусть, отрабатывая произношение. Мы с Ириной не были уверены, какой нас ожидал приём. Мы знали, что поселят нас в свободном доме Куппера; но как будет с питанием, где и как его покупать? Помня наши российские выезды и имея лишь один опыт поездки по Америке, мы решили на всякий случай взять с собой баночку растворимого кофе, электрический кипятильник и немного крекера — так будет верней. И ещё — я сразу купил для поездки новые туфли.

И тут позвонил возбуждённый, как всегда, Ховард:

— Владимир, у меня всё готово! И я уже показал Предложение литературному агенту и юристу — муж и жена, помнишь? — я говорил тебе о них. Им очень понравилось, они берутся нам помочь и уверены в успехе. Я хочу, чтобы ты прочитал Предложение, это шедевр (masterpiece)! Заходи, возьми один экземпляр, он твой.

— Слушай, я уезжаю на неделю на семинар во Флориду.

— Вот и хорошо! Читай, а когда вернёшься из Флориды, юрист подготовит наш с тобой контракт, он будет ждать твоей подписи. Считай, что книга уже публикуется!

Как ни некогда мне было, но прочитать Предложение было важно. Довольно большой объем — тридцать страниц, я пробегал их глазами и выяснял, что был чуть ли не самым важным хирургом в Москве, что лечил верхушку правительства и был очень близок к Хрущёву. И всё в том же духе. Я позвонил Ховарду:

— Слушай, это слишком преувеличено. Я не могу публиковать такое от своего имени.

— Ах, Владимир, Владимир!.. Я лучше тебя знаю, как продать Предложение издателю. Важно получить деньги. Детали мы с тобой обсудим потом. Поезжай во Флориду и ни о чём не беспокойся. Приедешь, мы подпишем с тобой наш контракт — и всё будет сделано лучшим образом.

Ладно, мне некогда было спорить, я решил, что если примут это Предложение, то до подачи рукописи издателю я переделаю её по-своему. Конечно, после подписания нашего с Ховардом контракта.

Перед отлётом я ещё работал полдня, и когда собирался уходить, в поликлинике появился невероятно грязный бездомный бродяга со старой вонючей гипсовой повязкой на ноге. Три месяца назад ему наложили ее, и он где-то на улицах пропадал всё это время. От бродяги невыносимо разило вонью засохшего на коже и на одежде пота и ещё чем-то похуже. Наши сёстры, регистраторы и резиденты прикрывали носы и отворачивались. Моей обязанностью было снять тот страшный гипс — конгломерат вонючей грязи. И надо было торопиться. Я надел бумажный халат, хирургическую шапку, прикрыл нос двойной хирургической маской, надел две пары резиновых перчаток — приготовился как к химической атаке и взял бродягу в отдельную комнату; потом её нужно будет обрабатывать дезинфицирующими растворами. Я разрезал и снял повязку — под ней ползали мириады вшей. Пока я всё это чистил, мы переговаривались. Бродяга оказался довольно неглупый и интеллигентный малый, наркоман и алкоголик, опустившийся до предела. Он поинтересовался моим происхождением и стал рассуждать о Достоевском. Меньше всего я мог ожидать подобных рассуждений от такого философа и в той обстановке. Но мне было не до интеллектуальных рассуждений, я быстро работал и отвечал односложным мычанием. Не удивлюсь, если он решил, что я — дурак. Закончив грязнейшую в моей жизни работу, я выбросил провонявший гипс и мою спецовку, наскоро помыл руки и помчался домой. В метро мне всё казалось, что от меня пахло той вонью. Ирина уже ждала в нетерпении. Я схватил чемодан, и мы побежали опять в метро — до отлёта оставалось мало времени, а ехать на такси нам всё ещё было не по карману.

ФЛОРИДА

Лететь вдоль Восточного берега Соединённых штатов было очень интересно. Погода была ясная, и мне повезло — сидя у окна, я видел внизу города и землю. Командир самолёта объявлял по радио, над чем мы пролетали. В городе Вашингтоне я рассмотрел Конгресс — величиной со спичечный коробок. В аэропорту Майами нас обдало тёплым южным воздухом с Атлантического океана, хотя в разгаре был февраль. Мы пересели на небольшой двухмоторный пропеллерный самолёт, пересекли Флориду поперёк и через 45 минут приземлились в маленьком аэропорту города Неаполя. Воздух здесь, на берегу Мексиканского залива, был ещё теплей и ароматней, я распустил галстук, снял пиджак. У трапа самолёта нас встречала молодая женщина:

— Добро пожаловать! — воскликнула радостно. — Меня зовут Жаннет. Я узнала вас по фотографии из журнала. Но я бы никогда не подумала, что такой знаменитый профессор-хирург может выглядеть так молодо.

Я смущённо улыбнулся при словах «знаменитый профессор», вспомнив, как всего пять часов назад снимал вонючий гипс, и ещё не мог отделаться от ощущения, что на моих руках остался тот запах. Да уже и давно было то время, когда меня называли профессором. А она продолжала:

— Я работаю горничной у доктора Куппера, но в эту неделю буду помогать вам и жить с вами и помогать в его втором, малом доме. Сейчас я вас отвезу домой, вы немного отдохнёте с дороги, а в восемь часов вы приглашены на обед в большой дом. У нас осталось не так уж много времени.

На «Кадиллаке» хозяина она везла нас и рассказывала, что наш дом стоит в обычном районе, а большой дом — в районе, где живут лишь миллионеры. Как и любая прислуга, она не упустила случая тут же посплетничать про хозяев: первая жена доктора умерла, у него четверо взрослых

сыновей; несколько лет назад он женился на молодой, и она тоже родила трёх мальчиков. Мы вежливо реагировали. Скоро она подвезла нас к красивому одноэтажному дому, окружённому тропическим садом с нависающими ветвями, увешенными апельсинами и звёздными фруктами. В малом доме было три спальни и ещё пять комнат. В кухне Жаннет открыла громадный холодильник, забитый всякими продуктами и даже бутылками шампанского: — Это я приготовила для вас на эти дни. Хотите пока кофе?

Мы с Ириной прошли в нашу спальню, сели на шёлковые покрывала постелей и одновременно фыркнули от смеха: мы вспомнили, что «на всякий случай» взяли с собой электрический кипятильник!

Первым делом я принял ванну с ароматным желе, чтобы отделаться от преследовавшего запаха. Только мы переоделись и я обул новые туфли, подкатил «Мерседес-кабриолет» — за нами приехал наш хозяин Куппер, везти нас к себе на обед. Высокий, солидный, полный радушия и гостеприимства:

— Добро пожаловать в Неаполь! Надеюсь, вам здесь удобно. Будьте моими гостями, наслаждайтесь всем, чем хотите, Жаннет будет с вами, чтобы помогать.

— Спасибо, доктор Куппер, нам всё очень нравится.

— Зовите меня просто Куп, это моё прозвище для друзей.

— Спасибо, Куп. Мы просто не ожидали такого приёма, всё очень неожиданно и приятно для нас, недавних пришельцев в Америку.

— Я очень рад. А теперь поедем ко мне на обед. Я представлю вас жене и другим участникам семинара. Все жаждут вас увидеть.

Большой дом стоял в глубине парка и был, по-настоящему, двухэтажным дворцом с башнями и переходами. Куп представил нас молодой жене Сессил и нескольким гостям в громадной гостиной:

— Доктор Владимир Голяховский и его очаровательная жена Ирина, тоже доктор. Прошу любить и жаловать. Владимир — интернационально известный хирург-ортопед, недавно из России. Это его статьи в журнале дали мне идею организовать симпозиум.

Гости вежливо зааплодировали и подходили здороваться. Трудно было перестроиться на новую обстановку, и я думал: хорошо, что я принял ванну, чтобы смыть

ту вонь от бродяги. Сначала пили коктейли в гостиной, и официанты подносили на подносах разные изысканные закуски. Люди переговаривались, и мы беседовали с подходящими к нам. Всех интересовало, откуда мы, когда приехали, надолго ли. Приходилось по очереди всем рассказывать одно и то же. Обед был сервирован в столовой, все блюда привезены из шикарного ресторана, и обслуживали нас официанты оттуда же. После обеда Куп предложил всем прослушать небольшой симфонический концерт приглашённых музыкантов. Сидя в мягких креслах, мы с Ириной переглядывались и улыбались, я украдкой указывал ей глазами на свои новые туфли — на этот раз я не прятал ноги под стул.

Да, вот как живут успешные хирурги Америки!..

Мы проснулись от пения птиц и криков пеликанов, которые летали прямо над нашим домом. Как необычно было всё нас окружавшее — и богатая обстановка нашего дома, и Жаннет уже приготовила нам завтрак, и само то, что мы были во Флориде. В разгаре была южная весна, и после завтрака мы уселись в саду под деревьями. В последний раз я проговорил Ирине доклад на своём довольно ещё корявом английском: «Социализированная медицина в Советском Союзе». Бедненькая, сколько уже раз она выслушала это, поправляя меня!

Пришла поздороваться секретарь Купа по Институту медицины и гуманизма. Она принесла составленное для нас расписание на неделю: кроме самого участия в семинаре, нас приглашали выступить по местному телевидению с рассказом о себе, нас должен интервьюировать корреспондент местной газеты, у нас будут два деловых ланча-встречи с местными общественниками, по вечерам обеды в ресторанах и у Купперов и ещё какие-то приёмы. Действительно, насыщенная жизнь знаменитостей!

Мы попросили секретаря, немолодую женщину:

— Можете вы показать нам институт? Очень хочется увидеть учреждение с таким громким названием и таким красивым бланком.

— Пожалуйста, — и она привела нас в одну из комнат нашего же дома. — Это и есть институт.

Мы растерянно оглядывались: в комнате стоял письменный стол с телефоном и пишущей машинкой (компьютеров и факсов тогда ещё не было), небольшой шкаф с журналами — и всё.

— А где размещаются сотрудники?

— Какие сотрудники? — доктор Куппер, директор, и я, секретарь, вот и все сотрудники.

— ???.. А как же — институт?..

— Институт существует только на бумаге. Раз в год мы проводим семинары на разные выбранные доктором Куппером темы. Он приглашает на них крупных учёных и писателей. В этом году он пригласил вас и ещё нескольких. В течение года доктор Куппер ведёт поиск интересной темы, выбирает приглашённых, и мы готовимся к семинару.

— Ага... — мы ничего не поняли и решили уточнить потом с самим Купом.

На симпозиум съехались, кроме американцев и меня, ещё профессора организации медицины из Англии, Канады, Швеции, Гаити, Зимбабве и Китая — отовсюду, где была система социализированной медицины. Для маленького города это было большое событие, и его описывали в местной газете и показывали по телевидению.

Всё было организовано на высшем уровне: двенадцать участников и около тридцати гостей из местных общественников сидели в мягких креслах в зале городского клуба, доклады шли в непринуждённой форме, как беседы — докладчиков свободно прерывали вопросами, с ними дискутировали, велся показ слайдов и фильмов. В перерывах был сервирован шикарный буфет — можно было подумать, что идёт заседание министров из разных стран. А на самом деле, как нам сказала секретарь, всё это была только частная инициатива и расходовались лишь частные средства доктора Куппера. Это никак не вмещалось в наши мозги. Сам Куп всем руководил, задавал много вопросов, красиво и эрудированно выступал — в нём чувствовался глубокий интеллект. Узнав, что я пишу книгу, он оживился, расспрашивал меня и сказал, что тоже написал книгу о своей жизни. Как-то раз у него дома, когда мы сидели втроём, мы спросили об институте.

— Откровенно говоря, и институт, и семинары я организовал для своего развлечения. Видите ли, в 1950-е годы я первым в мире предложил и ввёл в практику новое лечение паркинсонизма (возрастной болезни мозга с дро-

жанием и неустойчивостью). Я разработал хирургический метод, операцию криотерапию — замораживание больных участков у основания мозга. Этот метод распространился по всему миру; в Америке я лечил тысячи больных. В 1973-м я предложил первый электрический стимулятор мозга, который лечит эпилептические припадки. Многие годы я имел самую богатую хирургическую частную практику и заработал много денег. И сумел их удачно вложить в разные акции, а известно, что деньги делают деньги (нам это известно не было). Ну вот, теперь мне шестьдесят, и я отошёл от практики. Я люблю путешествовать и встречаться с интересными людьми. В одном путешествии, на норвежском самолёте, я встретил мою жену Сессил, она была стюардессой. Теперь у нас трое маленьких детей. И я подумал: зачем мне ездить по свету выискивать интересных людей — пусть лучше интересные люди сами приезжают ко мне. На свои деньги я могу себе это позволить.

Но я должен платить со своих денег высокие налоги. И вот для того, чтобы хоть частично этого избежать, я придумал и зарегистрировал этот институт. Вместо того чтобы просто платить налоги, я трачу большие суммы на институт и симпозиумы. Это считается деловыми расходами, я могу списывать их с налогов. Теперь понятно? — он посмеялся, мы тоже — вежливо. — В прошлые годы у меня бывали нобелевские лауреаты и знаменитые писатели — С.Р.Сноу, например. В этом году ваши статьи дали мне идею обсудить плюсы и минусы социализированной медицины. Так я провожу время в беседах с разными интересными людьми, — закончил он с улыбкой.

Так вот как могут позволить себе жить богатые интеллектуалы Америки — сказка! Интересы Купа нам были понятны. Но как вкладывать деньги в акции и зачем списывать деньги с налогов — для нас, не имеющих денег, это было абсолютно новым, другим миром.

Через десять лет эта история Купа дала нам мысль тоже вкладывать деньги в акции и тоже списывать расходы с налогов, хотя далеко не в таких масштабах. Уроки жизни не должны проходить даром. Однако самого Купа уже не было в живых: он страдал алкоголизмом и умер от рака всего через три года после нашей встречи, в возрасте шестидесяти трех. Его книгу я храню у себя, а свою книгу послал его вдове.

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

— Владимир, кофе! — тоном приказа бросил мне на утренней конференции старший резидент, мексиканец Артуро, в первое же утро после возвращения.

Я с удивлением и обидой глянул на него: время от времени каждый из нас приносил кофе, но это не было ничьей обязанностью, в том числе и моей. Я соображал: ответить ли ему резко теперь, при всех, и тем самым нажить врага или отчитать его потом, наедине? Но тут молодой доктор Рик Хелберг громко и подчёркнуто сказал:

— Владимир, я пойду с тобой, чтобы принести *ему* кофе.

Мексиканец смутился и пошёл за нами:

— Я и сам могу...

Когда мы остались с ним вдвоём, я сказал:

— Слушай, я здесь не доктор, а ортопедический техник, но моя обязанность накладывать и снимать гипсовые повязки, а не подносить кофе.

— Ты не так меня понял. Я извиняюсь, — нахмурился он. Видно было, что обозлился.

В тот же день в отделение скорой помощи поступила женщина-учительница, тридцати шести лет, с тяжёлым переломом и вывихом лодыжек в голеностопном суставе. Дежурным резидентом был Артуро, а дежурным аттендингом (что-то вроде старшего врача, имеющего свою практику, но работающего и в больнице) — мой недоброжелатель доктор Аксельрод. Когда Артуро показал ему рентгеновские снимки, он развалился на диване:

— Ах, как я устал! Неужели мне ещё нужно идти и делать это?.. Ладно, я скоро приду её посмотреть. Ты начни и потом дай ей направление в мой частный офис.

— У больной нет частной страховки, — сказал резидент.

— Что — нет страховки? Тогда делай всё сам и назначь ей прийти в поликлинику.

Меня так и подмывало сказать, что он поступает не по закону: каждого больного должен смотреть аттендинг. Но не мне, иммигранту, наводить порядки — лучше было промолчать. Я отправился в приёмное отделение, чтобы помочь резиденту. Но тот злобно локтем оттолкнул меня.

Стоя позади, я видел, как неумело он действовал, вправляя перелом-вывих, больная ужасно кричала, корчась от боли. В результате вправление не удалось. Аксельрод потом спросил его:

— Ну, ты сделал как надо?

— Точно, как вы учили, — угодливый ответ.

Но по тому, как и что он делал, я знал, что ничего не получилось и больная будет хромать до конца жизни. Надо было переделывать, и чем скорей, тем лучше. Жалко молодую женщину: мне даже не столько было обидно за себя, сколько за больную.

С горькой усмешкой я вспомнил, как всего несколько дней назад меня называли «знаменитый профессор». Несмотря на всё, я был готов ему помочь: доктору нельзя ставить свой эгоизм выше профессионализма — доктор должен делать то, что нужно для больного. Доктор... в томто и дело, что оба они не считали меня доктором.

Есть правильная поговорка: ни на что не напрашивайся и ни от чего не отказывайся.

Меня ни о чём не просили.

Вечером позвонил Ховард и, как тромбон, завопил:

— Владимир, ты должен сейчас прийти ко мне. Я тебе покажу что-то очень интересное.

Что бы это могло быть — может, он уже имеет на руках контракт с издательством?

Я поспешил к нему, а Ирина и Младший стали ждать меня с радостной новостью.

— Ну, как тебе понравилось во Флориде? Хорошо тебя принимали? — заорал он с порога.

Я привык к его бахвальству и никак не реагировал.

— Какое издательство приняло рукопись?

— Контракт с издательством почти готов, но сначала мы с тобой должны подписать контракт между нами. Он составлен на основании законов штата. В это ты можешь поверить. Я уже подписал. А теперь ты должен подписать вот здесь, — его голос неожиданно обрёл вкрадчивость и мягкость, прямо как переливчатые звуки арфы.

Он стал подсовывать мне листы и ручку.

— Я прочитаю это дома.

— Конечно, это твоё право, — мягко ворковал Ховард. — Ты даже можешь проконсультироваться с юристом. Только они дорого берут. Но я тебя уверяю, что там всё в порядке: лучшие условия для тебя. Потому что я очень тебя люблю, Владимир.

Он пошёл меня провожать, волоча за собой собачку, и всё приговаривал:

— Я сделаю тебя богаче того доктора Куппера. Как только ты подпишешь контракт, наш агент сразу получит деньги от издателя.

Ирина и Младший ждали меня в надежде услышать, наконец, радикальные новости о книге. Вместо этого я принёс проект контракта с Ховардом — не совсем то, чего мы ждали, но всё-таки деловая бумага. И мы втроём уселись её читать.

Контракт начинался с того, что Ховард считается основным автором будущей книги, хотя моё имя будет стоять первым. Я обязывался снабжать его разными рассказами и историями и буду иметь право контролировать, что *он напишет.* Доходы будут делиться так: 65% ему и 35% мне. При этом расходы за перевод на английский полностью обязан оплачивать я сам. Вся юридическая ответственность в случае любых претензий возлагалась на меня. И вдобавок ко всему этому я обязан впредь ничего не издавать без соавторства Ховарда.

Я был обескуражен, Ирина обозлена, а Младший пришёл в возбуждение и открыто надо мной посмеивался:

— Ну что — подпишешь?

— Конечно, нет. Ты бы подписал такое?

— А мне всё равно — это твоё дело.

Ирина от злости чуть не шипела:

— С самого начала было видно, что он жулик и подлец. Как и большинство других здесь, — не преминула добавить она. — Не надо было с ним связываться.

— Ты права, как всегда. Но у меня не было выбора. Да и теперь нет.

— Слушай, отец, — придумал Младший, — ты поторгуйся с ним, он обязательно уступит что-нибудь.

— Я не хочу с ним вообще разговаривать.

Самое обидное было, что опять рухнули мои надежды: уже более двух лет я так или иначе был занят устройством рукописи и готов был идти на компромиссы, только бы опубликовать книгу. Одним из таких компромиссов и был Ховард. Но ведь всё имеет свои пределы: не мог же я подарить ему свою книгу, да и все последующие тоже.

Ховард позвонил на следующий вечер, голос ласковый и вкрадчивый:

— Владимир, ты подписал наш контракт?

— Нет, я не согласен с ним.

— Что тебе не понравилось?

— Почти всё. Почему это ты — основной автор?

— Ну, это только такая формулировка...

— Рукопись уже написана мной, твоя должна быть только адаптация. Я — основной автор всех историй и рассказов.

— Ладно, ладно, давай уберём пункт об основном авторе, — он заговорил мягкой виолончелью. — Ведь твоё имя всё равно будет стоять впереди.

— Конечно, впереди. Не твоё же. Но почему тогда ты должен получать 65%?

— Ах, Владимир, Владимир, ты даже не представляешь, как много ты станешь получать за выступления по приглашению после опубликования книги, — его голос был полон бархатистого тона контрабаса.

— Я не Генри Киссинджер, и мне не будут платить, как ему.

— Тебе будут платить больше! Уверяю тебя — ты будешь получать за каждое выступление тысячи.

— Ерунда! Ответь мне: почему это я всю жизнь должен издавать всё только с тобой?

— Ну, это юрист так просто написал, сам не знаю зачем... — он взвыл звуком плачущего саксофона.

— В общем, я буду консультироваться со своим юристом. Ты сказал, что это моё право.

Срывающимся голосом непрочищенного тромбона Ховард завопил:

— Это будет тебе дорого стоить! Ах, зачем я только сказал тебе это? Это была моя ошибка, — он опять сменил тональность и стал звучать, как плачущая скрипка. — Я люблю тебя, Владимир. Ты стал для меня как член семьи...

— Ага, поэтому ты считаешь возможным забрать себе мои деньги.

— Давай встретимся и изменим так, как ты считаешь нужным...

— Нет, сначала я буду консультироваться с юристом, сколько бы мне это ни стоило.

Я позвонил нашему первому американскому другу Эллану Графу и попросил совета. У него всегда находилось время меня выслушать, и он позвал меня на ланч.

— Скажи, ты хоть что-нибудь ему обещал и подписывал хоть какую-нибудь бумагу?

— Ни-че-го.

— Тогда ты ему ничего не должен. Лучше забудь про него.

— Про него я, конечно, забуду с радостью. Но я не могу забыть про свою рукопись. Ведь я так надеялся, что вот-вот будет издатель, и всё рухнуло...

— Покажи мне рукопись. Я знаю некоторых людей со связями в издательском мире. Может, я смогу рекомендовать им твою рукопись. Конечно, я не обещаю тебе миллионы, как твой Ховард, — добавил он с улыбкой.

— Спасибо. Я знаю, что ты — мой друг.

У меня стало легче на душе: я опять обретал надежду — Эллану я верил.

Та больная, учительница с переломом лодыжек, пришла на приём в поликлинику на костылях через неделю — на контрольный осмотр. Мексиканец Артуро встретил ее подчёркнуто обрадованно:

— Хэлло! Как дела?

Застенчивая больная робко улыбнулась:

— Здравствуйте, дорогой доктор. Очень болит нога, и гипсовая повязка давит, и пальцы стопы сильно отекают. Так должно быть?

— Конечно, должно! После перелома всегда есть боль и отёки. Сейчас вам сделают контрольные рентгеновские снимки.

— Я надеюсь, что всё будет в порядке.

— Конечно, должно быть в порядке, — заверил он.

Обязанность приносить снимки была моя, и на них было видно, что «порядка» нет: положение костей в суставе было неправильным, оставались смещение и подвывих. Я стоял позади него, на своём месте, и видел это ясно. Больная заворожённо смотрела на Артуро, с надеждой и ожиданием.

— Гм, да... — проговорил он. — Неплохо, неплохо, конечно. Но всё-таки лучше будет сменить повязку и попробовать переделать снова.

— Ой, доктор, второй раз?! Опять испытывать такие муки!..

Артуро принялся объяснять:

— Понимаете, так бывает... иногда... довольно часто... с первого раза не всегда удаётся поставить кости на место. Тогда надо пытаться сделать это ещё раз.

— Доктор, может быть, не надо?..

— Поверьте, надо попытаться. И всё будет о'кей.

Она слушала его, как оракула. Он повернулся ко мне:

— Владимир, сними повязку, мы наложим новую. Будешь мне помогать, — тоном, ясно показывающим, что он здесь босс.

Через неделю после перелома сопоставить кости лодыжек без операции чрезвычайно трудно: между отломками образовалась уже новая ткань, ещё пока мягкая, и связки и мышцы вокруг сократились. Артуро это понимал, но он боялся «разгона» от Аксельрода за плохо сделанную первую репозицию и хотел избежать критики других аттендингов на конференции. Не имея опыта трудного вправления, он фактически хотел сделать это моими руками. Резиденты давали мне многое делать — в поликлинике не было контроля моей недоброжелательницы Фрэн. Артуро буркнул «будешь мне помогать». Отказываться я не мог, да и не хотел: в моём прошлом, в моём докторском прошлом, мне удавалось это сделать. Теперь меня взял профессиональный задор. Я стал разрезать повязку, осторожно снимая её с ноги и подготавливая всё для нового вправления. Больная была расстроена, кривилась от боли, но приговаривала:

— Не правда ли, он очень внимательный, мой доктор.

— Очень, — поддакивал я, возясь с повязкой.

— И такой умелый!

— Очень.

По моим наблюдениям над тысячами больных, их отношение к докторам бывает разных типов: спокойное и доверчивое, настороженное и недоверчивое, восторженное и слишком доверчивое. Эта больная была и застенчивая, и чересчур доверчивая — глупая.

— Вы давно занимаетесь этим делом — повязками? — спрашивала она.

— Порядочно.

— Вы кто — помощник доктора?

— Я ортопедический техник.

— А-а, я понимаю... А вы не знаете, почему нельзя было всё правильно сделать с первого раза?

— Не знаю, это дело доктора, — я старался быть осторожным.

— А-а, я вижу... Скажите, мой доктор придёт помогать вам?

— Обязательно.

— Я надеюсь, на этот раз всё будет хорошо.

— Должно быть.

Артуро был занят другими больными, на минутку заскочил в кабинет, потрогал опухшую ногу, улыбнулся больной и наставительно сказал мне:

— Сделай укол, начинай местную анестезию и накладывай повязку, я сейчас вернусь.

Я приложил все старания, чтобы сделать хорошее обезболивание и сопоставить кости.

Это требует концентрации и физических усилий. Больная была терпеливая, только всё приговаривала:

— Ну где же мой доктор? Почему он не идёт помогать вам?

Артуро пришёл под конец, когда я уже сумел поставить стопу в правильное положение. Он надел резиновые перчатки и стал делать вид, что руководит мною, приговаривая:

— Так, ещё... сделаем вот так... надо поднажать... накладывай гипс, я буду держать.

Когда мы закончили, он вытер пот со лба: хоть доктор он был неважный, но актёр хороший. И наивная больная смотрела на него с обожанием:

— Спасибо вам, доктор, спасибо. Я так надеюсь на вас.

Её увезли в рентгеновский кабинет для контрольных снимков. Я пошёл за снимками — проверить результат своей работы. Если ничего не вышло, Артуро ещё больше обозлится на меня и будет распускать слухи, что я ничего не умею. Если вышло... Снимки показывали правильное сопоставление отломков — у меня отлегло от души, и я понёс показывать их резиденту. Туда пришёл и Аксельрод.

— Где ты пропадаешь, Владимир?

— Я ходил в рентген за снимками.

Артуро вырвал их у меня из рук, быстро глянул и стал хвастливо показывать ему, не упоминая, конечно, моего участия.

— Что ж, неплохо, неплохо, ты молодец, — он повернулся ко мне. — Отнеси снимки обратно.

Всю радость творца у меня смыло с души. Выйдя в коридор, я у выхода увидел ту больную.

— Ах, да, — она улыбнулась, — я забыла сказать спасибо вам, вы тоже умелый техник.

Я видел Артуро десять лет спустя, в городе Тусоне, штат Аризона, где он довольно успешно работал ортопедом. Меня пригласили туда провести симпозиум с докторами. Артуро был на симпозиуме, но ко мне не подошёл. Может, боялся, что я пошлю его за кофе?..

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ИСТИН

К моему счастью, сменилась бригада резидентов, которые приходили в наш госпиталь на полугодовой цикл. Неприятного мне низкорослого мексиканца Артуро сменил высокий и крупный американец Роберт (Боб) Смолл — энергичный, весёлый и деловой парень. Это был классический тип американца, который одинаково хорош и в ковбойском наряде, и в форме бейсболиста, и в халате врача. Боб был во всём противоположность его предшественнику — всё делал чётко и толково, ни перед кем не заискивал, работал с весёлым задором. Я с удовольствием наблюдал, как он зачастую сам себе тихо подпевал и даже незаметно пританцовывал. Работать с ним было весело, я даже жалел, что не знал тех песен и был староват для приплясывания. Сравнивая его с мексиканцем, я снова удивлялся: зачем Америке нужно так много докторов-иностранцев? Но сам тоже иностранец, я старался брать его за образец для моего ближайшего будущего, если стану резидентом.

Между нами быстро установились дружеские отношения, Боб называл меня «доктор Владимир», поручал мне делать многое, чего не разрешали другие, и всегда находил нужным похвалить:

— Прекрасная работа (nice job), доктор Владимир. Ты — замечательный человек.

И нередко он спрашивал моего совета:

— А что бы ты сделал этому больному, доктор Владимир?

Прадед Боба был еврей-иммигрант из Восточной Европы, но правнук уже утерял все корни и только иногда, на ходу, с интересом расспрашивал меня:

— Почему люди эмигрируют из России?

— Плохо там живётся, вот почему.

— Почему — плохо?

— Знаешь, всю жизнь все люди стоят там в очередях за всем на свете.

— Почему?

— Недостаток товаров и продуктов.

— Почему недостаток?

— Плохая экономика.

— Но Россия такая богатая страна. Почему же плохая экономика?

— Неправильные устои общества — плохая политическая система коммунизма.

— Почему?

Он столько спрашивал «почему», что я вынужден был говорить:

— Ах, Боб, не спрашивай меня почему, просто поверь мне.

После этого мы оба смеялись. Действительно, как американцу коротко объяснить жизнь в коммунистическом обществе?

Боб пытался уговаривать Фрэн не блокировать меня в операционной, но та сердито отвечала одно: у него нет права. Чтобы его получить, необходимо было сдать экзамен по английскому языку и иметь сертификат Экзаменационной комисси для иностранных докторов (ECFMG). Уже дважды я пытался сдавать английский, но недобирал нескольких баллов. Для докторов требовался более высокий балл, чем для других: доктор должен уметь разговаривать со своими больными и делать подробные записи в историях болезни. Я занимался грамматикой английского по утрам, вставая в 5 часов, а на работе постоянно напряжённо вслушивался в речь докторов, сестёр и больных, учась у всех пониманию и правильному произношению. Сверх обычной рабочей нагрузки непривычный язык — всегда дополнительная тяжесть. Я уставал, но по вечерам, для практики, с наушниками слушал разговорные передачи радио (talk shows) и читал газету «The New York Times». Мы уже не подбирали, а покупали её регулярно, и я буквально зачитывался ею, даже делал вырезки некоторых статей по истории, науке и искусству. Не думаю, что есть на свете газета лучше, чем «Нью-Йорк таймс». По-моему, если всю жизнь читать только её и ничего другого, можно стать высокообразованным и широкоинформированным человеком. Я читаю эту газету ежедневно уже более 20 лет и продолжаю делать вырезки.

И тогда же я купил первую американскую книгу: «Америка» Элистара Кука (Alistair Cooke). Я смотрел по TV некоторые из его передач об Америке, это было первое, что я смог полностью понять. Интеллектуальная глубина его передач поразила меня, и я решил, что его книга должна положить основание моей американской библиотеке.

Слушая, читая, смотря, я всё больше познавал мою новую страну, каждый день пополнял свои знания о ней. По-настоящему узнать и понять страну и её общество можно только вовлекаясь в её жизнь — работая вместе с её людьми. Живя в иммигрантском отшельничестве, я совсем не знал Америку и американцев. Теперь я уже полгода работал бок о бок с американцами и только-только, по каплям, начинал узнавать страну и людей. Надо было видеть их каждый день с утра до ночи, делать с ними одно общее дело, что называется, тереться о них локтями, участвовать в их разговорах, чтобы понимать стандарты жизни американского общества. Особенно непросто это пришельцу из Советской России, где всё наоборот. Для русского иммигранта 1970-х годов оказаться в Америке среди американцев было то же самое, что глубоководному обитателю оказаться на вершине горы: после сплющивающего давления глубин коммунизма голова кружилась.

Во время одной из операций, стоя позади хирургов, я подсчитал, что девять человек в операционной представляли три расы — белую, чёрную и жёлтую и девять разных национальностей: грек, швед, итальянец, индиец, панамец, еврей, вьетнамец, русский — и только один урождённый американец; шесть религий — два католика, два протестанта, два иудаиста, один ортодоксальный христианин, один индус и один буддист; восемь из нас были иммигранты первого поколения. Все мы приехали из стран с разными культурными устоями, с разным социальным устройством, с низким уровнем экономики. И все мы говорили по-английски неправильно, каждый со своим ужасным акцентом. Но вот — все мы были здесь, работали вместе, чувствовали себя своими среди американцев, и все

устроили или устраивали свои жизни в Америке лучше, чем в своих странах (пока что кроме меня, оставившего позади высокое положение, но это было исключением).

Я с удивлением и восторгом наблюдал, как слаженно работал пёстрый коллектив госпиталя. Если и бывали осложнения и возникали трения, то никаких срывов в работе это не вызывало. И никто никогда ни на кого не повышал голоса. Каждый делал своё дело, и вся наша машина двигалась вперёд без остановок и толчков. Было поразительно, как все мы быстро адаптировались в совершенно новых условиях. Как это могло происходить? Я знаю только один ответ: потому что американский образец устройства общества, экономики и рабочего порядка подходил всем нам. Мы перенимали у американцев основы и выполняли их, каждый в меру своих возможностей.

Я открывал для себя новую истину: если общество стоит на устойчивых экономических основах и на демократических принципах, оно закономерно движется по своему пути, вовлекая в это движение всех, кто в него влился.

Молодой доктор Боб Смолл наверняка даже не подозревал, что, наблюдая как великолепно он делал своё дело, напевая и приплясывая от избытка энергии и оптимизма, я строил для себя глубокие общие выводы.

Теперь, по прошествии многих лет тяжёлого опыта познавания, я даже думаю, что всё, через что мне пришлось проходить, было необходимо для моего опыта в Америке. И я вспоминаю это с удовольствием. Если бы я не прошел через это, я бы и не смог достичь того, чего достиг. Как говорил греческий философ Платон: «Мы находим удовольствие, вспоминая наше тяжёлое прошлое».

ШАГ ЗА ШАГОМ

Ховард настырно продолжал звонить мне по вечерам, но уже не кричал, а говорил нудным голосом:

— Я соскучился по тебе, Владимир. Почему ты никогда не заходишь? Мы уже давно могли бы иметь контракт с издательством и деньги. Все издатели спрашивают про рукопись.

— Все?

— Ну, почти все — многие. Давай изменим наше соглашение, перепишем, как ты хочешь.

— Раньше я доверял тебе, но теперь хочу найти издателя сам.

— Уверяю тебя, без меня никто даже не станет разговаривать с тобой, издатели любят иметь дело с уже известными авторами, как я.

— Посмотрим.

Наши друзья Графы устроили дома обед и пригласили нас и мистера Сеймура, влиятельного в мире искусств юриста. Эллан уже передал ему мою рукопись, и он прочитал несколько историй из неё. Теперь Эллан хотел познакомить нас для делового разговора. Ирина, злая на Ховарда и сердитая на меня, что я «связался с ним», настороженно услышала о новых переговорах про книгу.

Мистер Сеймур Прайзер оказался пожилым человеком с красивой женой намного моложе него — типичный процветающий нью-йоркский юрист. Он симпатично улыбался, умно и мягко шутил и был интересным рассказчиком. Но мне хотелось услышать о рукописи. Эллан направил его в русло, и он по-деловому сказал:

— Я не берусь оценивать всю вашу рукопись, но то, что я прочитал, — это интересный материал, вполне читабельный, который наверняка можно продать. Скажите, зачем вам вообще понадобился соавтор? По-моему, вам нужен только хороший редактор — и всё. Не соглашайтесь на чьё-либо соавторство.

— Да не нужен мне никакой соавтор! Просто я отчаялся найти вход в издательский мир и поэтому соглашался на компромисс с соавтором.

— Ну, я могу вам помочь найти этот вход, — улыбнулся он, — я перешлю вашу рукопись моему другу, одному из лучших литературных агентов, мистеру Роберту Лэнцу. Его клиенты — известные писатели, одно время он представлял даже Хемингуэя. Я скажу ему несколько слов, а дальше вы уже сами имейте с ним дело. Согласны?

Господи, да я был на всё согласен, даже и без Хемингуэя!

— Конечно же! Это то, о чём я уже несколько лет мечтаю. Спасибо вам.

Снова я был окрылён, Ирина на это раз тоже была довольна разговором.

— Вот видишь — какая разница между ним и жуликом Ховардом. На этот раз что-нибудь может и получиться, — говорила она осторожно, когда мы шли домой.

И я стал ждать, отсчитывая неделю за неделей.

Не один я был в положении ожидающего в нашей семье: Младший с нетерпением ждал результата своего экзамена для поступления в медицинский институт (Medical School). И вот его результат пришёл — оценка была выше средней, но не самая высокая.

Младший сразу помрачнел и с отчаянием заявил:

— Всё! Ясно: в медицинский меня не примут.

Его мрачный настрой обескураживал нас, и было жалко его.

— Почему ты так уверен?

— Почему-почему... вы не знаете, какой высокий проходной балл: людей не принимали даже с оценкой двенадцать баллов, а я получил всего только десять.

— Ну, не один только результат этого экзамена учитывается; наверное, принимают во внимание и оценки в колледже. Поговори с вашим советником (adviser).

В американских учебных заведениях есть обязательная должность советника для учеников, его функция — помогать им советами в исправлении отметок, в выборе следующей стадии учёбы или в выборе работы — очень нужная для молодёжи забота.

В своём госпитале я консультировался с Бобом Смоллом и другими резидентами. Большинство считали, что шансы Младшего на поступление при этом балле — 50:50.

Через несколько дней он сказал нам:

— Я разговаривал с нашим советником, он считает, что мои шансы 50:50, и рекомендует подавать заявления во много медицинских институтов, даже и в самые престижные. Но я считаю, что это будет пустая трата времени и денег.

В Америке система подачи документов на учёбу — сразу во много учебных заведений: подавай и жди, куда вызовут на интервью и куда примут.

— Надо подавать, как он сказал, — посоветовал я сыну.

— А ты знаешь, сколько это будет стоить? — за каждую запрошенную анкету надо посылать чек не менее чем на $35-50.

— Сколько бы ни стоило, надо посылать. Помнишь, я тебе обещал, что для твоего образования сделаю всё.

Младший — ворчливо и капризно:

— Ну, мне всё равно! Деньги ваши, я сделаю это. Но я уверен, что ни один медицинский институт меня на интервью не пригласит. Так что я буду делать это для вас.

И потом, посылая анкеты-заявления в двадцать пять институтов, он всё ворчал:

— Вот, потратил уже $1500 ваших денег. Вы сами так хотели. Я делаю это для вас. А мне всё равно!

Когда хочешь, чтобы что-то шло скорей, это, как назло, движется медленно. У американцев есть на эту тему пословица: «если следить за кипящей водой, она никогда не закипит». Прошло несколько недель, прежде чем я, наконец, услышал по телефону голос литературного агента:

— Владимир? — это Роберт Лэнц (американцы всегда представляются, и по телефону, и лично). Сэймур Прайзер переслал мне ваши замечательные истории. Прекрасный материал, — он говорил сугубо профессионально. — Созвонитесь с моей помощницей Джойс Харрис. Я всё передал ей, и она попытается найти вам издателя. Желаю удачи!

Ещё несколько недель — и я, наконец, у неё в кабинете, первый раз я в литературном агентстве. Это на тридцатом этаже небоскрёба в средней части Манхэттена — в

дорогом районе. Всё там классом выше, чем я видел до сих пор. На полках десятки красивых книг, изданных при посредстве агентства. Я с удивлением думал: «Вот, сюда заходил Хемингуэй, его книги стоят на полках. Может, когда-нибудь и моя книга встанет рядом...»

Что это за организация — литературное агентство, я до сих пор до конца не понимаю. Но в Америке это очень популярный и успешный вид бизнеса. Фактически агент — это посредник между писателем и издателем, как повивальная бабка при родах: ребёнок может появиться и без неё, но она помогает. И книга может быть опубликована без агента, но он помогает, представляя рукопись и торгуясь с издателем. Литературные агенты берут около 15% с гонорара писателя и зачастую имеют большой штат и богатые офисы. Они иногда бывают известнее и богаче своих клиентов-авторов, и издатели могут не агента судить по писателю, которого он представляет, а наоборот — писателя судят по агенту, с которым он работает. Писателю выгодно иметь агента — он освобождает его от хождения по издателям и торгуется за него. Но некоторые авторы умеют обходиться и без агентов. Я — не мог, но, судя по всему, попал в хорошее агентство. Ну, а что с меня возьмут, — здесь так полагается.

Мисс Джойс, рыжая и полноватая, лет за тридцать, улыбалась, но не сразу смогла освоиться с моим плохим английским: то, что было достаточно для врачей и сестёр в госпитале, было непривычно и недостаточно для специалиста в литературном деле.

А мне хотелось произвести на неё впечатление, чтобы в своих поисках издательства она постаралась получше. И я с энтузиазмом новичка рассказывал ей о себе и о своих литературных и медицинских планах в новой стране. Напряжённо вслушиваясь, она время от времени восклицала:

— Действительно?.. Как прекрасно!.. Изумительно!.. Действительно?..

Думаю, больше половины она не поняла, да ей и не нужно было. Восклицания были знаки вежливости. Мы договорились, что я стану ей звонить и узнавать, как идут дела.

Подходил день нашей с Ириной серебряной свадьбы, и мне очень хотелось сделать ей в этот день особый подарок: принести домой контракт с издательством. И я звонил Джойс чуть ли не каждую неделю — нет ли новостей? Не было, но она говорила:

— Не расстраивайтесь, в издательском деле всё делается так медленно. Мы обязательно найдём издателя, но иногда на это уходят годы.

Хорошенькое утешение!

Мне так и не удалось к юбилею сделать Ирине задуманный подарок. Зато наш сын преподнёс нам обоим приятный сюрприз. Однажды он позвонил матери на работу:

— Ты, наверное, будешь удивлена, но я получил приглашение на интервью в медицинском институте в городе Сиракьюз, на севере штата Нью-Йорк. Мне всё равно, я почти уверен, что меня не возьмут. Но я думал, что тебе с отцом приятно это услышать.

Конечно, приятно! Это не означало, что он уже принят, но определённо говорило, что его могут принять. Вслед за первым приглашением пришли ещё два — в другие институты. Значит, чем-то он сумел их заинтересовать.

— Вот видишь, а ты считал, что незачем рассылать заявления.

— Мне всё равно: я чувствую, что ничего из этого не выйдет.

Надо было как-то вселить в него побольше уверенности, переломить его глупое упрямство. По ночам мы с Ириной шептались об этом, и при каждом удобном случае я старался советовать ему, как себя вести на интервью.

— Насколько я понимаю, смысл интервью состоит в том, чтобы услышать от принимаемого прямые ответы на вопросы — как бы проверить живость его реакций. На стандартные вопросы всегда даются более или менее стандартные ответы. Тебе важно суметь ответить нестандартно, свободно, с улыбкой. На интервью людей оценивают по тому впечатлению, которое они производят.

— Что я должен делать для лучшего впечатления? — спрашивал он.

— Быть естественным.

— Ну-у, тогда меня сразу отсеют в сторону.

— Почему ты так думаешь?

— Да потому, что моё естественное состояние — это напряжение и недовольство. Кому это может понравиться?

Что верно, то верно: уже давно он был в таком состоянии. Все мы трое бились за новую жизнь, но его молодой нервной системе не хватало гормона оптимизма. Хоть мне было намного хуже него, но у меня была устойчивость и артистизм натуры, которые я выработал в себе за долгую жизнь. У него этого не было.

Я говорил:

— Если напряжения и недовольства — в меру, то это вполне естественно в такой ситуации. Умный интервьюер это поймёт.

— А если он не умный, а дурак?

— Может быть и так. Даже может быть, что он в плохом настроении и ты попадёшь к нему в неудачный день; это непредсказуемо. Всё равно, важно быть расслабленным.

— Ага, ты сам говоришь, что непредсказуемо. Как же мне приспособиться к этому?

— Слушай, пока тебе не прислали приглашения на интервью, твои шансы были 50:50. А теперь они уже 75:25 в твою пользу.

— Как ты это подсчитал?

— Очень просто: поделил твои 50 пополам и прибавил это к твоей половине. Три четверти за то, что тебя могут принять в институт.

— Ну да... — недоверчиво.

— А почему бы нет? Чего тебе не хватает, чтобы стать студентом-медиком? Ты здоровый парень, у тебя нормальные мозги, ты сильный, ты хороший теннисист. Всё это плюсы для студента.

Когда он поехал в Сиракьюз, мы дали ему деньги, чтобы он снял на сутки номер в хорошем отеле рядом с кампусом (территорией) института и смог выспаться накануне.

Вернулся он на следующий вечер мрачнее тучи и трагически заявил:

— Всё! Я провалился. Теперь-то я уж наверняка знаю, что меня не возьмут.

— Что случилось?

— Я вёл себя как последний дурак — вот что. Я даже не помню, что отвечал на вопросы. Но помню, что мне было тяжело смотреть на интервьюера, я всё время отворачивался, опускал голову и только ждал — когда же это кончится.

— И это было всё?

— Ну, ещё меня водили по этажам и показывали помещения и оборудование, я разговаривал со студентами старших курсов.

— О чём?

— Ну, я спрашивал их, а они отвечали... Всё пропало. Единственное, может, на другом собеседовании я не буду казаться таким дураком.

Он был морально убит, мы с Ириной, конечно, ужасно расстроены. Что-то было не так с нашим сыном, не так, как нам хотелось, не так, как мы ожидали от него. Откуда такая паника? Но другому не вставишь свою нервную систему, даже родному сыну.

Так прошло три недели, и все мы трое были в подавленном состоянии.

Однажды вечером я собирался идти на научное заседание Общества ортопедов и забежал домой, чтобы наскоро перекусить. Никого дома не было, и я вяло жевал что-то на кухне, когда пришла Ирина. У неё было очень странное выражение лица.

— Ты ничего не знаешь?

Я отрицательно покачал головой, но насторожился, ожидая ещё чего-то плохого.

— Нашего сына приняли в медицинский институт в Сиракьюзах! — выпалила она.

Я смотрел на неё ошалевшим взглядом, смысл слов медленно доходил до меня, как будто откуда-то издалека.

— Ну да, да, его приняли! — повторяла она, вся сияя от счастья. — Я думала, что ты знаешь, потому что на его столе лежит письмо из Сиракьюз, которое ты мог прочесть.

Тут, наконец, наступил момент и для моей реакции — неожиданно я заплакал. Все эти трудные годы и тяжкие переживания не вызывали у меня слёз. А теперь слёзы радости застилали мои глаза. И ещё я понял, почему Иринино лицо показалось мне странным: на нём было выражение счастья, счастья, которого я так давно не видел. Мы обнялись, смеялись и не могли успокоиться: это было то, ради чего стоило столько мучиться и страдать.

А через две недели пришло письмо из другого института, что его приняли и туда тоже.

— Ну что, — говорил я ему, — теперь ты видишь, что стоило рассылать заявления?

— Мне всё равно, — отвечал он.

И мы все трое хохотали и веселились.

А вскоре, при очередном моём звонке, я услышал от Джойс:

— Владимир, я нашла издателя! Он читал рукопись, она ему понравилась. Мы встретимся втроём двадцать первого декабря. Это Ричард Мэрек, один из лучших редакторов. Это большая удача, что он хочет публиковать книгу.

Первым делом я позвонил Ирине на работу. Игривым тоном она спросила:

— Что звонишь — сказать, что ничего нового?

— Как раз наоборот: у меня есть издатель!

— Правда? Поздравляю!

Двадцать первое декабря — самый короткий день года. Но в 1981-м этот день тянулся для меня слишком долго: вечером должна была состояться первая встреча с издателем и редактором Ричардом Мэреком. Весь день я ждал этой встречи и от занятости на работе даже не успел съесть ланч. Я еле дождался шести часов вечера — встречи в «английском пабе» (English Pub) на Шестой Авеню.

Мэрек, высокий, худощавый, лысоватый, немного моложе меня — лет сорока пяти, приятно улыбался, как все американцы. Он спросил, что я хочу пить, но я ещё не ориентировался в названиях напитков, да и был в большом напряжении. Поэтому попросил то же, что и Джойс, — «Кровавую Мэри». Но когда обнаружил, что в стакане было много водки, а есть ничего не предложили, то пожалел — от голода сразу стала кружиться голова. В результате мой и без того не очень бойкий английский стал спотыкаться. По счастью, мне больше пришлось слушать, что говорил Мэрек:

— Мне понравились ваши истории-рассказы. Но пока что они мало связаны между собой. Я бы хотел, чтобы вы больше писали о себе, чем о других. Это должна быть книга о вас, вашей судьбе — ваша личная история. Она и будет связью для всего.

— Я не писал много о себе, потому что не был уверен — насколько американскому читателю может быть интересна моя судьба: я ведь не был очень значительной личностью, как звёзды экрана или космонавтики.

— Напрасно, американцы любят читать личные истории. История русского доктора может заинтересовать. Пишите о себе всё, описывая детали событий, нюансы ваших переживаний. Больше переживаний. Незнакомый с русской жизнью читатель должен почувствовать «запах» того, о чём он читает, — как описываемые вещи «пахнут».

Он говорил авторитетно и уверенно, как опытный редактор, и Джойс всё время кивала головой. Ну что ж, мне это понравилось. Я показал ему некоторые фотографии из моей жизни, он сразу заинтересовался и сказал, что опубликует их в книге. На это я даже не рассчитывал. Всё было хорошо, но я опять постеснялся спросить — сколько я получу авансом? Ни он, ни агент Джойс ничего об этом не упомянули.

Ирина была рада, поздравляла, веселилась. Я говорил:

— Вот видишь, а ты не верила...

Прямо на следующий день я засел за переделку рукописи, добавляя в неё описание своей судьбы и своих переживаний. Дело это оказалось непривычное: надо комментировать описываемое своими переживаниями и чувствами. Для это надо как бы выворачивать себя наизнанку, представляя потенциальному читателю, что и как я думал и воспринимал. Конечно, я мог помнить свои эмоции, но в Советской России не рекомендовалось их проявлять — чем меньше эмоций, тем спокойней жить. Личности человека никакого значения там не придавалось, мы росли как бы стриженные под одну гребёнку, мы не должны были отличаться друг от друга, а только послушно слушать директивы сверху во всём: как одеваться, как себя вести, как думать... Я не был таким усреднённым идиотом, но писать о себе самом всё равно оказалось непросто. Помогло то, что я прочитал несколько американских книг-воспоминаний и имел кое-какое представление о ключе, в котором следует описывать свою личную историю и переживания.

Тем временем Джойс вела переговоры о составлении договора и об оплате. Вначале Мэрек предложил $7500

аванса, да и то по частям. Чуть ли не все эти деньги я уже должен был своему переводчику. Я стеснялся обсуждать, но, очевидно, в моём голосе Джойс услышала разочарование и выторговала $11 000. Тоже не густо, но всё-таки...

Задурённый Ховардом, я действительно ожидал, что сумма аванса будет исчисляться в десятках тысяч. У меня не было никакого опыта, но время от времени в газетах писали и по телевидению показывали, что такой-то (или такая-то) подписали договор с выплатой аванса в полмиллиона, миллион или более. Правда, это всегда касалось какого-то политического скандала или голливудской истории. Я, конечно, не равнял себя с теми авторами и не рассчитывал на миллионы, но думал хотя бы о тридцати-сорока тысячах. Не удалось. Но, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Как-то раз на работе, когда я был, как всегда, загружен, мне сказали, что секретарь директора просила меня позвонить ей. Я давно был своим человеком в кабинете начальника, и время от времени секретари передавали мне разные поручения и просили что-нибудь сделать. «Что ей нужно на этот раз?» — недовольно подумал я и не сразу нашёл время отзвонить. Уже потом, вспомнив, набрал номер.

— Кэрен, это Владимир. Ты просила меня позвонить. Что случилось?

— Твой сын звонил из дома и сказал, чтобы я передала тебе: ты сдал экзамен по английскому языку.

— Что? Повтори ещё.

— Ты сдал экзамен по английскому языку, так твой сын сказал.

— Спасибо! Знаешь ли ты, что это для меня значит?

— Нет, не знаю.

— Это значит, что я становлюсь американским доктором! Спасибо ещё раз. Доктор Ризо у себя? Да? Я сейчас приду.

На радостях я быстро перебежал на другую сторону улицы, купил за $18 бутылку лучшего шампанского и поднялся в директорский кабинет. Я уговорил его и обеих его секретарш выпить со мной по бокалу шампанского. Когда мы чокнулись, доктор Ризо впервые сказал мне:

— Ну, доктор Владимир, за ваши успехи!

Для меня это звучало, как торжественная фуга Баха. Да, шаг за шагом, помалу, помалу, как говорил мой приятель Берл ещё в начале нашей иммигрантской жизни, успехи начали, наконец, прорезываться. Надо было их реализовывать. Я попросил директора:

— Помните, когда вы брали меня на работу, вы сказали, что я понравился вам с первого взгляда, а я сказал, что вы тоже мне сразу понравились?

— Конечно, помню. Мы вас очень ценим, и я не изменил своего мнения.

— И я тоже. Но я прошу вас изменить моё положение, чтобы я мог ассистировать на операциях. По правде говоря, очень мне это тягостно — стоять позади хирургов.

— Хм, ну, — он как-то замялся, — я постараюсь, я буду просить администрацию дать вам положение госпитального доктора (Fellow).

— Спасибо. Я хочу поступать в резидентуру, но в большинстве госпиталей резидентов уже набрали. Вы как-то говорили, что в нашем госпитале будет расширена программа резидентуры. Есть у меня шанс попасть в нашу госпитальную программу?

— Хм, — он замялся ещё больше, — вы можете подать анкету-заявление, рассматривать кандидатуры у нас поручено доктору Аксельроду.

Мне не понравилось, что решать мой вопрос должен мой недоброжелатель, в этом не было для меня ничего хорошего. Но — пытаться надо, я сам советовал своему сыну подавать документы во много мест. Я тут же взял у секретарей анкету и заполнил её, не выходя из приёмной директора, — время для решения уже поджимало.

Дома ждала меня сияющая Ирина — без слов мы кинулись друг другу в объятия. Только теперь открывалась перед нами возможность той новой жизни, к которой мы оба стремились уже почти четыре года. Радостно было осознавать, что самое для всех нас тяжёлое — неясность и неверность будущего — уже позади. Труд, которым добиваешься цели, не страшен; его тяжесть переносима, если есть перспектива будущего. Но страшно, когда эта перспектива неясна и неверна. Я старался, бился, боролся —

и вот уже была перед нами ясная перспектива. Мы знали, что нужно будет выдержать ещё много трудностей, но это уже представлялось прямым путём. Мы с Ириной понимали это одинаково, без слов. И до чего счастлив я был, что она, моя жена, мой друг, мой верный помощник, единственная большая любовь моя, была со мной весь тот тяжёлый путь!

Надо было обязательно отпраздновать все эти радостные события — мы тогда были в том возрасте и состоянии, когда многое хотелось праздновать. И мы пригласили наших друзей Графов и мистера Сеймура Прайзера с женой в шикарный ресторан «Русская чайная — Russian Tea Room» — место встреч нью-йоркской элиты, особенно из мира искусств. Этот ресторан декорирован множеством картин из жизни старой России и традиционными самоварами, а официанты одеты в красные рубашки-косоворотки. Обстановка отдалённо напоминает дореволюционную Москву, а может быть — Париж времён заполонения сбежавшим от революции русским дворянством. Кухня была псевдорусская: названия блюд русские, но вкус далёк от оригиналов. Всё это вызывало много весёлых обсуждений, нам с Ириной пришлось рассказывать о настоящих русских традициях и блюдах. После обеда я заказал шампанское, нас поздравляли с успехом, Ирина сияла и была очень хорошенькая в новом, специально купленном, платье. Для нас это был «русский разгул» — стоило почти полумесячного заработка, но охватывало состояние радости, что теперь мы уже почти принадлежали к этому миру — я американский доктор, наш сын — студент-медик, и моя книга принята к изданию!

НОВЫЕ ПЛАНЫ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Моя мама, счастливая нашими успехами, в возрасте восьмидесяти лет собралась ехать в Израиль с русской туристической группой. К старости она стала религиозной, ходила по воскресеньям в православную церковь Святого Владимира, неподалёку от нас, и теперь решила посетить святые места. У неё была тайная мысль — поблагодарить там Бога за наше избавление от коммунизма и за то, что Он дал нам выдержать испытания тяжёлой иммиграции. Она сказала мне об этом лишь намёком, не желая обсуждать свои религиозные воззрения, которые скрывала глубоко в душе. Может быть, думала, что я скептически отнесусь к этой идее. Она даже не хотела просить деньги на эту недорогую поездку, заплатив из своих, скопленных понемногу. Я с трудом уговорил её взять у меня ещё. Всю жизнь она давала деньги нам, и даже здесь отдала те, что достались ей от умершей тёти Любы — про запас для оплаты учёбы Младшего.

Мамина вдовья грусть по отцу уже прошла, как проходит всё на свете. Но теперь она вздыхала, что едет в Израиль без него. Я провожал её на метро в аэропорт Кеннеди и переводил ей, когда пристрастная служба безопасности Израиля задавала вопросы насчёт багажа. Но мамин возраст и её благородная прямая осанка отметали все подозрения. Я смотрел ей вслед, когда она с группой проходила через ворота металлического детектора, и думал о том, как же много она всю жизнь делала для всех нас!

В аэропорту оказалась и моя старая знакомая — доктор Тася, она провожала кого-то с той же группой. Хоть я преднамеренно старался не смотреть в её сторону, она весело подошла ко мне:

— Могу подвезти домой, у меня машина.

Тася заметно пополнела, была модно и с шиком одета. Мне неприятно было её общество, но и отказаться неудобно — пришлось поблагодарить и согласиться. Она лихо рулила, заполняя кабину машины сигаретным дымом, и без умолку тараторила:

— Мы с моим бойфрендом хотим купить себе «Мерседес». А что? Я как доктор смогу списывать стоимость машины на деловые расходы. Можно списать сколько хочешь — никто не проверяет... У моего бойфренда два обувных магазина в Бруклине и дела идут о'кей. Многие покупают, потому что у него — без тэкса (налогов). Он на этом делает хорошие деньги... Я уже присматриваю себе офис где-нибудь в Бруклине, чтобы побольше русских иммигрантов. Американцы к нам всё равно не идут. А мне же и лучше — с русскими договориться куда проще — свои люди, друг друга понимаем. Придёт в офис на один визит, а я могу написать, что приходил на два или на три...

Что бы она ни болтала, всё выходило какое-то жульничество. Тася понимала жизнь в Америке просто — надо хватать! Я уже от многих слышал, что в районе Брайтон-Бич, в Бруклине, как грибы растут офисы русских докторов-иммигрантов. Рассказывали, что лечат они по старинке, в традициях отсталой советской медицины. И хотя у всех иммигрантов была только одна страховка для бедных Медикейд (Medicaid), эти доктора зарабатывали очень хорошо, предъявляя страховой компании счета за непроведенное лечение.

У меня тоже были свои планы, но менее радужные, чем «Мерседес», офис и заграбастывание денег. Пока что я только доказал, что я могу: могу быть доктором и писателем. Могу, но ещё не стал. Почивать на лаврах не приходилось: это была только опорная точка отсчёта на длинном пути нашего становления в американской жизни. И в основании этой опорной точки был, к сожалению, мой возраст — пятьдесят два. Я должен был торопиться, чтобы в наступающем 1982 году попасть в резидентуру.

Доктор Аксельрод пока молчал, и у меня росло предчувствие, что надеяться на него и на Ризо нельзя, надо скорее начинать искать резидентуру. В хирургии это сложней всего, и продолжается она пять лет. Значит, если меня примут в программу какого-нибудь госпиталя, то к моменту окончания мне уже будет пятьдесят семь с лишним — очень позднее начало самостоятельной работы! Да и возраст опасный.

Я думал, думал, и у меня возникла идея: теперь, когда я сдал необходимые для начала экзамены, надо одновременно с поиском резидентуры просить Комитет по ортопедической хирургии (БОРД) сократить мне время трейнинга. Я слышал краем уха, что такие примеры бывали — если в Америку иммигрировал известный профессор, то ему или вообще разрешали не проходить заново трейнинг, или сокращали его. Правда, те люди были из западного мира, известного в Америке, а не из-за железного занавеса коммунизма. Но надо попытаться.

И в то же время, имея контракт с издательством и сжатые сроки, надо было торопиться переделывать и заканчивать рукопись — это занимало много времени и усилий. Мой переводчик Майк работал медленно и не очень квалифицированно, пришлось искать и договариваться с другим — Евгением Островским. И я должен был платить обоим, переводы стоили больших денег.

Вдобавок к этим планам я думал о реализации своего нового изобретения. Работа гипсового техника навела меня на мысль упростить и улучшить наложение гипсовых повязок; я придумал для этого простые пластмассовые формы-вкладки. Мне вновь пришлось делать эту работу вынужденно, после того как я уже «походил в профессорах». Иногда полезно спуститься с облаков и посмотреть, что и как делается внизу, чтобы вникнуть и улучшить.

Держа свою идею в секрете, я стал думать, как запатентовать это изобретение. Оно сулило успех и деньги. Я не изобретал уже более пяти лет. Теперь новое изобретение захватило меня, я был полон этой свежей идеей. На её реализацию, как на всё на свете, тоже нужны были время и деньги.

В общем, планов в голове было много, а времени мало. Но главное — мой творческий потенциал возвращался ко мне. Значит, я не сломался.

Мы с Ириной обсуждали все практические шаги. Я говорил:

— Первое, что надо сделать, это запросить Комитет по ортопедической хирургии (БОРД) сократить мне срок резидентуры. У молодых докторов уходят два года на освоение самых начал хирургии, но мне-то это не нужно. Если мне сократят два года и вместо обычных пяти лет дадут три, я смогу закончить резидентуру в пятьдесят пять лет. Хоть и это поздно, но всё-таки лучше.

Я тут же сел писать письмо-запрос в БОРД, приложил к нему копии всех моих дипломов и патентов. Раньше я стеснялся их показывать, чтобы они не мешали, но теперь надеялся, что помогут. Это была приятная работа, я делал её с надеждой и энтузиазмом и даже размечтался вслух:

— Знаешь, если кому-нибудь из членов комитета понравятся эти бумаги, то, может, найдётся такой, который заинтересуется мной и захочет помочь мне найти место в хорошем госпитале. Когда я сам был членом комитета в Москве, я многим помогал.

Ирина была настроена более трезво:

— Лучше не рассчитывать с самого начала на многое. Ты не знаешь людей, которые будут читать эти бумаги; может, это простые бюрократы, бездушные, как везде. Уже много раз ты убеждался в этом в Америке. Но сократить трейнинг на один год — это могут.

Отправив бумаги в БОРД, я стал рассылать анкеты-заявления в разные программы резидентуры. Я выбрал программы в лучших госпиталях Нью-Йорка и даже рискнул послать документы в клинику братьев Мэйо — самый знаменитый госпиталь мира, в городе Рочестер, штат Миннесота. Я всё надеялся, что кого-то может заинтересовать русский доктор, который был успешным профессором, автором и изобретателем, а всё-таки решил уехать из России, чтобы начать новую жизнь в Америке.

Ирину я спрашивал:

— Если меня возьмут в клинику Мэйо, ты согласна переехать туда?

— Куда бы тебя ни взяли, конечно, я поеду за тобой.

Я размечтался:

— Знаешь, это большая честь — работать в той клинике.

— Пусть тебя сначала возьмут.

И я ждал ответов — самое нудное из всех нудных состояний.

Мой друг Уолтер Бессер спрашивал:

— Владимир, разрешил доктор Ризо тебе ассистировать?

— Обещал, — говорил я.

— Ты ведь уже всё сдал?

— Сдал.

— Ну, так чего же ждать? Фрэн, — обращался он к операционной сестре, — Владимир уже сдал все необходимые экзамены.

— Поздравляю, Владимир, — сухо реагировала она.

Уолтер наступал на неё:

— Теперь он может ассистировать.

— Когда принесёт бумагу с разрешением, тогда сможет.

— Ну что ты, Фрэн! — подзадоривал её Уолтер. — Пусть сегодня начинает.

Однако у него ничего не получалось, и я опять становился за его спиной.

Через неделю то же самое:

— Владимир, разрешил тебе, наконец, доктор Ризо ассистировать?

— Пока ещё нет.

— Но когда же?

— Откуда я знаю? — обещал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДНЕЙ

С бумажными стаканами кофе в руках хирурги госпиталя часто скапливались в холле операционного блока, возле неготоскопа, рассматривали и обсуждали между операциями рентгеновские снимки своих больных. Там велись интересные дискуссии, и мне хотелось приобщиться к ним. Но я стеснялся: технический персонал туда не заходил. Когда я видел, что доктора Аксельрода там нет, то становился у открытой двери и слушал. Один из старших ортопедов, доктор Джиеттини, низкорослый и толстый весельчак, был громким спорщиком, всегда в хорошем настроении и прост со всеми. Мы с ним симпатизировали друг другу.

Однажды во время очередной дискуссии перед операцией он заметил меня у двери и весело обратился ко мне:

— А ты что думаешь, Владимир?

Немного стесняясь и делая страшные ошибки в английском, я сказал своё мнение.

— Хм, это интересно, — Джиеттини почесал затылок. — Я не подумал об этом. Может, ты и прав. Сейчас на операции увидим. Пошли со мной.

В операционной я, как обычно, завязал халат на его широкой спине и встал сзади. Он оперировал быстро и чётко, мне нравилось наблюдать его стиль, он напоминал мне мой собственный, когда-то...

Сделав разрез, Джиеттини обнаружил как раз то, что я ему подсказал.

— Смотри-ка, Владимир, ты был прав! — громко и с нескрываемым удивлением воскликнул он.

Когда он закончил операцию, я развязал халат на его спине, и он повёл меня в холл обсуждать операцию. Там он бравурно стал рассказывать другим:

— Владимир сегодня подсказал мне интересную идею.

После этого он нередко обсуждал что-нибудь со мной.

У него была богатая практика, и он заведовал отделением департамента в другой больнице, но часто оперировал и у нас. Доктора говорили между собой, что он зарабатывает больше всех.

— О! Джиеттини берёт $75 за первый визит в его офис! — и при этом значительно качали головами (в среднем за визит тогда брали $40—50).

Однажды он спросил меня:

— У тебя есть машина?

— Нет.

— А жаль. Я хотел пригласить тебя на обед к себе в дом. Я живу за городом, на Лонг-Айлэнде, в шикарном районе.

Я обрадовался:

— Мы с женой можем приехать и без машины.

— Ну да, конечно, это довольно просто, можно и на поезде...

Однако приглашения я так и не дождался. Мы с Ириной уже и не удивлялись.

Но когда мне понадобились рекомендации для поступления в резидентуру, доктор Джиеттини написал обо мне много хорошего. Осмелев, я просил его, не может ли он поговорить с кем-нибудь из знакомых директоров программ.

— Я посмотрю, что я смогу сделать для тебя.

Директор Ризо дал мне новое задание: быть переводчиком между нашим персоналом и русскими пациентами. После двухгодового замедления иммиграции из-за вторжения России в Афганистан в 1979 году поток беженцев стал опять расти. И в больничных палатах их становилось всё больше. Почти все люди пожилые, со множеством жалоб, но понять их никто не мог. А они были расстроены и растеряны и от этого впадали в настоящую депрессию. Возникало много инцидентов, доктора и сёстры жаловались, не зная, как с ними общаться и как их успокоить. Вот и пришла доктору Ризо спасительная мысль: заткнуть эту брешь мною. Теперь у меня вообще не стало времени бывать в операционной, по бипперу вызывали меня на разные этажи — для диалогов, успокаивания и объяснений. Видя на мне белый халат, русские больные принимали меня за врача. И невозможно, да и некогда

было объяснять им моё настоящее положение: пусть думают, что я доктор. Больные апеллировали ко мне по всяким вопросам, и, кроме наложения повязок, я целыми днями разбирался с ними. А наши доктора и сёстры апеллировали ко мне с одним и тем же вопросом: почему все русские такие расстроенные и возбуждённые?

Молодым резидентам я объяснял:

— Поймите, в госпиталь они попадают или из-за тяжёлой болезни, или для операции, они нервничают и теряются в непривычной для них обстановке: из-за языкового барьера они ни с кем не могут общаться, не могут пожаловаться, не могут спросить. И сам госпиталь не похож на привычные им русские больницы. Всё им здесь чужое. Это то, что называется культурный шок.

Однажды доктор-резидент, высокий красавец блондин по имени Питер, попросил меня переводить русскому больному, старику восьмидесяти с лишним лет, у которого подозревали рак. Как только мы вошли в палату и я обратился к нему по-русски, старик накинулся на меня с каскадом возмущения и обвинений:

— Что это за больница?! Что здесь за врачи?! Никто здесь не хочет разговаривать с больным!.. Американские врачи не обращают внимания на больных!..

— Пожалуйста, успокойтесь. Не расстраивайтесь так.

— Не расстраиваться, да?.. Я здесь уже два дня, и никто не сказал мне ни слова!..

— Но вы же не понимаете по-английски.

— Конечно, нет.

— А американцы не говорят по-русски. Теперь с моей помощью вы сможете с ними разговаривать. Вот этот молодой человек, — я указал на Питера, — это ваш доктор, его зовут Питер, а по-русски — Пётр, Петя, — тональностью голоса я старался успокоить его. — Что вы хотите сказать ему?

— Я хочу ему сказать, что у американцев мозги свихнутые, вот что я хочу сказать!

Питер спрашивал:

— Почему он так сердится?

— Потому что никто его не понимает. — Я обратился к больному: — Почему вы думаете, что у американцев мозги свихнутые?

— Потому что я здесь два дня, а они уже пять раз брали у меня кровь на анализы и три раза возили на рентген. Вот почему!

— Это всё для вашего обследования.

— Меня надо лечить, а не обследовать!

— Но поймите: без предварительного обследования лечить больного невозможно, — я говорил мягко, как с ребёнком.

— Что он сказал? — спрашивал Питер.

— Он удивляется, зачем так много исследований.

— Владимир, скажи ему, что нам нужно ещё одно, дополнительное исследование его крови. Иначе невозможно установить диагноз точно. Для этого я принёс шприц.

Теперь уже спрашивал больной, недовольно косясь на тот шприц:

— Что это он вам такое сказал?

— Он сказал, что нужно сделать ещё один анализ крови.

— Я ему не дамся! Не дамся, не дамся!.. — завопил старик.

Питер опять:

— Почему он кричит?

— Он не разрешает брать у него ещё один анализ.

Разговор затягивался. Тогда Питер сел на кровать больного, мягко положил руки на его плечи и обратился ко мне:

— Владимир, я буду ему говорить, тихо и медленно. А ты переводи одновременно. — И он начал: — Дорогой, и мой дедушка тоже приехал сюда из России. Если бы он был жив, то был бы в вашем возрасте. Когда он приехал сюда молодым, он тоже не говорил ни слова по-английски. Много лет спустя он сам рассказывал мне об этом. И ему тоже было тяжело, потому что никто его не понимал...

Слова Питера производили магический эффект; старик успокаивался и слушал его голос с моим переводом, как дети слушают сказку. А Питер продолжал:

— Я представляю, как вам должно быть тяжело без понимания английского, но это ничего. Самое важное, чтобы вы выздоровели. И мы все, доктора и сёстры, будем лечить вас как своего родного дедушку.

На глазах старика появились слёзы, он всхлипывал и гладил кудрявую голову Питера:

— Какой замечательный молодой человек!.. Скажите ему, что он может брать у меня столько крови, сколько ему нужно для его анализов.

Ситуация разрядилась, и, когда мы уходили, старик попросил:

— Пусть он приходит ко мне каждое утро.

— Конечно, я буду приходить, — ответил Питер.

Он сдержал своё обещание, и они подружились настолько, что понимали друг друга и без моего перевода, для больного это было как лечение. И действительно, он стал поправляться и больше не раздражался.

Но однажды Питер не пришёл; накануне около госпиталя на него напал бандит с ножом и ранил его в шею. Примерно в 5 часов вечера, когда начало темнеть, он вышел из госпиталя в своей резидентской форме — белой куртке и брюках — и направился к дому, где жили резиденты, всего в трёх кварталах. Неожиданно он почувствовал укол в правой стороне шеи, это было остриё ножа, и тяжёлая рука легла на его левое плечо. Грубый голос сзади прохрипел ему в ухо: «Давай мне твои деньги, не то я перережу тебе глотку!»

Питер потом рассказывал, как в тот момент он вспомнил, что в левом кармане брюк случайно оставалась двадцатидолларовая банкнота. Замерев на месте и стараясь не двигать шеей, к которой был приставлен нож, он левой рукой пошарил в кармане, нащупал деньги, достал и протянул их бандиту. Тот схватил бумажку и с силой швырнул жертву на тротуар. Падая, Питер почувствовал, как нож скользнул по шее, раздирая кожу. Ему ещё повезло: не были перерезаны главные сосуды, иначе он мог умереть от кровотечения. Когда он покосился назад, бандит уже скрылся. Питер вернулся в госпиталь, ему зашили рану и наложили повязку. Но прийти к старику на следующее утро он не смог.

Навестить старика вместо Питера пришёл я и сказал, что его друг заболел.

— Что случилось? Только вчера он был здоров.

— Небольшая травма... — щадя его чувства, я не хотел говорить всё. Но он что-то почувствовал:

— Я вижу, вы не хотите сказать мне правду. Вы должны сказать мне, я люблю Питера как своего внука.

Пришлось сказать. Старик разволновался:

— Как — нападение на врача?.. Врач в белой форме подвергся нападению бандита?.. На улице Нью-Йорка?.. Что всё это значит?..

— Грабители специально высматривают докторов, потому что считают, что в их карманах всегда есть деньги или наркотики.

Старик сказал:

— Я хорошо знал преступный мир Одессы, я был там юристом. Бандиты России имели свои правила чести; они могли убить и ограбить кого угодно, но только — не врача, не адвоката и не артиста. Потому что они считали, что никогда неизвестно: врач может стать твоим спасителем, адвокат может стать твоим защитником, а артист может тебя развлекать. Америка более цивилизованная страна, но бандиты здесь хуже русских.

Питер поправился и снова приходил к своему «дедушке».

ОПЯТЬ В ТУПИКЕ

Уолтер спрашивал:
— Ну, говорил ты с Ризо опять?
— Говорил.
— Что он сказал: разрешил тебе ассистировать?
— Ничего определённого не сказал.

Мне горько и больно было это повторять и хотелось, чтобы Уолтер больше не спрашивал. Многие доктора знали, что я уже сдал экзамен, и удивлялись, что моё положение никак не меняется. Мне это начинало напоминать обещания трехгодичной давности — как меня обманывал доктор Селин.

Но обидеться и уйти я не мог — нам нужна была моя зарплата, и ради этого, завязав халаты хирургов, я на операциях продолжал становиться позади них.

Мама вернулась из Израиля очень счастливая. Уже в первую минуту встречи в аэропорту Кеннеди она сказала:
— Всё будет хорошо.
Я не понял:
— Что будет хорошо?
— Всё. Я молилась возле Гроба Господня и знаю, что всё будет хорошо.
— А-а, ну спасибо.

На следующий день пришло письмо из БОРДа. Я открыл его с замиранием сердца. Ирина подошла сзади и читала через моё плечо, что мне не могут зачесть мой опыт, так как у них нет обменной информации о квалификации советских медицинских учреждений; поэтому я должен проходить полный пятилетний курс трейнинга. Бумага была написана сухим канцелярским языком, я до сих пор не уверен, просматривал ли мои документы кто-либо из солидных людей или мне ответил канцелярист-бюрократ.

— Ну вот, — сказал я Ирине, — опять не повезло: через пять лет мне будет под шестьдесят. Поздно будет начинать...

Ирина молча отвернулась, у неё в глазах стояли слёзы:
— Мне обидно за тебя: какое пренебрежение, какое невнимание!..

Я ждал ответов из госпиталей насчёт резидентуры. И вот они стали приходить один за другим, и все — отказы. И клиника Мэйо тоже отказала. И опять это были сухие письма, в конце приписка: «желаю удачи» и подпись директора программы.

Каждый раз, получив такое письмо, я испытывал горькое ощущение плевка в душу: ни один доктор не захотел поговорить со мной, обсудить, посоветовать что-либо. Надежда ещё в 1982 году попасть в резидентуру медленно, но верно уплывала у меня из-под ног.

Доктор Аксельрод в последнее время смотрел на меня холодно и сам разговора о моём заявлении не начинал. Я понимал, что от него нечего ждать, но надо было знать точно. Завязывая ему халат на спине в операционной, я сказал:
— Доктор Аксельрод, я подавал заявление о резидентуре.
— Я видел ваше заявление. Ну и что?
— Есть у меня надежда попасть в резидентуру в этом году?
— Вы получите письменный ответ, — помолчал. — Мы уже набрали себе резидентов.
Всё!..

Процесс отбора кандидатов в резидентуру — это прямое дело директора или комиссии. Наша программа была маленькая, значит, он так решил и, конечно, согласовал с Ризо.

Я ещё раз попытался поговорить с Ризо, он с улыбкой, как большую для меня радость, сообщил:
— Постараюсь на следующий год дать вам должность фэллоу (больничного доктора).

Настроение — кошмарное. По вечерам мы с Ириной нервно ходили вдоль Западной авеню Центрального парка и обсуждали, обсуждали, обсуждали. Она опять пыталась уговорить меня отказаться от ортопедической хирургии.

— Я даже не хочу это обсуждать, — отвечал я мрачно.

— Но почему?

— Если у человека есть талант в своей специальности, он обязан применять его в работе, а не забывать. Я настоялся за спиной хирургов, но это тоже кое-что дало мне: я наблюдал их работу и понял, что я не хуже их, а может, и лучше.

— Я знаю, знаю. Но ты должен подумать о своём здоровье: сколько же можно расстраиваться и отчаиваться? Твоё сердце может и не выдержать.

Про себя я думал: и твои нервы могут не выдержать, родная моя. Я только сказал:

— Если я поменяю ортопедическую хирургию на любую другую медицинскую специальность, я буду расстраиваться и отчаиваться постоянно, каждый день и каждый час — весь остаток жизни. И этого моё сердце не выдержит наверняка.

— Я не хотела задевать твою гордость, я только пытаюсь помочь тебе найти выход.

— Выход один: подать на общую хирургию, чтобы это было как трамплин к ортопедии.

Я и пытался поговорить с директором программы общей хирургии в нашем госпитале — он говорил, что знает людей в клинике Мэйо, и просил дать ему мои бумаги.

Я принёс всё, включая интервью в американской медицинской газете вскоре после нашего приезда. Резиденты-хирурги потом говорили мне:

— Владимир, наш шеф сказал, что твои бумаги произвели на него впечатление.

Но больше я его не видел. Мне хотелось получить обратно экземпляр той газеты. В его приёмной две секретарши усердно подпиливали пилочками наманикюренные ногти и просили прийти через пару недель. Так, в конце концов, они и не допустили меня к нему. Возможно, директор сам отдал им это распоряжение.

Уолтер спрашивал меня ещё несколько раз и однажды сказал мне тихо:

— Не доверяй Ризо, он хочет, чтобы ты выполнял для него собачью работу (dog work), а сам ничего тебе не сделает. Скажи ему, чтобы он шёл к... Он всё делает лишь для себя. Он от жадности нахватал разных приработков, заседает в каких-то комиссиях, деньги хапает. Ничего он тебе не сделает, для него нет в этом выгоды.

— Эх, Уолтер, если бы ты знал: у меня уже мало времени на новую подачу заявлений. Я уже и Джиеттини просил, и директора общей хирургии, и всё никакого ответа.

— Владимир, у меня есть хороший друг, доктор Рамиро Рекена, он заместитель директора программы резидентуры в Еврейском госпитале Бруклина (Brooklyn Jewish Hospital). Мы с ним вместе были в резидентуре в том госпитале. Я его попрошу — может, он что-то сделает для тебя. Но тот госпиталь в кошмарном, преступном районе и считается теперь одним из худших во всём Нью-Йорке. Это был когда-то прекрасный район и госпиталь, но теперь — самого низкого престижа.

— Уолтер, о каком престиже ты говоришь?! Мне уже не до престижа. Мне бы попасть хоть в какой-нибудь госпиталь! Я слышал о том госпитале и недавно даже послал туда заявление. Если бы!..

ТОЛЬКО БЫ ВЗЯЛИ!..

Америка 1960—70-х годов вдруг обнаружила у себя нехватку докторов: их было около 250 тысяч (сравнительно с одним миллионом врачей в Советском Союзе). И тогда Америка, как вакуум, стала всасывать их в себя из «третьего мира» — развивающихся стран. Докторов приглашали, зазывали, заманивали. Директора программ встречали их в аэропортах, везли в приготовленные бесплатные квартиры — это было как сказка. Большинство прибывших были из Индии, Пакистана, Мексики, Филиппин, Южной Америки, с островов Карибского моря, из Польши, Румынии и даже из России. После резидентуры все оседали в стране, вызывали своих родственников и друзей-коллег. Число докторов-иммигрантов росло, как снежный ком. Но до меня он не докатился — к началу 1980-х годов тот вакуум стал насыщаться, докторов было уже около 400 тысяч, и Америка осознала, что с такой скоростью возникнет докторская безработица. Тогда стали сокращать число резидентов и число программ для их трейнинга. К тому моменту, когда в апреле 1982 года я ехал на метро на интервью в Еврейский госпиталь Бруклина, я был одним из двухсот пятидесяти русских докторов, которые сдали экзамен, но попасть в резидентуру не смогли.

Об этом я и думал. Только если случится чудо, достанется мне место. Хотя почему-то я был оптимистично настроен. Но это настроение сменилось изумлением, когда на станции «Авеню Фрэнклина» я поднялся наружу и застыл как вкопанный в изумлении от того, что увидел. Пусть читатель поверит мне, хотя это и трудно: перед моими глазами была картина разрушенного города. Элегантные каменные четырёхэтажные дома и небольшие, особнякового типа, браунстоуны в два-три этажа стояли без крыш, с пустыми глазницами окон и с полуразрушенными стенами. Через зияние громадных пробоин было видно, что внутри нет ни стен, ни потолков, и во всю даль пространства виделись развалившиеся здания соседних улиц. На самой улице горами валялся весь мусор мира и нередко пробегали крысы. Такое я видел только на фотографиях разрушенного прямой артиллерийской наводкой Сталинграда во время Отечественной войны (а теперь, в двухтысячном году, можно увидеть на фотографиях разрушенного таким же путём города Грозного в Чечне). Но там шли многомесячные бои, и разрушения сделали прямой наводкой тысячи пушек. А здесь, в Бруклине, войны не было. Что же произошло в процветавшем когда-то районе Нью-Йорка? Кто его разрушил?

Ответ был тут же, рядом, перед моими глазами: это были сами жители этого района. На улице было полно людей, все чёрные, неряшливо одетые молодые мужчины и подростки, немного стариков, все в позах слоняющихся от безделья: кто стоял, прислонясь к стене, кто медленно бродил с бесцельным взглядом, кто сидел на тротуаре и бил в барабан. Было много пьяных или одурманенных наркотиками. В воздухе стоял удушливый запах марихуаны — почти все курили. Они не разговаривали, а перекрикивались. И большие транзисторные приёмники играли во всю мощь яркую, зажигательную латиноамериканскую музыку. Люди вокруг приёмников самозабвенно приплясывали и подпевали. Дети и женщины виднелись редко, они шли нагруженные покупками из маленьких грязных лавочек на той же улице. В некоторых окнах торчали женские и детские лица, а кое-где даже виднелись занавески.

Если бы убрать декорацию разрушенных домов и асфальтированной дороги и вместо них поставить пальмы, а саму толпу одеть в набедренные повязки, то возникла бы полная иллюзия джунглей где-нибудь в недоступном месте бассейна Амазонки — настолько дикими казались те фигуры на улице.

Я осторожно продвигался вдоль улицы, с опаской приглядываясь: не захочет ли кто отнять мой портфель или вообще приблизиться? На всякий случай я сунул свободную руку в карман, держа её так, будто зажал там наган наготове. И старался придать лицу выражение спокойно-

го безразличия, чтобы удивлением или паникой не привлечь внимание дикарей. Я хотел казаться им похожим на переодетого полицейского или что-то в этом роде. Мышцы мои были напряжены, чтобы в любой момент суметь отпрыгнуть или побежать. Так я и дошёл до госпиталя, где мне стало спокойней — там виднелся охранник и подъезжали машины скорой помощи. Немного расслабясь, я подумал: ну, если судьба привела меня в такой злачный район, то не за тем же, чтобы только подвергнуть опасности. Может быть, это и есть последнее испытание нервов на долгом моём пути поиска резидентуры?

Здание Еврейского госпиталя, построенное в начале 1920-х годов, было приятной внушительной архитектуры — старый двенадцатиэтажный корпус. Но первый быстрый взгляд внутри показывал большое запущение: стены грязные, мебель старая и разбитая, потолки серые и окна мутные. На площадке третьего этажа, где были кабинеты хирургического отделения, толпились такие же люди, как и на улице. Все курили, дым стоял до потолка, и опять они держали в руках громко играющие транзисторы и тоже перекрикивались между собой. И опять я подумал: ну, если судьба привела меня в такой госпиталь, то не затем же, чтобы только показать его.

Обстановка резко изменилась, когда я попал в кабинет доктора Рамиро Рекена. Он был боливиец — высокий, седоватый, с мягкими манерами. Он сказал тихим голосом:

— Садитесь, доктор Голяховский. Спасибо, что пришли. Я ещё раньше просмотрел ваши бумаги и был ими приятно поражён. И мой друг Уолтер Бессер говорил мне о вас много хорошего. Скажу вам откровенно, вы нам очень подходите, вы много занимались научной работой, и нам как раз нужен человек с вашим опытом. Но я должен вас предупредить, что наш госпиталь находится в трудном финансовом положении. На сегодняшний день я не могу вам ничего обещать. В этом районе трудно работать — большинство наших пациентов не имеют никаких страховок. Мы зависим от денег города и ожидаем слияния с другим госпиталем. Если это произойдёт и мы получим дополнительные средства, тогда мы сможем взять еще несколько резидентов. Директор программы доктор

Роберт Лёрнер и я считаем вас первым кандидатом. Вы получите по почте извещение и контракт на первый год резидентуры.

Мне нравилось, как спокойно, откровенно и уважительно он со мной разговаривал. Давно я уже не видел к себе такого отношения от начальников.

Когда я шёл обратно, число бездельников на улице увеличилось, стало шумней и тесней. Ещё издали я заметил у одной стены полуголого с большим ножом в руках. Я осторожно перешёл на другую сторону и успокоился, только когда сел в вагон метро. Я думал: что ж, конечно, это бедный госпиталь и ужасный район, но вот доктор Рекена работает же там. Может быть, люди, с которыми мне придётся работать, окажутся лучше, чем в других, более богатых госпиталях. В конце концов, по русской поговорке: не место красит человека, а человек — место. Эх, только бы повезло, только бы взяли!..

НАКОНЕЦ-ТО!

Младший сдавал заключительные экзамены в колледже и все ночи напролёт, запершись, сидел в своей комнате и занимался. Хотя его уже приняли в медицинский, он всё ещё сомневался — достаточно ли хороши будут его оценки за колледж. Была в нём постоянная неуверенность и нервозность, от которой он страдал сам и заставлял страдать нас. Когда подступал последний экзамен, Ирина волновалась:

— А что, если он не сдаст?

— Сдаст.

— Почему ты так уверен? Он говорил, что этот экзамен по химии — самый сложный.

— Успокойся, всё будет хорошо.

Ещё напряжённее мы ожидали ответа о резидентуре. Ирина робко спрашивала:

— Звонил твой Уолтер доктору Рекена?

— Звонил, ответа о слиянии госпиталей пока ещё нет.

— Сказал он, когда можно рассчитывать на ответ?

— Просил позвонить через неделю.

— Господи, как всё тянется и сколько ещё нерешённого!.. Что будет, если и это сорвётся?

Действительно, что будет? Я уже совершенно не представлял своего будущего. Но оно само представилось мне в виде заведующей снабжением, из подвала, где я вначале разбирал оборудование. Я встретил её в госпитале, и она ужасно мне обрадовалась:

— Владимир, как я рада тебя видеть! Как ты поживаешь?

— Спасибо, хорошо. А вы как?

— Плохо, у меня совершенно некому работать. Если бы ты видел, в каком состоянии теперь оборудование!.. Я просила администрацию, чтоб мне отдали тебя обратно.

— Но я собираюсь поступать в резидентуру.

— А до этого доктор Ризо обещал мне дать тебя. Не правда ли, это хорошо?

Обещал?.. От такой новости я пришёл в отчаяние. Вот, Ирина спрашивала, что будет, если сорвётся резидентура, — я опять стану таскать шины и костыли и балагурить с работягами инженерного отдела. Какая перспектива!

Очень подавленный, я пришёл в операционную, там Уолтер как раз собирался начинать операцию и уже мыл руки.

— Уолтер, Ризо хочет послать меня подсобным рабочим в отдел снабжения. Позвони, пожалуйста, своему другу; может, что-нибудь уже известно?

— Вот дерьмо! — воскликнул Уолтер. Он торопился, но я так на него смотрел, что всё-таки он задержался. Руки его уже были в мыльной воде, я набрал номер телефона и подставил трубку к его уху. Он что-то быстро и весело говорил по-испански, а когда разговор закончился, воскликнул:

— Владимир, хорошие новости: слияние госпиталей разрешили. Рекена сказал, чтобы ты ждал контракт на резидентуру по почте. Поздравляю!

О, господи! Значит, всё-таки взяли, всё-таки повезло... Я просто не знал, как благодарить Уолтера.

— Спасибо, спасибо за помощь, — повторял я.

— Ну, что ты, не так уж много я и сделал.

— Уолтер, ведь никто другой мне вообще ничего не сделал.

Он помрачнел, вспомнив Ризо:

— Это его натура такая. — Потом рассмеялся: — Говорил я тебе: не горюй, будь доволен.

Завязывая в тот раз операционный халат на спине Уолтера, я ликовал: скоро это кончится, скоро кто-то будет завязывать халат на моей спине. Тут Фрэн попросила меня таскать тяжёлые баллоны с кислородом, и я весело взялся за ту работу — в последний раз. Баллоны казались мне пушинками: скоро, скоро это всё кончится!

Как только освободился, я кинулся звонить Ирине:

— Взяли, взяли, взяли — повезло наконец!

Когда мы собрались все вместе, мама сказала:

— Говорила я тебе, что всё будет благополучно.

Теперь мы с волнением ждали конверт с контрактом. А пока надо было обсудить будущее. Я узнал, что буду получать $25 тысяч в год, мой заработок увеличивался

почти на $8 тысяч. Из них мы будем давать $10 тысяч Младшему — на учёбу и плату за общежитие. И у нас ещё оставалось $3 тысячи от аванса за книгу. Я сказал Ирине:

— Знаешь, ездить в тот госпиталь на метро слишком опасно. Там даже в светлое время дня страшно ходить по улицам. А мне придётся приезжать ранним утром и уезжать поздней ночью, да и дежурить я буду каждую вторую-третью ночь. Надо покупать машину, в рассрочку, конечно, это будет не так дорого. Как ты считаешь?

— Конечно, надо покупать машину и ездить туда только на ней. Я уже думала об этом.

Потом, помолчав, она спросила:

— Скажи, после того как мы внесём первую плату за Младшего и за машину, у нас останутся какие-нибудь деньги на отпуск?

Я знал, чего ей хотелось больше всего — поехать в Европу. Но я виду не подал и сказал безразличным тоном:

— Что-нибудь останется.

Ирина робко спросила:

— А не поехать ли нам в Европу?

Мне и самому этого хотелось очень, но раньше я и думать не решался. Я притянул её к себе и стал покрывать поцелуями, приговаривая:

— Конечно, мы поедем с моей маленькой девочкой в Европу. Ты думала о машине для меня, а я думал о Европе для тебя, для нас. Давай сейчас же разрабатывать план. Как насчёт Парижа?

— О, конечно!

— А Амстердама?

— Тоже!

— А как насчёт Бельгии — Брюссель, Льеж?

— Хочется, но не много ли будет?

— У нас останется месяц до моей резидентуры, вот и поедем в Европу на целый месяц отпуска, кутнём за все наши воздержания!

Ирина всё ещё не могла привыкнуть к Нью-Йорку, не чувствовала себя в нём дома, не любила и боялась его; я к нему привык больше, но мы оба были воспитаны в европейском духе, Европа была нам ближе по культуре, по традициям. Нам обоим казалось, что побывать в Европе — это как глотнуть живительный воздух.

Пришёл по почте контракт на первый год резидентуры. В Америке очень многое делается по почте (а теперь и по e-mail). Подписав, я отправил его обратно тоже по почте. И теперь уже вздохнул совершенно успокоенно.

Оставалось завершить несколько дел: уволиться с работы и устроить небольшой прощальный приём; позвонить в отель в Париже, который мне рекомендовали как прекрасно расположенный и недорогой, и забронировать номер на десять дней; отнести в издательство Ричарду Мэреку половину окончательно написанной и переведённой рукописи; оформить в юридической конторе заявку на патент для нового метода наложения гипсовых повязок; снять гараж рядом с домом, потому что оставлять машину на улице было опасно — украдут или сломают.

Иммигранты обычно покупали по дешёвке подержанные машины, но я хотел сразу новую. Я — доктор, мне нужна приличная машина, и чтобы ничего в ней не надо было чинить и менять. Первого мая я поехал выбирать машину. Это будет моя седьмая, все прежние были русские. Я в состоянии восторга ходил по громадному салону с десятками разных машин, выбирал модель и цвет, садился за руль. Потом пошёл в салон другой фирмы — и повторял то же самое. Картина была ясная: за небольшие деньги, которые мог заплатить я, все модели были приблизительно одинаковы. Я вернулся в первый салон и позвонил Ирине:

— Слушай, машин так много, и все такие хорошие, что я уже отупел от осмотра. Но я облюбовал одну — приезжай посмотреть. Если тебе понравится, будем оформлять покупку.

— Ну что я в этом понимаю, ты сам решай.

— Нет, я хочу, чтобы ты посмотрела.

Когда она приехала, я подвёл её к «Бьюику» модели небесного ястреба (Buick Skyhawk) 1982 года, бежевого цвета.

— Садись в кабину и чувствуй себя американкой.

Ирине машина понравилась. Я указал представителю фирмы, который вился около:

— Эту.

И мы уселись оформлять бумаги.

— Ваша работа? — спросил он, записывая.

— Доктор-хирург, — сказал я просто.

И вот я впервые ехал к дому на своём «Бьюике»-ястребе. Я проезжал по хорошо знакомым улицам, которые исходил пешком в любые погоды. Тогда у меня в кармане бывало по двадцать пять центов, а перед мысленным взором была отдалённая неясная перспектива. Красивые машины проезжали мимо меня, их поток казался мне другой, кинематографичной жизнью, бесконечно далёкой от реальности. Тогда я шёл и думал: всё равно я добьюсь! Теперь я вёл свою новую машину: я влился в общий поток движения в моей новой стране — я добился!

На следующий день я пришёл в кабинет Ризо. Я не понимал, какая трансформация произошла с ним в отношении ко мне? Никаких неудовольств он мне не высказывал и продолжал улыбаться, но не только не хотел помогать, а даже как будто тормозил моё продвижение. Скорее всего, он просто не собирался мне помогать: дал работу, а дальше двигайся сам. Американский подход. Но где была хотя бы простая профессиональная солидарность? Всё-таки я был благодарен ему за первую работу и хотел проститься «на хорошей ноте». Увидев меня, он сразу заговорил:

— Ах, да, я помню-помню. Возможно, через пару месяцев будет место фэллоу.

— Я пришёл сказать, что меня приняли в резидентуру по общей хирургии, и прошу вас освободить меня.

— Вы нашли место? Где?

— В Еврейском госпитале Бруклина.

Он пожал плечами:

— Но ведь этот госпиталь уже давно потерял свою хорошую репутацию. Впрочем, это ваше дело. Желаю удачи.

Любопытно было слышать это от него: предлагал ли он мне что-то более подходящее? Я только сказал:

— Я хотел бы попрощаться со всеми на банкете.

— Ну, может быть... надо подумать.

— Я сам это сделаю и приглашаю вас в следующую пятницу в поликлинику в 3 часа.

Обычно прощальные банкеты устраивают для уходящего, но мне этого никто не предлагал. Ризо мог, хоть и с опозданием, проявить ко мне последнее внимание, но — не сделал этого: у многих американцев нет чувства такта.

А я хотел тепло распрощаться со своими приятелями из аттендингов, резидентов и сестёр. Американские банкеты на работе всегда бывают очень простые, я договорился с мамой, что она напечёт русских пирожков (она всегда делала это очень вкусно), а я куплю лёгкого вина и кока-колу для непьющих — вот и весь «банкет».

Но с Уолтером я попрощался отдельно: мы с Ириной пригласили его в тот самый шикарный ресторан «Russian Tea Room», где недавно праздновали экзамен и книгу.

Поднимая рюмку, я снова и снова благодарил Уолтера, а Ирина говорила:

— Если бы не вы, не знаю, что бы мы сейчас делали.

Он смущённо смеялся:

— Да Владимира и без меня приняли бы в резидентуру... Владимир того стоит... Это Ризо дерьмо такое — хотел, чтобы Владимир делал на него собачью работу.

Ирина со свойственной ей эмоциональностью ругала Ризо и всех, кто обманывал меня на нашем долгом пути.

Уолтер:

— Я знаю, мой отец был иммигрант и рассказывал, как ему было тяжело. Владимир заслужил то, что получит. Не горюйте, будьте довольны, — и смеялся.

Наступил последний день моей работы ортопедическим техником. На докторской конференции председателем был Аксельрод. Обсуждали сложный случай перелома-вывиха в локтевом суставе у молодой женщины. Травма была давно, шесть недель назад, и теперь уже трудно было сделать что-либо, чтобы восстановить движения в суставе. Ни у кого из докторов не было в этом достаточного опыта, не могли решить, что лучше сделать. Молодой аттендинг Дэннис Фэбиан спросил:

— Всё-таки есть у кого-нибудь в этом хоть какой-то опыт?

— Можно мне сказать? — спросил я.

Аксельрод удивился, но, поскольку сам сказать ничего не мог, буркнул:

— Ну, говори.

— Я лечил сто пятьдесят таких больных и описал их в своей докторской диссертации.

Дэннис даже крякнул от удивления: ого!

Это был единственный раз, когда я рассказывал о своём опыте в ортопедии. Двадцать минут я объяснял и рисовал мелом на доске схему тех операций, которые сам предложил. Слушали внимательно и задавали вопросы. В конце Аксельрод сказал:

— Что ж, я думаю, Владимир прав. Поблагодарим его за прекрасную лекцию, — и мне зааплодировали.

Это был момент моего торжества. Неловко раскланявшись, я пригласил всех на русские пирожки после работы. На выходе Уолтер злорадно шепнул мне:

— Здорово ты их обделал. Так им и надо.

Когда я вернулся с банкета домой, у нас был гость — соученик Младшего по колледжу Боб Кавалло, симпатичный высокий парень, его единственный друг. Они сидели на кухне и пили пиво, празднуя окончание колледжа. Ирина ещё не пришла, и я подсел к ребятам. Боб спросил у Младшего:

— Ты сказал своему отцу, как ты закончил?

Тот пожал плечами.

— Так ты скажи, скажи.

Но Младший молчал, и я сам спросил:

— В чём дело, как ты закончил?

— Нормально.

Но Боб всё продолжал настойчиво его уговаривать:

— Ну же, Владимир, скажи, скажи, — и весело улыбался.

Поскольку Младший продолжал молчать, он сам сказал:

— Ваш сын закончил колледж magna cum lauda (латинское определение ученика с отличием, одного из первых в выпуске).

Сын улыбался, будто стеснялся чего-то. Почему он не хотел сказать? В тот момент многое пронеслось в моей памяти — всё, что происходило с Младшим с того времени, как он начал учиться в медицинском институте в Москве. Он был плохим студентом, и если бы кто мне тогда сказал, что он закончит американский колледж одним из первых в выпуске, я бы не поверил и рассмеялся. Произошло невероятное. Да, самые большие и хорошие изменения в Америке произошли с нашим сыном. Это и было заветным желанием, нашей высшей целью.

Ему здесь жить долгую жизнь, ему начинать будущую ветвь нашей семьи — американскую, ему добиваться всего.

Ребята ушли в кино, а я сидел и думал, улыбка не сходила с моих губ. Пришла Ирина:

— Чем это ты так счастлив, что улыбаешься? Хорошо прошло прощание на работе?

Я сказал:

— Знаешь, наш сын закончил колледж magna cum lauda.

Она растерянно смотрела, думая, что ослышалась.

— Да, да, — повторил я, — это правда: наш сын закончил колледж одним из первых в выпуске!..

ЕВРОПА ЕСТЬ ЕВРОПА, А ДОМ В АМЕРИКЕ

Мы летели навстречу солнцу — на Восток, в Европу. Впервые мы, бывшие бесправные рабы советской власти, были свободными путешественниками — свободно купили билеты за границу и свободно заказали гостиницу в Париже. Мы с Ириной придумали для себя такую игру — я спрашивал:

— А куда это мы едем?

На что Ирина как бы небрежно отвечала:

— А что такого?

Она детально разработала маршрут и была этим горда, как лягушка-путешественница из сказки Андерсена:

— Это я, это я придумала!

И вот мы летим. Любые изменения ощущаются острей, когда ломается рутина повседневности. Одно дело было знать, что мы можем свободно лететь в Европу, как все американцы, другое дело — действительно лететь, с американскими долларами и кредитными карточками. Сидя в салоне просторного самолёта DC-10 голландской компании KLM, мы были счастливы ощущением свободы международного передвижения. Но... ничего нет на свете абсолютного: надо было так случиться, что в самолёте у Ирины разболелся зуб. И она всю ночь промаялась, страдая от боли. Она пила обезболивающее, стонала, и мы решили, что как только обоснуемся в гостинице — сразу позвоним в американское посольство, узнать, у кого лечиться в незнакомом нам городе. Паспортный контроль — непривычно простой, и мы едем в такси — по Парижу! Мимо Триумфальной арки, по Елисейским полям... Ирина, держась за щёку, крутит головой по сторонам. И вот мы в номере «Hotel Du Colisee», и у нас нетерпение — выйти на улицу. Позвонили в посольство, там нерабочий

день — Memorial Day — День поминовения погибших. Как быть с зубом? Придётся ехать в госпиталь завтра, а пока — на улицу. Целый день мы бродили, в экстазе восторга, в восторге экстаза. И к концу дня Ирина вдруг:

— Ой, а зубная боль прошла совсем!..

Прекрасное и эмоциональное — сильней всего, даже зубной боли.

Десять дней в Париже, там мы взяли в прокат маленькую машину «Renault», пять дней ездили по шато и городкам вокруг, и помчались в Голландию. За восемь дней я влюбился в голландцев — лучший из народов мира. У них есть пословица: Бог создал мир, но Голландию создали голландцы. Как верно! После Голландии — неделя в Бельгии. Мы наслаждались путешествием, но Ирине в Европе было особенно приятно: впервые за долгое время она чувствовала себя спокойно, не боясь опасного окружения.

В Бельгии радостная встреча с друзьями — Колей и Леной Савицкими. Это они помогали нам с выездом из России и встречали нас в Вене четыре года назад. О нашей жизни в Америке рассказывал им в основном я; Ирина с волнением и злостью описывала лишь опасности Нью-Йорка и трудности нашего устройства, в очень уж мрачном свете:

— Это наше путешествие — единственное хорошее с момента отъезда из Москвы, что с нами происходило и происходит.

— А мне Америка нравится, несмотря ни на что, — возражал я.

Коля примирительно:

— Ну, я так и думал, что у вас уйдёт около пяти лет на первое становление в Америке.

Ирина кипятилась и спорила, критикуя и ругая Нью-Йорк. Но вот однажды, за несколько дней до отлёта обратно, она задумчиво сказала:

— Знаешь, я хочу домой, в Америку.

Как я был обрадован! — наконец-то она почувствовала, что Америка — наш дом.

НОВЫЙ ЭТАП

Всё во мне пело от счастья, когда ранним утром 30 июня 1982 года, через четыре года после переселения в Америку, я ехал на своей машине начинать вторую в жизни докторскую карьеру: нас, резидентов первого года трейнинга, собирали на «ориентацию» — для знакомства друг с другом, с госпиталем и его правилами.

Еврейский госпиталь Бруклина считался одним из самых плохих и бедных. Но было время, когда он славился своими знаменитыми докторами и был одним из лучших и богатых госпиталей Америки. И это было не так давно — до 1960-х годов. Когда в 1948 году у великого Альберта Эйнштейна развилась опасная для жизни аневризма аорты, расширение главного кровеносного сосуда, то для спасения его привезли на операцию именно в наш госпиталь. И профессор Ниссан сделал ему операцию, какие тогда мало где производились. В нашем госпитале лечились король Англии, несколько президентов, знаменитые политические деятели и интеллектуалы страны. Теперь всё это было в прошлом. Что же произошло и почему так быстро?

Госпиталь построила в начале века еврейская община района Бедфорд-Стайверсант. Тогда там жили белые состоятельные люди, в основном евреи (весь Бруклин был еврейским городом до его слияния с Манхэттеном в конце прошлого века). Их красивые дома утопали в зелени садов, это был самый процветающий район города. Но вместе с окончанием расовой сегрегации с 1950-х годов там началось постепенное замещение местного населения. Сначала в Бруклин стали вселяться рабочие черные семьи, а за ними массой покатилось нашествие легальных и, чаще, нелегальных чёрнокожих иммигрантов из Латинской Америки и с Карибских островов. Из своих стран-колоний они привезли три характерные черты: бедность, культурную отсталость и преступность. Это их я и увидел возле метро в мой первый визит в госпиталь.

Еврейские семьи стали массами уезжать в пригород, в район Long Island. Как при стихийном бедствии, они бросали свои квартиры и дома, потому что их никто уже не хотел покупать. И их тут же наводняли новые иммигранты, вселяясь десятками туда, где прежде жила одна семья. Они не поддерживали дома, не сажали цветы и деревья, не следили за чистотой — всё это было чуждо им, детям дикой природы. И за пятнадцать—двадцать лет им удалось разрушить всё, что создавалось там более ста лет.

Пострадал и пришёл в упадок и наш прекрасный госпиталь: ушли основные доктора, заменился персонал, и прекратился приток средств. Когда я начинал резидентуру, ещё теплились какие-то традиции, некоторые директора департаментов (соответствует заведующим отделениями) были белые и оставались от прежних времён, но весь остальной состав докторов были темнокожие иммигранты, в основном из Индии и Гаити. Внутри госпиталя национальные группы враждовали между собой, борясь за пациентов: каждый лагерь старался не допустить, чтобы другому досталось больше. И уже при мне уходили из госпиталя последние белые доктора, и во главе него стал гаитянин, довершивший разрушение.

Как капля воды отражает всё небо, так судьба Еврейского госпиталя (и всего Бруклина) отражает поучительную историю нашего времени — разрушительная сила в нём порой сильней созидательной. Поразительно то, что нашествие варваров в Бруклин было отнюдь не военным, а мирным, и явилось результатом неверной иммиграционной политики и неумения контролировать и сдерживать разрушающие силы. Общество самой развитой и сильной страны не сумело оградить себя и обуздать своих же варваров. И не смогло сохранить наш госпиталь.

Всё это мне стало известно и ясно постепенно, но я решил заранее показать общий фон, на котором прошли потом пять лет моей работы в Бруклине.

Группа новых резидентов в миниатюре напоминала то, что я видел в толпе на экзаменах, — смешение всех рас и наций с преобладанием индусов, пакистанцев, филиппинцев и чёрных жителей Карибских островов. Были китайцы, один японец, один поляк и один португалец.

Американцев среди нас не было — в тот госпиталь они уже давно не стремились. И конечно, преобладала молодёжь до тридцати лет — в возрасте моего сына. Я был самым старым (и, кстати, самым старым хирургическим резидентом за всю историю Америки, этот «рекорд» не побит до сих пор).

Меня обуревали смешанные чувства: с одной стороны, я был счастлив оказаться опять в докторском ранге, с другой стороны — среди молодёжи я чувствовал себя неловко, как старый петух среди цыплят. И с самого начала я понял, что, хотя умел кукарекать вполне по-взрослому, придётся мне пищать вместе со всеми по-цыплячьи: придётся всё проходить заново — нет же программ для трейнинга профессоров.

Это подтвердилось в первый же день. Нас собрали в учебной комнате, пришла старшая операционная сестра и спросила:

— Кто из вас хоть раз мыл руки на операцию?

Я поднял руку и оглянулся: поднялись ещё одна-две руки. При таком соотношении она наиподробнейшим образом рассказала нам два этапа обработки рук — мыть намыленной щёткой в проточной воде, от кистей и наверх — до локтей, по пять минут каждый раз; потом показала, как вытирать руки стерильным полотенцем, тоже начиная с кистей и кончая локтями. Я впервые делал это тридцать лет назад, когда мои теперешние сотоварищи по группе не родились или были ползунками. Конечно, была ирония в том, что приходилось повторять такие азы. Но не мог же я самовольно регламентировать программу своего обучения.

После этого нас по одному раздали резидентам второго года, которые стали нашими непосредственными учителями и руководителями. Все они ещё только вчера сами были учениками первого года, а теперь получили право обучать. Им нравилось командовать нами, они себя чувствовали на высоте положения. Мой ментор был чёрный как смоль парень из Гаити по имени Луис.

— Ты откуда? — спросил. — Ах, из России. Ты когда-нибудь мыл руки на операцию?

— Немного (не начинать же знакомство с рассказа о моём профессорстве, чтобы не вызвать непонимание, а может быть, и смех).

— Сейчас посмотрим, как ты это делаешь. Повторяй всё за мной. Не так держи щётку! Давай, начинай всё сначала. Так не годится! Э, да ты, я вижу, совсем ещё зелёный в нашем деле.

Мне хотелось послать его к чёрту (но опять-таки, не начинать же с препирательств и скандалов: раз висит на тебе ярлык младшего, то и веди себя как младший).

Зато в тот день впервые *мне* завязывали халат за спиной, а не я завязывал, как было на прежней работе техником. Меня взяли ассистировать, и сестра спросила:

— Доктор, не туго я завязала вам халат?

— Нет, спасибо, как раз хорошо.

(Если бы она знала, какое это для меня имело значение!)

И вот, впервые в Америке в качестве доктора, я у операционного стола. Шла операция обычного грыжесечения, оперирующий аттендинг и его ассистент Луис склонились над операционной раной. Я встал сбоку, держа руки наготове, но они не обратили на меня внимания. В какой-то момент хирург оглянулся и с удивлением посмотрел в мою сторону:

— Новый резидент? Как зовут? Это что за имя? Ах — русское. Ладно, становись вот сюда и тяни крючки. Да не со всей силы. Ты когда-нибудь ассистировал на операциях?

— Немного.

— Вот и хорошо. Раз ты уже ассистировал, бери ножницы и срезай кончики ниток, которые я завязываю. Да не очень коротко.

Я старался делать, как просят.

— А ножницы в руках ты держать ещё не умеешь. Смотри, как надо.

Он перевернул их так, что мне стало совсем неудобно резать, я изогнулся и старался изо всех сил.

После операции Луис сказал тоном приказа:

— Смотри, русский, чтобы точно в четыре часа в истории болезни была твоя запись о динамике состояния этого пациента после операции.

Оператор по радио объявил, что в три тридцать доктор Рекена проводит занятие с резидентами и все мы обязаны быть там. Я поспешил к тому пациенту, проверил его состояние, осмотрел, сменил намокшую кровью повязку и записал в историю болезни. Это была моя первая запись, и я старался написать как можно более чётко.

Когда занятия с доктором Рекена закончились, Луис спросил:

— Эй, русский, ты сделал, что я тебе приказывал?

— Да, я осмотрел пациента и сделал запись.

— Ну, что ж: пойдём — проверим.

Увидев запись в 3.30, он пришёл в ярость:

— Ты обманул меня!

— Почему — обманул? Вот моя запись.

— В какое время я приказывал тебе записать состояние пациента?

— В четыре часа. Но в то время были занятия.

— Это меня не касается. Раз старший приказывает тебе, ты должен выполнять точно.

— Если бы ты просил проверять пациента каждые полчаса, ты должен был написать «проверять жизненные показания каждые полчаса». Какая разница, если запись на полчаса раньше?

Он сверкнул белками больших глаз на чёрном лице:

— Ты мне не умничай (Don't get smart with me)! Я тебе это припомню.

Так. Младший резидент находится в полной зависимости от старших. Я попадал в зависимость к гаитянину Луису и обрёл в нём недоброжелателя.

Резидент — в переводе значит «проживающий», тот, кто постоянно живёт в данном месте. В медицине резидент тоже значит — проживающий при госпитале. И действительно, так раньше и было, и даже и теперь подавляющее большинство медицинских резидентов живёт в домах на территории или рядом с госпиталем.

Корни резидентуры очень древние и происходят от монастырских начал: как юные «послушники» жили при монастырях, полностью подчиняя свою жизнь их укладу, так и медицинские резиденты должны полностью растворять свою жизнь в обучении при госпитале. В Америке резидентура была скопирована с немецкого и английского образцов прошлого века — молодые врачи там проходили трейнинг за содержание и кормёжку в госпитале. Американский хирург Уильям Холстед (William Halsted, 1852—1922), который внедрил в хирургическую практику резиновые перчатки, также ввёл в начале века обязательное прохождение резидентуры для будущих хирургов. Тогда они не получали никакой зарплаты, живя на содержании госпиталя и работая столько, сколько требовалось — хоть двадцать четыре часа в день. Это были молодые мужчины, но они не имели права жениться и заводить семьи. Постепенно правила становились мягче, резидентам стали платить, разрешили жить, где они хотят, и заводить семьи. Но одно остаётся неизменным до сих пор: резидент это тот, кто должен работать столько, сколько от него требуют. Никаких прав отказаться у него нет.

Хотя рабство в Америке было отменено, но одна форма его осталась — это медицинская резидентура.

Но жёсткий режим изучения специальности всё-таки даёт настоящий опыт, и после резидентуры ты уже натренированный специалист. Только через три года трейнинга американский доктор получает лицензию на право самостоятельного лечения больных. А чтобы стать специалистом в любом разделе медицины, он должен пройти ещё один или два года специализации (Fellowship) и сдать дополнительный экзамен.

России надо бы перенять хороший опыт трейнинга врачей у Америки, может, с некоторыми поправками.

На вторую ночь я впервые дежурил — младшим из группы пяти резидентов. Фактически я был на побегушках у всех, но непосредственным моим шефом на дежурстве оказался японец Юкато, тридцати лет, резидент второго года — маленький, сухощавый, страшно подвижный, с глазами-щёлочками. Японец быстро перебирал короткими кривыми ногами и ветром обходил-обегал пациентов на восьми этажах. Я едва поспевал за ним и на ходу записывал свои обязанности. Понимать его странное японское призношение было невероятно трудно — напрягаясь в беготне, я ещё напрягался, вслушиваясь в его быструю речь.

Мои обязанности: проводить полное обследование и вести все записи на вновь поступивших пациентов (их обычно от десяти до двадцати), самому брать у них анализы и разносить пробирки по лабораториям; опять по лабораториям собирать данные сделанных анализов и записывать в истории болезней; налаживать необходимое срочное лечение — внутривенное вливание, смену повязки, переливание крови или что другое; первым являться на любой вызов дежурных сестёр и тут же докладывать старшему, при этом никаких самостоятельных решений и действий; а кроме того — ассистировать на срочных операциях; а кроме того — помогать дежурному резиденту по неотложной помощи; а кроме того — всегда являться по вызову старшего дежурного, резидента четвёртого года; а кроме того... Только и всего?..

На дежурстве бесплатно дают ужин (если есть время прийти в кафетерий) и каждому выделяют отдельную комнату для спанья. Она находится в другом корпусе, соединённом двумя переходами, так что даже бегом оттуда до пациентов — минут пятнадцать—двадцать. В пять часов следующего утра надо проверить все анализы и записи в историях болезней предоперационных пациентов. В шесть тридцать быть на конференции резидентов и доложить о происшедшем за ночь. В восемь утра надо уже стоять у операционного стола — ассистировать. Никаких перерывов после дежурства нет — до конца дня, часов до восьми-девяти вечера. В общей сложности это 36—38 часов подряд. И через день или два — дежурство опять. А в остальном, прекрасная маркиза... можно и отдохнуть.

Обежав весь госпиталь, мы ненадолго уселись в кафетерии. Юкато спросил:

— Ты почему уехал из России?

— Я эмигрировал как политический беженец.

— А когда закончишь резидентуру, поедешь обратно в Россию?

— Нет, я останусь в Америке. Мне обратной дороги нет, я и гражданство там потерял.

— А я поеду обратно в Японию, — мечтательно, зажмурив узкие глазки, сказал он.

— Почему ты решил проходить резидентуру в Америке? Здесь что, преподают лучше, чем в Японии?

— Ну, не думаю, что лучше. В Японии прекрасная хирургия. Я решил приехать, чтобы познакомиться со страной, которая так быстро захватила доминирующее положение во всём мире. Из-за Америки и моя страна стала быстро меняться. Мне любопытно пожить среди американцев, понаблюдать их, понять, почему они такие заносчивые. Почему они стали теперешними хозяевами мира?

Ага, вот оно что! Значит, Юкато с чисто японской дотошностью и методичностью изучает не только американскую хирургию, но и самих американцев. Но ведь здесь, у нас в госпитале, их почти и не было. Странно немного.

Старшим над нами был толстый индиец Схали, лет сорока. Очевидно, растолстевший на американских хлебах (все остальные индусы были худые), он двигался медленно, как сумчатый медвежонок коала, перебирающий лапками по ветвям деревьев. Говорил он тоже медленно, со страшным индийским акцентом твёрдого произношения всех гласных. Понимать его было ещё трудней, чем японца. Схали стал учить меня, как лучше записывать результаты анализов в записную книжку, чтобы потом легче переписать их в истории болезней. И заодно преподал мне тактический урок:

— Ты должен запомнить: чем важней аттендинг, тем свежей должен быть анализ у его пациента. Вот, например, поступает частный пациент директора доктора Лёрнера, а другой — госпитальный пациент (не имеющий частной страховки) младшего аттендинга доктора Пурсида, — тут он назидательно поднял палец. — Сразу надо заняться пациентом Лёрнера, провести полное его обследование и всё наиподробнейшим образом записать в историю, — он опустил палец. — После этого можно заняться пациентом Пурсида. Если у тебя будут вопросы к старшим на дежурстве, сначала спрашивай Юкато, а он будет консультироваться со мной. Сам ты меня беспокоить не должен. Понял?

— А если пациент младшего аттендинга в более тяжёлом состоянии, чем пациент старшего аттендинга, как в таком случае поступать? — я спрашивал наивно, по-дурацки, попадая в тон его инструкции.

— Ты не должен решать, кто из них тяжелей. Ты ещё не в той позиции, чтобы принимать самостоятельные решения. Зови Юкато, а он будет консультироваться со мной. Понял?

В 9 часов вечера в отделение неотложной помощи поступила чёрная девочка семи лет, у которой были все признаки аппендицита. Я брал у неё кровь для анализа и видел, как Схали её осматривал. Он как будто не мог решить, что делать: срочную операцию или ждать до утра. Сам, без аттендинга, оперировать он не имел права, а беспокоить его не решался. Состояние девочки ухудшалось, и после полуночи он всё-таки позвонил на дом аттендингу. Но так невнятно описывал ему картину заболевания, что сонный аттендинг, очевидно, переспрашивал. Наконец Схали сказал:

— Вы сейчас приедете? Тогда я всё подготавливаю к операции.

Повесив трубку, он стал дотошно проверять мою запись в истории.

— Почему ты ничего не записал, живёт ли пациентка половой жизнью?

— Да ей же только семь лет! Какая половая жизнь в таком возрасте?

— Ты ещё свежий в нашем госпитале и не знаешь, что в здешней округе творится. Здесь всякое может быть. Обязательно надо проводить гинекологическое обследование и записывать в историю. Только делать это надо с согласия матери и в присутствии свидетелей.

Час от часу не легче! Я просто не знал, как решиться задавать такие вопросы ребёнку. Если надо, то придётся. Но как?..

И тут оператор по радио срочно вызвал всю бригаду в неотложную — доставили пациента с тяжёлым огнестрельным ранением. Неотложная в полуподвальном этаже, два лифта заняты — ползут вверх. Я побежал вниз, за мной топал Схали. В неотложной суета вокруг каталки с пациентом, много полицейских. Оказывается, шла перестрелка и привезли нескольких раненых, один в состоянии глубокого шока от кровотечения.

Спасти его не удалось, он умер через несколько минут. Схали велел мне писать свидетельство о смерти. Это в первый раз: надо чётко заполнять графы свидетельства, нельзя делать ошибки и нельзя исправлять. Я сидел над этим целый час.

В 2 часа после полуночи начали, наконец, операцию. Оперировал Схали под руководством аттендинга, я был вторым ассистентом — «на крючках». Хирургических навыков у индийца не было, и аттендинг с едва сдерживаемым раздражением подсказывал ему каждое следующее движение. Когда, наконец, выделили воспалённый аппендикулярный отросток, стало ясно, что операцию надо было делать раньше — так сильно он уже был воспалён.

В ту первую ночь я не спал совсем. Может, по неопытности, но анализы и записи заняли у меня почти всё время. В 4 часа ночи я, не раздеваясь, положил голову на подушку в своей комнате, но тут же раздался звонок телефона: сестра седьмого этажа что-то спрашивала. Понять что — я не мог.

— Я сейчас приду.

Прибежав на седьмой этаж, я спросил:

— Что случилось?

— Ничего не случилось, доктор. Я просила вас дать мне устное разрешение на обезболивающее лекарство для пациента после операции. Вам не надо приходить, вы можете подтвердить по телефону, а утром записать в историю.

Сестра была чёрная, из Доминиканской Республики, и у неё был тоже новый для меня акцент — вот я и не понял. Раз уж пришёл, я написал что нужно и побрёл в свою комнату. Но только опять положил голову на подушку, как позвонил Юкато и велел идти с ним на обход предоперационных пациентов. Аккуратный работяга-японец хотел проверить, всё ли я сделал правильно.

Едва успев проглотить завтрак, в 8 часов утра я уже стоял у операционного стола «на крючках». За той операцией была другая. Всего четыре часа стояния на ногах в постоянном напряжении: тянуть крючки не так легко, их надо вовремя передвигать, давая место рукам хирурга. Иногда он в нетерпении хватал меня за руки и передвигал вместе с крючками. Время от времени я тайком мор-

гал и таращил глаза, чтобы не слипались, и переминался, перенося нагрузку с ноги на ногу.

Перед концом рабочего дня — обязательная часовая учебная конференция, на которой проверялись наши теоретические знания. Тут нужна концентрация другого рода: вслушиваться в вопросы, которые читал шеф-резидент, и знать на память ответы. А у нас у всех глаза закрывались и головы свешивались от усталости.

После конференции шеф-резидент делал с нами обход всех оперированных за день пациентов. Мы, младшие, должны докладывать, что и как было сделано.

У меня профессиональная привычка хирурга: я мог не спать по двое-трое суток. Но это было в молодости. Тогда организм быстро перезаряжался энергией за два-три часа отдыха. Теперь я был уже не тот. Ну, что ж: надо, так я и теперь выдержу.

В семь вечера я вышел на улицу и подходил к машине на госпитальной стоянке, у меня немного кружилась голова. А предстояло ещё около часа ехать в потоке машин. Дома Ирина спрашивала, пристально приглядываясь, как я перенёс первое дежурство.

— Не так уж плохо, — постарался я успокоить её.

Молодым моим сотоварищам по работе не приходило в голову, насколько я старше — ровесник их родителей. И не потому, что я выглядел моложе своих лет и был пока ещё достаточно энергичным. Просто они сами были в том возрасте, когда о возрасте не думают. Да если бы они и подумали о моих летах, то всё равно это не изменило бы их отношения ко мне: все мы были в одной упряжке и должны были скакать одинаково. А скакать приходилось в буквальном смысле слова.

У новичков первого года не было никаких навыков работы, их обучали старшие резиденты — на этом построена система постепенного освоения опыта в резидентуре.

И мы многому учились у них в повседневной практике. Резиденты 4-го и 5-го годов казались нам чуть ли не профессорами. Но обучая нас, они же нас и эксплуатировали, заставляя делать вместо себя мелкую работу, а то и используя нас на посылках. То и дело наши бипперы на поясах пищали — бип-бип-бип, — и мы кидались к телефонам — это вызывали старшие!

Резидент 4-го года Фунуча, филиппинец, вызвал меня, когда я был в детском отделении.

— Срочно принеси мне рентгеновские снимки (имя пациента). Я жду тебя на третьем этаже, в операционном блоке.

Срочно? Я был уверен, что он чем-то очень занят, потому что рентгеновское отделение как раз над операционным блоком и ему всего-то подняться на один этаж, а мне надо идти длинными переходами из другого корпуса.

Я поспешил. Когда, запыхавшись, принёс снимки, то увидел его в холле операционного блока. Он сидел, развалясь в кресле, и лениво перелистывал страницы журнала «Плейбой» с картинками голых красавиц. Не сразу оторвавшись от них, он мельком глянул на принесённые мной рентгенограммы:

— Отнеси обратно, — и опять погрузился в приятное созерцание.

Отнеся снимки, я снова поспешил в детское отделение. Проходить надо было мимо неотложной, там в коридоре меня перехватил резидент второго года индиец Гупта, 28 лет. Он дежурил по неотложной, и его обязанностью было принимать травму.

— Эй, русский, ты куда идёшь?

— В детский корпус.

— Что там?

— Надо сделать перевязку.

— Потом сделаешь. А теперь помоги мне зашить ножевую рану. Ты когда-нибудь зашивал раны?

— Приходилось.

Ножевые ранения были дежурным блюдом нашего госпиталя каждый день и целый день — создавалось впечатление, что в нашей округе разговора без ножа не происходило.

На этот раз рана была небольшая и неглубокая, я быстро справился с заданием. Гупта наблюдал, стоя позади:

— А ты действительно умеешь. Хорошо.

И я побежал на перевязку. Но лучше бы я не показывал ему своего умения. В течение ночи он вызывал меня ещё несколько раз на каждое зашивание раны — делать за него то, что ему самому полагалось. В результате у меня скопилась уйма недоделанных дел, не были собраны

анализы и не вписаны в истории их результаты. Мой непосредственный шеф Юкато был недоволен — нервный, как все японцы, он строго следил за мной и требовал точности выполнения. С чисто японской хитростью он шпионил, что и когда я сделал. Не находя записей, он упрекал, я обещал, но меня снова вызывал Гупта для зашивания очередной раны. Японец выходил из себя. И вот мы с ним столкнулись в холле биохимической лаборатории. Японец стоял перед длинным листом результатов анализов и делал выписки. Увидев меня, стал кричать:

— Почему ты недоделал это? Ты обещал сделать.

Когда он повысил голос, я не выдержал и тоже обозлился:

— Почему ты кричишь на меня?

— Потому что ты — лжец!

— Я не лжец, но я не успел это сделать, меня Гупта заставляет зашивать раны.

— Ты лжец, лжец! — он собрался в комок, как будто хотел наскочить на меня.

На меня нахлынула волна злости. Я стал в позицию, чтобы ударить его первым. Прищурясь, быстро прикидывал, как получше нанести удар. Он понял и ещё больше съёжился. Так мы стояли друг против друга, тяжело дыша и смотря с ненавистью — точно два бойцовых петуха. В моём сознании мгновенно пронеслось, что назавтра наша драка станет известна директору, обоих нас, с синяками, вызовут для разбора: два доктора подрались на дежурстве! Я здесь новичок и меня никто не знает, а он уже работал полный год. К тому же, я ведь намного старше и обязан вести себя соответственно возрасту. Нет, начинать с драки мне невыгодно: могут выгнать совсем. А этого я боялся больше, чем расквашенного носа. Я подумал и сдержался.

А жаль. Очень мне хотелось врезать ему — до того допекли меня придирки и понукания.

РАЗНОСТЬ КУЛЬТУР

Город Нью-Йорк — это большая кастрюля, в которой вместе варятся иммигранты из разных континентов и стран. Вот уже полтораста лет через Нью-Йорк прибывает в Америку основная масса иммигрантов. Поначалу чуть ли не все оседают в городе — в нём для них установились самые выгодные правила. Потом, переварившись и освоившись с языком, многие разъезжаются по разным штатам, сами или их второе поколение.

Если Нью-Йорк представить себе в виде такой кастрюли, то наш госпиталь был наваром на кипящей в нём поверхности — сгустком переваренного. После слияния еврейского и католического госпиталей его назвали Госпиталем всех вер — Interfaith Hospital. И действительно, сотрудники, и больные, и резиденты — откуда только они не были!

Резиденты наши были люди способные, они получили медицинское образование в своих странах, кое-кто из них уже успел поработать там, и они смогли сдать тяжёлый американский экзамен. Но они привезли в Америку традиции культур своих стран, в том числе и традиции их медицины. И у всех была одна главная мечта: разбогатеть и сладко пожить на американских хлебах. Теперь, за короткий срок в три-пять лет трейнинга, нам предстояло перестроиться на рельсы американской медицины.

Медицина универсальна, но уровень её развития и традиции в каждой стране разные.

Достижения и культура американской медицины стоят в мире очень высоко, намного выше, чем в тех странах, откуда приехали мы (включая и Россию). Это не только богатство лекарствами и оборудованием, и не только глубина теоретических знаний — это ещё и динамика обследования и лечения.

Фактически нам надо было и перестраиваться, и догонять. Это было бы проще, если бы наши аттендинги

были американцы, но таких почти не было. Аттендинги сами были иммигрантами и в недавнем прошлом резидентами, и тоже учились у таких же иммигрантов. Уже несколько поколений резидентов познавали специфику американской медицины не прямо, а лишь отражённо — через книги, журналы, примеры и сведения, когда приглашали лекторов и консультантов-американцев.

И плюс ко всему, достигать новый уровень нам приходилось на фоне чрезвычайно напряжённой работы. Наш госпиталь был госпиталем гетто, забитым слишком тяжёлыми больными — деклассированными наркоманами и алкоголиками. Большинство из них — с заболеваниями и следствиями их образа жизни: ранениями, переломами, повреждениями, нагноениями, инфекциями, воспалениями. Ещё было много стариков с запущенными хроническими болезнями. Почти ни у кого — никаких медицинских страховок, госпиталь вынужден был лечить их бесплатно. Но, по американским стандартам, лекарства и оборудование были всегда в достаточном количестве. У нас не было дорогого электронного оборудования, но больные никогда не страдали от недостатка необходимого для их лечения. И оплата врачам и сёстрам была высокая (иначе они не пошли бы туда). Финансовое положение госпиталя было постоянно на краю краха, и администрация беспокоилась только о том, как получить от города и от штата деньги, чтобы нас не закрыли совсем. Но и закрыть наш госпиталь было невозможно: тогда весь кошмарный поток наших пациентов повалил бы в другие, более благополучные госпитали. И программы резидентуры тоже нельзя было закрывать: некому стало бы лечить эту шваль.

Вот так, в пестроте культур, на краю пропасти и в невероятно трудных условиях, мы, резиденты, готовились для вступления в богатую и монолитную первоклассную американскую медицину.

Доминировали индийцы, в чурбанах и без, со смуглыми, почти чёрными лицами и заискивающими глазами. Их группа была самая образованная, многие выучили американские толстенные учебники буквально наизусть. Но в практическом применении знаний они терялись — их ограничивало чувство зависимости. От прошлого британского господства и от бедной жизни в Индии в них оставались следы послушания. Однако — только до тех пор, пока они не поднимались повыше. Тогда они могли становиться деспотами. Внешне вежливые и тихие, они были чрезвычайно хитрые и жадные.

Мы дежурили с моим ментором гаитянином Луисом, подготавливая пациентов на операции на следующий день. Одна 92-летняя белая старушка поступила накануне с геморроидальными узлами. Её перевели из Дома для престарелых в чрезвычайно тяжёлом состоянии: без сознания, с хрипами в лёгких, с перебоями пульса. Фактически она умирала, но... была в списке на операцию иссечения геморроидальных узлов. Её хирург — доктор Рай, молодой индиец, сам недавний резидент.

Луис командовал мной, как всегда, и откровенно считал, что делает мне этим честь.

— Эй, русский, поди возьми подпись-согласие на операцию у той старухи с геморроем.

По закону, перед каждой операцией пациент должен дать на неё письменное согласие.

Я заполнил специальную форму и пошёл к больной.

— Добрый вечер, как вы себя чувствуете? — Ответа нет, я продолжал: — Пожалуйста, подпишите ваше согласие на операцию на завтра.

Мутные глаза старухи уставлены куда-то в сторону. Дежурная сестра говорит:

— Доктор Владимир, она же не реагирует на окружающее, у неё глубокий старческий маразм. Ей пришла пора умирать. Жалко, конечно, старушка такая тихая.

— Как же мне взять согласие на операцию?

— На операцию?.. Неужели?.. Впрочем, это дело ваше, докторов.

Я объяснил ситуацию пришедшему следом Луису. Он позвонил её хирургу, послушал и сказал в трубку:

— Хорошо... не волнуйтесь... я сделаю... — Повернулся ко мне: — Рай меня обложил и сказал, что подпись — это не его забота, а операцию он всё равно должен делать. Бери форму согласия и пошли к старухе. Сейчас она нам подпишет!

Он вставил ручку в безжизненные пальцы старухи и водил ею, рисуя корявую пропись её фамилии. Больная ничего не только не понимала, но и не чувствовала.

— Подпиши как свидетель, — сказал мне Луис.

— Нет, я не стану. Сёстры знают, что она без сознания и может умереть каждую минуту. Как же она могла подписать?

— Не хочешь — твоё дело, я сам подпишу. Только здесь это никого не интересует. А вот если она доживёт до утра, а подписи не будет, то тогда Рай нас с тобой съест — за операцию страховка Медикер ему хорошо заплатит. Понял?

Больную оперировали, и вскоре после этого она умерла. Но раз операция сделана, хирург деньги получит.

Другой индиец-аттендинг, доктор Шенка, уговорил 70-летнюю старушку на операцию исправления искривлённых пальцев стоп. Она хорошо ходила, но жаловалась на неудобства обуви и на боли.

— Боли пройдут, станете носить фасонные туфли и будете ходить, как молодая, — пообещал он ей. — Сначала сделаем правую сторону, потом и левую.

Пациентка, тихая, застенчивая и доверчивая, охотно и послушно подписала согласие на операцию сама. Но у неё был тяжёлый диабет, это почти всегда — противопоказание для таких операций. Нога не заживала.

Я спросил старшего резидента:

— Ты считаешь, что ей нужна была операция?

— Конечно, нет. Ей не нужна, *ему* нужна, — был ответ.

Нога не заживала, а хирург взял отпуск для сдачи экзамена на высшую категорию (National Board Exam). На перевязках я видел, что воспаление распространялось, и докладывал другому аттендингу — гаитянину. Он обещал посмотреть, но время тянулось.

К нам в ту пору пришёл на практику студент-медик по имени Маршал, длинный, как жердь, и наивный тоже, как палка. Он придумал, что ему полезно поработать в таком госпитале, как наш, чтобы потом помогать бедным и бездомным. Резиденты над ним посмеивались, и он прибился ко мне. Ходил за мной, как телок. А мне нравилась его юная наивность; и он был единственный по положению младше меня — я много ему рассказывал и показывал.

После перевязок той старушки он спрашивал:

— Доктор Владимир, что надо делать, чтоб остановить воспаление?

— Нужно скорее ампутировать ногу. Ничего другого не придумаешь — начнётся гангрена.

— Неужели это так серьёзно?

— В медицине, Маршал, всё серьёзно: любое осложнение может убить больного.

Время шло, аттендинг-гаитянин не хотел вмешиваться в работу Шенки, и состояние больной ухудшалось. Когда пришёл после экзамена хирург, пришлось ампутировать ногу под коленом.

Маршал был потрясён. Теперь мы с ним перевязывали культю ноги, но и на ней были признаки воспаления. После перевязки он хватался за голову:

— Доктор Владимир, она же пришла в госпиталь на своих ногах!.. Как вы думаете, она поправится?

— Боюсь, что её уже нельзя спасти.

— Не может быть!

Раньше мне не приходилось наблюдать случаи ненужных операций. В России такое понятие не существовало. Там, скорее, не делали операций, которые были нужны. Но хирургам там не платили за операции. А в Америке операции стоят дорого. И поэтому их иногда делают тем, кому они не очень нужны, кого можно лечить без операции. Мне и потом приходилось наблюдать это типично американское явление.

К сожалению, история с той старушкой не кончилась на ампутации: гангрена пошла выше, и через неделю ей сделали ампутацию бедра выше колена. Её общее состояние от глубокой и длительной инфекции ухудшалось, она впала в кому и через неделю умерла от осложнений. Бедный Маршал был совсем потерян:

— Почему, почему это должно было произойти с такой хорошей старой женщиной?!

Это был первый трагический случай в его наблюдениях. Щадя его наивность, я осторожно пытался объяснить ему, что такое ненужные операции, но и сам ещё неясно это понимал. Он и верил и не мог поверить моим объяснениям, ему это казалось диким.

По правде говоря, я тоже думал так.

Если индийцы были хорошо образованные и вели себя воспитанно (даже иногда приниженно), с завуалированной хитростью и жадностью, то гаитянские доктора отличались примитивностью во всём, особенно в манере поведения. В госпитале они составляли единую сплочённую массу напористых рвачей и разбойников. В этом, конечно, просвечивали традиции их страны — маленькой и самой бедной в западном мире. Диктатор Дювалье, сам тоже доктор, тогда зверски управлял своим забитым народом с помощью «гаитянской опричнины» — тонтон макутов, и кто только мог, сбегал от него. Доктора в Гаити учились по американским и европейским учебникам и зачастую приезжали для трейнинга в Америку, поэтому сдать экзамен им было не так трудно. Но по уровню образованности и практическому искусству лечения они были явно ниже других. Удерживаться в госпитале и хорошо зарабатывать им помогала их сплочённость. Стоило пациенту попасть на приём к одному доктору-гаитянину, как он тут же передавал его на консультацию ко второму гаитянину, от второго к третьему, от третьего к четвёртому — так футболисты одной команды передают мяч друг другу. Доктора насчитывали лишнее за непроведённое обследование и лечение и так зарабатывали.

Именно доктор-гаитянин доверил мне делать первую операцию: я должен был удалить петлю металлической проволоки на месте сросшегося перелома локтевого отростка. Ассистировал мне гаитянин Луис, а аттендинг в это время стоял в стороне и болтал с операционной сестрой-гаитянкой. Операция сама по себе простая: разрез кожи всего 3—4 см по прежнему рубцу от первой операции, над местом, где прощупывается проволока; она вставлена туда для скрепления отломков кости. После разреза тонкая проволока диаметром 2,5 мм перекусывается щипцами и вытягивается. Вот и всё. Такую маленькую и простую операцию даже не хотел делать резидент второго года Луис, поэтому и поручили мне.

Прошло пять лет с тех пор, как я не делал никакой операции. Поэтому всё-таки волновался. Луис руководил мной, как большой профессор, и даже снисходительно похваливал:

— Всё правильно. Ты, русский, молодец.

Но когда я попытался вытянуть проволоку, она не поддалась.

— Ну, ну, давай, давай, русский!.. Такая простая операция, а ты не можешь сделать!

Мне очень хотелось показать, что я могу, но чёртова проволока застряла где-то вглубине сросшейся кости. Я по опыту знал, что лучше действовать осторожно, чтобы не сломать кость. Луис понукал меня и нервничал:

— Да ну же — да тяни ты! Да тяни!.. Какой из тебя хирург будет? Руки у тебя деревянные.

Я под маской кусал себе губы, и как ни хотел доказать, что руки у меня хирургические, но не уступал его понуканиям. Он не выдержал:

— Эх, ты!.. Давай, я сам сделаю.

Он стал тянуть и дёргать за оба конца, но проволока всё не поддавалась.

Прошло уже с полчаса, аттендинг болтал с сестрой и скептически поглядывал на нас:

— Ну, что там у вас? Эх вы, молодёжь!.. (Я был старше него.)

Он подошёл ближе и стал давать советы:

— Тяни сюда... потяни в другую сторону... А ну-ка, подвиньтесь — я сам сделаю.

Мне было очень неловко, что я не смог докончить свою первую операцию, такую простую. Я знал, что могло бы помочь, и предложил:

— Что, если сделать небольшую резекцию (иссечение) кости вот здесь? Тогда проволока выйдет легче.

— Какую ещё резекцию? — ворчливо возразил аттендинг. — Смотри!

Он взялся за щипцы, дёрнул проволоку, и — крак! — кость сломалась как раз в месте прежнего сращения. Наступила сцена неловкого молчания: аттендинг оторопело смотрел на развалившуюся кость, Луис смотрел на него, сестра смотрела на всех нас — все были смущены.

Мой первый опыт оказался неудачным. Но я рад был, что не поддался самолюбию и действовал осторожно. По крайней мере, я не сломал кость. В хирургии самое главное — не навредить! Гаитянин этого не знал или не учёл.

Пришлось снова скреплять отломки кости, на этот раз пластинкой с винтами. Операция затянулась более чем на час. Но мне её уже не доверили.

Было много случаев, когда проявлялась некомпетентность докторов-гаитян, но открыто критиковать их не решались: гаитянская мафия могла отомстить.

В неотложной хирургии работал дежурантом, только на дежурствах, молодой доктор-гаитянин, который был замечен в пьянстве на работе. Он являлся с душком алкоголя изо рта и во время дежурства иногда где-то тайком умудрялся напиваться так, что нетвёрдо стоял на ногах. Парень он был весёлый, разговорчивый, читающий. Както, узнав, что я из России, он неплохо сказал мне несколько слов по-русски; оказывается, он сам изучал русский язык и мог читать. Сотрудники неотложной любили его, хотя к его пьянству относились неодобрительно. Однако сделать с этим они ничего не могли или не хотели: у доктора были сильные покровители.

Однажды, когда он был крепко пьян, кто-то из пациентов пожаловался на него хирургу Риктеру, старому работнику госпиталя, одному из немногих оставшихся белых докторов. Риктер был заместителем директора департамента и обладателем известного всем резкого характера; он принадлежал к породе хирургов-крикунов — кричал на операциях и легко входил в конфликты со многими. На этот раз он ворвался в неотложную, увидел пьяного гаитянина, вошёл в раж и стал на него буквальным образом орать. Послушав его недолго, тот нахально улыбнулся ему в лицо, снял халат и спокойно ушёл, здорово покачиваясь.

— И чтобы тебя здесь больше не было! — кричал ему вслед Риктер. — Не смей появляться! Ты уволен, уволен!

Через пару часов в госпитале появилось несколько прилично одетых немолодых гаитян солидного вида. Чёрные, как антрацит, лица, надутые щёки, большие животы и важная походка. Они прошли прямо в кабинет Риктера и сказали ему:

— Или ты сейчас же исчезнешь из этого госпиталя и из этого района, или пеняй на себя сам.

Что это значило — можно было представить: ограбления, избиения и даже убийства докторов были известны в нашем районе. Бедный доктор Риктер тут же позвонил... нет, не в полицию — в другой госпиталь. Он просился на работу туда. У него была отличная профессиональная репутация, и его взяли.

А доктор-алкоголик из неотложной продолжал работать и пить. Вдобавок он стал вкалывать себе в вены наркотики и всё больше деградировал. Никто из сотрудников на него не жаловался — и жалели его, и боялись его гаитянских покровителей. Однажды, уже спустя несколько лет, я заметил, что он исчез из неотложной. Я спросил про него. Ответ был:

— Как, вы разве не знаете? Он умер от СПИДа.

Третья заметная группа были филиппинцы. В культурном отношении они представляли собой как бы мармеладную подошву для кожаных туфель: выглядит почти как настоящая, и на вкус сладкая, а ходить на ней нельзя — ненадёжная: липкая и распадается.

Филиппинские острова, заселённые в основном потомками китайцев, долгое время были отсталой колонией Европы, а потом вдруг стали мощной опорной базой американского флота на Тихом океане. Американцы на кораблях и самолётах привезли туда своё богатство. Диктатор Маркос заграбастал себе львиную долю, а население продолжало нищенствовать. Филиппинские женщины, почти все традиционные проститутки, являлись единственным источником существования семей. Они понарожали массу смешанных детишек, которые за короткое время проскочили мимо стадий развития, необходимых для сформированной цивилизации. В результате получилась смесь заносчивых, косоглазых и широкоскулых, но почти со светлой кожей людей, которые всеми силами старались вырваться в Америку.

Вороватые и диковатые по натуре, филиппинцы и филиппинки в нашем госпитале враждовали между собой. Чаще они были резидентами в программах терапии, педиатрии и акушерства. Немногие из них хотели и сумели пробиться в хирургию. С индийской и гаитянской группами они соревноваться не могли, те их затирали. Зато филиппинские женщины в других программах нередко были очень хорошенькие и наследственно податливые, они верно и рьяно служили источником наслаждения для нашей молодёжи. И этим примиряли между собой все группы.

В такой пестроте рас, национальностей и культур резиденты из Советского Союза — евреи-беженцы из России и других республик — терялись в общей массе. В хирургии был я один, в терапии, педиатрии и акушерстве было всего по два-три человека.

Нашей общей основной трудностью был английский язык: все мы начали учить его лишь по приезде, в то время как другие лучше или хуже, но знали его чуть не с детства. Поначалу мы с трудом понимали коллег, и они с ещё большим трудом понимали нас. Разнообразие произношений затрудняло это понимание ещё больше.

Второй нашей трудностью были отношения с людьми чуждых нам рас — чёрными и смуглыми. Нас удивляло и настораживало это смешение. Здесь мы были в явном меньшинстве и в абсолютно чуждой среде. Приходилось быть настороженными и осторожными.

Третьей трудностью был наш возраст: в те, 1970—1980-е, годы иммигрировало мало молодых врачей, многие русские были за сорок лет, а я так даже за пятьдесят. Наши доктора имели свой опыт и своё мнение и нередко его высказывали. Трудно же отучиться от того, что и как делал десять и более лет, а традиции советской медицины во многом другие, чем на Западе. При этом наши не скрывали скептического отношения к несхожим мнениям других, а это далеко не всегда приветствовалось старшими резидентами и критически воспринималось многими руководителями. Был случай, когда московского кардиолога с двадцатилетним опытом исключили из программы по терапии за его настойчивые (и заносчивые) профессиональные споры: в чужой огород не лезь со своими правилами. Евреи — умный народ, но и любители показать себя тоже. А это задевало чувства других национальных групп. Антисемитизмом не пахло, в госпитале были живы старые проеврейские традиции. Да чёрные и смуглые даже и не знали, что русские доктора все были евреи.

И конечно же, всех нас не могло не удивлять и не удручать окружение, в которое мы здесь попали. Женщины плакали, мужчины нервничали, и все постоянно боялись.

БРУКЛИН — ГОРОД ТЕНЕЙ

Если верно, что не место красит человека, а человек — место, то про Бруклин можно сказать: не место уродует человека, а человек изуродовал место.

Каждый день я проезжал по его кошмарным разрушенным улицам, повсюду руины — зияющие пустыми глазницами окон полуразрушенные прекрасные дома. Смотреть не хотелось! Это не город, это — город теней прошлого. А в настоящем — его теперешние жители. Приходилось очень себя пересиливать, чтобы проявлять докторский гуманизм к большинству тех пациентов, которые попадали в наш госпиталь.

Заполняя на них истории болезней, я задавал им простой и обязательный вопрос:

— Какая у вас работа?

Они таращили на меня глаза с удивлением и непониманием. Поначалу я относил это на счёт моего непривычного им акцента и переспрашивал:

— Какую вы работу делаете?

Однако ничего не просветлялось в их взглядах.

— Док, я не работаю.

— Ну, а раньше работал?

— Док, я и раньше не работал. Я, док, никогда не работал.

Это был настолько стандартный диалог, что в конце концов я просто перестал спрашивать про работу — ответ был ясен по одному виду.

Полагалось ещё записывать семейное положение. Толстенная, в три обхвата, чёрная женщина двадцати восьми лет. Я спрашивал:

— Вы замужем?

— Не-е, я незамужняя, док, — хихикая.

— Значит, живёте одна?

— Нет, я живу с детьми, док.
— Значит, был муж?
— Какой муж? Я говорю, что незамужняя я.
— Сколько детей?
— Восемь, док. У меня их восемь.
— Восемь?
— Ну.
— Как же вы их прокармливаете, если не работаете?
— Я получаю на них пособие, док, город платит.
— Сколько?
— Тысячу двести долларов в месяц.
— А, ну это другое дело. Сколько старшему?
— Четырнадцать.

Я быстро подсчитал: значит, она родила его, когда ей самой было четырнадцать.

— Что он делает, учится?
— А-а, не знаю, — безразлично махнула рукой и отвернулась.
— Как же вы не знаете?
— Он уже год, как сбежал из дому и пропал куда-то.
— Значит, на него пособие не платят?
— Получаю, док. Мне надо бойфренда содержать. Он на мои деньги живёт.
— Что ж, бойфренд не работает?
— Ему шестнадцать лет, док.

Ага, вот что...

В округе нашего госпиталя дети были основным и единственным источником законных доходов. Хотя противозачаточные таблетки были в ходу, но детей рожали и рожали, сколько могли, — для денег.

Одна из больных, пятидесятидвухлетняя наркоманка и алкоголик, страшная, лохматая и грязная, со всякими хроническими болезнями, спрашивала меня:

— Док, как мне забеременеть? Я хочу ребёнка, док.
— Для чего вам ребёнок? Вы ведь в возрасте, да и больны очень.
— Док, я хочу ребёнка.
— Ваш муж тоже хочет ребёнка?
— У меня нет мужа, док.
— Тогда тем более, зачем вам ребёнок?

— Я хочу получать на него сто пятьдесят баксов в месяц.

У них полностью отсутствовал основной элемент социальной структуры общества — нормальная семья. Практически никто из наших пациентов не вёл семейной жизни. Они жили по улицам какими-то странными стаями; пусть меня простят за сравнение, но существовали они, как животные, на своих территориях. И всё это было не в глубине джунглей, эти тени Бруклина годами безнаказанно существовали в многомиллионном городе — финансовой, информационной и торговой столице всего мира.

Девочек тринадцати-четырнадцати лет, которые уже имели своих детей, было полно. Одна молодая женщина, лет тридцати, принесла больного мальчика трёх лет. С ней была девушка, на вид лет пятнадцати, очевидно — старшая дочка. Пока я осматривал ребёнка, девушка играла его пальчиками и хихикала. Чтобы положить его в госпиталь, нужно было письменное согласие матери.

— Теперь вы, мамаша, должны подписаться вот здесь, — протянул я бумагу той женщине.
— Я не мама, я бабушка, — сказала она со смехом.
— Вы — бабушка? Ни за что бы не подумал. Сколько вам лет?
— Тридцать один.
— Да? А где же мать?
— Да вот она — мать, — указала на девушку.

Удивившись, я протянул бумагу ей.

— Тогда вы должны подписать. Вам уже есть восемнадцать?

Она заморгала глазами от удивления. Вступилась мать:

— Не-е, док, ей только шестнадцать.

По закону она подписать не могла, пришлось подписывать бабушке.

Кто были отцы — этого почти никогда не знали и, очевидно, не очень интересовались.

Во многих случаях отцами младенцев бывали отцы, родственники или братья девочек-матерей: в обществе, более похожем на звериное, чем на человеческое, это ни грехом, ни странностью не считалось. И вот что интересно: несмотря на все и всякие кровосмешения, практически никогда к нам не приводили изнасилованных девочек.

Разгул сексуальной жизни, как у обезьян, был там нормой поведения.

На одном из дежурств индиец Гупта срочно вызвал меня в неотложную. Туда привезли двадцатисемилетнего чёрного, который ни минуты не хотел лежать спокойно на каталке, всё время вскакивал и гортанным хриплым голосом кричал:

— Док, а док! Я могу уходить? Отпусти меня, док! Док, а док!..

Гупта сказал:

— Владимир, займись этим беспокойным парнем.

Он был там частым визитёром, поступал каждые два-три месяца — то с травмой, то с отравлением, то с воспалением. Я расспрашивал его:

— Наркотики употребляешь?

— Угу, док. Отпусти меня, док.

— Какие наркотики?

— Док, я все перепробовал. С тринадцати лет, док.

— Марихуану куришь?

— Курил, док, десять лет курил, перестал — не берёт больше, док. Отпусти меня!..

— Кокаин нюхаешь?

— Док, да я всё нюхаю, док. И кокаин тоже, док.

— Героин колешь?

— Док, я всё колю, док. И героин тоже. Три раза в день, док.

— Слушай, а можешь мне сказать — зачем тебе всё это надо?

Он удивлённо вытаращил на меня глаза: такой вопрос ему в голову не приходил. Я ещё раз:

— Зачем тебе это надо?

— Док, так я, знаешь, живу под каким напором... Я ведь человек, док, я человек.

— Какой же такой напор на тебя?

— Док, так мне ведь надо сто пятьдесят, а то и двести баксов, не меньше, док.

— В неделю?

Он опять изумился:

— Док, мне надо сто пятьдесят — двести баксов в день, док.

На этот раз изумился я — на сто пятьдесят долларов наша семья могла неплохо питаться дома целую неделю.

Он лежал несколько дней и всё время требовал его отпустить. Странным было то, что, несмотря на большие дозы сильных антибиотиков, его температура не падала и анализы продолжали показывать воспаление. Однажды загадка разрешилась: в госпиталь приходили его дружки и, когда сестра не видела, легко и быстро вкалывали грязную иглу через стенку катетера и вводили в вену нестерильные наркотики. Получалось, что через тот же самый катетер мы его лечили, а они калечили. И однажды он пропал: ушёл сам, сбежал с нашим катетером в вене.

Какой у него был источник денег, я не спрашивал. Наверняка он не снимал их со своего банковского счёта. Но однажды, много недель спустя, я вновь увидел того своего пациента: ранним утром почти по пустой дороге я ехал на машине в госпиталь, и неожиданно меня справа обогнал большой «Мерседес»; краем глаза я успел заметить, что за рулём был тот чёрный парень. Из любопытства я на расстоянии поехал за ним. Он остановил «Мерседес» носом к воротам гаража, которые, я раньше обращал внимание, всегда были на запоре. На условный стук ворота открылись, и парень вкатил шикарную машину внутрь. Ворота сразу же закрылись.

Сомнений не могло быть: он пригнал украденную им машину. Я слышал, что за это платили по пятьсот и тысяче долларов, в зависимости от марки и состояния машины.

Меня всё чаще вызывали в неотложную, чтобы зашивать раны. Теперь я был там своим человеком, и врачи, сёстры и парамедики стали моими приятелями. Раненых было так много, что можно было подумать — идёт война. Обычно раненого пациента сопровождала большая толпа, каталку с ним окружали родственники и соседи с многочисленными детьми. Избавиться от них не было никакой возможности: на просьбы покинуть перевязочную комнату они просто никак не реагировали и, пока я зашивал рану, стояли вокруг, шумели, спрашивали, переговаривались, перемещались.

И в тот раз, когда меня опять вызвали по бипперу, я приготовился, что придётся иметь дело с многочисленной чёрной толпой. Однако на каталке лежал пожилой белый, элегантно одетый мужчина с окровавленной головой, и никто его не сопровождал, кроме парамедика скорой помощи и полицейского. Больной был без сознания, рентгеновский снимок показал перелом черепа на затылке.

— Что случилось? — спросил я у сопровождающих.

— Мы нашли его лежащим на улице, возле развалин масонской ложи. Не пьяный. Очевидно, нападение, потому что ни бумажника, ни документов при нём не было.

Полицейский добавил:

— Вот, я подобрал рядом с ним эту книгу, — протянул мне окровавленный томик.

Я глянул на название: «Путеводитель по архитектуре Бруклина», британское издание.

Ясно, что он стал жертвой своей любознательности: очевидно, по наивности ходил по нашему району с путеводителем в руках. Но здесь не только нельзя заглядываться на остатки прекрасных зданий, но надо быть ежесекундно начеку. А ещё лучше вообще не ходить, а ездить на машине, не выходя. Бедняга этого не знал.

Я зашивал рану, а индиец Гупта стоял рядом и приговаривал:

— Это разве люди? — это животные какие-то. Даже хуже животных!..

Больной пришёл в сознание, но ничего не мог вспомнить:

— Что случилось, где я?

— Вы в госпитале.

— В госпитале? Почему?

— Вы помните, что с вами случилось?

— Что случилось... не помню. Голова болит.

— У вас была потеря сознания (не говорить же ему сразу, что его чуть было не убили).

— Да, да, я вспомнил: я приехал в Нью-Йорк из Лондона, я англичанин. И я пошёл гулять по улицам... дальше не помню.

— Вы помните, зачем пошли гулять?

— Да, меня интересовала архитектура... позвольте, где я — в Бруклине?

Он пролежал несколько дней и перед выпиской рассказал мне:

— Я профессор архитектуры, и у меня всю жизнь была мечта: полюбоваться архитектурой Бруклина. Если бы вы знали, какая прекрасная, богатая и разнообразная была здесь архитектура! Например, здание масонской ложи — такое красивое! Но мне всё было некогда. И вот я вышел на пенсию и сразу же поехал осуществить свою мечту.

Это чуть не стоило ему жизни.

ОРТОДОКСЫ БРУКЛИНА

Сохранились в Бруклине районы, где чёрные не только не селятся, но и появляться там не очень решаются. Это районы Вильямсбурга и Восточного авеню, где живут сотни тысяч ортодоксальных евреев — хасиды и любавичские. Чёрных там не увидишь, а если они проникали туда и случались там ограбления или убийства, евреи многотысячной густой толпой шли в районы чёрных и устраивали там такие демонстрации и разгромы, что те стали их бояться. Полиция, конечно, присутствовала, но всё равно это было своего рода самоуправством — единственным для них спасением.

Любавичские евреи жили близко к нашему госпиталю и иногда поступали к нам на лечение. Жизнь их изолированного общества напоминала добровольное гетто. В полную противоположность чёрным соседям культ семьи там стоял превыше всего на свете: все были многодетные, по пять—десять и больше детей. И все работали — в мелкой торговле или на производстве, многие — в брильянтовых мастерских и магазинах.

Но работа была неофициальной, чтобы не платить налоги. Это было одно общее между любавичскими евреями и чёрными иммигрантами: налогов они не платили. И ещё одно: для лечения и те и другие получали страховку для бедных, Медикейд, как многодетные родители.

Чрезвычайно, даже фанатично религиозные, любавичские всю жизнь подчиняли соблюдению традиций и молитвам и ели только кошерную пищу, благословлённую их раввинами. Одевались тоже традиционно — с детского возраста: мужчины в чёрных сюртуках и шляпах, женщины, даже очень молодые, с бритыми головами, прикрытыми париками, платками или шляпками. Вокруг них всегда вился рой аккуратно одетых детишек всех возрастов. И, конечно же, никаких наркотиков в том традицион-

ном обществе не было и быть не могло. Там господствовали книга религиозных законов Тора и деньги.

Обходя этаж за этажом на дежурстве, я подготавливал больных, поступивших на завтра на операции. В палате на одного человека сидел на кровати и раскачивался в молитве молодой еврей-хасид, с пейсами, в ермолке и с молитвенником в руках. Когда я вошёл, он сделал мне знак рукой не перебивать его и продолжал качаться. Я встал спиной к двери и перебирал свои записи — что ещё нужно делать. Он всё молился, и я уже был готов повернуться и уйти, чтобы зайти позже. В тот момент он закончил молитву и в один прыжок оказался возле меня, поймав за полу куртки. Он уставился в висящее на лацкане моё удостоверение, прочитал и воскликнул по-русски:

— Ты — еврей из России?

— Да. — Я удивился, не ожидая услышать от него русскую речь.

— Ага! Я тоже! — радостно завопил он и стал буквально прыгать вокруг меня, как сумасшедший, быстро-быстро расспрашивая:

— Когда приехал?

— Четыре года назад.

— Где жил?

— В Москве.

— Ага! Я тоже! Я тебя сразу распознал.

— А вы когда приехали?

— Я давно, двадцать лет назад, ещё мальчишкой. Ага! — он не переставал двигаться и подпрыгивать, от его суетливости у меня зарябило в глазах, я подумал: чем он болен?

— Мне надо вас обследовать. Что с вами?

— Ерунда! У меня грыжа, но это не имеет никакого значения. Сначала мы должны вместе помолиться. Ага!

Поражённый таким оборотом дел, я стал отнекиваться:

— Мне, знаете, некогда, дел много... да я и не умею молиться...

— Ерунда! Это не имеет значения! — вопил он подпрыгивая. — У меня есть с собой всё для молитвы. Ага!

Притянув меня насильно, он стал повязывать мне на левую руку ритуальную кожаную коробочку с двойной длинной лентой Тефеллин, приговаривая:

— Ага! Эта называется Шел Яад, с молитвами из Торы. Она напротив сердца, ага! А вторая называется Шел Рош, тоже с молитвами. Эту повяжем тебе на лоб. Ага!

— Слушайте, мне действительно некогда... может быть, потом...

— Нет, нет, никаких потом!

Я не знал, как от него избавиться: при такой настойчивости единственным способом было его оттолкнуть, но это грубо — мы же не на улице, с больными в госпитале так не обращаются. С другой стороны, и больные с докторами ведь тоже не должны так обращаться... Что мне делать? Я не успел придумать, как он накинул мне на голову талес — большую белую шаль с синими полосами по краям. Под шалью я почувствовал себя полным идиотом.

— Ага! Теперь будем молиться, — он сам уже тоже был под талесом. — Становись лицом к стене — в сторону Иерусалима. Повторяй за мной.

Я только мечтал, чтобы в этот момент не вошла сестра. Прочитав короткую молитву, которую я вяло повторял, улавливая конец бормотания, он заявил:

— Ага! Теперь мы должны станцевать.

Тут я из-под талеса возвысил голос:

— Нет, нет, танцевать мне совсем некогда!

— Это особый танец, символический — для дружбы. Ты хочешь, чтобы моя операция прошла хорошо?

— Да, конечно, но...

— Ага! Для этого надо станцевать. Клади свою руку мне на плечо, так, а я кладу свою руку на твоё плечо. Теперь давай кружиться и подпрыгивать, ага! — он заскакал вокруг, насильно меня поворачивая. — Ты подпрыгивай, подпрыгивай, ага!

Подпрыгивать я не стал, но ощущал себя безвольным идиотом: никогда в жизни я не был в таком дурацком положении. Я сказал:

— Ну, хватит, уже ясно, что операция пройдёт удачно.

— Нет, нет! Ещё не всё, ага! Ты хочешь, чтобы израильтяне победили в Ливане? (Это было в 1982-м, израильские войска тогда вошли в Ливан для защиты своего севера от хасбулатских экстремистов.)

— Да, я хочу, чтобы они победили, но я не хочу больше танцевать. Какое имеет отношение одно к другому?

— Ага! Если хочешь, чтобы мы победили, повторяй за мной, — он всё кружился и что-то бормотал.

Я думал: ну и картина со стороны — доктор на дежурстве... Вот бы Ирина сейчас увидела меня, она бы решила, что я сошёл с ума.

Наконец он кончил прыгать, мы сняли ритуальные повязки, и я уговорил его лечь, чтобы обследовать его грыжу — надо же мне описать её в истории болезни. Попутно он рассказывал, что живёт в районе, где всё подчинено любавичскому раввину Шнеерзону.

— Знаешь, какие у нас строгие правила? — все евреи должны молиться три раза в день, а мы должны это делать восемь раз, ага! Зато ребе Шнеерзон сказал, что мы первые встретим Миссию, ага!

Я не стал вдаваться в теологические дискуссии и постарался ретироваться поскорей.

— Приходи ко мне помолиться ещё раз перед сном, ага?

— Я постараюсь.

Не имея желания ещё раз валять дурака, я не только больше не вошёл в его палату, но даже обходил её стороной, чтобы он случайно не увидел меня через щель полуоткрытой двери и не затащил силой.

Закончив все дела к трём часам ночи, я пришёл в свою комнату и только вытянулся на кровати, как раздался телефонный звонок. Возбуждённым голосом сестра крикнула:

— Доктор Владимир, срочно придите в палату 306!

Палата 306 была самая большая, на двадцать кроватей, там всегда лежали тяжёлые больные. У нас тогда не было отделения интенсивной терапии, и сестре было легче наблюдать за ними в большой палате.

— Что случилось?

— Вот придёте, сами увидите. Только срочно.

— Хорошо, хорошо, я уже иду, но что случилось?

— Тут двое больных, мужчина и женщина... они занимаются любовью.

— Что?! Где?!

— Говорю вам, прямо в палате.

На ходу я обдумывал, что предпринять, и позвал с собой дежурного охранника, чёрного верзилу:

— Пойдём со мной, сестра звонила — в палате 306 двое занимаются любовью.

— Есть из-за чего беспокоиться! Подумаешь, большое дело, — посмеиваясь и захватив с собой дубинку, он шёл за мной. Эти ребята-охранники сами были не прочь заниматься тем же с сёстрами и их помощницами во время дежурств.

Сестра подвела нас к кровати.

— Вот, это он, а она спрыгнула и ушла к себе. Но я всё записала в историю.

У провинившегося любовника было недавнее огнестрельное ранение лёгкого, и между рёбрами ему была вставлена трубка для постоянного отсоса воздуха. Из-за этого он мог лежать только на спине, и трудно было представить, что в том состоянии он физически был способен делать то, о чём говорила сестра.

— Прямо как животные — при всех, — говорила сестра. — Ведь кто спит, а кто не спит.

— Как же они... это?..

— Так она сидела на нём.

— У неё-то самой что?

— У неё длинный гипс во всю ногу.

Ещё любопытней. Любовник притворялся спящим. Я подёргал его за плечо:

— Эй, ты что тут делал недавно?

Пришёл мой старший дежурный Луис:

— Что тут у вас? Мне позвонили, чтобы я пришёл.

— Да вот, двое больных занимались любовью — он и женщина с гипсом на ноге.

А тот всё не открывал глаза. Луис потряс его сильней, он обозлился и закричал:

— Эй, я человек, док! Я человек!..

— Ты скотина! — заорал на него Луис.

— Ты тише, док, не то пожалеешь!..

— Ты меня не пугай, я сам из Гаити, — выразительно сказал Луис, и больной притих.

Спать нам оставалось два часа. Если не разбудят ещё.

Утром на этаже операционной я увидел толпу бородатых ортодоксальных евреев в чёрных шляпах и сюртуках, под которыми болтались лохматые белые тесёмки — цацкис. Они стояли группками по двое-четверо, кто молился, бормоча что-то себе под нос, кто беседуя — все

люди пожилые. Среди них один молодой, бритый, в обычном костюме. У молодого испуганные глаза и напряжённая улыбка. Я думал, что они пришли проведать своего любавичского сотоварища, но оказалось, что они привели с собой того молодого мужчину для обряда обрезания. Наш госпиталь был местом, где они проводили этот ритуал.

По традиции, обрезание крайней плоти на половом члене делает мохел — специалист этой процедуры, но не доктор. При этом должны присутствовать раввин, кантор, сандек (вроде крёстного отца) и актив синагоги. Вот это они и пришли к нам в то утро. Новорожденным младенцам мохел делает обрезание на дому, на восьмой день после рождения. Младенец немножко попищит и быстро затихает. Не так со взрослыми — им для этого нужна настоящая хирургическая операция под местной анестезией. А это умеет и имеет право делать только доктор, обычно — уролог. У нас был уролог — верующий еврей, который подменял мохела в процессе процедуры.

Я никогда не видел этого ритуала и попросил старшего из них:

— Можно мне присутствовать? Я работаю доктором здесь.

— А вы еврей? Тогда оставайтесь. Откуда вы? Из Москвы? Так ведь и этот молодой человек тоже недавний иммигрант из Москвы. Он очень знаменитый шахматист. Ай-ай, какой знаменитый! Вы его знаете?

Я подошёл к напуганному шахматисту. Он обрадовался русской речи, и мы разговорились, оказалось, что у нас были общие знакомые. Он действительно был гроссмейстер шахмат.

— Скажите, очень больно будет?

— Нет, не волнуйтесь, только первый укол в кожу немного болезненный.

— Вы уж меня не оставляйте, я не знаю английский и никого не понимаю.

— Не волнуйтесь, я буду с вами. Могу я спросить: почему вы решились на это?

— Да это они меня уговорили. Как вцепились. Я недавно приехал, один, семья пока не со мной. Мне сказали пойти в синагогу, я никогда раньше и в синагоге-то не

был. А они как узнали, что мне не делали обрезание, насели на меня так, что мне и деваться было некуда.

Я помнил, как накануне меня заставил плясать наш больной, и поверил шахматисту. К нам подошёл коротенький ортодокс и представился, что он и есть мохел. Я перевёл шахматисту, тот с ужасом уставился на него — ему, наверное, с чемпионом мира не так страшно было сражаться. А мохел был весёлый, шутил и его подбадривал.

Пришёл доктор-уролог, и мы вошли в перевязочную комнату, ортодоксы прямо в сюртуках, без халатов. Шахматиста положили на перевязочный стол и стянули брюки, он вцепился в мою руку. Ортодоксы сгрудились вокруг и запели молитвы. Завёл раввин, вступил кантор (певец синагоги), за ним подхватили все. Их масса в чёрных сюртуках раскачивалась, склоняясь над шахматистом и поднимая руки. Всё это мрачностью напоминало средневековый ритуал, что-то вроде жертвоприношения. После минут пятнадцати пения и раскачивания мохел торжественно развернул синий бархатный платок с золотыми шнурками, в котором лежал ритуальный набор: длинный тупой нож и ещё какие-то инструменты. Держа их наготове, он склонился над членом шахматиста. Того передёрнуло от страха, он моргал и дрожал. И в тот момент мохела подменил доктор со шприцом и набором стерильных инструментов. Мохел торжественно передал ему член, все завыли какие-то песнопения. Когда хирург закончил процедуру, мохел опять подскочил и занял ведущую позицию (не иначе как чтобы обмануть взирающего на нас сверху Бога). Он поднял вверх обрезанный кусочек. Тут откуда-то появились бутылка кошерного вина и бокалы, всем налили (и мне тоже), и они стали поздравлять шахматиста:

— Мазал Тов, Мазал Тов, Мазал Тов!.. — и опять запели, приплясывая.

После процедуры мохел отвёл меня в сторону и просил совета по поводу болей в пояснице. Осматривая его, я спросил:

— Вы много ездите на машине?

— Целыми днями.

— Попробуйте поднять сиденье повыше. Может, ваша боль от неправильного сидения.

— Ха, хороший совет! Спасибо, доктор.

Шахматист с трудом отходил от пережитого ужаса. Но потом я читал в газетах, что он играл ещё лучше, побеждая на международных соревнованиях — уже за Америку. Наверное, обрезание помогало...

А мохел? — через несколько месяцев я опять увидел его на такой же процедуре.

— Знаете, доктор, спина прошла. Спасибо за совет, — сказал он.

— Да, вы подняли сиденье в машине?

— Нет, я просто купил новый «Кадиллак».

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ

Руководить массой резидентов из разных стран мира была, конечно, нелёгкая задача. Как бывший директор я это понимал и, хотя был внизу иерархии, с интересом присматривался к тому, как это делают наши руководители.

Рабочий коллектив госпиталя можно сравнить с оркестром, а руководителя — с дирижёром. Наш госпиталь был вроде оркестра, где все музыканты имели разную подготовку, а то и никакой. Но у дирижёра одна задача — чтобы они звучали слаженно, то есть задача главного хирурга, чтобы уровень лечения был одинаковый. Оркестру для этого необходимо много репетиций, но в госпитале репетиций нет и быть не может: больных надо лечить сразу, и — всё.

Директор департамента хирургии и хирургической программы доктор Роберт Лёрнер — мой ровесник — слегка за пятьдесят. Он был один из немногих, кто работал в этом госпитале всю жизнь, и развал госпиталя прошёл перед его глазами. Человек с мягким характером и мягким юмором, он в основном занимался поддержанием баланса отношений между разными группами. Хирург он был не очень активный, оперировал только частных пациентов, которых становилось всё меньше. Он показывал нам мало примеров чисто профессионального мастерства, зато много примеров того, что и в наших условиях можно вести себя по-джентльменски.

Программой резидентов руководил его заместитель доктор Рамиро Рекена, сорока лет. Он активно учил нас показом и рассказом. Рекена был итальянского происхождения, но родился и вырос в Боливии (мать — южноамериканка). Смесь итальянского и боливийского — это некоторая заторможенность с тенденцией показать себя; очевидно, так на них влияют традиции и чудесный климат. Для боливийца Рекена был высокообразован, он

иммигрировал в Америку молодым врачом и прошёл хороший трейнинг в Чикаго. Он любил не просто лечить, но занимался научными вопросами, публиковал статьи в журналах и даже мечтал написать толстый учебник. Его коньком было обучение нас глубоким теоретическим знаниям в медицине, медицинским основам — анатомии, физиологии, биохимии, патологической анатомии (в Америке её называют просто патология), генетике. Мы больше изучали теорию, чем учились практике. И в этом была своя логика.

Госпиталь наш существовал под страхом развала и закрытия. Программы резидентуры в нём были надеждой и поддержкой: если программы не закроют, то и госпиталь удержится (иначе кто же работать в нём будет?). Судьба программ резидентуры зависела от специальной комиссии аккредитации в Чикаго — это были наши высшие начальники: авторитетные специалисты и профессора. Для них главный критерий успешности программы был — как мы сдавали экзамены: ежегодный внутритрейнинговый экзамен, а после окончания — экзамен национального БОРДа по специальности. Экзамены, экзамены, экзамены... у нас от них голова кружилась. Готовиться к ним было совершенно некогда, а не готовиться — невозможно: между Сциллой и Харибдой (русским резидентам, никогда после окончания института экзамены не сдававшим, это было вдвойне непривычно и тяжело).

Неудивительно, что Рекена все силы в первую очередь направлял на то, чтобы подготовить нас к экзаменам. Для этого в конце каждого дня мы, усталые от дежурств и операций, собирались на конференции и повторяли приблизительные экзаменационные вопросы. От недосыпания головы наши клонились и падали во все стороны, но мы обязаны были отвечать на вопросы, которые читали старшие.

Многие молодые ребята часто жаловались мне:

— Ах, Владимир, если бы ты только знал, как я устал...

Счастливые юнцы! — они-то могли жаловаться. Я же делать это опасался: лучше было помалкивать, чтобы не подчёркивать свою старость.

Поначалу я оказался в числе плохих учеников. Моей проблемой было непонимание произношения старших ре-

зидентов-индусов. Они все очень твёрдо произносят согласные звуки, с пропуском гласных. Когда один из них зачитывал вопрос для всей аудитории, я это слышал приблизительно так:

— Мбыр-дыр-пыр-шлыр, брум-друм-гр, бррыкыр-рубш...

После этого один из нас должен был дать ответ — А, В, С, D или комбинацию из них.

Он спрашивал меня:

— Владимир, какой ответ?

О, господи! — что он спрашивал? Неудобно же говорить, что я его совсем не понял. Я напрягался, чтобы догадаться, но никак не мог и говорил наобум: — С.

— Стыдись, Владимир! — такой простой вопрос, а ты не знаешь: ответ — А.

Потом, читая вопрос своими глазами, я тоже видел, что правильный ответ был А.

Но, так или иначе, во мнении старших и руководителей я стал «ходить в слабых». А это грозило тем, что после первого года резидентуры меня могут и не оставить на второй.

Самым теоретически подкованным и знающим был резидент четвёртого года индиец Рамеш. Он всё отвечал правильно, а если кто с ним спорил, то он открывал учебник сразу на нужной странице и показывал: там слово в слово было, как он сказал — он знал восьмисотстраничный учебник наизусть! И Рамеша наши руководители, особенно Рекена, любили и ценили больше всех. Ну, а младшие резиденты перед ним только что не преклонялись.

Мы дежурили с Рамешом на двухсуточном дежурстве в субботу-воскресенье. На утреннем обходе я увидел больную белую женщину семидесяти двух лет, у которой были острые боли в животе. По симптомам было явно, что у неё начиналось обширное воспаление кишечника. Я заподозрил тромбоз вен — жизнеопасное и нередкое заболевание у пожилых людей — и вызвал Рамеша. Больной я сказал:

— Сейчас придёт старший дежурный и решит, как вам помочь.

Она и ждала его как спасителя. Рамеш долго её осматривал, у неё от интоксикации и нарушения баланса газов

крови уже начиналась одышка, и он с некоторым раздражением спрашивал:

— Ну отчего вы так часто дышите?

— Я не знаю, доктор, — она растерянно и застенчиво пыталась улыбнуться в ответ.

Вопрос был как нельзя менее подходящим: это врач должен определять — «отчего».

Рамеш ушёл, ничего больной не сказав. Я пытался убедить его:

— Слушай, ей нужна срочная операция, у неё тромбоз вен и скоро наступит гангрена (отмирание) кишечника.

Он пропускал мои слова мимо ушей. С его знаниями он, конечно, должен был понимать, что происходит с кишечником больной. И он несколько раз приходил её осматривать и записывал, но всё откладывал операцию. Почему? Без аттендинга мы оперировать не имели права, а его главная забота была — не беспокоить аттендинга во время субботы-воскресенья — дежурным был доктор Рекена, основной наш руководитель. И Рамеш не хотел портить ему отдых.

Больная смотрела на Рамеша умоляющими глазами: ей нужна была его помощь, а не его книжные знания. Приходил её единственный родственник — брат-старик. Посидев возле неё, он всё понял и тоже надеялся на помощь:

— Доктор, мне кажется — она умирает. Вы будете делать операцию?

— Мы её наблюдаем и вызовем ответственного дежурного, — ответил я, опустив глаза.

Вся ночь прошла в ухудшении состояния больной, только вечером в воскресенье Рамеш решился позвонить Рекене, тот приехал к ночи. Уже прошло почти двое суток, как заболела старушка. Начали операцию, я «стоял на крючках»: только сделали разрез, увидели — гангрена уже распространилась на весь кишечник. Больная умерла в тот же день.

Я ждал, что Рамешу дадут «разнос» за промедление. Я сам такого резидента выгнал бы. Но... старшие хирурги аттендинги-индийцы собрались в кабинете директора и всё «погасили», никто даже и слова не сказал. Реноме

Рамеша как лучшего резидента не пострадало — он же получал на экзаменах самые высокие оценки!

В медицине не может быть места для политики, в том числе и для политики отношений между докторами — старшими и младшими. У нас в госпитале было слишком много политики. Но — как иначе было руководить многорасовой и разнокультурной массой резидентов?

Я не подходил ни под какую группу. Индийцы и гаитяне косились на меня и не понимали — зачем этот «старик» в резидентуре? Филиппинцам я был совсем чужд, они считали меня ставленником директора и относились насторожённо. Двое других белых, поляк и португалец, были оба в возрасте моего сына. Крутясь целыми днями и ночами вместе с резидентами, я начинал чувствовать некоторую изолированность. И вот в это время Рекена вызвал меня и вежливо, как всегда, сказал:

— Доктор Голяховский (он единственный выучил, как произносить мою фамилию), мы с доктором Лёрнером хотим перевести вас временно в научную лабораторию. Вы освобождаетесь от ведения больных на этажах, но будете продолжать дежурить.

Он описал мои обязанности в лаборатории: делать на кроликах и собаках экспериментальные операции по соединению вен фибиновым клеем вместо обычных швов, и тут же познакомил с руководителем лаборатории доктором Гидеоном Гестрингом.

Ох, как я рад был хоть на время избавиться от части непосильных нагрузок! А что касалось экспериментов, то я раньше много делал их в Москве для диссертаций и оперировал на собаках. Так что работа была мне знакома.

Научные традиции в нашем госпитале имели глубокие корни: именно в этой лаборатории был впервые открыт знаменитый резус-фактор крови, без определения которого теперь не делается ни одно переливание крови (на макаках породы «резус», откуда и название); у нас впервые стали успешно лечить антибиотиками эндокардиты — воспаления внутренней оболочки сердца; были сделаны серьёзные открытия в педиатрии. Но всё это было в далёком прошлом — лет двадцать-тридцать назад, а то и раньше. Теперь научная лаборатория занимала несколько комнат в подвале госпиталя, и ещё в виварии сидело несколько кроликов и собак. От этого в подвале сильно пахло псиной. В комнату, соседнюю с виварием, теперь временно въехал я.

Сколько уже передо мной в Америке проходило разных интересных людей! Но доктор Гидеон Гестринг был одним из самых необычных. Это был пятидесятипятилетний великан с громоподобным голосом и неизбывной энергией, урождённый любитель всяких приключений. Еврей из Вены, он в 1930-е годы, в детстве, попал в Палестину — иммигрировав с родителями от нацистов; подростком он уже сражался там за образование Израиля; в восемнадцать стал одним из первых лётчиков-истребителей Израиля, много раз отличался бесстрашием на войне и был награждён; потом вернулся в освобождённую Вену, закончил там медицинский институт и стал доцентом-нейрохирургом. Там он женился на русской красавице (где нашёл?), такой же крупной и такой же любительнице приключений, они много гоняли по всему миру на мотоцикле, у них родились три сына-великана. Почему-то он переехал в Америку, сдал экзамен, но работать врачом не стал и теперь вёл ту нашу крошечную научную лабораторию в примитивных условиях. Но это не уменьшало его энтузиазма: он и научную работу делал так решительно, как будто летел на сражение.

Кроме него, был там лаборант Аби, тридцати лет, с корнями происхождения из чёрных абиссинских евреев. В нём странно сочеталась типичная внешность чёрного с невероятной еврейской религиозностью, он всегда был в ермолке и соблюдал все еврейские ритуалы и праздники. Был ещё чёрный служитель вивария, сорока лет. Вот и я попал туда, четвёртым, под начало необыкновенного руководителя. Куда только судьба меня не заносила!

ПРОДОЛЖАЮ ПИСАТЬ КНИГУ

Как я ни был занят, как ни уставал и недосыпал, я всё-таки продолжал писать книгу воспоминаний «Русский доктор». Делать это приходилось урывками, не чаще, чем один-два вечера в неделю. Работать над рукописью таким образом было тяжело, мысли прерывались и их надо было снова связывать. Но думал я о книге почти постоянно, даже на дежурствах. Иногда какие-то обрывки мыслей и воспоминаний приходили буквально на бегу по коридорам госпиталя. Я останавливался, записывал в блокнот пару слов — между медицинскими записями для памяти — и продолжал бежать по делам.

Потом я часто не помнил и не понимал некоторые из этих коротких записей. Но чем тяжелей мне было, тем больше мечтал увидеть свою книгу опубликованной. Когда я стал резидентом и вынужден был делать работу, с которой начинал тридцать лет назад, мне пришлось выполнять сотни мелких поручений, глотать обиды, переносить непонимание, смирять себя на каждом шагу, чтобы не показать свой опыт и не высказывать своего мнения. И во мне вздымалось желание эгоистического «Я» когда-нибудь показать эту книгу коллегам, чтобы они узнали, кто я был на самом деле. Так мечта о книге была и надеждой, и утешением.

Уже давно я ждал, когда мой издатель прочитает первую половину рукописи: важно было знать его мнение, учесть замечания при обработке второй половины. Но всё двигалось значительно медленней, чем хотелось. И вот я дождался встречи с ним: он пригласил меня в ресторан «Библиотека» на 92-й улице Бродвея. Прямо с дежурства, в своём белом резидентском пиджаке, я приехал туда. Ресторан оказался маленькой дешёвой забегаловкой — название странно не подходило к нему. Но я уже привык,

что у американцев нет вкуса на представительство, респектабельность европейцев им чужда.

Хотя я понимал, что свободен от цензуры, но в памяти всё тлел старый огонёк неприятных ощущений от разговоров с советскими редакторами, от их бесчисленных сокращений и диктаторского *нельзя*! Несвобода писательства в России была страшней самого мрачного воображения и смешней любого гротеска.

Ничего подобного Ричард Мэрек мне не сказал, мы обсуждали детали того, что я сам хотел написать. Он был доволен прочитанным и предложил:

— Вы должны продолжать историю до самого конца — до устройства здесь. Американский читатель любит прочесть историю всю, от начала до конца. Расскажите, как вы и ваша семья устроились здесь.

— Нет, я не могу это сделать.

— Почему?

— Моя жизнь в России и моя жизнь в Америке настолько непохожи, что их невозможно втиснуть в одну обложку. Пушкин писал: «В одну повозку впрячь не можно коня и трепетную лань».

— Почему нет? Вы были доктором там — вы стали доктором здесь, вы были писателем там — вы стали писателем здесь. Дело в вас — всё ясно и просто.

Я слушал и поражался: вот, оказывается, как всё просто — доктор—доктор... что стоит за этим, какая глыба сдвижения миров! Этого не понимал даже он — интеллигент с литературной подкладкой. Что же тогда поймут более простые читатели? Я сказал:

— Может быть, сам по себе я в душе изменился немного, но это потому, что мне удалось выстоять напор *нового* и устоять. Нет, Ричард, *там и здесь* совсем не одно и то же. Это разные миры, и они вызывают разные мироощущения. Рассказывая американцам свою прежнюю историю, я стараюсь показать им Россию через призму моего восприятия. Если я стану писать о своей жизни здесь, то это будет отражение моего восприятия Америки и ещё — восприятие Америкой меня самого.

Он задумался на несколько секунд:

— Ну, что ж, может быть, вы и правы. Пишите вашу историю до отъезда из России. А если книга будет иметь

успех, мы с вами немедленно договариваемся о второй книге.

Я постарался придать лицу выражение наибольшей наивности:

— Ричард, я знаю, что книга будет иметь успех. А иначе бы вы её и не взяли.

В ответ он рассмеялся:

— Откровенно говоря, я тоже так думаю. Значит, придётся вам писать вторую книгу.

Идя домой, я вспоминал, как легко говорить с американским издателем, как свободно! — хорошо быть свободным в своих мыслях, высказываниях и писании. Ведь он почти сразу предложил мне писать вторую книгу, о чём я даже и не думал. Кто не испытал гнёта цензуры, никогда не поймёт этого воздуха свободы творчества.

А всё-таки Мэрек не понимал разницы между моей жизнью там и здесь. Конечно, американцев не удивишь иммигрантской судьбой, они все — дети или внуки иммигрантов; и он тоже сын иммигранта из России. Но вот чего он не осознаёт — как мне достаётся здесь это приобретение свободы, как вместе с ломкой жизни теснит меня и всех нас громадное давление *всего нового.* Трудно устоять под этим давлением. И через сколько невзгод, притеснений и мелких несвобод приходится проходить, чтобы завоевать действительную *свободу* и — остаться самим собой.

Я решил, что, если доведётся мне писать вторую книгу, я должен в ней показать, как дорого мне пришлось расплачиваться за поздно приобретённую свободу и как это прекрасно — стать свободным, хоть и дорогой ценой.

РАССТАВАНИЕ С СЫНОМ

Подходило наше расставание с сыном: Младший уезжал в медицинский институт в город Сиракьюз, на север штата Нью-Йорк. В своей комнате он упаковывал вещи и книги, и мы с Ириной грустно переглядывались — мы думали о том, что он уезжает от нас навсегда. В Америке подросшие дети, около восемнадцати лет, обычно поступают в колледжи и уже навсегда покидают родительский дом.

Наш сын жил с нами, потому что учился в городе, но теперь это окончилось.

Есть такая мудрость: мы своих детей не получаем на всю жизнь, а только одалживаем на время. Вот и наступила пора нам отдавать его — птенец подрос и вылетал из гнезда навстречу новой жизни...

Я вспоминал, что когда он стал студентом медицинского института в Москве, где я был профессором и заведующим кафедрой, то я предвкушал счастье быть его учителем. Тогда это не сбылось, наши жизненные планы переменились, и вскоре мы оказались в Америке. Трудности и испытания, которые выпали на всех нас здесь, давали нам обоим мало надежд стать когда-нибудь докторами. И я с грустью перестал думать, что смогу передать ему хоть часть своего опыта. Но теперь это опять становилось возможным: ко времени, когда через четыре года он закончит институт, я должен быть на последнем, пятом году резидентуры — шеф-резидент. А что, если он поступит в ту программу по ортопедической хирургии, где я буду шефом? Вот было бы интересно: отец и сын — резиденты одной программы! Я знал, что в одной канадской хоккейной команде играли вместе отец и два его сына. Ну, и мы с сыном могли бы оказаться в одной команде. Вот я и смог бы осуществить, о чём прежде мечтал — стать учителем своего сына. Даже если мы и не будем работать вместе, всё равно я смогу помочь ему своим опытом.

У Ирины мысли были другие: из её жизни уходила большая часть постоянных забот, дум, тревог и радостей. Ей оставались только я и её работа в лаборатории. За меня она уже не переживала так сильно, как ещё недавно — моя профессиональная судьба начала налаживаться. Её работа давала ей много удовлетворения: при всей отрицательной настроенности ко многим аспектам американской действительности, Ирина была счастлива работать в большом и богатом Колумбийском университете, вместе с американскими и иностранными учёными. Лучшей рабочей судьбы она себе не представляла и не желала, она уже получила два повышения, и её заработок возрос до $20 000 в год (что в науке в то время было немало). Теперь, когда Младшего больше с нами не будет, Ирина сможет больше концентрироваться на работе, ну — и на мою долю выпадет больше внимания. Правда, я дежурил через сутки-двое, уходил рано, приезжал поздно, и она подолгу оставалась одна. Но отъезд сына означал, что она перестанет быть повседневной мамой. А без этого привычного качества всё явственней станет проступать общее наше старение. Какой женщине хочется стариться? Ирина была грустна.

Младший спросил меня:

— Эй, ты сможешь отвезти меня на своей машине?

Я вспомнил, как вёз его из роддома по заснеженной Москве, держа на руках.

— Конечно, смогу.

— Только учти, что выезжать надо очень рано, чтобы быть в Сиракьюз часов в десять утра.

— Ладно, не волнуйся, привезу тебя вовремя.

За два дня до его отъезда я дежурил и почти совсем не спал, поэтому накануне с вечера завалился в постель. Но в 3 часа ночи мы уже сносили вещи вниз, в машину.

В темноте мы переехали освещённый мост Джоржа Вашингтона через реку Гудзон и направились на север по дороге №17. Ирина дремала на заднем сиденье, со всех сторон зажатая его вещами, а мы с ним переговаривались. Когда мы подъехали к Катскильским горам в 200 км от Нью-Йорка, стало светать. Солнце вставало и ярко-розовым светом освещало холмы и леса на уступах гор.

Дорога была фантастически прекрасна и радостна в освещении пробуждающегося утра. По мере приближения к Сиракьюз Младший становился всё возбуждённей и нетерпеливо считал оставшиеся мили. Мы подъехали к красному кирпичному зданию общежития в 10.30 утра.

Там уже толпились приехавшие новые и встречавшие их старшие студенты. Только мы остановились у подъезда, к нам подбежали несколько ребят и девушек, спросили Младшего его имя, окружили и повели в его комнату 307, неся его вещи. Он мгновенно оживился, переговариваясь с ними, и почти сразу позабыл про нас.

Мы с Ириной грустно шли за ними в отдалении.

Комната у него была большая, удобная, с хорошей мебелью, туалетом и душем. Боже, как она отличалась от убогих советских студенческих общежитий! (Правда, и платить за неё надо было дорого — около $4000 в год). Мы выставили на стол печенье, конфеты, фрукты, которые привезли для угощения его соучеников. Все ребята заходили друг к другу знакомиться, многие побывали у Младшего, и мы их угощали.

По программе дня все должны были встретиться для ознакомления, где будут вино и сыр — традиционные встречи и угощения новых студентов. После этого мы с Ириной собирались уезжать, а пока что я заснул, утомлённый двумя бессонными ночами.

Так, фактически, мы уже больше и не видели нашего сына — он всё время был с другими ребятами. Только провожая нас к машине, он тоже как будто немного взгрустнул:

— Ну, спасибо за всё! — сказал он нам на прощание, и я нажал на газ.

По дороге домой мы больше молчали, слушая кассету с грустной музыкой Чайковского и Шопена, его любимую кассету, которую он дал нам на обратный путь.

Теперь солнце садилось, освещая дорогу последними лучами. Уходящий день бросал косые пучки яркого света на те же холмы и леса, которые мы проезжали при восходе. И этот закат был таким же грустным, как и та музыка.

Когда мы вошли в квартиру, Ирина прошла в бывшую комнату сына и стала её медленно обходить. Я смотрел на неё издали. Было как-то непривычно в той комнате: синдром опустевшего гнезда, так называют это американцы.

Ирина с опущенной головой вышла оттуда, я вздохнул и стал переносить в ту комнату свои вещи: пишущую машинку, книги, лампу. Теперь я вселялся в комнату Младшего, чтобы сделать в ней свой кабинет и библиотеку. И в этой комнате я сижу и пишу сейчас, восемнадцать лет спустя...

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Перевод в научную лабораторию был благословением: он дал мне возможность отойти от шока и усталости первых месяцев резидентуры. В научной работе не бывает такой сумасшедшей гонки, как в лечебном деле. Теперь я начинал работать не в шесть, а в девять утра и мог уходить раньше, если не приходилось задерживаться на конференции. Оставались ещё на мою долю изматывающие дежурства через день-два, но после бессонных ночей уже не надо было снова вставать к операционному столу. Вместо этого я сидя спал в кресле час-другой в своей комнатке возле собачьего вивария — когда сильно клонит в сон, запах не очень мешает.

Часам к девяти, не торопясь, вваливалась в лабораторию громадная масса шефа. Громогласным грудным голосом он заводил разговоры на самые отвлечённые темы: о приключениях своей яркой жизни и о своих новых идеях, которыми всегда был полон. В этих разговорах мы готовили «фибриновый клей» из крови собак. Идея принадлежала ему, и он очень ею гордился: клей должен был заменить собой сшивание сосудов при операциях на людях, но сначала надо было доказать это на животных.

Для успеха любого эксперимента важно иметь отработанную методику. Единственный лаборант — суетливый и бестолковый эфиопский еврей Аби — ничего не умел. Он смешно топтался, всё путал и забывал. Главной его заботой было, чтобы ермолка на голове не соскочила с густых африканских волос. Гестринг объяснил мне, что и как делать, но сам он любил только руководить. Вместе с Аби мы брали два-три больших шприца крови собаки и центрофугировали (быстро вращали на приборе). Так мы отделяли жидкую часть крови, плазму, от кровяных телец. После замораживания плазмы на дне пробирки сгущался чистый фибриноген — первый коагуляционный (свёртывающий)

фактор крови. В день мы получали всего несколько капель клейкой массы — «фибриногенового клея».

Служитель вивария приводил собаку, давал ей наркоз, и я делал экспериментальную операцию: пересекал большой сосуд, артерию или вену и склеивал его этим клеем. Он должен держать концы перерезанного сосуда не хуже, чем обычные швы. Операция тонкая: нельзя повредить зажимами внутреннюю стенку сосуда, иначе образуется сгусток крови — тромб. Об этом тромбе Гестринг меня постоянно предупреждал. Но настоящих сосудистых инструментов, особенно мягких зажимов, у нас не было — всё зависело от искусства рук. Мне раньше на сосудах оперировать не приходилось, а Гестринг, хоть и был хирург, сам руками ничего не делал. Он уходил наверх к директору, с которым дружил, и предпочитал развлекать его бесчисленными своими идеями и рассказами. Когда он приходил в нашу маленькую операционную, то становился рядом со мной, наблюдая и подбадривая, и всё приговаривал:

— Будь осторожен, чтобы тромб не образовался.

Операция занимала часа два, но удавалась не всегда — тоже нужна была методика, которую мне приходилось вырабатывать на ходу. Хорошо, что в отличие от операций на людях ответственности в экспериментальной операции нет никакой: собакой больше, собакой меньше, у нас не считали.

Если эксперимент удавался и склеенные концы сосуда пропускали ток крови, Гестринг приходил в бурный восторг, тотчас фотографировал сшитый сосуд и звонил Лёрнеру или Рекене. Захлёбываясь от восторга, он уговаривал их прийти посмотреть результат. Мы, скучая, ждали их по полчаса и дольше, они приходили, смотрели, поражались. Гестринг радовался, объяснял:

— И тромб не образовался — сосуд пульсирует, и ток крови идёт свободно.

Он хвалил им меня, и они смотрели в мою сторону с одобрительной улыбкой.

О, эта одобрительная улыбка начальства — как много ты значишь для подчинённого! Их похвала добавляла мне уверенности, что если я и не найду никакой другой программы, они могут оставить меня в этой — контракты госпиталя с разидентами заключались на один год и обновлялись не со всеми.

Но я пытался на следующий год перейти в другую программу — ортопедической хирургии и избавиться от Бруклина. Теперь в освободившееся время я стал ходить на конференции в госпиталь для заболеваний суставов на 17-й улице Манхэттена, тот самый, куда меня приглашали как гостя в начале жизни в Нью-Йорке. Тогда меня не взяли туда работать. Теперь, после сдачи экзамена и первого года трейнинга в общей хирургии, мне казалось, что мои шансы на успех там были выше.

Это был Ортопедический институт, настоящий научный центр по моей специальности. Знакомые резиденты оттуда рассказывали мне, что к ним пришёл новый директор — доктор Виктор Фрэнкель. На одной конференции я издали увидел его: высокий, быстрый, активный, от него даже на расстоянии веяло энергией и решимостью — полная противоположность прежнему директору. Фрэнкель так мне понравился с первого взгляда, что у меня даже возникло импульсивное желание подойти и представиться — начать знакомство для будущего. Если он действительно был активный, я бы мог рассказать ему о новом русском методе доктора Илизарова для удлинения костей и предложить ему внедрить этот метод в Америке. Но... я постеснялся и погасил в себе тот импульс — кто я такой для него?..

А жаль, что я этого не сделал: через шесть лет Виктор стал моим близким другом, мы вместе внедряли метод Илизарова в Америке, и он взял меня своим заместителем и партнёром по частной практике в том госпитале. Не погаси я в себе тот импульс, мы, возможно, могли бы сойтись намного раньше... В первых импульсах нередко бывает заложено правильное решение, это как любовь с первого взгляда.

Я послал своё резюме с просьбой принять меня в резидентуру в тот госпиталь и ещё в несколько программ разных городов Восточного берега Америки. Мы с Ириной долго обсуждали и решили, если меня возьмут хоть куда-нибудь в более приличную программу, мы готовы уехать из Нью-Йорка. Ирине, конечно, жалко было бы расстаться с её работой, но моё будущее было важней: если говорят, что муж — иголка, то муж-хирург иголка наверняка, а жена — нитка и должна следовать за игол-

кой. Однако переехать мы решались только в города Восточного берега страны.

Исторически и географически, по распространению заселения и по природным условиям, Америку условно делят на четыре горизонтальные зоны: Восточный берег (у Атлантического океана), Средний Восток (долины крупных рек), Средний Запад (то — что было Дикий Запад — полоса Скалистых гор) и Западный берег (Тихого океана). Основная концентрация культуры страны, в том числе и медицины, находится на Восточном берегу, в районах Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона.

Мы уже привыкли к Нью-Йорку, район, где мы жили, значительно улучшился, не стало в нём прежней грязи, убрались с улиц торговцы наркотиками, выросли новые большие дома, в них въезжали состоятельные люди, всё вокруг преобразилось. Нам было бы жалко покинуть его, но главное — это работа. Американцы вообще много переезжают из штата в штат и из города в город, как они говорят, передвигаются за работой. Вот и мы скрепя сердце решались на это. Но уж если уезжать из Нью-Йорка, то всё-таки менять климатическую и культурную зону мы не хотели. И вот, разослав резюме, я опять ждал ответов. Особенно — из Ортопедического института.

Мне нравился Гидеон Гестринг — интересный собеседник и смелый человек. Мы все, доктора и сёстры, с опаской выходили на улицу из госпиталя и сразу садились в свои машины на охраняемой стоянке. Гестринг ничего не боялся, он свободно разгуливал в самом сгущении чёрных бандитов, возвышаясь среди них, как гора... Правда, он всегда был с револьвером в кармане.

Рассказам о его приключениях не было конца. Можно было подумать, что он кое-что выдумывает, если бы он постоянно не вытворял что-нибудь новое. При мне он решил сделать фотографию нашего госпиталя сверху, с самолёта. Он был хороший фотограф и как бывший израильский лётчик — искусный пилот. Он сказал Лёрнеру, что в определённый час пролетит над госпиталем на взятом в рент спортивном самолёте. Лёрнер объявил об этом на утренней конференции, и все, кто не был занят в

операционной, вышли посмотреть, как пролетит Гестринг. Самолёт приближался и стал облетать госпиталь прямо над самой крышей. Мы с некоторым страхом смотрели, как он несколько раз пролетал, почти задевая крышу, взмывал вверх и опять спускался до опасного уровня. Но потом произошло что-то совсем странное: самолёт взмыл очень высоко и оттуда пошёл на госпиталь вниз почти вертикально, пикируя, как это делали пикирующие бомбардировщики во время войны. От страха мы не знали куда деться: он наверняка погибнет, но и нас убьёт, и госпиталь взорвёт. Лёрнер застыл, бледней полотна, и мы все, наверное, тоже: небольшой самолёт летел носом прямо на нас, шум мотора усиливался, и с приближением он вырастал каждую долю секунды — у страха глаза велики. В последний момент самолёт выровнялся и пролетел, постепенно удаляясь. Господи! — мы расходились растерянно и вяло, ноги не слушались.

Когда Гестринг приехал с аэродрома на своём большом старом «Кадиллаке», он с хохотом объяснил всем собравшимся в аудитории:

— Что, напугал вас? Ну, извините — я не хотел. Всё очень просто: в горизонтальном полёте, как низко я ни спускался, у меня не было нужного вида на госпиталь. И поэтому я не мог сделать хорошую фотографию. Тогда я решил сфотографировать его под острым углом, прямо по ходу самолёта. Но чтобы поставить самолёт под острым углом, я должен был подняться высоко и потом пикировать вниз — вот и всё объяснение.

Оказывается, не только он пикировал, но ещё и был занят в это время не управлением самолёта, а фотографированием. Вот отчаянная голова!

А фотографии получились действительно прекрасные.

Его потом таскали в полицию, но своей громкой убедительностью и неугасимой радостью жизни он умел всех расположить к себе и отделался небольшим штрафом. Гестринг был натура артистическая и сумел уловить артистизм и во мне. Как-то, обсуждая проблемы наших экспериментов, я нарисовал быстрый скетч того, о чём говорил. Гестринг сказал:

— Владимир, ты же художник!

— Я всю жизнь рисую.

— Можешь ты по этапам нарисовать наши операции?

— Могу. Я могу нарисовать шарж на вас, как вы пикируете на самолёте. Хотите?

— Нарисуй.

Я действительно умею неплохо рисовать, и в портретах с натуры мне удаётся ухватить сходство и характер. Я тут же сделал с него карандашный набросок и через четверть часа принёс ему готовый шарж: он, громадный, в кабине маленького самолёта, почти полностью из неё вывалившись, фотографирует наш госпиталь внизу.

— Слушай, это же здорово! — он громогласно хохотал и прикрепил рисунок на стену.

Я сделал рисунки-схемы наших операций на сосудах.

— Владимир, ты даже сам не знаешь, какой ты художник!

Гестринг «открыл меня» — он с гордостью открывателя поспешил рассказать это своему другу Лёрнеру. С одобрения Гестринга я тайком стал зарисовывать наших аттендингов и резидентов, а он показывал их Лёрнеру и другим — те хохотали. Лёрнер был человек с юмором, он заинтересовался мной, стал приглашать меня на ланчи в госпитальный кафетерий. Мы теперь часто сидели вместе и разговаривали о многом. Благо при работе в лаборатории у меня было на это время. Резиденты-индийцы смотрели на меня с ревнивой завистью.

Шаржей накапливалось довольно много, и как-то Лёрнер предложил:

— Доктор Владимир, почему бы вам не нарисовать галерею шаржей на всех нас?

Хотя индийцы и гаитяне это не очень одобряли, но терпели, видя к этому интерес начальства. Я сделал шаржи на Лёрнера, Рекену и многих других. Департамент заказал для них деревянные рамы, и их развесили в библиотеке. И вот, насколько я знаю, уже восемнадцать лет они висят в библиотеке того госпиталя. Так осталась в Бруклине галерея моих рисунков. А мы с Робертом Лёрнером стали с тех пор близкими друзьями.

Гидеон Гестринг как жил, так вскоре и умер в своем стиле. У него была на ноге варикозная вена, и ему предлагали операцию. Сама операция нетрудная, но по какой-то причине он хотел, чтобы её сделали только в родной Вене, и уехал туда. Оттуда он звонил Лёрнеру, операция прошла удачно, но он не слушал рекомендации докторов и стал ходить с первого дня. И однажды, на четвёртый день, образовавшийся в месте операции тромб крови оторвался и закупорил лёгочную вену. Он умер от тромба почти мгновенно. Для всех нас это был удар. Лёрнер даже говорил:

— Я не могу поверить, что Гидеон умер. Такие жизнелюбы так не умирают. Это опять какой-то его трюк. Увидите, он скоро неожиданно явится, чтобы посмеяться над нами.

Но он не явился.

Всегда он думал об образовании тромба при наших экспериментальных операциях и предупреждал меня, чтобы они не образовывались. А что тромб может образоваться у него самого — не подумал. Наверное, надо было ему склеивать вену любимым его детищем — фибриновым клеем.

СНОВА ОТКАЗЫ

По правде говоря, нам с Ириной нравилось жить вдвоём, без сына. Какую награду могут ожидать за свои труды родители, вырастившие ребёнка? — освобождение от него.

Теперь мы имели эту награду: свободу от сына впервые за двадцать пять лет. И это новое для нас состояние было прекрасно; даже несмотря на мою страшную перегруженность, мы всё-таки были вместе больше, чем когда-либо: мы были предоставлены сами себе. При лёгком американском быте, когда не надо тратить время на стояние в магазинных очередях и думать о копейке, мы теперь относились друг к другу ласковей и внимательней, мы не должны были отвлекаться на сына. Всё было снова как когда-то, в давно прошедшее и почти позабытое время.

Чтобы Ирина не скучала, когда я бывал на ночных дежурствах, я купил ей хороший приёмник — слушать классическую музыку; одна станция передавала ее целый день. Я старался звонить Ирине с дежурств по нескольку раз, хоть на полминуты, чтобы ей не было грустно одной. А когда, усталый как пёс, я приходил домой, Ирина всегда старалась приготовить мне что-либо повкусней, устроить так, чтобы я расслабился и отдохнул. Теперь лучшие кусочки еды и лучшие чувства Ирины доставались мне, а не сыну.

Я говорил своим женатым коллегам-резидентам, которые жаловались, что у них совсем нет времени на семейную жизнь:

— Я, ребята, в лучшем положении, чем вы: я сначала вырастил сына, отдал его в медицинский институт, а уже после этого сам стал проходить резидентуру.

Они в ответ смеялись — их дети, если они и были, все находились в младенческом возрасте, и что такое отдать их в университет, этого они ещё понять не могли.

В ту пору стояла красивая поздняя осень, лучшее время года в Нью-Йорке, мы стали выезжать за город, чтобы полюбоваться красками природы, на «в багрец и золото одетые леса», как писал Пушкин. Нам нравилось ездить на своём новом блестящем «бьюике», мы уезжали километров на пятьдесят от города и брали с собой ланч. Гуляя вокруг озера Рокленд, я говорил Ирине:

— Помнишь, ты сомневалась, выдержу ли я хирургическую резидентуру? Как видишь, пока что выдерживаю не хуже других. А ведь начало — это всегда самое трудное. Я уже привык не спать по двое суток, привык растягивать на операциях крючки по пять часов подряд, бегать по распоряжениям старших, как затравленный заяц. Я теперь делаю своими руками всю ту начальную хирургическую работу, которую уже отвык делать за годы профессорства. В общем, я доказал, что могу выдержать резидентуру.

Ирина беспокоилась за моё здоровье:

— Но как долго ты сможешь выдерживать такую нагрузку? Всё-таки это не для твоего возраста.

— Ну что ты! — выдержу столько, сколько будет нужно. Только бы взяли меня в хорошую программу. У меня такое чувство, что на этот раз обязательно повезёт. Когда я раньше обращался к коллегам-ортопедам, они мне отвечали: сначала сдай экзамен и тогда приходи. Ну, вот: я сдал экзамен и даже уже начал резидентуру, я теперь законный американский доктор. И я не прошу ни о каких привилегиях, всё делаю на общих основаниях — как все. Найдутся же такие директора программ, которые могут по-деловому оценить мои рабочие качества — и в прошлом, и теперь. Особенно интересно было бы попасть на интервью в Ортопедический институт и поговорить с его новым директором доктором Фрэнкелем. Мне почему-то кажется, что он меня взял бы. А что! — на его месте я сам взял бы такого парня, как я!

— Ах, ты мой седой идеалист, — улыбалась Ирина.

Что верно, то верно: седина всё больше покрывала мою голову. А у Ирины седины пока не было, хотя ей уже исполнилось пятьдесят. Когда-то давно, в тридцать с небольшим, когда появились первые седые волоски, я написал стихотворение.

МУЖСКАЯ СЕДИНА

Ты спрашиваешь, что причиной,
Что я так рано поседел?
Мужчина должен быть мужчиной,
Ответственность — его удел.

Пред ранней старостью в испуге
Смешно мужчине унывать;
Чтоб мир в подарок дать подруге,
Мужчина должен мир создать.

Кто этой чести удостоен,
Тот и отмечен сединой;
Мир на мужских костях построен,
Омытых женскою слезой.

Всю тяжесть жизни неделимо
Мужчина должен брать один,
И седину своей любимой
Купить ценой своих седин.

Ну, вот, всё так и сбывалось, как я написал — пророчество поэта.

Но теперь седой доктор-поэт мечтал скорей получить письма из сорока программ, в которые разослал своё резюме. Не может быть, чтобы *из сорока* никто не пригласил меня на интервью!

Я не рассчитывал на многое — хотя бы на три-четыре приглашения. Даже считая шансы только в одну треть положительных исходов, получалось, что из этих трёх-четырёх у меня мог быть реальный шанс попасть в одну программу. Ещё и ещё мучительно взвешивая все «за» и «против», я приходил к убеждению, что куда-нибудь меня всё-таки возьмут. А для меня всё было лучше, чем теперешний госпиталь. Это ожидание было кульминацией моих пятилетних надежд на профессиональное будущее: или теперь, или будет уже поздно...

Когда я однажды вернулся домой с дежурства, Ирина передала мне раскрытый конверт с первым ответом из клиники Мэйо. Выражение на её лице не оставляло сомнения. Я прочитал вежливый отказ: «Мы не считаем, что для вас рационально приезжать на интервью». Мэйо

был вершиной мечтаний, но программа была в штате Миннесота — далеко. Я немного задумался и сказал:

— Что ж, не станем упаковывать чемоданы в Миннесоту, будем ждать другие ответы.

Ирина грустно улыбнулась в ответ: уже первое письмо настораживало её — начало обещало повторение цикла отказов.

Пришёл второй отказ — из госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке. Это тоже было очень авторитетное ортопедическое учреждение. Они объясняли, что уже набрали резидентов на два года вперёд. Ирина мрачнела всё больше, а я всё вынужденней улыбался и говорил:

— Подожди: «ещё не вся черёмуха ко мне в окошко брошена» — слова из популярной песни 1950-х годов, годов нашей молодости.

Из ничем не примечательной программы госпиталя Рузвельта в Нью-Йорке пришёл отказ в довольно грубой форме: «есть очень много высококвалифицированных кандидатов, и поэтому мы решили не приглашать вас». Я в душе обозлился на тон:

— Ну да, всегда есть кандидаты, достойные занять места, — молодые, перспективные парни; но выражением «много высококвалифицированных» директор программы как бы подчёркивал, что мои дипломы и патенты для него вообще ничего не стоили.

Я вспомнил слова моего друга Уолтера Бессера: «Американские доктора хвастуны и зазнайки», — которые он сказал мне ещё в начале моей работы техником. Да, похоже, что он был прав.

Ирина тоже разозлилась:

— Бестактно и вызывающе написанный отказ! Это хамство — так отвечать своему коллеге, который имеет столько заслуг и обратился всего-навсего с обычной просьбой! Какое пренебрежение, какое зазнайство, что за люди!

Я ей не возражал, она была права.

Я ждал ответ из программы Йельского университета, одного из лучших в Америке, расположенного в штате Коннектикут, недалеко от Нью-Йорка. Для подачи заявления оттуда мне прислали невероятно длинную анкету со множеством вопросов: ваше хобби, печатали ли вы

какие-нибудь ваши работы, чем вы увлекаетесь, есть ли у вас научные звания и степень? У меня всё это было, и я ответил подробно. Что уж они сделали с моими данными, не знаю, но ответа от них я так никогда и не дождался.

Теперь мне всё нетерпеливее хотелось получить ответ из Ортопедического института — госпиталя заболеваний суставов, где директором был доктор Фрэнкель. Уолтер Бессер недавно перешёл работать туда и рассказывал мне, какой Фрэнкель прогрессивный и активный. Слушая, я надеялся, что он сам прочитает моё резюме и заинтересуется. Накануне Нового, 1983 года пришёл ответ за подписью его заместителя доктора Уильяма Джаффи: «К сожалению, мы не можем предложить вам позицию». Читал Фрэнкель или не читал — лопнули мои надежды опять.

Через десять лет, когда наши кабинеты были рядом, я как-то показал Джаффи это его письмо.

— Неужели это я написал тебе? — удивился он. — Ну, извини, Владимир, я не помню.

Только один директор программы из университетского госпиталя в городе Балтиморе, штат Мэриленд, прислал мне приглашение на интервью. Это большой город, от Нью-Йорка часах в 5—6 езды на машине, и программа довольно хорошая. Я позвонил ему, и мы договорились о дне встречи. Это была одна четвёртая-пятая часть того, на что я надеялся. Соответственно, уменьшались и шансы на успех.

В БАЛТИМОР И ОБРАТНО

Старшие резиденты, кто по лености, а кто по доверию, всё чаще оставляли меня на дежурствах одного в отделении неотложной хирургии. Правда, в сложных случаях я должен был их вызывать (одному и не справиться было). Все двадцать четыре часа по суете и загруженности это был сумасшедший дом: уличная шваль толпилась там — надо не надо. В приёмной они устраивались семьями с едой, как на пикнике. Казалось, что для них это вроде клуба. Но особенная загруженность начиналась с наступлением темноты: машины скорой помощи подъезжали одна за другой, в сопровождении машин полиции, и начинался поток раненых — как на войне: огнестрельные и ножевые ранения, избитые, с отравлениями алкоголем и наркотиками... Тут у нас всё ходуном ходило, и нам, докторам, с трудом удавалось пробираться в толпе между каталками с больными, парамедиками, полицейскими и родственниками пострадавших.

В России мне тоже приходилось иметь дело с преступниками и их жертвами, но такой преступности там тогда не было. Когда здесь нам привозили преступника в наручниках, это почти всегда были подростки или молодые ребята, мужчины в возрасте двадцати с небольшим. Если мне надо было зашивать им раны, полицейские приковывали их руки к операционному столу и не отходили от нас. Сначала я удивлялся:

— Зачем вы это делаете? — вы же и так здесь, со мной.

— Доктор, вы ещё не знаете этих бандитов. Он способен выхватить у вас скальпель из рук, зарезать вас и кинуться на нас. Поверьте, мы знаем, что делаем.

Пьяные, грязные, одурманенные, окровавленные... не только ни одного интеллигентного, но даже ни одного нормального лица мы там не видели. Работать с ними и проявлять к ним необходимое врачебное внимание было

чрезвычайно тяжело — невыносимо грубые, во всём негативные, не хотели отвечать, ругались и не выполняли никаких указаний. Много терпения надо было, чтобы уговорить их на самый простой укол или на то, чтобы взять у них из вены кровь на анализ. Индиец Гупта приходил мне помогать и всегда приговаривал с брезгливым выражением:

— Владимир, они же не люди, они — животные какие-то!..

Хотя сами они годами вкалывали себе в вены разные наркотики, но при виде шприца в руках сестры или доктора в них пробуждался ужас дикого животного. Они прыгали на каталке и хватали нас за руки:

— Док, я человек, док!.. Я человек, док!..

И они так извивались и дёргались во время уколов, что часто игла выходила из сосуда и из кожи, и приходилось вводить её снова. А попасть в их вены — надо быть волшебником.

На одном из дежурств такой больной, с целым букетом хронических воспалений, рвался и кричал «Док, я человек!» так, что вырвал у меня шприц и поранил мне кисть концом иглы, которая уже побывала в его вене. У меня пошла кровь из раны. Внимательная сестра составила специальный протокол:

— Доктор Владимир, от него можно получить что угодно.

Мы послали образец его крови в лабораторию, но у нас делали не все исследования, и его кровь ушла в лабораторию в штате Нью-Джерси. Через несколько дней пришёл отрицательный на инфекцию ответ: слава Богу, ничего страшного не было. И я успокоился.

То ли от того, что я опять постоянно был в подавленном состоянии, получая письма с отказами, то ли от чрезмерно тяжёлой работы, но спустя несколько недель я стал чувствовать сильную слабость и почти постоянно потел. От Ирины я это скрывал, но сам думал: что бы это могло быть?

Подходило время ехать на интервью в Балтимор. Это должно занять целый день, а на другой день мне предстояло дежурить. Я решил поменяться дежурством на субботу-воскресенье с кем-нибудь из таких же младших резидентов, как я. Это всегда было сложно: индийцы менялись только со своими, гаитяне — со своими, и филиппинцы — тоже. Но всё-таки мне удалось договориться с индийцем Ганди. Получалось, что я буду дежурить в пятницу, а потом в понедельник, а он за меня в субботу-воскресенье; а на следующей неделе — наоборот.

Мы с Ириной выехали на машине очень рано, в мрачный дождливый день. И настроение у нас обоих тоже было довольно мрачное. По-настоящему, я ехал на интервью только для того, чтобы потом не упрекать самого себя, что не поехал. Надежды на успех у меня практически не было.

Нас, искателей трёх мест, собралось восемь человек: семь студентов-медиков последнего курса и я: вот какая странная компания. Стоять с ними в одном ряду перед кабинетом директора мне было как-то даже неудобно: хоть я и привык быть среди молодых резидентов лет около тридцати, но соревноваться со студентами 24—25 лет мне ещё не приходилось. Они приглушённо беседовали между собой, делились впечатлениями, полностью меня игнорируя. И правильно — я был для них чужеродным телом.

Нас по очереди приглашали на собеседование с аттендингами госпиталя, а потом с директором программы. И они тоже были моложе меня. Каждый из них начинал с того, что был поражён моими бумагами и моей решимостью начинать карьеру сначала, потом с некоторой неловкостью перед «моими сединами» они задавали общие вопросы. Решение принадлежало директору. Уже к концу дня он сказал мне:

— Когда мы получили ваше заявление со всеми дипломами и патентами, я даже собрал специальное совещание, чтобы обсудить необычную кандидатуру. Я скажу вам откровенно: иметь такого опытного человека, как вы, нам в резидентуре даже неудобно. Чему мы можем вас учить? Нас останавливает ваш возраст. И ещё: вы даже не представляете, как тяжело вам будет здесь работать.

— Вообще-то я могу представить, потому что уже прохожу первый год в тяжёлой программе.

— Уверяю вас, здесь вам будет ещё тяжелей, мы — травматологический центр города, и у нас много чрезвычайно тяжёлой травмы. Я специально вас предупреж-

даю, но если вы не раздумаете, то мы оставим вашу кандидатуру запасной, на случай отказа одного из этих молодых ребят. Вы согласны?

Я был согласен на это положение «запасного игрока». Что мне было делать — я вообще не представлял.

Почти всю обратную дорогу мы с Ириной молчали — молчали об одном и том же. Да и вести машину было тяжело: в темноте, в дожде, устав за день. А я ещё весь день чувствовал ту свою непонятную слабость. Приехали мы поздно, я был без сил и был абсолютно разбитым. А назавтра предстояло дежурство.

Дежурство началось с того, что умер 88-летний старик-гаитянин, избитый своим шестнадцатилетним внуком. У старика были сломаны рёбра, челюсть, рука (которой он защищался) и череп, и были множественные кровоизлияния — бил его внук бейсбольной палкой. Накануне дед получил своё месячное пособие, а внук хотел его отнять — почти наверняка на наркотики. Старик долго не прожил... Внутрисемейные отношения в нашей округе вполне напоминали нравы стаи голодных зверей, с той только разницей, что наши не были голодными.

Едва я закончил оформлять историю болезни и свидетельство о смерти, как меня вызвали в неотложную. Там стоял чёрный верзила 24 лет, а рядом вилась изящная тоненькая мулатка лет шестнадцати. Верзила осторожно и с трудом вошёл в перевязочную, придерживая ладонями низ живота. Пока он плёлся, она буквально на нём висла, впиваясь в него страстными поцелуями. Глаза её горели, и она так любовно на него смотрела, что было просто умилительно видеть такую любовь — Джульетта так на Ромео не смотрела.

— Что случилось? — спросил я.

— Да вот тут, немного порезался ножом.

— Где?

— Да вот тут... под штанами.

— Ну-ка, сними штаны. А вы выйдите на несколько минут. — Она не могла от него оторваться, ела влюблённым взглядом, впивалась губами, но всё-таки вышла.

Осматривая, я увидел с десяток небольших ножевых ран на коже, будто его кололи ножом. Странным образом все эти раны были вокруг и около его полового члена.

— Кто это тебя?

— Док, это она, моя подружка, док.

— Кто, та девушка, что пришла с тобой?

— Ага, док, это она.

— Как же это она тебя так? За что?

— Док, понимаешь, док, мы стали заниматься любовью, а я, понимаешь, не смог... ну никак не мог, док. Понимаешь? Первый раз, док, не смог. Ну, а она всё кричала на меня, док, а потом схватила нож со стола, да как стала колоть меня в член, док. Еле нож отнял, док.

Волоча ноги, я брёл в кафетерий — там в десять вечера выставляли для дежурных резидентов бесплатные сандвичи и кофе. Обычно молодые индийские резиденты прибегали первыми и расхватывали всё. Может, кое-что осталось...

Мне было грустно: в первый раз я как-то резко почувствовал, что ужасно устал от того, что меня все учили и многие понукали. Мне надоело быть в положении младшего и глупого. Говорят, умный любит учиться (и добавляют — а дурак любит учить). Но если всё время тебя не учат, а поучают, да ещё поучают тому, что ты уже давно знаешь лучше них, то какое же в этом проявление ума?! Мне надоело быть гадким утёнком в стае уток-зазнаек. Даже тому утёнку из сказки Андерсена было всё-таки лучше: он хоть знал, что станет лебедем, а я не предвидел, стану ли кем-то.

И в унисон с моими мыслями в кафетерии мне стал жаловаться японец Юкато. Мы с ним никогда не вспоминали, как чуть было не подрались вначале. Он подсел ко мне:

— Знаешь, Владимир, я здесь уже три года, но фактически меня ничему здесь не научили. Что я умел делать в японском госпитале, то я до сих пор и делаю. Не у кого здесь учиться. И относятся ко мне без всякого уважения. Скажи, ты не страдаешь от всего, что видишь вокруг и что тебе приходится делать?

— Как тебе сказать? Раз приходится, то и делаю.

— А я страдаю от этого унижения.

«Эх, знал бы ты хоть половину переживаний, которые я испытываю», — думал я, вяло жуя невкусный сандвич. Откровенничать с ним мне не хотелось: японцы народ хитрый и коварный, и хоть он говорил дружески, я ему не доверял. И голова у меня кружилась. Я решил, что надо померить температуру (если будет на это время).

А он продолжал:

— Мне кажется, что ко мне здесь так относятся, потому что я один — японец. Я не могу понять, как это может быть, чтобы в Америке был такой плохой госпиталь, как наш.

— Попробуй перейти в другую программу.

— Иностранных докторов в резидентуру хорошие программы не берут.

— Ну, тогда терпи.

— Нет, я уеду обратно в Японию. Не хочу я здесь больше тратить время зря.

«У тебя всё-таки есть выбор, — подумалось мне. — А у меня — никакого».

Уже за полночь, между множеством дел и суеты, я пожаловался одной сестре на этаже:

— Что-то я себя паршиво чувствую.

— Померьте температуру, доктор Владимир, — она дала мне градусник.

Оказалось — 101 по Фаренгейту (38,3 по Цельсию). Значит, всё-таки я болен. Простуда? Я не кашлял, не сморкался. Нет, это что-то другое. Что? Врачу всегда нелегко поставить диагноз самому себе. Сестра дала мне две таблетки жаропонижающего лекарства тайленол, и я пошёл в свою комнату.

Мне нравилось, как работали наши сёстры: толково, спокойно, исполнительно. А в тех тяжёлых условиях это было совсем не просто. Постоянно подвергаясь опасности, надо было умело выполнять назначения врачей. Раздавая лекарства, они должны были стоять над каждым больным, пока тот не проглотит таблетку.

— Иначе они выплёвывают таблетки и собирают их, — объяснили мне.

— Зачем?

— Они или продают каждую за доллар другим наркоманам, или разводят их без разбора в воде и потом сами вводят раствор себе в вену. Они считают, что все лекарства — это обезболивающие. А им только это и нужно.

Почти все сёстры были тоже чёрные и многие из тех мест, откуда и население района.

Но их внешность, их интеллект, их профессионализм и манера поведения не имели ничего общего с теми людьми. Среди них было немало хорошеньких, с живым выражением больших ярких глаз на фоне тёмной кожи, у многих красивые фигуры, просто приятно было любоваться ими. И они были приветливы и полны желания помогать начинающим докторам. Среди своих бывших соотечественников они выглядели, как редкие цветы среди пустыни.

Для меня многие из них были лучшими друзьями. В тот тяжёлый начальный период работы они помогали мне осваиваться в обстановке. Моя мама была когда-то давно медицинской сестрой, и я никогда этого не забывал. Для них я носил в кармане конфеты и раздавал им, они прозвали меня «конфетный человек» — Candyman.

Я был рад, что поменялся дежурством на субботу-воскресенье: предвкушал целых два дня отдыха и надеялся, что мне станет лучше. А в понедельник опять дежурство. Но зато сразу потом предстоял отпуск на целый месяц. Стояла зима, и мы с Ириной в первый раз за всё время собрались ехать кататься на лыжах в штат Вермонт, близко к границе с Канадой. По рассказам, там были хорошие лыжные места. А потом, на расслабленном отдыхе, я собирался докончить книгу. Как приятно думать о предстоящем отпуске, знают только те, кто сильно устаёт на работе...

Доктор Ганди, с которым я договорился обменяться дежурствами, позвонил рано утром:

— Слушай, Владимир, я посмотрел журнал назначений на субботу и воскресенье и увидел, что записано слишком много поступлений новых больных. Я решил с тобой не меняться дежурством.

Я опешил: ведь мы же договаривались заранее. И он знал, что в этом случае я должен дежурить четверо суток подряд. Так не поступают! Обычно мы не подводили друг

друга, если договорились. Да и причина у него была странная: неизвестно, может, на следующие субботу-воскресенье будет ещё больше работы. Может, было за этим что-то другое? Но я понимал — раз он так поступил, просить и уговаривать его было бесполезно. Я повесил трубку и тут же позвонил Ирине. Она весело защебетала:

— Я уже жду тебя. Как ты себя чувствуешь?

Пугать её своей температурой я не хотел:

— Я в порядке, всё хорошо. Только ты не жди меня.

— Почему, что случилось?

— Понимаешь, тот доктор-индиец, он отказался поменяться со мной. Придётся дежурить ещё трое суток.

Что сказала Ирина в адрес того доктора, пожалуй, мне лучше не писать...

Дежурить четверо суток подряд, да ещё с непонятной температурой, было безумством, почти самоубийством. Ничего подобного я даже не слыхал. Но что мне было делать? Я подумал: не позвонить ли директору Лёрнеру или Рекене и попросить их уговорить кого-нибудь заменить меня? Но это было не принято и слишком сложно — такие ситуации резиденты должны улаживать сами. Я решил: ах, будь что будет!..

ЧЕТЫРЁХСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Доктор Назариани, иранский еврей и шеф-резидент дежурной бригады, удивлённо воскликнул, увидев, что я остаюсь на следующее дежурство:

— Владимир, ты же поменялся с Ганди.

Я объяснил, тогда он отвёл меня в сторону:

— Владимир, никогда не доверяй индийцам, это самые хитрые люди, льстивые и коварные. Посмотри, какую мощную индийскую мафию они развили у нас в госпитале: аттендинги — индийцы, в резидентуру устраивают только своих — индийцев. Всё для индийцев. Этот Ганди не стал меняться с тобой, потому что ты русский. Уф!.. — закончил он с эмоциональным недоброжелательством.

В тот же день доктор Рамеш, индиец, тихо бормотал мне, когда мы были одни:

— Иранские евреи думают, что они умнее всех. Посмотри, Владимир, как многие из них занимают ключевые позиции в нашем госпитале: мафия иранских евреев! А на самом деле они ничего не стоят. Ты им не доверяй. Мы, из Индии, намного умней и честней.

Русский резидент из программы педиатрии, молодой, способный и жизнерадостный парень, отвёл меня в сторону и стал со смехом и возмущением жаловаться:

— Послушайте, вам не кажется, что мы с вами здесь как в сумасшедшем доме? Чёрт знает, что здесь делается! У нас орудует мафия врачей-гаитян, чтобы заработать самим и не дать никому другому. Вы даже себе не представляете, что они делают: они крадут пациентов у других докторов, не гаитян. Ведут себя, как пауки в банке: индийцев готовы съесть, а нас, русских евреев, просто презирают. Нет, это определённо сумасшедший дом. Вам не кажется?

Межнациональные недоверия и противоречия — качества врождённые, и они так же стары и естественны, как любовь и ненависть: любовь к своим, нелюбовь — к чужим. Я этого довольно насмотрелся в многонациональном Советском Союзе, где разные нации были насильственно объединены в одно государство, против их воли. Но сюда, в Америку, люди приехали по своей воле и жили здесь по своему выбору.

Объяснить бурлившую в нашем госпитале взаимную враждебность национальных групп можно спецификой всех госпиталей гетто — Innercity Hospitals: слишком много разных национальностей там искусственно спрессовались, а урождённые американцы были редки и незаметны. Мой недавний опыт работы в госпитале Святого Винсента, в Манхэттене, показывал, что хотя там тоже было немало иммигрантов, но они были в меньшинстве, а доминировали американцы. Поэтому там не было даже признаков межнациональной вражды.

Порассуждав на эту тему с моим русским коллегой, я отправился на обход.

— Доктор Владимир, как вы себя сегодня чувствуете? — встретила меня та же сестра.

Она опять дала мне термометр, температура была уже 39 градусов. Она заботливо дала мне таблетки тайленола и предложила:

— Доктор Владимир, вы идите к себе отдохнуть, а я всех предупрежу, чтобы зря вас не беспокоили.

И мне удалось поспать почти шесть часов подряд.

Потом меня вызвали на перевязку ног толстой гаитянки двадцати двух лет. У неё был тромбофлебит (воспаление вен) с язвами на местах, где она сама себе вкалывала наркотики грязными иглами. Пока я менял вонючие повязки, она настойчивым и громким голосом диктовала мне, какие обезболивающие и в каких дозах я должен ей назначить в истории болезни:

— Док, я на метадоновой программе, док! — она показала мне пластмассовую карточку метадоновой программы с таким видом, будто это была золотая кредитная карточка Американ Экспресс. — Я должна получать четыре раза в день по десять миллиграмм, это всего сорок миллиграмм. Но этого мне недостаточно. Поэтому вы должны прописать мне двойную дозу каждые четыре часа, тогда это будет восемьдесят миллиграмм. Ещё мне надо принимать сильнодействующий тайленол номер три с кодеином, тоже каждые четыре часа. И ещё снотворные. Но одна таблетка далмана (снотворное) мне ничего не даёт, поэтому вы должны мне прописать по две таблетки.

По правде говоря, я поражался её фармакологическим познаниям и... её нахальству.

Это всё она наизусть выучила, получая лекарства от других докторов-гаитян. Закончив перевязку, я сказал, чтобы не вступать с ней в дискуссию:

— Ладно, я пропишу вам, что полагается.

Это была тактическая ошибка: наркоманка решила, что от меня можно получить всё, что она потребует, и всю вторую половину дня вызывала меня через дежурную сестру (другую) буквально каждый час. Биппер на моём поясе пищал, я звонил в отделение, сестра мне отвечала:

— Доктор Владимир, она опять требует вас, кричит и буянит.

Не являться на вызов было нельзя, и я приходил, но она только требовала увеличения наркотиков. После трёх моих отказов она, полуголая, выскочила из палаты, развалилась на полу в коридоре, закатила истерику и стала дёргаться в конвульсиях.

Я знал, что всё это притворство и игра, вызвал охранников и накричал на больную:

— Ты притворяешься, ничего у тебя нет! Если будешь требовать ещё, я отменю всё, что у тебя есть. Поняла? Так и запомни!

Услышав это, она сразу прекратила дёргаться, закатывать истерику и вызывать меня. С этим народом надо быть строгим, не потакать их требованиям. Иначе они привыкают, что их жалеют, и совсем распускаются. Но наши резиденты, особенно индийцы, часто их боялись и прописывали им всё.

Другой больной, тоже на метадоновой программе, стал просить меня увеличить дозы:

— Док, я человек, док! Я на метадоновой программе, док! Мне надо ещё, док!..

Я сразу строго сказал ему:

— Если ты ещё раз откроешь рот и будешь что-нибудь у меня просить, я сейчас же отменю тебе все лекарства!

Он удивлённо посмотрел на меня, словно не поверил, что ему могут говорить такое, накрылся с головой одеялом и затих.

Но на этом не кончилось: в той же палате 306 ночью подрались двое больных, и один у другого вырвал внутривенный катетер. В драку вступили другие. Сестра вызвала меня и охранников. Когда я пришёл, они уже связали нескольких.

Пришлось мне снова вводить в вену катетер тому больному. Успокаивать его мне помогал санитар-уборщик, тоже чёрный. Я всегда видел его со шваброй, вытирающим полы, и обращал внимание, что вот ведь, работает же этот человек нормально.

Тот, который вырвал катетер, связанный лежал на соседней кровати и вопил:

— Развяжите!.. Я человек!.. Развяжите!.. Я плачу за лечение, это всё на мои деньги!..

Санитар-уборщик сказал мне:

— Доктор, не верьте ему, я его знаю — ничего он не платит, он бездельник и бандит.

А тот всё кричал:

— Развяжите!.. Я человек, я человек!.. Я плачу налоги, я плачу за лечение!

Санитар подошёл к нему и закричал прямо в ухо:

— Кто — ты платишь? Да ты ни дня не работал за всю жизнь! Это я плачу за тебя и за таких, как ты, скотина! — Он обратился ко мне: — Доктор, мы с вами содержим этих бездельников за свой счёт, платя за их лечение, за их пособие, за всё. Я приехал в Америку из Тринидада и Тобаго двадцать лет назад и на следующий день пошёл работать в этот госпиталь. Я работаю здесь двадцать лет и скоро выйду на пенсию. И за работу Америка дала мне всё: я пятерым своим детям сумел дать образование в колледжах. А эти паразиты, — он тыкал в связанного, который замолк, — они только засоряют Америку, плодя подобных себе бездельников и бандитов. И всё за наш счёт!..

Сестра сочувственно кивала головой:

— Так, так... правильно он говорит: все они живут в Америке за наш счёт, мы за них платим налоги. Их бы не впускать в Америку, а их, наоборот, жалеют и привлекают на обеспеченное безделье. Я тоже своим трудом детей вырастила и обучила. И все стали в Америке людьми, все работают. А эти!.. — она плюнула в сторону крикуна.

Несмотря на плохое самочувствие, мне интересно было слушать, как свои же чёрные иммигранты, люди рабочие, относились к тем из них, кто были паразитами и составляли большинство. Иммигранты из Тринидада и Тобаго, двух островов у берегов Южной Америки, почти все отличались от других тем, что вели себя нормально и работали. Теперь здесь, передо мной, они высказывали наболевшее — в их душах жило человеческое достоинство.

А сестра обратилась ко мне:

— Доктор Владимир, помните того парня, на которого вы накричали, чтобы не просил больше наркотиков?

— Помню. Что, он опять просил об этом?

— Нет, наоборот — это так на него подействовало, что он теперь совсем тихий и даже говорит, что решил изменить свою прежнюю жизнь.

— Значит, иногда полезно быть строгим и накричать? — спросил я шутя.

— Конечно, полезно! Почаще бы надо с ними строго разговаривать, чтобы поняли. Я же говорю, этих бездельников только привлекают тем, что жалеют их или боятся. А их надо воспитывать строгостью.

Дремавшая всё время на стуле толстая чёрная санитарка вяло полуоткрыла глаза и посмотрела на меня с интересом:

— Док, а вы откуда?

— Из России. А вы?

— Я из Ямайки. Вы скучаете по своей стране?

— Нет, мне нравится жить в Америке.

Она вздохнула:

— А я ненавижу эту страну, ненавижу жить здесь!

— Да? Почему же вы не уедете обратно в Ямайку?

Тут её глаза полностью расширились в большом изумлении:

— Вы что — с ума сошли, доктор? (Are you crasy?) — воскликнула она. — Да вы знаете, какая у меня здесь квартира! — я живу в доме, который оставили выехавшие евреи, у меня настоящая восьмикомнатная еврейская квартира! У нас два автомобиля, два холодильника, два телевизора, стиральная машина и посудомоечная машина. С чего это я всё брошу и от этого богатства поеду обратно, а?

Было уже 4 часа утра, и от усталости и плохого самочувствия у меня кружилась голова. Я не стал обсуждать с той санитаркой её нелюбовь к Америке, но подумал, что мне пока досталось меньше, чем ей, но никогда, ни при каких обстоятельствах я не скажу, что ненавижу эту страну. Я Америку любил. Только она пока не отвечала мне взаимностью.

Я пошёл в свою комнату и по дороге, в туалете, увидел, что моя моча была тёмно-жёлтого цвета. Сначала я подумал, что у меня потемнело в глазах от усталости. Но нет — действительно моча была тёмная. Ого, это похоже на гепатит! Я всмотрелся в цвет белков глаз в зеркале — пока не жёлтые. Значит, вот она отчего, моя слабость. Надо сделать анализ на функцию печени, но это можно будет лишь через день — в понедельник.

Уже засыпая, я вспомнил, что говорила мне та санитарка из Ямайки. И мне представились стаи диких уток, которых я вижу зимующими на прудах Центрального парка в Нью-Йорке. Вопреки естественным законам миграции перелётных птиц, они никуда не улетают на зиму: здесь им дают много корма, и они не стремятся на юг. Хотя, если их спросить, то, может быть, они ответят, что не любят Америку и южные страны им нравятся больше, чем Нью-Йорк, как и ей тоже. Но я — не утка и не та санитарка: я Америку люблю... И тут я заснул.

Третий день дежурства. Это был самый мучительный день: подготовка больных к операциям на завтра, перевязки, записи, вливания. Днём поступил больной с одиннадцатью огнестрельными ранениями — только на настоящей войне или у нас в Бруклине могло быть такое. Он потерял около трёх литров крови, почти половину, и был в глубоком шоке. Тут надо включаться в работу всей дежурной бригаде. Меня как младшего поставили на интенсивное переливание крови и вызвали дежурного аттендинга — для операции. Когда приехал аттендинг, меня, опять как младшего, поставили вторым ассистентом на операцию. Четыре часа я растягивал раны крючками, стоя в напряжённом положении. У меня застыла спина и занемели руки, а мне всё время говорили:

— Растягивай, Владимир, растягивай сильней!

Когда мы закончили, я сидел в бессилии и думал: «Нет, это уже не для меня. Зачем мне это? Когда я был молодой и начинал, то в этом был смысл — продолжение. Теперь продолжения не будет, ясно, что мне не придётся заниматься ортопедией. А быть начинающим общим хирургом я не хочу, да и не смогу. Зачем мне такие испытания?..»

Однако долго думать не пришлось: запищал биппер на моём поясе, и меня вызвали в неотложную. Там на каталке лежал чёрный паренёк лет 13—14, в голове у него торчал осколок бутылочного стекла. Сопровождавший полицейский объяснил:

— Это его ударил пьяный старший брат, дома. Их в семье одиннадцать братьев, от 10 до 23 лет. Вот они, почти все тут, а это мамаша ихняя.

Рядом сидела женщина, на вид не менее 200 килограммов. Она с безразличным видом жевала что-то, громко чавкая; никакого выражения на лице, только тяжёлое дыхание от ожирения — полное впечатление свиноматки, да и только.

Осторожно ощупав ткани вокруг торчавшего осколка, я убедился, что он лежал довольно поверхностно, и вытянул его из раны. Но разбить бутылку о голову — это надо сильно ударить: рентгеновские снимки показали перелом черепа. Нужно сразу делать трепанацию черепа: просверлить его и открыть место перелома, чтобы предупредить отёк мозга и остановить внутричерепное кровотечение. Но современная техника позволяет сначала сделать специальное обследование — компьютерную томографию, увидеть, нет ли скопления крови под костью и сдавления мозга в том месте. Если нет, то можно ждать с трепанацией. У нас в госпитале такого сложного аппарата не было, он для нас слишком дорог. Надо было везти больного в соседний большой госпиталь, а потом при-

везти обратно. Это полагалось делать в сопровождении врача, и как младшего меня отрядили в ту поездку.

Сначала мне предстояло объяснить матери-свиноматке, — что и для чего мы делаем, и взять у неё письменное согласие. Я стал объяснять, она тупо смотрела в мою сторону, а все братья вплотную притиснулись, влезая чуть ли не в рот мне:

— Вашему сыну надо делать большую и опасную операцию на черепе, — она смотрела без тени выражения и не переставая громко чавкать. — Но можно избежать операции, если сделать специальное исследование в соседнем госпитале, потому что у нас нет такого аппарата. Мы его туда повезём; если вы согласны, то подпишите эту форму, — я подсунул ей лист.

Выражения на лице никакого. Братья выхватили бумагу и стали заинтересованно в неё смотреть, как дикари.

— Док, а он по дороге умрёт, док? — спросил один.

— Я поеду с ним и буду всё время рядом.

Мать-свиноматка так же без выражения подписала.

Ещё час ушёл на переговоры с тем госпиталем и с машиной скорой помощи для транспортировки туда и обратно. У больного не было никакой страховки, и это осложняло дело. Как ребёнку неимущей ему выписали временную страховку.

Когда стали садиться в машину, все братья вскочили в кабину первыми. Пришлось их уговаривать, чтобы вылезли. Остались двое. За ними еле взгромоздилась туша-мать. Для меня оставалась щель у двери. Пока мы ехали, мать всё время сдвигало в мою сторону, и на меня слоями ложились её мягкие и потные жиры: груди, живот, бёдра — груди, живот, бёдра... Я вжимался в стенку.

На процедуру и поездку туда и обратно ушёл весь вечер, я не ел и не отдыхал. А она, как только мы туда приехали, послала сыновей купить сандвичи и шоколад, и все они жевали не переставая. Компьютерная томограмма показала, что внутричерепного кровоизлияния не было.

В понедельник утром я пошёл в госпитальный офис, где лечили сотрудников. Через приоткрытую дверь я увидел, что там сидел знакомый мне доктор-гаитянин и от нечего делать читал вчерашнюю газету. Но всё равно мне пришлось долго ждать — секретарша кому-то рассказывала по телефону, что вчера она была в гостях. Обсудив все детали вечеринки, она наконец обратила внимание на меня, зарегистрировала и пропустила к доктору. Он глянул поверх газеты:

— Хэлло, садись. Что нового? — и опять уставился во вчерашние новости.

— Что-то со мной происходит: слабость, потею, голова кружится.

Он, не отрываясь от газеты:

— Пойди к сестре, пусть померит тебе температуру.

Сестра куда-то вышла, и я ждал полчаса. Когда померила, было 100 градусов по Фаренгейту, 37,8 по Цельсию. На этом основании доктор уверенно сказал:

— Простуда. Попей аспирин.

— Вчера температура была выше, и я заметил, что моя моча потемнела.

— Ну, подожди денёк-другой. Если не пройдёт, тогда приходи опять.

Я поразился: раз он своего коллегу так лечит, то как же он к другим пациентам относится? С некоторым раздражением я сказал:

— По-моему, у меня что-то с печенью.

Он удивлённо и недовольно глянул на меня:

— Ну, пойди к сестре и скажи, чтобы она взяла кровь на анализ.

Когда в соседней комнате сестра брала у меня из вены несколько пробирок крови, я по цвету пробок на пробирках увидел, что там не было порции на исследование функции печени, и сказал ей об этом. Недовольная, она пошла к доктору, вернулась и пробурчала:

— Говорили бы сразу. А теперь вот коли вас во второй раз.

Я опять подставил вену для прокола, потом вернулся к доктору:

— Можешь ты мне дать освобождение от дежурства — я сегодня дежурю?

— Что?! С такой ерундой — освобождение? Да мы все дежурим с температурой.

— Но у меня это четвёртые сутки подряд.

— Четвёртые сутки? Ты шутишь! Как так получилось?

— Это Ганди, наш резидент, подвёл меня.

— А-а, Ганди... И ты поверил индийцу? Никогда им не доверяй, они все лентяи и обманщики.

— Что мне делать с сегодняшним дежурством? Дашь ты мне освобождение?

— Не могу — нет серьёзного диагноза. Ты лучше поменяйся с кем-нибудь.

Поменяться не удалось. И вот пошли четвёртые сутки, которые мне надо было выжить, чтобы потом сразу уйти в отпуск. Уже сменилась третья дежурная бригада, а я всё продолжал работать, порой не очень ясно соображая, что делаю — появилось какое-то отупение от усталости и плохого самочувствия. Я работал чисто механически, извлекая умение из ресурсов профессиональной памяти. Я помню, как отец рассказывал мне, что так работали хирурги во время войны между СССР и Германией. Чтобы поднять хирургов с постели после многих суток работы, санитары обливали их ведром холодной воды — иначе они не могли проснуться. Вот, довелось и мне так работать в Бруклине: то, что делалось вокруг госпиталя, — это и было, как война.

Шеф-резидент новой бригады — доктор Парсел, чёрный парень с маленького карибского острова Гренада, где американцы устроили медицинский институт, в который когда-то хотел поступать мой сын. Парсел был очень активный и суетливый, он совершенно не умел спокойно разговаривать с резидентами младше него, кричал, топал ногами, закатывал настоящие истерики. Все мы с трудом сдерживались, чтобы не ответить ему грубостью на его грубости. В то дежурство он довёл до исступления японца Юкато, я видел, как он всё мрачнел и мрачнел, и в глазах у него загорался такой огонёк, какой, наверное, бывал в момент решимости у легендарных самураев его страны: или он убьёт Парсела, или сделает себе харакири.

В два часа ночи меня по радио вызвали в неотложную:

— Доктор Владимир, срочно в неотложную, срочно в неотложную!

Опять что-то случилось! Вбежав туда, я увидел нашего резидента-терапевта Роберта, единственного американца среди нас, который, правда, закончил медицинский институт в Маниле, на Филиппинах. Бледный, как простыня, он держал правой рукой свою окровавленную левую руку.

— Боб, что случилось?

— Меня подстрелил бандит. Ограбил меня, выстрелил и убежал.

— Где? Когда?

— Я только что парковал машину у нас в госпитальном паркинге, там и случилось.

Стоянка наша была охраняемая, для сотрудников, но охранник или спал, или не видел преступника, а может быть, был с ним заодно.

Роберт удачливо успел увернуться в последний момент, увидев направленный прямо ему в грудь пистолет. Поэтому пуля прошла насквозь через лучезапястный сустав, около кисти, повредив кость. Новость о ранении доктора вмиг разлетелась по госпиталю, и все дежурные доктора устремились в неотложную. Все были потрясены и возбуждены, у меня даже пропала усталость.

В нашем опасном окружении уже и раньше случались нападения на сестёр и докторов, но до сих пор они заканчивались только ограблением. Прямая угроза жизни произошла впервые, и теперь каждый из нас мог стать следующим.

Вызванные полицейские расспросили раненого доктора и предложили ему опознать нападавшего по фотографиям разыскиваемых преступников. Они выкладывали фото, и мы безошибочно узнавали на них многих из наших бывших больных. Был среди них и тот, кого он опознал. Так вот кого мы лечили — своих же собственных потенциальных убийц!

Все дежурные хирурги участвовали в помощи Роберту, не было лишь японца Юкато. Шеф бригады Парсел кричал:

— Куда он подевался? Если он сейчас же не явится, я сотру его в порошок.

Но японца как будто смыло: его никто не видел и непонятно было, что могло с ним случиться. Остаток дежурства мне пришлось выполнять и его обязанности.

Наутро госпиталь гудел, как потревоженный улей: все только и говорили о нападении на Роберта, всех беспокоила беззащитность перед бандитами. Иммигранты с возмущением говорили:

— Что же это такое — ни городские власти, ни общество не могут справиться с бандитами! — И критиковали американскую свободу: — Что же хорошего в этой свободе, если она позволяет безнаказанно убивать и грабить?

Урождённые американцы, которых было мало, отвечали:

— Такова жизнь в нашем Нью-Йорке, ничего не поделаешь, — и разводили руками. — Но Нью-Йорк и Бруклин в нём — это ещё не вся Америка.

— А Чикаго, а Лос-Анджелес, а Сан-Франциско что — безопаснее? — горячились иммигранты.

— Ну, если вы не чувствуете себя здесь в безопасности, то почему бы вам не уехать, откуда приехали? Жили бы себе там спокойно.

На это они отвечали:

— Ну, нет, там уж спокойной жизни совсем нет — бедность, политический террор и нет перспектив на улучшение. Здесь нам лучше. Вот только слишком уж много свободы.

Пока шли дебаты о преступлениях и жертвах, нас, резидентов, облетела ещё одна неожиданная новость: оказывается, в эту ночь Юкато покинул госпиталь навсегда, бросив резидентуру. Покидая госпиталь среди ночного дежурства, он оставил письмо директору Лёрнеру. Что было в том письме, никто не знал, но, по слухам, он резко критиковал всё: плохое преподавание, плохие условия, плохие взаимоотношения.

Резидент-китаец шёпотом говорил мне:

— Вот видишь, Владимир, Юкато не смог вынести всего этого. Я его понимаю. Ведь меня тоже хотят выжить отсюда.

— Почему ты так думаешь?

— Индийцы, филиппинцы и гаитяне всё время меня третируют, подстраивают мне разные пакости и скандальные ситуации. Они даже делают маленькие надрезы на коже больных в неотложной, чтобы потом вызывать меня и заставлять их зашивать.

— Ну, не будь параноиком. Никто не станет надрезать кожу больных.

Но он настойчиво шептал мне на ухо:

— Ты не знаешь, ты не знаешь, Владимир! Здесь всё возможно — не доверяй никому.

Демонстративный уход Юкато обсуждали кулуарно, не зная, как к этому отнестись.

Все мы нашли резидентуру в этом госпитале как последнее прибежище. Поэтому все и были поражены таким

его шагом. Но у меня уже не было ни сил, ни желания обсуждать: после четырёх суток непрерывного дежурства я буквально валился с ног от усталости и слабости. Завтра начинался мой отпуск, и я мечтал пройти настоящее обследование у хорошего частного доктора. Но только не в нашем госпитале!

По телефону меня вызвали в офис для лечения сотрудников, доктор-гаитянин сказал:

— Послушай, у тебя в анализе крови очень высокие цифры аминотрансферазы.

Аминотрансфераза — это энзим в сыворотке крови, который выделяется печенью и сердцем. При поражениях печени и при инфарктах миокарда увеличивается его выход в кровь.

Я глянул на анализ и поразился: 1500 вместо нормальных 30. Но сердце у меня не болело, а если бы это было от сердца, то при такой цифре я давно должен был умереть. Значит, это не инфаркт, так что скорее всего — гепатит.

— Слушай, я недавно укололся после взятия крови у одного наркомана. Может это быть от того укола?

— Конечно, может. Гепатит чаще всего и бывает от таких уколов.

— Какая у меня форма: А или В?

— Э-э, послушай, какая разница — А или В?

Но разница, конечно, была: форма В намного коварней и даёт больше осложнений, в том числе и рак печени. Она передаётся с кровью заражённых больных. Доктор посоветовал:

— Возьми в архиве историю болезни того типа и узнай, какая у него была форма.

Я поплёлся в архив и нашёл его историю болезни, там было написано, что больной умер через день после поступления. Вот тебе на!.. Патолого-анатомического заключения не было — вскрытие не производили и ткани на анализ не брали. Значит, тот ответ на посланную мной его кровь был ошибкой. Что теперь было делать?

Ведя машину домой, я держался в правом ряду: боялся заснуть от усталости за рулём или почувствовать приступ резкой слабости. Я думал только об одном: поскорее бы доехать до дома...

БОЛЕЗНЬ

Напуганная моим состоянием, Ирина просила директора своей лаборатории доктора Майкла Розена рекомендовать нам хорошего частного врача. На следующий день я уже был на приёме у терапевта доктора Роберта Розенблюма, в одном из богатых офисов на Медисон-авеню. Доктор был моих лет, высокий, худой, очень подвижный. Он обследовал меня внимательно, как должно быть: опросил, ощупал, осмотрел, взял все необходимые анализы. Хоть и слабый, я с удовольствием наблюдал высокопрофессиональную работу коллеги.

— Несомненно, у вас гепатит. Какая форма, будет известно после результатов анализа. Но, кроме того, у вас есть и общее воспаление с осложнением на сердце. Лежите дома, я вам позвоню и сообщу точный диагноз. Тогда будем решать, что с вами делать. Очень возможно, что вам придётся лечь в больницу.

— В больницу? А мы с женой собирались поехать кататься на лыжах...

— Какие лыжи?! Вам нужно проходить интенсивное лечение.

Неприятные новости угнетающе подействовали на нас обоих, на Ирину даже больше, чем на меня: я видел, что она впала в панику.

Теперь я валялся в постели, а она кормила меня деликатесами, щупала лоб, мерила температуру, укрывала, меняла пижаму, потому что я сильно потел, всё время смотрела на меня с тревогой, наклонялась надо мной и часто и нежно повторяла:

— Ты не болей, ты не болей, мой дорогой... — как будто этими напевными словами хотела помочь мне сражаться с гепатитом и сердечным осложнением.

Когда мне становилось лучше, на короткое время, я брал в постель рукопись книги и вносил в неё редакторские пожелания, в основном — сокращения. Я отбрасывал из текста всё лишнее, как скульптор отбивает от глыбы мрамора куски, чтобы осталось лишь цельное произведение. Я делал эту работу с энтузиазмом и торопился — пока меня не увезли в госпиталь. Только быстро уставал.

Конечно, жалко было выбрасывать целые истории и законченные впечатления, но скрепя своё больное сердце я делал это, стремясь оставлять самое важное и интересное.

Работоспособность была понижена: каждые полчаса я откидывал голову на подушку и закрывал глаза от усталости и головокружения. Приходила Ирина и с укоризной спрашивала:

— Ты опять занимался рукописью? Зачем ты мучаешь себя этим?

— Ну, совсем немного...

— Оставь, я прошу тебя: потом доделаешь.

— Кто знает, что будет потом? Я хочу отослать издателю всё до того, как лягу в больницу. Эта книга — мой дар Америке за то, что она приютила нас. Я знаю, что это хороший дар.

Состояние моё ухудшалось, а ответов из лаборатории всё не было. Несколько раз Ирина звонила доктору, спрашивала, просила ускорить решение о лечении. Он отвечал, что ждёт последние анализы. Уже прошло два дня. В России врачи начинают давать «на всякий случай» многое, в том числе антибиотики. В Америке доктора не станут назначать лечение, пока не будет известен диагноз, это общепринятая установка.

Ночью я проснулся от рыданий Ирины. Я стал её успокаивать. Всхлипывая, со слезами в голосе она говорила:

— Я знала, я чувствовала, что в конце концов так и случится... Нельзя выдерживать такое напряжение и такие унижения, не заболев... Господи! Ведь никого, никого кругом... Ты всю жизнь лечил всех, а когда заболел, то даже сочувствия не увидел... Я сердита на Америку за тебя: по-моему, ты её любишь больше, чем она тебя... Все эти годы ты предлагал ей свои незаурядные способности, стараясь быть полезным... А тебя только отверга-

ли... Ни один человек не захотел принять участия в твоей судьбе... Если бы я была на твоём месте, я бы возненавидела Америку... А ты по-прежнему продолжаешь её любить...

— Конечно, я люблю её: она моя страна, так же как ты — моя жена.

— Ах, сейчас это всё неважно, даже неважно, что потом будет с твоей карьерой... Главное, чтобы ты поправился...

— Я поправлюсь. Всё будет хорошо, всё образуется. Чего-нибудь я ещё сумею достичь.

По правде говоря, я не был уверен ни в чём, но надо же её успокоить — она всегда так верила мне.

Утром позвонил доктор Розенблюм:

— Владимир, у тебя гепатит формы Б. Но это, к сожалению, не всё: у тебя ещё подострый бактериальный эндокардит (воспаление сердечной оболочки, покрывающей полости сердца изнутри), из твоей крови высеяны стрептококки. Это грозит сепсисом, распространённой инфекцией. Тебе надо ложиться в госпиталь.

Я растерялся:

— Неужели — эндокардит?..

— Самый настоящий. Непременно в госпиталь, на четыре, а то и на шесть недель — не меньше.

— Так долго?..

Что я спрашивал и для чего? Нелечённый эндокардит — это всегда смертельный исход, как и умер тот наркоман, от которого я заразился. Лечённый эндокардит даёт, в среднем, пять лет жизни.

Розенблюм сказал, что место для меня уже приготовлено: в госпитале Монтефиоре, в Бронксе. Там был один из лучших кардиологических центров Нью-Йорка.

— Дежурные доктора предупреждены о твоём поступлении, я договорился, что они сразу начнут тебе внутривенное вливание больших доз антибиотиков. Я приду завтра.

Последнее, что я успел сделать перед отъездом в госпиталь, это отправить рукопись книги издателю. К такси меня вели под руки Ирина и мама. Уезжая, я через окно машины видел мамино лицо всё в слезах.

Положили меня в палату на четырёх, три другие кровати были заняты пожилыми людьми. Дежурный доктор не очень спешил, прошло уже шесть часов, температура поднималась. Ирина нервничала, много раз напоминала обо мне сестре отделения и с возмущением позвонила Розенблюму. Очевидно, он ускорил приход дежурного: наконец появилась молоденькая женщина, резидент первого года.

Пришедшая была на таком же положении, как и я у себя в госпитале — младшая. Она неловко тыкала иглой в мои большие мужские вены, исколола обе руки, смущалась, извинялась, но так и не попала. Я был терпелив, шутил и подбадривал её. В конце концов она попросила помощи у резидентки второго года. Та тоже была молодая, с копной длинных прямых волос. Она склонилась надо мной, и её волосы закрыли моё лицо полностью. Не знаю, что думают длинноволосые женщины-доктора? Но она сумела ввести катетер в мою вену — лечение началось.

Благословенные чистейшие американские антибиотики — они спасли мою жизнь. Качество этих антибиотиков неизмеримо выше русских. Вливание подействовало удивительно быстро: температура стала снижаться на следующий день, я перестал потеть и начал быстро крепнуть. Но лежать в больнице — занятие скучное. И я с интересом стал наблюдать своё окружение с точки зрения пациента и резидента.

Госпиталь Монтефиори назван в честь итальянского еврея-богача прошлого века, сделавшего своё богатство в Англии и ставшего английским лордом. Он давал много денег на благотворительные дела, в частности на восстановление знаменитой Стены Плача в Иерусалиме и на строительство госпиталей по всему миру. Нью-Йоркский госпиталь считается одним из лучших, и я сразу увидел, что он намного богаче нашего. При госпитале был свой медицинский институт имени Альберта Эйнштейна с самым большим числом программ и количеством резидентов.

Первое, что бросалось в глаза: большинство докторов-аттендингов и резидентов были белые американцы. Но и не только это: меня поразило, как они отличались от наших своей спокойной уверенностью. Они были у себя дома, в своей стране.

Среди больных чёрные и латиноамериканцы тоже были редкостью. Этому я сразу позавидовал. Я мог ходить и заглядывать в палаты, хотя в вене руки у меня торчал катетер — мне приходилось возить с собой штатив, на котором висели сосуды с постоянно вливавшимися растворами.

Соседи мои по палате все были умирающие старики, мы были отделены друг от друга раздвигающимися занавесками. Соседство это действовало угнетающе, и я с утра до ночи смотрел передачи на своём индивидуальном телевизоре, который был у каждого. Устав смотреть, я выходил в коридор и медленно топал там взад-вперёд.

Мой лечащий доктор Розенблюм приходил раз в день, проверял состояние и записывал назначения. Пока что он был доволен реакцией организма на антибиотики и подбадривал меня. Вести больных в течение всего дня полагалось резидентам, как и у нас в госпитале, но у меня они были редкими гостями — заскакивали на короткое время и тут же убегали. Лечили меня три женщины: первого, второго и третьего года обучения. Так много женщин-резидентов могло быть только в терапевтических программах, в хирургии их или вообще не было, или бывали единицы.

Первая резидентка — младшая — появлялась только около полудня и разговаривала со мной с порога:

— Хэлло! Ну, как дела — о'кей?

— О'кей, — отвечал я.

— Я ещё зайду к вам, о'кей?

— О'кей.

Вторая приходила не раньше двух-трёх часов дня, подсаживалась ко мне, выслушивала лёгкие и сердце, накрывая копной волос:

— О, вы молодец, вы — олрайт.

— Я стараюсь.

— Как вы себя чувствуете, о'кей?

— О'кей.

— Моя коллега была у вас?

— Появлялась.

— О'кей. Я зайду позже, о'кей?

— О'кей.

Третья приходила под вечер, часто в сопровождении кого-нибудь из первых двух.

Она садилась на стул возле моей кровати и начинала:

— Если бы вы только знали, как я устала! Как вы — олрайт?

— Да, я олрайт. Вам пора идти домой.

— Что вы! — раньше десяти часов я домой никогда не ухожу. Так вы — о'кей?

— Да, я о'кей.

— Дайте-ка я послушаю ваше сердце. О, вы действительно олрайт!

— Да, я не жалуюсь.

— Вот и о'кей. Увижу вас завтра, о'кей?

— О'кей.

Так на десятках «о'кеев» и «олрайтов» проходило наше общение за день.

Я не видел, чтобы кто-нибудь из преподавателей-аттендингов пришёл с группой резидентов и рассказывал им на клинических примерах мою или моих соседей болезни. Изредка появлялись робкие стайки студентов, но и их не учили на примерах болезней — настоящему клиническому обследованию больных. Это меня удивляло.

Иногда, если кто-нибудь из моих резидентов задерживался возле меня, я начинал разговор на отвлечённые темы:

— Что вы собираетесь делать после резидентуры?

— Найду себе какого-нибудь богатого мужчину, чтобы содержал меня, и ничего не буду делать целый год — чертовски устала!

Другая говорила:

— Я бы пошла в какую-нибудь научную лабораторию, чтобы отдохнуть пару лет от этой гонки. Или пойду в штат госпиталя, чтобы работать по часам: отработала свои и могу уходить домой.

Третья вообще ещё не решила, что будет делать:

— Не хочу стареть раньше времени, буду работать где-нибудь на полставки.

Ни одна из них не хотела заниматься в будущем полноценной частной практикой.

— Слишком много работы, и надо обо всём думать самой — о секретаре, об аренде помещения, об оборудовании, о страховках пациентов. Это не для женщины.

Они были усталы и загнаны почти так же, как и мы в нашем госпитале. У нас была хирургия — многочасовые

операции. А терапевтов заедала интенсивная терапия — активное лечение поступивших тяжёлых больных, большей частью стариков с множественными проблемами. Там они проходили свою тяжёлую практику, и там истощались их силы. А женщин среди молодого поколения медиков становилось всё больше: когда я приехал в Америку, они составляли 15% студентов медицинских институтов; через двадцать лет их было уже почти 45%.

Интересно, что, несмотря на огромную разницу в социальных системах и структуре медицины, женщины-доктора в Америке и в России рассуждали почти одинаково, видя своё будущее в минимальной загруженности работой. В Америке быт лёгкий, но многие женщины всё равно не стремятся к большой активности в своей профессии.

На пятые сутки беспрерывного внутривенного вливания антибиотиков я почувствовал боль в месте, где стоял катетер, там появилось покраснение кожи, небольшой отёк — признаки начинающегося воспаления вены, флебита, из-за слишком долгого стояния катетера в одном месте. По правилам полагается держать его не более 2—3 суток, а потом переставлять в другую вену. Я пожаловался по очереди всем трём докторицам, каждая мельком глянула на воспалённую вену и пообещала прийти переставить катетер в другую вену:

— Я скоро вернусь, о'кей?

— О'кей.

Я ждал час, другой — не пришли и ничего не сделали. Сестра по моей просьбе положила спиртовой компресс на воспалённый участок. Вена так отекла, что раствор жидкости через неё больше не проходил. А вливание было моим основным и необходимым лечением. По телефону докторицы дали распоряжение сестре вынуть катетер и пообещали прийти. Катетер вынули, и их опять ждали — уже много часов.

Я стал нервничать и почувствовал себя хуже, поднялась температура.

Ирина каждый день по нескольку раз звонила мне с работы. Я всегда её успокаивал, но на этот раз сказал:

— Уже много часов мне не делают вливание, а только обещают прийти.

— Сколько времени ты ждёшь?

Узнав, что уже десять часов, она пришла в ужас:

— Я сейчас сама позвоню им и добьюсь, чтобы они пришли.

Проверив через полчаса и ещё раз через полчаса, она возмутилась:

— Да что же это такое?! Они же убийцы!.. Я выезжаю на такси и скоро буду.

Ирина приехала в белом халате с нагрудным значком её госпиталя.

— Ещё не пришли? Сейчас они у меня придут! — и выскочила, как разъярённая тигрица.

Как я потом узнал, Ирина позвонила докторицам и накричала:

— У вас больной доктор со смертельным заболеванием эндокардитом по вашей халатности не получает вливание антибиотиков уже двенадцать часов! Если вы сию же минуту не явитесь, я сама введу ему катетер в вену (она не умела, конечно) и позвоню на все каналы телевидения и расскажу им, как вы убиваете тяжёлых больных!..

Пресса Америки падка на всякие сенсации и готова ославить любой госпиталь. А доктора боятся этого больше всего — скандалы обходятся им дорого. Сразу появилась в коридоре фигура одной из дам: затянутая в тесные брюки-джинсы, она с трудом могла передвигать ноги, неся копну своих распущенных до плеч волос. Вид прямо карикатурный и противоположный принятому врачебному.

Ирина смотрела на неё взглядом тигрицы, готовой прыгнуть на жертву и вцепиться ей в горло. Переставляя туго затянутые ноги, докторица добралась до меня и, как всегда, накрыла копной своих волос. Но она не смогла ввести катетер, ничего у неё не получалось. Ещё хуже! Тогда она позвала своего коллегу-мужчину. Пришёл высокий парень, симпатично мне улыбнулся и — легко ввёл катетер: мужчина-доктор!

Чем они были заняты, что на 12 часов просто-напросто забыли про меня? Я знаю, что много времени уходит учиться, как *стать доктором*, но научиться, как *быть доктором*, помогает только человеческое внимание — гуманизм врача. Любое умение постепенно придёт, но внимание должно быть заложено внутри или воспитано наблюдениями

над примерами старших. Ни того, ни другого в том большом и богатом госпитале я не увидел.

Своему доктору Розенблюму я на резидентов не жаловался: «людей, о коих не сужу, затем что к ним принадлежу». Но я заявил, что не стану лежать там четыре недели.

— Владимир, без внутривенных вливаний ты же убьёшь себя!

Хотел я сказать, что лучше убью себя сам, чем меня убьют другие. Он уговаривал:

— Ладно, полежи ещё неделю, а потом я назначу тебе ежедневное введение сильных антибиотиков в мышцы, которое может заменить внутривенное лечение...

И я сдался на неделю.

Навестить меня, больного отца, приехал Младший. Мы не виделись с того дня, как отвезли его в Сиракьюз. Войдя, он склонился надо мной, на шее у него — фонендоскоп:

— Здравствуй. Ну, как ты?

— А, здравствуй! Спасибо, что приехал. Ничего, теперь уже чувствую себя лучше.

— Как это ты заболел, что случилось?

— Заражение от крови пациента, это бывает со многими хирургами.

— Надо быть осторожным, — назидательно сказал он.

Он прочитал названия антибиотиков на сосудах с моим вливанием.

— Так, пенициллин. Ну-ка, дай я послушаю твоё сердце.

Студент-первокурсник, он старался показать себя и свои медицинские познания. Усмехнувшись про себя, я покорно поднял рубашку — интересно и приятно, когда тебя обследует твой же сын. Я присматривался: что-то в нём изменилось — держался он уверенней, спокойней. Так выглядели многие здешние резиденты. Наверное, он становился американцем. Я радовался за него: пять лет назад, когда мы прилетели сюда, я на таможне аэропорта пустил его первым из нас «войти» в Америку — ему здесь дольше жить, пусть он первым и идёт. Вот он теперь и входит.

— Как, тяжело учиться в американском институте? — спросил я.

— Мда, нелегко. Намного тяжелей, чем было в России.

— А сколько у вас на курсе девушек?

— Приблизительно одна треть. Почему ты спрашиваешь?

— Да вот, я наблюдаю здесь женщин-резидентов — они не хотят заниматься частной практикой. Наверное, у тебя и у других докторов-мужчин будет богатая практика.

— Может быть. Мне всё равно. Все говорят о равноправии женщин в этой стране.

— Ты ведь в шахматы играешь?— спросил я.

— Немного.

— Белые и чёрные шахматы равны?

— Равны.

— А какими ты предпочёл бы играть?

— Белыми, конечно. Белые имеют преимущество первого хода.

— То же самое и с равноправием женщин. Природа так устроила, что преимущество первого хода имеют мужчины: они — белые шахматы, а женщины — чёрные шахматы.

— Мне всё равно, — отговорился Младший. — Пока что меня больше интересует, как удержаться в институте. Все студенты очень сильные, и девушки тоже.

Он ещё важно поговорил о медицинском оборудовании моей палаты и уехал, удовлетворённый состоянием отца. А мы с Ириной и не сказали ему, насколько оно было опасно, — щадили его молодую нервную систему.

Как раз в то время в газетах и на телевидении появились сообщения, что выявили фальшивые дипломы врачей и массовые фальшивые отметки в том самом институте на острове Гренада, куда Младший собирался поступать четыре года назад. Пошла проверка, и институт закрыли. Мы знали случаи, когда бывшие московские соученики Младшего уехали учиться на Гренаду, и теперь в суде они подтверждали подлинность своих дипломов. Для Младшего это был бы настоящий крах: слишком он во всём был уязвим. Какое счастье, что мы тогда отговорили его и он сумел поступить в настоящий американский институт!

Одно потянуло за собой другое — в прессе сообщали статистические данные о докторах-иммигрантах: за десять лет в Америку массовым потоком ринулось их 35 тысяч из Индии и Пакистана, 27 тысяч из Филиппин, тысячи из Мексики, с Карибских островов, из Румынии,

Польши, России, Италии, Испании — всего около ста тысяч. Они — это мы — составляли уже 26% всех докторов страны. Проверка дипломов, сдача экзаменов, устройство в резидентуру и на работу — всё это превратилось в громадную отрасль медицинской индустрии страны. И трудно было рассчитывать, что в этой индустрии всё будет делаться по законам — всегда найдутся люди, которые захотят нагреть руки там, где вращаются большие суммы. И пошло раскрытие разных нарушений, после чего общая репутация иностранных докторов в стране пошатнулась.

Лёжа и скучая в госпитале, я следил за этими новостями и всё больше задумывался: стоило ли мне искать новое место в моей ситуации? Горький опыт убеждал, что ждать понимания, сочувствия, помощи и даже просто доброжелательства было напрасно. Если я и смогу поправиться, чтобы работать, то мне опять предстояло пробиваться в ортопедию в одиночку. А надежд на успех практически не оставалось.

ИЗРАИЛЬ

После госпиталя меня ещё долго продолжали лечить уколами сверхновых мощных антибиотиков. Ирина делала их по инструкции доктора Розенблюма. Каждый день, вернувшись с работы, она доставала из холодильника шприц с лекарством, а я безропотно подставлял зад — хоть и болезненно, но лучше, чем валяться в госпитале.

С исколотым задом я ходил на визиты к Розенблюму. Дорога шла через Центральный парк. Идя по его аллеям, я думал и думал: мне пятьдесят три... сколько осталось жить и как этот остаток жизни организовать?.. В учебниках написано, что средний срок выживаемости после эндокардита — пять лет... тогда нет смысла биться об лёд на такой короткий остаток... Ирина оказалась права: в своём упорном энтузиазме я переоценил свои возможности... моя продуктивность доктора-хирурга упала почти до ноля: я выполнял только второстепенную вспомогательную работу... Конечно, по Станиславскому, и большой актёр может играть маленькие роли... но ведь ни один большой актёр не станет исполнять только маленькие роли... Мои теперешние обязанности были адекватны выходным ролям с текстом «кушать подано»... это не продуктивная работа, не моё амплуа... но что теперь моё амплуа?.. грустно...

Таскаясь по аллеям парка, я принимал решение: мне нужно отказаться от мысли опять встать активным хирургом к операционному столу — если сумею получить лицензию на практику, стану перебиваться чем-нибудь вроде работы дежуранта в неотложном отделении какого-нибудь из небольших госпиталей. И так доживать свои положенные годы, сколько их осталось. Всё неясно...

В те дни, под горячую руку тоски и разочарования, я выбросил привезённые книги по ортопедии с дарственными надписями авторов. Авторы были знаменитые рус-

ские и европейские учёные, и жалко было расставаться с их книгами и автографами, но — зачем они мне были теперь?

Позвонил Ричард Мэрек, мой издатель:

— Владимир, как ты себя чувствуешь? Я закончил редактуру и ожидаю успех книги.

Я поехал в издательство для подписки рукописи.

— Владимир, как ты хочешь назвать книгу?

Подбирать название книги, это как давать имя ребёнку — очень сложно.

— Я хотел бы назвать её просто — «Русский доктор».

— Русский доктор?.. Что ж — это звучит привлекательно для читателя (у издателей первая мысль — как книгу продать). Теперь пиши предисловие и приноси.

Как раз в ту пору я получил письмо от моего неудавшегося соавтора Ховарда. Он требовал с меня деньги и грозил судом, если их не получит. Ховард писал, что потратил на работу со мной больше года, отказываясь от более выгодных проектов его собственных книг, которые сулили ему большие доходы. По его объяснениям, он это делал из любви ко мне. Он сообщал, что понёс большие расходы, разъезжая на такси в поисках издателя и часто принимая меня у себя дома. Он подсчитал всё до последнего цента, даже — сколько я выпил у него чашек кофе. Получалось, что я должен ему десять тысяч долларов.

Это меня взбесило. Многие люди в Америке обожают судиться по каждому поводу гражданским судом, и иногда это тянется годами. Я верил, что и он способен. Но такая перспектива вовсе меня не радовала. В состоянии бурного ража я написал ему резкий ответ. Даже Ирина посчитала, что это — слишком. А уж если Ирина так думала, то мне пришлось проконсультироваться с моим другом-юристом Элланом Графом. Он знал о моей болезни и разговаривал со мной по-дружески осторожно:

— Владимир, его письмо, конечно, свинство. Но с такими людьми приходится быть осторожным в ответах. Лучше я сам напишу ему на профессиональном языке. Ты ведь ничего с ним не подписывал и не обещал, так что у него нет юридических оснований требовать от тебя деньги. Не волнуйся — он отстанет от тебя.

И вот — взрыв бешенства дал неожиданный толчок писательским способностям, я сразу нашёл первую фразу и написал предисловие: «Американцы считают, что все русские — коммунисты, а русские думают, что все американцы — миллионеры. И те и другие мало знают друг о друге. Я уехал из России 48-летним преуспевающим хирургом, но я не был коммунистом...»

Довольный предисловием, я отвёз его Мэреку и заговорил с ним о возможности издать приключенческий роман из жизни русского хирурга, лечившего советских правителей. Мэрек отнёсся к этому скептически:

— Зарабатывать на жизнь литературным трудом в Америке почти невозможно. Тем более писателю, пишущему на русском языке.

Привлечь внимание американских читателей русскому писателю нелегко, надо уметь находить верную тематику и выражать её в понятном им ключе. И прежде всего, меня должен переводить хороший переводчик, которому я сам должен платить. Ещё один тупик!

Упираясь мыслями в непреодолимые препятствия, я стал думать: может быть, Ирина была права, когда плакала ночью в начале моей болезни, — не слишком ли я люблю Америку? Да, Америка дала нам прибежище, но она же и отвергала всё, что я ей предлагал: мои познания, моё умение, мою любовь...

Я решил, что надо на время оторваться от Америки. Куда? Конечно, только в Израиль — своими глазами увидеть Страну Обетованную. Мне как лекарство нужны были положительные эмоции, и я был уверен, что получу их от встречи со страной, которой так много интересовался, читая Библию и следя за её героической борьбой за существование. К тому же у моего друга доктора Миши Цалюка, парторга из поликлиники, где я работал последний год в Москве, наступал день 60-летия. Перед нашим расставанием я обещал ему, что во что бы то ни стало приеду в Израиль на его юбилей.

Ирина не могла оставить работу и не так стремилась в Израиль, я полетел туда один.

Боинг-747 израильской авиакомпании «Эль-Аль» приближался к Тель-Авиву со стороны Средиземного моря.

По радио торжественно объявили: «Подлетаем к берегам Израиля». Заиграла бодрая еврейская музыка, которую я привык много лет слышать в передачах «Голос Израиля» ещё в Москве. Я прильнул к окошку: впереди полоса берега. Больное моё сердце забилось учащённо, и на глаза навернулись слёзы — думал ли я раньше, что увижу эту землю!

Я не просил друзей встречать меня, я хотел сначала побыть один на один с Израилем. Мне надо было пройтись по улицам, увидеть лица людей, ощутить общую особенность их. Какая она у израильтян? Я шёл по набережной Тель-Авива и видел необычайное разнообразие типов лиц. Хоть я не националист и даже полукровка, но было приятно сознавать, что все вокруг — евреи. Сразу бросалось в глаза, что израильтяне отличаются от евреев в остальном мире: много высоких и стройных девушек-красавиц; много молодых парней в военной форме (резервистов с автоматами за спиной), от которых веяло силой и мужеством; пожилые люди со спокойным достоинством в тускнеющих от возраста глазах... И я понял: общая особенность израильтян — это их гордая и свободная манера держаться: осанка хозяев страны.

Потом были встречи с друзьями. Миша Цалюк всем меня представлял:

— Это мой друг американец, он специально ко мне приехал из Америки.

Слова «Америка», «американец», «американский» произносились с уважением и особым смыслом. Мне было приятно это слышать — в той небольшой компании новых и старых израильтян я представлял *свою* великую страну.

Мишина жена Броня говорила:

— Мы все тут молимся на Америку, особенно молодёжь, — и подкладывала мне куски фаршированной рыбы повкусней: — Это рыба из озера Кинерет, Галилейского моря — лучшая во всём мире.

Гости, недавние иммигранты, подходили ко мне:

— Скажите, а вы действительно из Америки? Ну, и как вам там живётся? Наверное, хорошо, а?

— Очень хорошо! Намного лучше, чем в России.

— Ну да, конечно — Америка такая богатая страна! Надо будет обязательно съездить в Америку, посмотреть.

На другой день меня пригласила наша старинная подруга доктор Ида Учитель. Она была известным профессором иммунологии в Москве, но уехала уже под шестьдесят и смогла найти работу только как лаборант. Ида не унывала, она никогда не унывала:

— А ну-ка, ну-ка, покажись-ка, американец! Поседел, поседел немного.

— Так ведь пять лет прошло.

— Ну, садись за стол, вот селёдочка (без селёдочки у неё не обходилось), рассказывай про свою Америку, всё по порядку. Вы счастливы там?

— Ещё как! Помнишь, ты меня спрашивала, надеюсь ли я стать опять профессором в Америке? А я тебе ответил, что готов начать с санитарской работы. Ну, так вот: я уже санитарскую имел, а вот профессором, наверное, не стану. А селёдочка твоя вкусная!

Я не предполагал, что пройдёт ещё восемь лет и я опять приеду в Израиль с Ириной, мы придём к Иде Учитель, и я скажу ей, что всё-таки стал в Америке профессором. И, конечно, опять у неё на столе будет вкусная селёдочка.

Я собрался взять машину и поездить по Израилю. Друзья стали наперебой предлагать себя в гиды. Но я твёрдо сказал:

— Нет, извините, позвольте мне побыть один на один со страной и народом. Я достаточно знаю историю Израиля и имею представление обо всём интересном здесь. Но я хочу испытать «эффект присутствия», почувствовать то, что нужно только мне одному, для самого себя.

Я поехал в Иерусалим и сразу направился в Старый город. Передо мной проходила четырёхтысячелетняя история, я бродил по улицам, затаив дыхание. Возле Стены Плача я простоял весь вечер, думая, вспоминая, мечтая. Есть традиция: вкладывать в щели стены записки с просьбами, которые обязательно исполнятся. Я не просил еврейского Бога, чтобы он помог мне получше устроиться в Америке — во мне пробуждалась уверенность, что я сумею сделать это сам. Но я вложил записку, чтобы Он отпустил из Советского Союза моего друга-отказника доктора Норберта Магазаника.

Я влюбился в Иерусалим с первого взгляда. Из окна моего номера в гостинице я видел Старый город и по полночи любовался его стенами и огнями на башнях.

Потом я проехал за четыре дня всю страну с севера на юг. В Цесарии я сидел на развалинах римского амфитеатра, где были принесены в жертву две с половиной тысячи израильтян. С тех пор прошло две тысячи лет, и мир принёс в жертву во Вторую мировую войну шесть миллионов евреев. Изменился ли мир? — нет! Но изменились евреи: теперь они хозяева своей страны и никому не позволят принести их в жертву.

В конце пребывания в Израиле я поднялся на гору Масаду, древнюю крепость, где небольшая горсточка евреев три года сопротивлялась мощной римской армии. Там дул страшный ветер, и я подставил ему лицо, пытаясь кожей ощутить то, что ощущали эти зилоты, — ветер мужества. Он вселял в меня силы и уверенность. Я возвращался домой — в Америку.

ВЫХОД КНИГИ

Стандартная схема любви: мгновенное увлечение и — постепенное охлаждение. Если бы Ромео и Джульетта не отравились в ранней юности, неизвестно, что могло бы произойти с их любовью потом. Только в очень крепкой любви разочарование не приводит к полному угасанию, хотя и в ней бывают кризисы.

Я Америку любил сильно, несмотря на все отвержения. Небольшой тот кризис был следствием морального состояния в период болезни: сердце и печень способны перевернуть душу. Но теперь я вернулся из Израиля примирённый с самим собой и с действительностью: как бы ни было, мне повезло, что я выбрал Америку. У меня есть работа, буду продолжать делать её, какая она есть.

Не только мне, но и Ирине нужно было успокоение: после волнений из-за моей болезни она теперь опять переживала за моё непрочное будущее и наше материальное благополучие.

В Бруклинском госпитале директор Роберт Лёрнер встретил меня очень сердечно:

— Доктор Владимир, приятно видеть вас вновь! Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, вполне хорошо и готов приступить к работе.

И объяснил мою ситуацию: я готов выполнять резидентские обязанности, но не вижу смысла ассистировать на операциях, тянуть крючки. Он выслушал меня как настоящий джентльмен и понял как профессионал. Он предложил:

— Поработайте один год в научной лаборатории вместо покойного Гестринга: нам надо закончить эксперименты с фибриновым клеем. Там помогайте резидентам осваивать научные методики. Вас это устраивает?

— Конечно, я много лет занимался научной работой.

— Вот и хорошо. Официально вы будете продолжать резидентуру и нести ночные дежурства, я постараюсь сделать их для вас реже. И ещё: от нас ушли несколько аттендингов-ортопедов. Что, если я попрошу вас принимать ортопедических больных в нашей поликлинике?

— С радостью, ортопедия — это же моя специальность.

И я начал работу легче и спокойней. Положение моё улучшилось: резидент второго года, почти руководитель научной лаборатории, консультант в поликлинике. На дежурствах я уже не был самым младшим и не бегал на побегушках.

Но, скрепя переболевшее сердце, к операционному столу я больше не становился — мой многолетний хирургический энтузиазм я с горечью погасил в своей душе навсегда.

(Тогда я так считал. Но говорят: человек предполагает, а Господь — или другие силы? — располагает. Мне ещё предстояло вернуться к операционному столу, освоить новые операции и достичь в них международного успеха.)

В госпитале у меня со всеми образовались спокойные отношения, национальные группировки меня не задевали. И всё чаще меня просили консультировать ортопедических больных: я делился опытом с молодыми резидентами. Возможно, наш госпиталь был из худших, но для меня он был единственный. Я стал просто отбрасывать из своего поля зрения всё отрицательное, закрывать на это глаза. Теперь я концентрировал внимание только на положительном: на богатом опыте многих докторов, на передовой технике обследования, на хороших результатах лечения.

После сильной бури всегда приятно расслабиться на безветрии. И вот впервые мы с Ириной смогли начать собирать деньги, чтобы огородить себя от возможных прорывов на случай моей новой болезни или перерывов в работе. За Ириной её рабочее место было закреплено прочно, ей дали должность, равную советскому старшему научному сотруднику, и соответственно выросла её зарплата.

Пока что Ирина сумела собрать около ста тысяч, в Америке это небольшая сумма. Я никогда финансами не интересовался — зарабатывал и передавал всё в её бразды правления. Ирина была «министром финансов». Министерство пока весьма скромное, но она вела его очень серьёзно: изучала литературу по финансовым вопросам, читала разные книги, брошюры и статьи, смотрела по телевидению все финансовые передачи.

Этому скучному для меня занятию Ирина три года посвящала все вечера. Она в шутку говорила:

— В Москве я читала романы, а здесь — только пособия по финансам.

Ирина не держала деньги в банке, а вкладывала в ценные бумаги под высокие проценты. Правила и тонкости этих вложений она изучила как таблицу умножения. Мы почувствовали себя в небольшой безопасности. Теперь даже нудные приставания Ховарда нас больше не волновали. Он продолжал писать то угрожающие, то жалобные письма, снизил запрос до пяти тысяч, потом до трёх. В конце концов он пропал из моего поля зрения. Наверное, понял, что мне было вредно пить у него так много кофе...

И пришёл, наконец, ко мне счастливый и волнительный миг. Позвонила литературный агент Джойс:

— Владимир, «Русский доктор» назначен к выходу из печати!

Почти пять лет горьких моих размышлений, разочарований и ожиданий. Не я, конечно, первый автор, вынужденный биться за свою идею. Но большая и редкая честь опубликовать в Америке книгу воспоминаний о своей русской жизни. Сколько же у меня было споров с Ириной — как вначале она была против того, чтобы я отвлекался на писание и привлекал к себе внимание, особенно русской иммиграции. Теперь она тоже ждала публикации и радовалась со мной.

Джойс звонила мне чуть ли не каждый день и сообщала всё новые приятные сведения:

— Владимир, на твою книгу поступили запросы из Англии и Японии, они просят разрешения опубликовать её там.

— Владимир, History Book Club — клуб исторических книг — включил «Русского доктора» в свой список и берётся распространять по всем англоязычным странам!

— Владимир, твой «Русский доктор» будет выходить в Австралии и Южной Африке.

— Владимир, Ричард Мэрек предлагает немедленный контракт на твою вторую книгу. Как ты её назовёшь? «Цена Свободы»? Хорошо! Я составляю проект договора.

Но для моего торжества самый большой престиж был — показать книгу Ирине. Я готовился принести первые экземпляры домой, как вносят новорождённого. Взять в первый раз в руки свою опубликованную книгу почти так же приятно, как взять в первый раз на руки своего ребёнка. Когда я привёз домой первые три экземпляра, Ирина была ещё на работе. Я лёг на кровать и положил книги рядом — как детей. И так же, как родитель любуется младенцем, я любовался на красивую суперобложку.

Как в Америке прекрасно издают книги! И моя была хороша: на лицевой стороне суперобложки цвета бордо крупными белыми буквами RUSSIAN DOCTOR, с подзаголовком «Жизнь хирурга в современной России и почему он решил уехать» (подзаголовок дал Мэрек), в квадрате моя погрудная фотография в профиль, во врачебном халате и со стетоскопом, сделанная, когда я был профессором в Москве; внизу крупными буквами VLADIMIR GOLYAKHOVSKY. На обороте суперобложки мой домашний погрудный портрет в Москве и первые строчки из вступления: «Американцы думают, что все русские — коммунисты, а русские думают, что все американцы — миллионеры. Ни те ни другие ничего не знают друг о друге». Внутри книги много фотографий из семейной и профессиональной жизни, но главное — 312 страниц выстраданного мной текста, чётко напечатанного на плотной бумаге. Такая книга может быть только мечтой пишущего человека.

Милая моя Ирина с порога заметила книги, кинулась к этим «моим младенцам» и тоже стала их ласково перелистывать. Улыбаясь, мы молча взглядывали друг на друга — объяснения были не нужны.

Всем я был доволен, кроме высокой цены — $17,95. В Америке книги дорогие, вместе с 8,5% налога на продажу моя стоила почти $20. Правда, клуб исторических книг продавал для своих членов на 20% дешевле, и библиотеки городов и университетов имели такую же скидку. Но меня смущало, что мало людей захотят заплатить двадцать долларов за книгу никому не известного русского автора, да ещё и на не такую уж популярную тему, как русская медицина. По статистике, в Америке книги читают около 5% людей, из них большинство любят простое чтиво — романы про преступления и секс. На мою книгу

вряд ли найдётся и полпроцента читателей. Но и это могло бы составить двести тысяч людей. Так, по крайней мере, я надеялся. Заработок автора зависит от числа проданных экземпляров, в Америке фиксированных тиражей нет — печатают столько, сколько магазины запрашивают.

Мне не терпелось увидеть свою книгу в продаже, и мы решили вечером поехать в один-два книжных магазина в центре Манхэттена, посмотреть, как моя книга выставлена на витринах. Обычно популярные издания сразу пачками выставляются под стекло витрин, привлекая внимание покупателей. Мы остановились перед витриной большого магазина «Doubleday» на Пятой авеню — книги моей нет! Ладно, не такой я знаменитый писатель, чтобы меня выставили на витрине, посмотрим, что внутри? При входе стоят полки специально для новых изданий, тоже для привлечения покупателей. Обошли их все — нет! Что за чертовщина? Я остановил одного из работников:

— Есть у вас книга «Русский доктор»?

— Какое название?

— «Русский доктор».

— Что за издательство?

— Святого Мартина.

— Кто автор?

Я — скромно:

— Владимир Голяховский.

— Что-то я не слышал о такой. Сейчас посмотрю в каталоге новых изданий. Ага, есть! Идите в конец полки медицины, там найдёте.

— Но это не про медицину, это мемуары доктора.

— Всё равно, смотрите там.

Действительно, на самом конце самой дальней полки, зажатые между учебниками по гинекологии и урологии, сиротливо стояли несколько моих книг. Мне их даже жалко стало: кто же их там заметит, чтобы купить?

Вот и стояли мои книги, как бесприданницы: «Хороша я, хороша, да плохо, что меня не рекламируют». Предстояло моей книге, как и её автору, самой пробивать себе дорогу к сердцу читателей.

Теперь у меня появилось занятие — дарить и подписывать экземпляры «Русского доктора» тем, кого я мог считать своими друзьями и приятелями. Первый, конечно,

предназначен моей маме, которой уже перевалило за восемьдесят. Её и отца фотографии были первыми в книге. До чего же она была счастлива! — плакала, благодарила:

— Спасибо тебе, спасибо за все радости!.. Как жаль, что папа не дожил...

Святая традиция — я и в России всегда дарил ей первые экземпляры своих книг. На этот раз книга была на английском. Но мама, в её возрасте, упорно каждое утро занималась сама языком и много месяцев ходила на вечерние курсы. Она могла поддерживать простой разговор, а теперь даже взялась читать книгу.

Я дарил книгу людям, которые помогли мне её издать, подарил моему другу доктору Уолтеру Бессеру, который помог мне найти резидентуру. В госпитале надо было дать директору Лёрнеру и его заместителю Рамиро Рекене. Рамиро был очень благодарен, внимательно книгу рассматривал, показывал другим — он обожал и собирал книги. Лёрнер в тот день был дома. Я позвонил ему в Бруклин и попросил разрешения приехать.

— Доктор Владимир, добро пожаловать!

— Спасибо. Я напросился, потому что у меня к вам небольшое дело особого рода.

— Какое? Я с удовольствием сделаю, что могу.

— Я привёз вам в подарок свою книгу.

— Вашу книгу? — он взял её с удивлением. — О, это же замечательно, поздравляю! Пилар, посмотри, какая прекрасная книга. Ну, спасибо! Вы это сами всё написали? Я знал, что вы были ортопедом, но не знал, что вы ещё и писатель.

Не выпуская книгу из рук, он ввёл меня в богатую гостиную, где был приготовлен к чаю стол. Пошла свободная дружеская беседа, какой я давно не вёл с докторами ранга выше моего.

Пора было прощаться:

— Спасибо за чай и за приём. Мне пора ехать исполнять свои резидентские обязанности.

Лёрнер слегка усмехнулся:

— Ну, ну, я верю, придёт время и вы опять станете профессором.

«Твоими устами мне бы мёд пить», — я вспомнил русскую поговорку.

А он продолжал:

— Я хочу вас попросить прочитать резидентам лекцию на тему «Лечение переломов и вывихов». У вас наверняка больший опыт, чем у многих наших ортопедов.

Предложение было приятное и почётное: я не читал лекции уже шесть лет, а на английском — никогда. Значит, он понимает мой профессиональный уровень, раз просит читать лекцию. Вот уже первая выгода от книги — она придаёт мне значимость.

Через неделю в госпиталь приехали корреспондент и фотограф из редакции «Нью-Йорк таймс», самой влиятельной газеты, сделать мою фотографию на работе: газета планировала опубликовать рецензию на «Русского доктора». Фотограф ходил за мной и без конца снимал в разных местах и ситуациях. Доктор Лёрнер присоединился к нам, давая советы, где меня снимать. Это привлекло внимание сотрудников, пошли расспросы: зачем да почему приезжал фотограф? А через две недели появилась статья «Врач, который излечил себя» (имелось в виду, что я уехал из коммунистической России).

Многие читали и удивлялись, Лёрнер и Рекена меня поздравляли и всем про статью рассказывали. Акции мои повышались.

Готовясь к лекции, я решил делать иллюстрации-слайды не из учебников, а со своих рисунков. Несколько набросков я показал Лёрнеру. Посмотрев рисунки и послушав объяснения, он сказал:

— Слушайте, почему бы вам не написать учебник по ортопедии?

— Мне? Учебник? Кому здесь нужен мой учебник? Я не профессор, не директор, даже и не аттендинг.

— Зато у вас богатый опыт и вы умеете хорошо рисовать. В Америке и резиденты издают практические руководства. С вашими рисунками может получиться великолепное практическое руководство для резидентов. А профессором вы ещё обязательно станете (уже второй раз он зачем-то предсказывал это).

Я стал думать: книга по специальности была бы хорошим итогом моей активной работы в ортопедии. И руководство по ортопедии я всё-таки написал — через десять лет.

УБИЙСТВО ХИРУРГА. ЭПИДЕМИЯ СПИДА.

Жизнь продолжалась своим чередом, уже немного более гладким. Здоровье не беспокоило, и при сбалансированном внутреннем состоянии я работал, дежурил и по вечерам писал вторую книгу (русский вариант которой вы сейчас читаете).

В нашем госпитале было довольно много больных — иммигрантов из Союза, жителей Бруклина. Пожилые и старые люди, они не знали английский, и меня часто просили переводить для них. Как только я заговаривал с ними на русском:

— Ой, вы говорите по-русски? Какое счастье! Это же безобразие: никто со мной не говорит, никто не хочет меня слушать! Что это за госпиталь, что за доктора?! У нас в Одессе (Черновцах, Николаеве, Кишинёве, Херсоне и т.д.) доктора были сердечные люди, они разговаривали с больными. А здесь?!

Я хорошо знал этот общий для русских иммигрантов «синдром раздражения от непонимания» и пытался объяснить:

— Но ведь доктора и сёстры вас не понимают, они не знают русский.

— Всё равно, это безобразие! Что, они не могут, что ли, нанять переводчиков? Говорят, что в Америке медицина богатая. Если она такая богатая, то почему нет денег на переводчиков? Не хватает, что ли? Нет, что ни говорите, а отношение к больному здесь хуже, чем в Союзе. Три дня до вашего прихода со мной никто не разговаривал! Врачи все чёрные, сёстры все чёрные. Что, не могли сразу прислать вас, что ли? Что же это такое! Куда я попала?

— Я не ваш доктор, я пришёл помочь вам переводом.

— А кто же мой доктор — чёрный этот? Для чего мне нужен чёрный доктор? И соседи по палате (понижая голос) — они же все чёрные бандиты и проститутки. Куда я попала?

— Вы должны понять: у вас нет страховки для частного лечения, поэтому вас и привезли в обычный городской госпиталь.

— Это — обычный? Это не госпиталь, а бардак! Отношение плохое, внимания никакого.

— Но разве там, в Союзе, вам могли бы дать такое лечение, как здесь?

— Ну, лечение — это да, лечение здесь лучше. Это верно. Но я же живой человек, мне нужно человеческое отношение. Там доктора разговаривали с больными. А здесь?..

В разгаре разговора запищал биппер у меня на поясе, я вышел, чтобы ответить по телефону. Звонил Уолтер Бессер, возбуждённым голосом:

— Владимир, доктора Ризо убили!

— Что?.. Как — убили?.. Кто убил?.. Почему?.. — я опешил.

— Говорят, на работе его убил какой-то пациент. Я не знаю подробностей. Приезжай сегодня, мы всё вместе узнаем.

Бедный Питер Ризо, мой первый американский начальник! Хоть мы расстались не очень тепло, но у меня оставалось к нему чувство благодарности за первую мою американскую работу. Быть убитым своим же пациентом... какая ужасная трагедия! Что за история?

А история, в общих чертах, была такая: доктор Ризо любил представительство. Одна из его должностей была — председатель комиссии по определению нетрудоспособности бывших пожарных. Комиссия разбирала — кому из больных пожарников дать какую степень нетрудоспособности. Один из пострадавших долгое время добивался, чтобы ему дали более высокую степень нетрудоспособности. Он несколько раз писал об этом в комиссию и, якобы, разговаривал об этом с Ризо. В конце концов назначили пересмотр. Заседание шло без претендента, но он пришёл за ответом и ждал в холле. Что произошло дальше, оставалось неясным: то ли ему отказали, то ли ошибочно сказали, что опять ему было отказано. Когда вышел Ризо, он два раза выстрелил ему в голову. Говорили, что Ризо был на

его стороне и выступал в его пользу. Но после выстрелов это не имело значения... Ризо умер на том самом операционном столе, на котором сам много лет оперировал.

Сердитый на него Уолтер Бессер говорил мне мрачно:

— Этот Ризо получил по заслугам.

Но я так не думал. Убийство доктора, убийство хирурга... Это звучит кошмарнее, чем любое другое убийство. Нормальные члены нормального общества должны ценить врача — целителя — высоко, выше любого другого профессионала. В американском обществе стать врачом — труднее всего: самая длительная учёба, самая трудная тренировка, самая напряжённая работа. Но именно в американском обществе убийства докторов случаются нередко. Их убивают даже чаще, чем других специалистов, и не только с целью грабежа, но ещё чаще с целью расправы, из мести за что-либо ими сделанное. Так было и с бедным Ризо. Психологию убийцы понять невозможно, но приходила ли в голову тому пожарному (тоже спасителю по профессии) мысль, что, поднимая руку на хирурга, он этим лишал возможности быть вылеченными и даже спасёнными сотни других людей — потенциальных пациентов доктора Ризо.

Заядлые борцы против абортов, которых в Америке слишком много, убивают гинекологов за то, что они делают аборты. Но ведь они не делают их насильно, их об этом просят. Заядлые борцы против экспериментов на животных грозят убийствами докторам-экспериментаторам. Но ведь если не делать эксперименты на животных, нельзя будет спасать тысячи тысяч людей. В соседнем с нашим госпитале Кингскаунти бездомный бродяга убил хирурга в его кабинете за... хорошо проведённую операцию. Доктор сделал ему обычную резекцию желудка, и тот поправился. Но кто-то из его окружения надоумил его, что это была экспериментальная операция и доктор якобы получил за неё много денег. Тупой бродяга-наркоман стал требовать свою долю, доктор отказывался, объясняя, что никаких экспериментов он на нём не производил. После многих скандальных настояний и преследований бродяга подобрался к кабинету доктора, увидел в открытую дверь спину врача в белом халате и выстрелил... Оказалось, что он ошибся дважды: это даже не был его хирург.

Трагический и загадочный случай произошёл и у нас в госпитале: посреди абсолютного здоровья неожиданно тяжело заболел и через несколько недель умер от воспаления лёгких молодой доктор-анестезиолог. Никакие антибиотики ему не помогли, впечатление было, что его организм просто не мог справиться с инфекцией.

Мы не только загрустили, но и не могли понять: что же с ним случилось, почему его воспаление не поддавалось никакому лечению?

А вскоре стали всё чаще поступать к нам такие же необычно истощённые больные, которым тоже не помогало никакое лечение. Чего им только не делали, какие антибиотики и вливания не назначали, они всё равно таяли на глазах и умирали через неделю-другую. И всё это были довольно молодые мужчины, как правило — наркоманы, которые сами себе вкалывали наркотики в вену или пользовались для этого услугами искусных в этом «волшебников». Смотреть на тех больных было страшно: от постоянных инфекций, с которыми их организм больше не справлялся, они были худы, как жертвы нацистского концлагеря. У них почти совсем не было мышц и подкожного жира — истончённые руки и ноги, впалые щёки, глубоко запавшие тусклые глаза. А всего-то им было по двадцать-тридцать лет.

Мы тогда ещё не знали, что это было смертельное инфекционное заболевание — AIDS (Auto Immuno Deficency Syndrom — Синдром Приобретённого Иммунного Дефицита, СПИД). Но вскоре об этом заговорили все, и не только заговорили, а стали бить в набат.

Американские MEDIA — средства информации: телевидение, печать, радио — это самый чувствительный орган страны, реагирующий на всё мгновенно. Если появляется новость медицины, то она сразу передаётся по всем каналам телевидения и печатается во всех газетах и журналах. Так в 1983 году неожиданно и мгновенно распространилась новость, что выявлен неизвестный до тех пор вирус HIV — Human Immunodeficiency Virus. Он передаётся мужчинами гомосексуалистами и теми, кто вкалывает лекарства или наркотики иглами, заражёнными кровью больных. И тех и других в нашем районе высокой преступности и наркомании было пруд пруди. При современном

развитии медицины выявление нового заболевания — событие очень редкое, а обнаружение нового смертельного и быстрораспространяющегося заболевания — событие почти невероятно редкое. Казалось, что эпохи чумы и оспы прошли, но — началась новая и невиданная мировая эпидемия. И мы оказались в центре её.

Вначале никто не умел выявить источник и диагносцировать СПИД — ни у кого опыта наблюдений не было. Но мы уже умели диагносцировать далеко зашедшие случаи. И тогда догадались, что наш коллега-анестезиолог мог заразиться от больного, которому давал наркоз. Проверили по многим историям болезней: так и есть — за несколько месяцев до своей смерти он давал наркоз больному, который вскоре умер от неизлечимой инфекции.

Я вспомнил своё недавнее заражение гепатитом от крови больного, который потом умер, и меня передёргивало от ужаса: что, если у него тоже был СПИД?!

Напуганные молодые женщины-анестезиологи стали бросать работу и менять врачебный профиль.

А больных СПИДом поступало всё больше. Подходить к ним и лечить их было страшно. Если при физическом контакте на другого попадала капля любой их тканевой жидкости — крови, слюны, слезы или гноя с раны — она вносила вирус в ткань здорового человека. Для них стали отводить отдельные палаты в конце коридоров, перед которыми ставили двойные двери. Мы, доктора, входили в прихожую, там надевали на себя специальные халаты, шапки, маски, двойные перчатки, гамаши на обувь, защитные очки. В таком виде, почти как космонавты в космосе, мы переступали порог изолированной палаты. Выходя, мы всё защитное снимали и бросали в контейнер для специального уничтожения.

А всё-таки и это не всегда помогало, и несколько врачей и сестёр заболели и умерли. Над нами навис дамоклов меч реальной угрозы заражения, а это была верная смерть. Наибольший риск был для хирургов и анестезиологов. Вскоре выявилось, что не только запущенные умирающие, но и недавно заражённые новым вирусом люди, которые ещё не были сами больны, тоже опасны для других. В детском корпусе появились новорождённые со

СПИДом — от больных матерей. Принимать роды и выхаживать тех младенцев теперь тоже стало опасно.

Эпидемия распространялась по всему Нью-Йорку (и по всей стране, и по всему миру), но в нашем районе Бруклина она принимала угрожающие размеры. Теперь для СПИДа нашему госпиталю уже не хватало отдельных палат — отводили целые этажи. И распространились слухи, что весь госпиталь переведут на его лечение и всех больных города будут концентрировать у нас. Мы приуныли: в такой пожарной ситуации могли закрыть программы резидентуры. Какой же трейнинг по специальности, если все должны перестроиться на лечение одной болезни? Тогда нам, резидентам, придётся самим искать новые места. Опять?.. Неизвестно, что хуже: жить под дамокловым мечом заражения или заново искать программу резидентуры.

Для борьбы с распространением СПИДа повсюду в городе висели плакаты, на которых в примитивной форме, для широкого понимания, показывались средства профилактики: иглы индивидуального пользования и необходимость презервативов при сексе. И у нас в госпитале они висели снаружи и внутри. Но, как я замечал, жителей нашего района всё это ничуть не пугало, хоть они чуть ли не каждый день провожали из госпиталя в могилы многих своих родственников и соседей. Они продолжали колоться общими иглами и безудержно занимались безразборно-разгульным сексом. В соседней с госпиталем школе было всё больше и больше беременных учениц, которых теперь выделяли в отдельные классы. Чтобы ограничить рост беременности, стали прямо в классах выдавать школьникам презервативы. Но и это не помогало, теперь всё чаще поступали к нам девочки моложе десяти и чуть постарше, которых заразили СПИДом их отцы, братья, дяди или соседи. Никаких родственных, моральных и, конечно, этических сдерживающих критериев отношений в том диком обществе не было.

Наступила весна. В Нью-Йорке она приходит неожиданно и начинается сразу с жарких солнечных дней. Ночи стали тёплыми, теперь каждую ночь на дежурстве я слышал под окнами госпиталя гремящую музыку, пьяные крики, скандалы. Впечатление было: или это джунгли, или — настоящий пир во время чумы.

СУДЫ НАД ДОКТОРАМИ

Мне нужно было поговорить с Лёрнером, обсудить ход экспериментов в лаборатории, но неделю подряд никак не удавалось застать его в кабинете. Секретарь не знала, когда он будет, и отвечала как-то неясно. Но вот я увидел его во время ланча стоящим в госпитальном кафетерии с подносом в очереди к кассиру. Со своим подносом я пристроился следующим за ним:

— Доктор Лёрнер, рад вас видеть опять!

— А, Владимир, и я рад вас видеть.

— Вас не было — болели?

— Нет, не болел — я был в суде.

— В суде? Почему в суде?

— Меня судили за одну давнишнюю операцию.

— Судили?.. Вас?..

Я смутился и не знал, что сказать: хирурга судили!.

— Садитесь со мной за стол, я вам расскажу, — предложил он.

И пока мы ели ланч, он рассказывал:

— Мне предъявили иск на миллион долларов за операцию на щитовидной железе одной молодой женщине, я делал эту операцию семь лет назад.

Я знал, что операции на щитовидной железе очень редко заканчиваются трагически, поэтому спросил:

— Я извиняюсь, отчего она умерла?

— Кто вам сказал, что она умерла? Не только не умерла, но абсолютно здорова и родила после той моей операции троих здоровых детей. На суде она сидела невдалеке от меня, но даже не поздоровалась.

Я был совсем сражён: больная не умерла, была здорова — но почему тогда она судилась с хирургом?!

Он рассказывал, а я сидел, что называется, выпучив глаза и разинув рот от удивления: Лёрнер сделал ей операцию после того, как она долго и безуспешно лечилась у

терапевтов. У неё было увеличение околощитовидных желёз, маленьких образований на шее, они ведают важным обменом кальция в организме.

Родители больной, евреи из Бруклина, привезли дочь на операцию к доктору Лёрнеру. Операция эта очень тонкая, после удаления желёз возможно снижение кальция в крови и судороги, тогда больным дают препараты кальция и витамина «Д». Обычно через месяц-два всё восстанавливается. Так было и с той пациенткой. При выписке из госпиталя она принимала эти препараты и не жаловалась. Прошло семь лет, и она решила его осудить за «ошибки и осложнения», за то, что здоровье её окончательно подорвано, она всё время испытывает судороги и вынуждена пить массу лекарств, в общем — она стала полным инвалидом. К тому времени она переехала на жительство в Израиль. Её юрист обвинял Лёрнера в невнимании, в ошибках и в непрофессиональном отношении. Но юрист доктора Лёрнера случайно узнал, что в Израиле она родила троих детей. Он запросил истории болезни, и выявилось, что она и сама здорова, и все её дети родились здоровыми.

Лёрнер закончил рассказ:

— При хронической недостаточности кальция она не могла родить троих здоровых детей. Это подтвердили медицинские эксперты. Мой защитник представил присяжным копии её историй болезней — и мы выиграли дело.

Я наивно спросил:

— Доктор Лёрнер, но если она здорова, то почему она решила судиться с вами?

— Почему? — деньги, Владимир, деньги. Представьте себе, насколько она была бы счастливее, если бы при здоровье ещё и получила миллион.

— Но это же... — я не мог подыскать подходящее определение. — А что же её юрист думал?

— Он тоже думал о деньгах: при выигрыше дела ему пошло бы 30—40% от миллиона. Если бы мой защитник не догадался сделать запрос в Израиль о её здоровье, мы могли бы и проиграть. По законам Америки решение о виновности выносят двенадцать присяжных, набранных из обычных граждан. Но что они понимают в медицине? Они некомпетентны решать медицинские вопросы, и их мнение зависит от того, как им преподнесут дело юрис-

ты обвинения и защиты. Поэтому суды над врачами часто превращаются в соревнование между этими юристами: кто кого перехитрит и пересилит. Так было и в моём случае.

Я постепенно узнавал, что в Америке все доктора обязаны платить страховку на случай ошибки лечения, потому что больные имеют право судить докторов гражданским судом — на деньги. Сумма годовой страховки бывает разная: у терапевтов около десяти тысяч долларов, а у хирургов — до ста тысяч долларов в год. Это покрывает штраф докторов за проигрыш дела на сумму в три—пять миллионов долларов. Резиденты тоже должны быть застрахованы, но за них платит госпиталь.

По статистике, американцы судятся с почти половиной своих врачей, чаще — хирургов.

Выигрывают они в одной трети случаев и тогда получают большие деньги. Около 30—40% из этих денег берёт себе юрист обвинения. В двух третях случаев выигрывают врачи, тогда страховое агентство платит юристу защиты. И хоть в этом мало логики, но бывали случаи, когда доктора проигрывали даже и без доказанных ошибок.

На репутации доктора такие суды обычно не сказываются, но если он проигрывал, то страховая компания повышала сумму его страховки. К сожалению, пресса суёт свой нос во все дела докторов и часто пишет об этих судах. В таком случае это ложится на доктора моральным пятном: кому хочется, чтобы другие знали, что с тобой судится твой же пациент? А в век компьютеров и Интернета каждый человек теперь может найти на своём экране данные о судах над американскими докторами.

Мне потом приходилось слышать и быть свидетелем многих разных историй судов над докторами, случаев трагических ошибок и случаев безобразно нелепых обвинений. Мне приходилось и выступать экспертом на таких судах. А через много лет, когда я вернулся к активной хирургической работе, пришлось и мне самому тоже платить громадную страховку.

Я дежурил в неотложном отделении, когда ко мне в кабинет ввезли на каталке прилично одетого чёрного мужчину средних лет. Он морщился от боли, придерживая

обеими руками правое бедро. За ним шёл другой прилично одетый, но белый мужчина. Я подошёл к лежащему на каталке:

— Что с вами случилось, на что жалуетесь?

Естественный, казалось бы, первый вопрос доктора. Но прежде чем пожаловаться он, превозмогая боль, огорошил меня другим ответом. Указывая на спутника, он сказал:

— Вот этот господин — мой юрист; он вас засудит, если вы мне не поможете или сделаете ненужную операцию. Понятно вам?

Тем временем юрист подошёл ко мне вплотную, уставился на пластиковую карточку с именем на лацкане моей куртки и записал моё имя в приготовленный блокнот. Я слушал и смотрел, поражённый их поведением: они же пришли за помощью к врачу! Больной всё сильней морщился от боли и уже совсем слабо сказал:

— Теперь я вам отвечу, на что жалуюсь: меня сбила машина на улице и у меня ужасно болит нога, — юрист всё за ним писал в блокнот.

У него оказался перелом бедра. В обычном случае я сделал бы ему, что необходимо. Но, видя такой агрессивно-негативный настрой, я им сказал:

— Сейчас я вызову к вам старшего аттендинга доктора Менезеса, потому что я всего лишь резидент второго года, — юрист опять записал.

Иногда выгодно быть младшим — меньше ответственности: «Как славно быть ни в чём не виноватым, как просто быть солдатом, солдатом...» — пел давний приятель моих московских лет Булат Окуджава.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВОКРУГ

Чтобы русскому иммигранту начать понимать Америку, нужно не менее пяти лет активного внедрения в жизнь её общества. Это только чтобы *начать* понимать. Не только географически, но ещё больше политико-экономически Америка и Россия стоят на двух разных берегах, разделённых широким океаном. Общественное устройство американского общества вот уже более двухсот лет стоит на экономической основе, а советское русское общество всегда базировалось на основе политической. И динамика развития американского общества зависит от динамики экономики страны, а не от формы правления — правит ли народом царь «добрый» или царь «злой». Поэтому и жизнь американцев идёт динамично, напористо, быстро — в отличие от инертности жизни общества в России.

Вот уже пять лет я с удивлением наблюдал, как вокруг нас быстро и постоянно происходят сдвиги— в ответ на состояние экономики страны. Когда мы приехали в Нью-Йорк, экономика была на спаде, инфляция росла (хотя не очень высоко), и масса общества была в небольшой депрессии. Это можно было видеть по запущению Верхне-Западного района города, где мы поселились.

Когда на место симпатичного, но слабого президента Джимми Картера пришёл более деловой президент Рональд Рейган, политическая система страны осталась та же самая, но начался экономический подъём — «рейгономика», как потом его назвали. И это стало заметно по сдвигам жизни в нашем районе: он ожил и похорошел, на местах пустырей и полуразвалин старых трёх-четырёхэтажных домов вырастали дома-красавцы в двадцать этажей. На них висели громадные рекламы: «Сдаются шикарные квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, в доме зал для гимнастики, бассейн, место для офисов, гараж». Квартиры, конечно, были дорогие, и в них въезжали состоя-

тельные люди: поросль молодых бизнесменов, многие из них маклеры с Уолл-стрита; профессионалы — доктора, юристы, музыканты. И в нашем доме в освободившиеся квартиры тоже стали въезжать более молодые и состоятельные люди. Хозяин специально отделывал для них квартиры и обновил зеркалами и каминами наш вестибюль — всё похорошело.

Соответственно запросам новых жителей района вокруг нас стали появляться красивые магазины и рестораны. Маленькие тесные лавочки пуэрториканцев с их провинциально-примитивными вывесками исчезали и сменялись красивыми витринами. Соседняя с нами авеню Колумба превратилась из замусоренной улицы в одну из фешенебельных магистралей, по которой вечерами плыли толпы хорошо одетых людей. Они растекались по многочисленным ресторанам и барам. И, как следствие этого процветания, с улиц нашего района почти полностью исчезла прежняя шваль. Так получилось, что мы стали жить в одном из самых популярных и дорогих районов города.

Теперь если кто-нибудь узнавал, где мы живём, то люди восклицали:

— Но это же очень дорогой район! Там высокая плата за квартиры!

Это верно, но мы не стали богачами оттого, что здесь жили. В Америке на всё есть много разных тонких законов и правил. Дом, в котором мы поселились (и живём по сей день), подходил под правило «стабилизированных цен найма квартир»: для живущего съёмщика хозяин не имеет права повышать плату за квартиру более чем на 4% от начальной суммы, и только раз в два года. Поэтому наша квартира осталась в два-три раза дешевле, чем те, в которые вселялись новые жильцы.

Понемногу стабилизировалась и улучшалась и наша с Ириной жизнь. Ирина наконец полюбила наш район и нашу квартиру: стерпится — слюбится, как говорила старинная народная мудрость. Мы оба немного успокоились после пятилетних мук и тревог. Выросшие под пятой советских планов-пятилеток, мы считали, что первую нашу американскую «пятилетку» всё-таки выдержали.

Давно уже мы разошлись с теми беженцами, которые приехали в одно время с нами. Лишь иногда доходили сведения о них. Кажется, и они тоже постепенно устроили свои жизни. Я вспоминал, как в самый первый наш день в Америке вице-президент общества для новых американцев — НЙАНА — говорил нам, что наши неустроенные жизни пойдут вверх — у кого круто, у кого полого, и показывал этот подъём движением руки вверх. У меня пока шло полого.

В нашем госпитале появилась первая русская медицинская сестра, разбитная женщина из Черновцов. Теперь она жила в Бруклине. Вскоре после того, как мы разговорились, она сказала:

— Ой, знаете, я аппоинтелась (я не сразу понял это странное англо-русское слово: она была на аппоинтменте, то есть на деловом свидании), — она продолжала, — я была у одной русской докторши. Может, вы знаете? — доктор Тася.

— Тася? Да, знал когда-то. Где она и что делает?

— Она в Бруклине. Ой, она себе имеет такой шикарный офис, такой шикарный!.. вы не представляете, какой шикарный — несколько смотровых комнат, везде оборудование, в ожидальне мягкие кресла, по стенам картины. У неё очень богатая практика, русские больные к ней просто толпой ломятся.

— Интересно. Что же она лечит?

— Ой, всё! Она всё лечит. На неё нелегально работают не сдавшие экзамены пожилые доктора, все кандидаты наук, доценты. Знаете, ведь которые экзамен не сдали, а специалисты были хорошие, куда им податься? Она их нанимает на положение незаконных консультантов: они ставят диагнозы и назначают лечение, но официально всё это идёт от её имени, она всё подписывает в историях болезней и в документах и получает от страховок большие деньги. Ну, конечно, им тоже приплачивает. Но я думаю, она мало им платит.

— Почему вы так думаете?

— Ой, она жадюга! А они у неё в зависимости. Если это откроется, их всех засудят.

— Да... ну, а вы почему не пошли к ней на работу — у вас же есть лицензия медсестры?

— Она-то меня брала, но она жадюга и хитрая: платить хочет мало, и этих — как их? — бенефитиков не даёт совсем.

— Чего не даёт?

— Ну, бенефитиков этих.

— Ага, понял (она по-бруклински искажённо называла так бенефиты — дополнительные к заработку условия оплаты отпуска, дней по болезни и отчисления на пенсию).

Я вспомнил ту нашу знакомую первых лет в Нью-Йорке и про себя подумал: значит, не прогадала Тася, купив тогда себе у мистера Лупшица экзамен за десять тысяч — теперь она хорошо компенсирует затрату на это. Её жизненное устройство шло вверх не полого, как у меня, а круто-круто.

Однажды мы с Ириной поехали в пригород Хартсдайл повидать американских знакомых — Майкла Левина с женой. В первые дни после нашего приезда они встретили нас очень дружелюбно, первыми показывали нам Нью-Йорк и даже пытались помочь мне устроиться на работу к тому доктору Селину, который тогда так бездушно-наплевательски мне отказал.

Левины были люди очень состоятельные, и в их пригороде все дома большие, красивые, не похожие один на другой, все вглубине больших территорий, у всех дорогие автомобили.

Мы с Майком пошли прогуляться по их приятному посёлку. Показывая на один из больших домов вглубине территории, он рассказал:

— В этот дом недавно въехал один богатый русский иммигрант-миллионер.

— Интересно, как это он сумел составить себе состояние? — сказал я.

— Не могу сказать точно, но говорят, что в России он был часовым мастером, а здесь разбогател, организовав продажу дешёвых русских часовых механизмов в оправе дорогих швейцарских часов. Его агенты продают их на всех улицах.

Мы проходили мимо того дома, вглубине двора стояли большой чёрный «Мерседес-500» и «Кадиллак». Невдалеке я увидел хозяина — того самого харьковского часовщика, который жил с нами в гостинице «Грейстоун» и безостановочно ругал Америку. Я как будто вновь услышал его возбуждённый голос в холле гостиницы:

— Что это за страна!.. Дурак я был, что уехал из Харькова!.. Знали бы вы, какие вещи мы там оставили, какой посудный сервиз! А что меня здесь ожидает?..

Берл тогда его уговаривал:

— Получите работу, начнёте зарабатывать, помалу, помалу всё будет о'кей. Купите себе дом, купите машину и сервиз купите. Это Америка.

А он недоверчиво передразнивал:

— Америка-шмамерика!..

Я не стал его окликать, но подумал: может, русские в их бедной России не так уж не правы, когда представляют себе всех американцев миллионерами.

ГОСТЬ ИЗ ПРЕЖНЕГО МИРА

Уже более пяти лет у меня не было никакой прямой связи с Советской Россией. Налаженной телефонной связи между Америкой и Россией тогда не существовало. Но ностальгией я не страдал — при бешеном шквале событий в борьбе за выживание некогда мне было вспоминать и жалеть.

И вдруг — телефонный звонок и русская речь:

— Здравствуй, старый друг.

Я не узнал голос и растерянно спросил:

— Здравствуй. Кто это?

— Не узнаёшь?

— Прости — не узнаю.

— Это твой друг. Только не называй меня вслух. Ну, теперь узнал?

Мне вдруг вспомнился голос этого друга, но я не стал его называть, раз он просил.

— Теперь узнал. Неужели это ты?! Откуда звонишь? — я был поражён и обрадован.

Это был тот мой старый друг, с которым когда-то, давным-давно, я поделился в Москве своей мыслью эмигрировать. Он тогда был директором большого института, достиг значительных высот, а потому опасался за себя и свою карьеру. Мы даже и не простились как следует. Всё это искрой промелькнуло у меня в голове. А он продолжал:

— Я в Нью-Йорке, по делам, с делегацией. Решил разыскать тебя, посмотрел в телефонной книге и нашёл. Звоню из автомата на улице.

Я сразу вспомнил, что и в Москве он звонил мне в последний раз из автомата, чтобы не прослушивали агенты КГБ. Чего он здесь боялся?

Я очень обрадовался и стал оправдываться:

— Слушай, ты извини, что не узнал — ну никак не ожидал услышать твой голос здесь.

— Я понимаю. Я тоже думал, что никогда не услышу тебя и ничего о тебе не узнаю.

Во мне быстро пробуждались позабытые эпизоды и чувства — я вспомнил, как он с опаской пришёл ко мне домой, когда я ждал разрешения на эмиграцию. Поэтому спросил:

— Тебе говорить со мной удобно?

— Из автомата я могу, но недолго. Ты мне скажи главное: ты доктором работаешь?

— Доктором, — я улыбнулся про себя, вспомнив наш разговор в Москве.

— Ну, это главное. Значит — всё в порядке. Я за тебя ужасно рад.

— Ты повидаться со мной сможешь?

— Думаю, что устрою как-нибудь. Через пару дней я тебе опять позвоню, и мы договоримся о встрече. А сейчас я спешу, извини, — и повесил трубку.

Я вопросов не задавал, а всё держал телефон в руках и вспоминал нашу долгую дружбу, и как он меня отговаривал уезжать, и как боялся за себя... Раз он приехал сюда с делегацией, значит, его положение оставалось высоким — мой отъезд ему не навредил. Он мне позвонил, значит, помнил и думал обо мне, и всё-таки оставался в душе независимо мыслящим. И я рад был бы опять увидеть его, друга молодости.

В назначенное время я подъехал за ним к гостинице «Хилтон», на авеню Америк, и ждал в стороне, не выходя из машины. Он просил не встречаться у гостиницы — мало ли что произойдёт? — например, могут его сфотографировать с иммигрантом. Опасно. Когда он вышел из подъезда, у меня сердце сильно застучало: в нём я увидел моё давнее прошлое. Рассмотрев меня в машине, он оглянулся вокруг, потом сделал рукой едва заметный знак и пошёл за угол. Я медленно поехал за ним, догнал в переулке и открыл окно на его сторону. На ходу он сказал:

— Прогони машину ещё немного вперёд, я пройду до конца, и ты меня там подберёшь.

Когда он сел в машину, я отъехал ещё пару кварталов и только тогда остановился, и мы крепко обнялись в машине, похлопывая друг друга по спинам.

— Ну, друг, как ты?

— А ты как?

— Постарел ты немного.

— И ты тоже поседел.

— Ты извини, что я так — не хотел, чтобы кто из делегации засёк меня. Ты-то уже, наверное, забыл, что надо всех опасаться. А нам всё ещё приходится помнить.

— Не забыл, хоть в Америке я от страха отвык. Ты скажи — могу я привезти тебя к себе домой или ты вышел на короткое время?

— Едем к тебе. Я хочу увидеть Ирину и сделал так, что смогу провести с вами вечер. Значит, ты опять доктор? Это замечательно! Трудно тебе тут пришлось?

— Нелегко. Я всё расскажу.

Он оглядывал кабину моего «Бьюика»:

— Какая у тебя прекрасная машина! И совсем новенькая! А идёт-то как плавно. Видно, твои дела продвигаются неплохо, а? Уж не стал ли ты миллионером?

— Миллионером я не стал; русские думают, что все американцы миллионеры. А американцы про всех русских думают, что они коммунисты, — это я сказал ему цитату из своей книги, но про саму книгу пока не рассказывал. — А машина эта средняя, и цены средней. Идёт плавно, потому что американские машины все с сильными двигателями, это обычно.

— Ты уже звучишь как американец. Но что для вас обычно, то для нас, советских, совсем не обычно.

Дома нас ждала Ирина. Мы уселись за обед, и начался вечер наших с Ириной воспоминаний для него. Временами друг восклицал:

— Что? Вам приходилось ходить по Нью-Йорку пешком, чтобы сэкономить гроши?!

— Как, вы подбирали газеты?

— Нс можст быть — тебя не взяли на работу даже помощником доктора?!

— Что — ты вынужден был начать с того, чтобы чистить в госпитале склад?..

— Как?! Ты завязывал халаты хирургам?

— Постой, неужели тебя хотели послать за кофе?!

— Не могу себе представить — тебя не захотели взять ни в одну программу резидентуры?

— Как? Ты смог устроиться только в самый плохой госпиталь самого бедного района?

— Неужели черный молодой парень учил тебя, как мыть руки на операцию?!

— Не может быть: ты был на побегушках у неграмотных индийских докторов?!

— Тебя, в твоём возрасте, поставили дежурить четверо суток подряд — безобразие!

— Это же ужасно — ты заболел от крови того наркомана!

— Что?! Ты с твоими руками и опытом хочешь оставить активную хирургию?!

Под конец он ошалело сказал:

— Знаешь, я просто поражён твоим рассказом! Какой нелёгкий путь вы здесь прошли...

Друг сидел как огорошенный. Мне даже жалко его стало, и я решил его немного утешить:

— В России у меня были неприятности, а в Америке — трудности. Это намного лучше. Кое в чём мне пришлось сдаться, но зато я нашёл успех в другом: я опубликовал книгу воспоминаний о своей жизни в России — «Русский доктор». Это была моя давнишняя мечта, и я смог её осуществить. Очень немногим дано такое счастье — рассказать о своей жизни. Книгу издали во всех англоязычных странах, в Германии и Японии, её прочитали тысячи людей, и на неё были хорошие рецензии. И меня уже попросили написать вторую книгу — о моей жизни здесь. Только один доктор до меня написал два тома воспоминаний — знаменитый американский нейрохирург Кушинг.

— Ну, а если бы вы знали, что вам тут предстоит, решились ли бы вы тогда уехать?

— Если бы знали?.. Было бы, конечно, трудней решиться. Но ведь мы ещё и не прошли весь путь до конца, мы здесь только пять лет, пять самых первых. А начало всегда самое трудное.

— Что вас ждёт в ближайшем будущем?

— На днях будем получать американское гражданство.

— Что это вам даст?

— Это закрепит за нами нашу свободу.

Он лукаво улыбнулся:

— Вы говорите о свободе, а сами целый вечер рассказывали мне, через какие невероятные трудности вам пришлось пройти за эти годы. Это — свобода?

— Нет, это были испытания, чтобы заслужить свободу.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Голяховский

РУССКИЙ ДОКТОР В АМЕРИКЕ

Директор издательства
И.Евг.Богат

Редактор
И.В.Захаров

Художник
А.В.Кокорекин

Верстка
К.А.Лачугин

Корректор
А.Е.Танчарова

ISBN 5-8159-0144-X



Издатель Захаров
Лицензия ЛР №065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими воротами, отдельный вход в арке)

Телефон: 291-12-17
E-mail: zakharov@dataforce.net

Подписано в печать 04.06.2001. Формат 84x108/32. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 26,88 + 0,21 вкл.
Тираж 3 000 экз. Изд № 144. Заказ № 278.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.



*Как в одной капле воды отражается все небо,
так и история одного человека подобна капле,
отражающей исторические события.
Поэтому я решаюсь рассказать о том,
как в 1970-х годах эмигрировал в Америку
из Советской России. Русские люди нового
XXI века многое не знают из того,
что происходило с нами — первой волной беженцев.
Для них я и написал эту книгу.*